Б. А. Пильняк

Собрание сочинений

в шести томах

Б. А. Пильняк

Собрание сочинений в шести томах



Б. А. Пильняк

Собрание сочинений
Том четвертый

Повести
Рассказы

Волга впадает в Каспийское море

Роман



ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
МОСКВА
2003

УДК 882
ББК 8 4 (2 Рос=Рус) 6
П32

Оформление художника
В. ОРЛОВСКОГО

Составитель
К. АНДРОНИКАШВИЛИ-ПИЛЬНЯК

Пильняк Б.
П32 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4: Повести; Рассказы; Волга впадает в Каспийское море: Роман / Состав., коммент. К. Андроникашвили-Пильняк — М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2003. — 480 с.

ISBN 5-275-00835-X (т. 4)
ISBN 5-275-00727-2

Борис Андреевич Пильняк (1894—1938) — известный русский писатель 20—30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все, восстановленные от купюр и искажений, произведения автора.

В четвертый том Собрания сочинений вошли повести, рассказы и роман «Волга впадает в Каспийское море».

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

ISBN 5-275-00835-X (Т. 4)
ISBN 5-275-00727-2

П о в е с т и

ИВАН МОСКВА

Und mein Stamm sind jene Asra,
Welche sterben, wenn sie lieben.

Heinrich Heine[1]

Посвящается О. С. Щербиновской

Вступительная глава

Обстоятельство первое.

«Второй закон, о полезном действии энергии, будет для настоящих целей с достаточной ясностью установлен, если мы скажем, что одно и то же количество энергии может быть использовано только один раз. Для получения полезной работы из какого-либо источника энергии, покоя или потенциальной, необходимо превратить ее в новые формы, в энергию кинетическую, энергию движения» (Фредерик Содди).

Обстоятельство второе.

— — это было в городе Москве, возникнув в первый год революции. Профессор истории и истории искусств, Александр Васильевич Чаадаев, в бытность свою в Египте купил там мумию одной из жен фараона, имя которой выветрилось песками истории, не случайно для повести. Прах женщины, три тысячи лет тому назад царствовавшей, — быть может, прекрасной, — представлял собою ныне женский костяк, обтянутый совершенно высохшей кожей темно-коричневого цвета. Прах, забальзамированный мастиками, весил много больше, чем живой человек. Тело было обтянуто испепеленными тканями. Волосы женщины были залакированы и зачесаны на прямой пробор, с косами на ушах, — но волосы были не черны, как предполагалось бы, но желты, как рожь, как приречный песок, волосы, выветренные тысячелетьями. Глазницы мумии были

---

[1] Я свой род веду от Азров,
Полюбив мы умираем

Генрих Гейне.

мертво закрыты. На губах мумии умерла и зажила в смерти непонятная, тревожная и — бывает так — обессиливающая улыбка, пронесенная мумией через тысячелетья.

В сущности, неправильно сказать— тело мумии, ибо тела не было, тела, превратившегося в коричневый ремень, тяжелый, как известняки. Эта женщина была роста выше среднерослого славянского мужчины, широкоплеча, бестаза. У нее были прекрасные губы, руки и ступни ног, и прекрасны были ногти на руках и ногах.

Через Александрию, Яффу, Афины, Византию — путями древностей — профессор Александр Васильевич Чаадаев привез мумию в Скифию и провез ее в Москву, в вотскославянскую столицу отъезжего поля Евразии. У профессора были: кафедра в университете, бюджет, квартира, жена, теща, ребенок и нянька у ребенка. Мумия стала в кабинете профессора, за письменным столом, между диваном и книжным шкафом, против профессорского рабочего кресла. Профессор чинил свою жизнь в хорошем здоровье.

Пришла великая русская революция, величествовал первый ее марш восхождения, — в профессоровых понятиях — героика героизма, холода и голода. Профессор двинулся в революционные вечности — железной печуркой, картошкой и тем, что он с домочадцами — кабинет, столовую, спальню, детскую — все сдвинул на кухню, в темноту и тепло. Мумия осталась в глетчерном кабинете. И странными судьбами тогда — в геологии и Гофмане русской революции — мумия: ожила! — Нянька профессорской дочери, подлинная скифка, которая вообще с первых дней возникновения мумии, убедившись окончательно, что мумия не есть мощи, твердую враждебность имела к мертвецу, — так вот нянька — первая — заявила, что мумия стала: — пахнуть. Затем нянька сказала, — что мумия: светится. Потом нянька сказала, что мумия: — гудит.

Профессор возмущался и доказывал.

Но за нянькой теща, а потом жена — утвердили, что поистине — пахнет мумия: и поистине чуть заметный, сладковатый, бередливый появился в кабинете запах разложения. За нянькой теща и жена утвердили, что мумия — светится: и поистине ночами во мраке спущенных штор чуть заметным, прозрачным, фосфори-

ческим светом начинало светиться лицо мумии, — и тогда, в тишине революционных ночей и замерзших домов, было слышно, было едва слышно, как гудит мумия — так же, как гудят морские раковины. Профессор — варварски! — раздел мумию, чтобы обследовать: вновь, спустя три тысячи лет, предстали предчеловеческие глаза женские тайны фараонши, — и в тот же миг рассыпались пеплом и прахом ткани одежд мумии. Профессор ничего не нашел, установив гудение мумии в том, что от сырости выпала мастика из ушей мумии и гудит пустая черепная коробка. Но женщины — в последовательности няньки, тещи и жены — потребовали, ультиматировали, что — или они, или мумия. Женщины с мумией жить не желали, категорически.

Профессор: продал обнаженную мумию коллеге, пожелав за нее золотыми монетами триста пятьдесят рублей; коллега взял мумию и авансом уплатил семь золотых десятирублевок. И через месяц коллега пришел к профессору объясняться; коллега сказал, что культурная ценность мумии ему ясна, но мумия пахнет разложением, в семье некультурность, и он, коллега, просит профессора взять обратно мумию, пусть даже без возврата семидесяти золотых рублей.

Профессор не отдал мумии музею.

Революция прошла ледниковый московский марш, вышед в эпоху уплотнений, поистине — эпоху жизни русских городов, породивших уже не достоевщину, но нечто более страшное, что разбирается клинической психопатологией. Мумия в Москве имела длинную историю. Все годы революции обнаженная трехтысячелетняя женщина, бывшая царица, ходила по рукам в Москве, из дома в дом, нигде не оставаясь больше двух недель. Через каждые две недели в комнате, где жила мумия, начинало пахнуть мертвецом, и ночами мумия светилась бередливым фосфорическим светом. Люди знали, что мумия тлеет и светится. Смельчаки брали ее, чтобы жить около тлеющих тысячелетий; тлен сильнее смелости: через две недели, по стандарту, смельчаки обессиливали бороться с тленом. В иных местах в жизнь мумии вмешивались соседи иль домкомы, объясняя, что: — или мумии, как мертвецы, суть предрассудок, в действительности являющийся просто мертвецом, место которому на Ваганькове, а ежели пред-

рассудок мумии необходим, то требуется от милиции удостоверение на право проживания и занятия площади, ибо — хоть мумия и мощи, но все же человек; однажды тень мумии возникла в милиционном отделении и погибла там в отделе записей актов гражданского состояния.

Профессор Александр Васильевич Чаадаев никакого отношения к повести не имеет. — Все годы великой русской революции в Москве жили: люди, страдания, радости, победы, отступления, любви и — мумия, трехтысячелетняя, обнаженная, коричневая, как иссохший ремень, бездомная, безордерная, — та, которая тысячелетья пронесла непонятную, прекрасную и лягушечью одновременно обессиливающую улыбку.

Обстоятельство третье.

— — это было в дни гражданской войны, на Кубани. Это было с Иваном Петровичем Москвою, зырянином по национальности, героем повести.

Был зной лета и был тиф.

Пятеро они ушли с поля боя: два живых боевых товарища, два мертвеца и он, Москва, третий живой. Трое живых горячествовали тифом. Они ушли от шрапнелей, унося двоих раненых боевых товарищей. В бреду они не заметили или запамятовали, что эти два боевых товарища умерли. Они несли мертвецов. Иногда в бреду командир Москва командовал:

— Ротаа, ложись! — ро-ота, плии!

Живые клали мертвецов на землю, совали в их руки винтовки. Живые стреляли в пустую степь.

На бивуаках мертвецы несли караул. Живые в бреду не замечали, не заметили, что в июльском зное за эту неделю мертвецы совершенно изгнили, у одного отвалилась челюсть, у другого вывалились кишки.

Живые кормили мертвецов, насовывая им во рты своими ложками пшенную кашу.

Отступая, живые принесли мертвецов в разграбленную больницу. В степной больнице не было ни одного человека, все разбежались, и только в доме врача лежала женщина в отчаяннейшем бреду тифа. Ночью в бреду командир Москва пошел к этой тифозной, чтобы взять ее как женщину. Это было в первый и последний раз в жизни Ивана Москвы, когда отдавалась ему жен-

щина: он не мог сравнивать и не знал, что никогда женщины не встречают такою страстью, такими поцелуями и таким отданьем, возникшими в бреду, как было той бредовой ночью.

Наутро отряд живых и мертвецов пошел дальше. Имени этой женщины Иван не знал и не запомнил, что лицо женщины было лицом египтянки.

Через неделю этих пятерых подобрали. В тот же день мертвецов закопали в землю, а троих живых снесли в больницу, чтобы — путинами больничных коек — эти трое пришли из бреда в явь.

Память этого бреда навсегда осталась у Ивана Москвы.

Обстоятельство четвертое.

— — это было в дни гражданской войны, в Крыму. С отрядом кавалеристов Иван Москва шел по крымскому плато от Коккоз к метеорологической станции на Ай-Петри, чтобы перехватить Бахчисарайское шоссе. Люди не спали несколько ночей. Всю ночь накрапывал дождь, и только к рассвету перестал. Темнота была такая, что глаза были не нужны. Всю ночь ехали по степи. Красноармейцы молчали, мокли, не понимали — куда провалились горы. Станцию к рассвету бесполезно обстреляли, потом улеглись спать.

Светало.

Москва с вестовым пошел осмотреть местность. Прошли через балку в лесок, поднялись на вершину Ай-Петри к тому часу, когда море лежало уже широчайшим простором. Москва никогда раньше не видел моря. Направо и налево шли горы, обвалы, скалы, леса, необыкновеннейшие просторы, чудесный пейзаж. Москва ступил к обрыву, взглянул под отвес — и поспешно отошел от обрыва: закружилась голова, нехорошо потянуло вниз, — все бессонные ночи навалились на веки, сделав голову стопудовой.

И тогда произошло невероятное, обстоятельнейшее в жизни Ивана Москвы.

Налево в море у самых гор красным полымем вспыхнули облака. Из синей мглы возникли — невидимые доселе — Судакские горы. Огромная синяя тень легла над землей и морем. Эта синяя тень дрогнула, пошла, огненное золото догоняло ее, шагая с вершины

на вершину. Огненное золото упало с облаков на вершину Ай-Петри: — —

— — и тогда в море из воды, над водой появился багрово холодный, зловещий, всепобеждающий кусок солнца. Этот кусок округлился, выдвинулся, рассыпался миллиардами брызгов в море. Через минуту багровый эллипс стал над водой: — —

— — и тогда показалось, стало физически ясным, что — в этом мире в этот миг неподвижны только он, Москва, и оно, солнце, — было физически ясно, что солнце неподвижно, а дрогнули, качнулись и пошли справа налево вниз от солнца земля, море, обвалы, горы, леса: горы, обвалы, долины двинулись вниз. В переутомленных мозгах слышен был треск, — надо было раздвинуть ноги, упереться ногами, чтобы не упасть — с земли, которая двинулась: земля под Москвою качалась: неподвижны были Москва да солнце.

Это было не знание, но ощущение.

Но когда солнце поднялось на аршин, все было уже совершенно будничо: из-под стопудовых век Москвы смотрели маленькие, острые, зеленые — скуластые, лесные — глазки: где, как раскинуть сотню, чтобы закупорить Бахчисарайское шоссе?

Обстоятельство пятое.

— — это было в годы распутий русской революции, в годы от тысяча девятьсот двадцать третьего, — на «подкаменных» землях (сиречь на Урале), в пятистах верстах от железной дороги, в Полюдовой лощине у безымянной реки.

В гору там вникли штольня и шахта, в стороне под обрывом на камнях растворялось эхо заводского гудка. Около штолен, где проложены были рельсы для вагонеток, свален был желтый камень, извлеченный из недр горы, древний камень Архейской эпохи, освобожденный от медного колчедана, от оловянного камня, — камень, который родит радий и ставит человечество на пороге величайших, небывалых, равных только той, когда человек научился владеть огнем, — величайших революций и эпох. Под камнями обрыва, в стороне от штольни, около безымянной реки, над нею, стояли бараки для рабочих, дымили трубы над цехами. Каменная тропинка вела к дому директора завода — Ивана Пет-

ровича Москвы, — в этом доме были контора, красный уголок, — и в этом доме была: заводская лаборатория.

И вечерами, если аэроплан приносил свежего человека, — этого свежего человека Иван Петрович Москва вел в лабораторию. Электричество показывало стол с колбами и микроскопами, цинковые жбаны, тигели, эмалированную плиту, застекленные белые полки, застекленные шкафы и лотки с образцами минералов: электричество показывало будничную, рабочую лабораторию горного завода, где каждый день по утрам инженер должен делать очередную свою аналитическую работу и где, поэтому, чуть-чуть ест глаза аммиаком, соляной кислотой, сероводородом. Но Иван Москва тушил электричество, и свежий человек возникал тогда в таинственнейшем мире земных недр и того, что не познано человеком. Факт нереальный: — таинственнейше, непонятно, непознанно начинали во мраке флюоресцировать, фосфоресцировать камни, виллемиты, бариты, радиевые соли, стены, столы, одни сильнее, синее, другие тусклей, зеленей, иные совсем желтым светом.

Было понятно, что человек предстоит пред таинственнейшим и величественнейшим, к чему человека привело знание; вечно, как ежесекундно, так тысячелетне, — радий, уран, торий, — излучали энергию, творили новые пороги знания, — таинственнейшие пороги человеческого знания, где для энергии (и для человека) нет пределов, кроме пределов человеческого знания, — ту энергию, которая перестраивает теории мироздания и твердо созвучит безусловным рефлексам, внутриатомной энергии человеческого мозга.

Москва молчал, и молчал свежий человек, и молчало Подкаменье, горы и леса, почти не пройденные человеком, в пятистах вёрстах от железной дороги; если это была зима, тогда молчали снега, звезды и ночь. — И таинственнейше, таинственнейше, светом звезд, луны и всего ночного горели, флюоресцировали камни и соли лаборатории.

Иван Москва включал электричество и буднично говорил следующее, почти всегда одно и то же:

— Человек научился собирать в горсть радиевы соли. Если он на самом деле возьмет в руку радиеву соль, бета-лучи пронижут руку, прознобят, рука зачирвеет, — но человек забрал радий в свой мозг, человек

подсмотрел за радием, за его альфа-, бета- и гамма-лучами, вечно излучающимися. Мы будем разлагать торий и уран так же, как солнце бросает нам на землю оторванные куски самого себя, так же, как мозг разлагает мысли. Если мы сожжем плитку каменного угля, равную по величине спичечной коробке, и если мы не сожжем, а разложим энергию, скрытую в этом самом куске угля, — в этом втором случае мы получим энергии в триста шестьдесят тысяч раз больше, чем в сжигании. Обычное сжигание одной тонны угля дает достаточно энергии, чтобы дать движение локомотиву поезда в продолжение одного часа, между тем как распад этого же количества материи дал бы достаточно энергии для освещения, нагревания, перевозки и вообще для надобностей всей промышленности Великобритании в течение ста лет.

Радий! — все человеческое чернокнижное средневековье искало философский камень и строило perpetuum mobile, — тот философский камень, который превращал бы вещества, тот perpetuum mobile, который давал бы вечную энергию. Таинственный, непознанный радий излучает вечный поток тепла и света, творит, не иссякая, создавая новые вещества из прежних веществ, — тот философский камень, для которого нет преград, лучи которого идут, проникая через все, через камень, железо, мрак, свет, холод, все деформируя и преображая, — perpetuum mobile. Чернокнижное средневековье чернокнижной ятрохимии и алхимии, метафизика, ведьмачество, черная кровь, черная магия, душа черту, — нашли философский камень, — имя ему: радий, разлагающий собою все, его окружающее. Алхимию строили алхимики: — имя новому алхимику — комиссар Иван Москва. — За масонскими ложами, в тесных кварталах средневековья, в подземельях под готикой сводов, в замках — черноодетые люди строили вечный двигатель: — сейчас философский камень лежал на полках лаборатории, флюоресцировал во мраке.

Над заводом поднималась понурая Полюдова гора, лощина уходила в скалы, и кругом шли сотни верст безлюдных медвежьих лесов, перми и коми.

Радий! — обнаженная энергия мира! — там, где родится радий (факт нереальный!), — там, где родится радий, ничто не живет, ничто не растет, ибо, как челове-

ческая судорога, судорога физики, рождая новые пороги, — смертоносна. В штольнях, где рыли руды, таинственные творились дела, те, которые перетасовывают теории мирозданья, — но люди там копались очень буднично. — Полюдова же лощина была пуста, мертва, бурые камни без тропинок, без деревца, без моха. Зимой таял в Полюдовой лощине снег, не лежал, — голая земная энергия спаливала его. Бил из земли ключ, полз от ключа удушливый пар. И Данте можно было бы взять с Полюдовой лощины материалы для третьего круга своей Комедии, — у этих камней, отказавших живому в жизни. — Раньше эти места обходил зверь и человек. Человек Иван Москва пришел сюда рыть радий.

Москва вновь тушил свет. Вновь возгорали минералы. Москва со свежим человеком шел — через красный уголок — к себе. Там, в лаборатории, во мраке бросали, бросали энергию минералы. В красном уголке под большою лампою на столе были разложены журналы и газеты; рабочие читали за столом; на стенах во мрак уходили плакаты и портреты руководителей русской революции; радио хрипело речами и концертами города Москвы. В комнатах Ивана Москвы были тишина и медленность. За домом молчали снега, горы, сотни зырянских, пермских, остятских верст. Упорные в морозе горели на небе звезды.

Свежего человека Иван Петрович поил чаем, под шум самовара. За чаем свежему человеку говорил Иван Петрович об уране и гелии, о всех тех порогах, около которых стоит человечество: — и всегда рассказывал тогда Москва, как на войне, в дни гражданской войны, в Крыму на Ай-Петри он повстречался с солнцем и испугался, крепко расставив ноги, чтобы не упасть, когда качнулась земля. Но если свежий человек засиживался за полночь, когда Иван Москва говорил уже часы, — этот свежий человек начинал видеть, что лицо Ивана Москвы становится асимметричным, подергиваются веко и правый угол губ: и Иван Москва рассказывал тогда о мертвецах, которых он с товарищами пронес бредовым небытием.

В лощине ничто не жило. Мертвая тишина была в лощине. Флюоресцировала в небе луна. В доме горело электричество, хрипел усилитель в красном уголке вступительным словом Луначарского. Иван Москва

рассказывал, как кашею кормил он мертвецов, — и Иван Москва тогда говорил, путаясь в каше мертвецов, о том, что вот уже больше четверти столетия человечество собирает радий и — что за это четвертестолетие человечество скопило только: около двухсот тридцати граммов радиевых солей.

Обстоятельство шестое.

— — это было в городе Москве, в октябре 1917 года, в дни переворота. Тверской бульвар у Никитских ворот тогда замыкался трехэтажным жилым домом. В этом доме были большевики. В доме напротив, которым замыкался Никитский бульвар, были юнкера. Дом Тверского бульвара был разрушен юнкерами и бомбами и был сожжен. С год после переворота, особенно весною в 1918 году, развалины дома смердили трупами тех, кто был погребен развалинами. Года три этот дом стоял памятником восстания: говорил о дыме революции битой крышей, пустыми проймами окон, обгорелым, расщебленным кирпичом, мусором чугунных балок, подвалов, рухляди. К двадцать первому году развалины были убраны. И в 1922 году на месте развалин, на площадке, обложенной коломенским мрамором, воздвигнут был памятник профессору Климентию Тимирязеву.

Тверской бульвар замкнулся двумя памятниками: Пушкину у Страстной, Тимирязеву у Никитской.

Обстоятельство седьмое, как первое.

«Мне отмщение, и аз воздам» — дикарский закон бумеранга — физический закон действия, равного противодействию — —

Биографическая глава

Биографии людей не всегда начинаются с детства: в иных случаях началом биографий суть — старость, мужество, двадцать лет. Биографии очень многих в России в годы революции начались 25 октября старого стиля 1917 года. Биография Ивана Петровича Москвы началась 25 октября, когда он вылез в биографию по развалинам истории: началом его биографии были — винтовка, ненависть, ничтожество «подкаменных» зе-

мель в биографическом его до-бытии. — И не всегда биографии определяют даты дел и рождений: обстоятельства, лежащие вне человека и его воли, бывают иной раз значимей воли и человека.

До-бытие Ивана возникло: «в зырянах», как называли зырян новогородцы, — сами зыряны называют себя коми-народом. Точный перевод — «зыряны» — значит — «оттесняемые». Коми-Иван был сыном коми-народа. Даже в России не многие знают о лесах Коми-земли, непроходимых, непройденных, — и о том, что Коми-земля больше Германии и Франции, вместе взятых, но на Коми-земле всего только семь верст железной дороги. Коми-земля упирается в земли Подкаменные: в до-бытии своем коми-Иван был рабочим Подкаменных, Петром Первым, Демидовыми-Сандонато и Строгановыми ставленных, чугунолитейных заводов.

Коми-Подкаменье — —

...сказано в Евангелии о том, что Петр есть камень, но Петр же есть и соль земли: Урал — камень. Здесь все завалено камнями и пропитано солью, и на завалинках у новых изб по урочищам и селам кладут здесь соль, чтобы солнце впитало соль в дерево, ибо тогда стоят срубы столетьями: на солях и на камнях нет ни чахотки, ни тифа, ни холеры, и деревья растут в сорок аршин ростом и в два человеческих обхвата. — «Время застит» — уральская пословица, — и все же видно через века, как просолились эти места Иваном Грозным, заселителем «Перми Великой — Чердыни» (чердынцы называют себя — чердаками), «именитыми людьми» Строгановыми (дома от Строгановых и соборы стоят в Усолье, и в Соликамске, и в Усть-Сысольске), здесь памятно имя Ермака, покорителя Сибири, подлинное имя которого — Василий Тимофеевич Аленин. Время застит, — но видно, как ушкуйное, сиречь разбойное, происхождение Строгановых от вольной великоновогородской вольницы — пересолил, перековал Петр Первый — железными заводами (Турчаниновы в городе Соликамске для санкт-петербургского их величества Екатерины и Елизаветы дворов — растили бананы! — так это было уж после Петра). Здесь спрашивают человека:

— Кто ты?

Отвечает:

— Крестьянин.

Спрашивают:

— Твое имущество?

Отвечает:

— Два ружья да пять собак!

и из этих двух ружей одно дедово, кремневое, — и из этих пяти собак одна на белку, другая на медведя, третья на рысь. Белок бьют из кремневого дробинкою в глаз: если попал в другое место, шкурка бракована. Налоги берут здесь с ружей, — и недавно еще брали — с луков.

Здесь в Верхнюю Лупью четыре месяца в году никак не проедешь, а в иное время и зимой и летом туда ездят на санях: телег там не видели. Здесь, если надо человеку побывать верст за сорок, он говорит: — «ничего, побежу!» — сбегает и к полночи будет дома.

Здесь в лесах — подкаменные земли здесь рудны, магнитны, серебряны, золоты — на реке Доеге здесь по Каменному хребту шел изыскатель, сыскал избу: в избе жил крестьянин, — так, мол, и так, жизнь, — крестьянин свел изыскателя к ручью, копнул лопатой, посыпал с лопаты:

— Смотри, гражданин анженер, — чистое золото. На золоте живу, а хлеба — нету.

Здесь в лесах, на горах, на реках — много находят костей мамонта — и никак нельзя их донести до музея: местная народность пермь считает кости мамонта — «мунянь» — земляной хлеб — целебным снадобьем, священным, — и деревнями собирается пермь есть мамонтовы кости.

Здесь в лесах, на горах, на реках — в тысячах верст — здесь прокуратура рылась — уже после революции — в советском законодательстве, — чтобы подыскать статью, коей карать нижеследующее массовое деяние: роют охотники здесь могилы детей, отгрызают (обязательно зубами) руку ребенка и — сушат ее; сушеную руку носят с собою охотники по лесам и носит жулье, ибо эта рука отведет и руку закона, и лапу медведя: о статье запрашивали центр.

Здесь в Большой Коче, в Юрлинском районе, до сих пор пермяки и коми на Фролов день бьют быков богу, причем режет быков местный православный батюшка: быков варят в котлах против православной церк-

ви, — в этих же котлах варят и кумышку. И в каждой волости в этих местах имеется свой леший, именуемый по имени, отчеству и фамилии: Иван Иванович Иванов.

...Здесь на безыменном притоке реки Доеги легла Полюдова лощина, плохою молвою известная в народе: в этой лощине ничто не росло и никто не жил. Лощина была безжизненна и безмолвна, и птица, и зверь, и человек обходили ее, камни не плодили ни кедра, ни вереска, ни ивана-да-марьи. Зимою в лощине таял снег, не было силы у снега засыпать бурые камни. Лесная молва — прокляла это место.

Время застит: пермь и коми засолили, кроме времени и земель, подкаменный быт, ушкуйные памяти. Хаять быт и народ — нельзя: Камень, Кама, лес, зверь сделали людей такими же крепкими и кондовыми, как лес, зверь, камень и Кама, — жухорный, стремный народ.

Соляные — строгановские — заводы Петр Первый застил — заводами железными — — Леса, тишина, прибрежные горы, и в лощине меж гор горит, полыхает красным упорным, непокорным, бередливым светом — домна, — горит завод, дымят трубы, горит домна, бредит заревом на облаках, — во мрак ушли обрывы берега, стерлась щетина елей и сосен во мраке, — домна непокоит, бередит красным огнем. — Здесь земли крепки, как пот, — от дней Петра каждый завод здесь помнит хорошее столетье, — и все заводы построены, как один, Петровым регламентом по примеру солеварных. — Мастером на Майкорском заводе работает Марк Карпович Москва, внучатый брат Ивана. Старостой на Соликамском соляном заводе работает Пантелеймон Романович Москва, дядя Ивана, — нос у Пантелеймона провален сифилисом — —

— — заговор на разлученье: «— черт идет водой, волк идет горой, они вместе не сходяца, думы не думают, плоды не плодят, плодовых речей не говорят, — так бы и раба божья (имярек) с рабой (или рабом — имярек) мыслей не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не говорили, а все б как кошка да собака жили» — —

До-бытие Ивана Москвы возникло в зырянском селе, около отца-охотника, зверолова и рыбака, в доежных обычаях и в местах, где неизвестны телеги. До-

бытие Ивана Москвы прошло на соликамских соляных заводах. До-бытие Ивана перековывалось Чермозским металлургическим заводом. Иван Москва вышел в бытие винтовкой восстания на московских улицах, у Никитских ворот, большевик, пролетарий. На соликамье — по кириллице — Иван узнал грамоту. На Чермозе он прочел первую книгу о революции. На Подкаменных землях нет ни чахотки, ни тифа, ни холеры, — но есть — сифилис: дед и отец Ивана были больны, дед был безносым, и в двадцать лет Иван узнал, что сифилис им унаследован от отцов. Иван возрос высоким и сильным человеком, широкоплечим, коренастым. Он был никак не красив, широкоскулый, широколобый, узковекий, — в запавших его глазницах сидели маленькие, острые, умные, упорные глаза.

Весь, всячески в прошлом, вошел Иван Москва в бытие. В прошлом, потому что тело его было изгажено сифилисом отцов, то тело, где жил его мозг. В прошлом, потому что он знал только кириллицу прошлого, засвидетельствовав и запечатлев, замарав свой tabula rasa заговорами на разлученье, му-нянью, кочами, юрлами, доегами. Но — должно быть — внутриатомная энергия вырабатывается не только радиевыми рудами, но и человеческой волей, — ибо изъеденное сифилисом тело Ивана Москвы оставило ему ясный ум, ясный мозг, тот мозг, который дал ему силы выйти из до-бытия в бытие, дал сил из до-бытия — через бытие — заглянуть в предбытие, — тот мозг, который дал ему уменье взглянуть на свое тело, большое, испорченное, нескладное, — взглянуть, как на ларь, скверный ларь, ларь, как тюрьма, спрятавший его мозг: он нашел в себе силы знать, что тело его — только тюрьма его мозга. Если бы не было социальных розней, он вправе был бы на свои плечи взять имя и быль Строгановых, именитых.

Весь в прошлом, винтовкою Иван Москва у Никитских ворот в Москве вышел в бытие — и на развалинах истории он стал строить свое, своего мозга и своего класса будущее, тело оставив в до-бытии. Он пошел по фронтам революции, последний свой штык воткнув в польский фронт.

Тогда он пришел в Москву, чтобы строить.

Это был двадцать второй год, год распутий. Иван понял тогда, что революция не в том — ч т о, а в том — к а к. Механику винтовки Иван сменил на машину за-

вода. И заговор на разлученье — «черт идет водой, волк идет горой» — он сменял заговором на сговор, на тот сговор, которыми должны жить его мозг и СССР.

Это он пошел по Подкаменным верстам, походом, с отрядом старателей, — нашел Полюдову лощину, заклятую лесом и лесными тропами, — отнес ее камни в Академию: — это он построил завод, вырабатывающий радий. — Строить заводы в те годы — трудное было дело, — но строить — всегда прекрасно, строить, делать, обдумывать строимое, собирать тесины, камень, железо, — создавать — вопреки соликамским соляным заводам, ставшим от Грозного, вопреки Чермозским заводам, Майкорским, Лысьвенским, ставшим от Петра — во имя революции и человечества, такое, что смотрит только в будущее, что волит только в будущее. — Не в том — ч т о, а в том — к а к: нет отступления энергии, но есть ее трансформация видеть тропинку к шахте, выбитую динамитом и твоими — человеческими — руками — большая радость!

Глава заводская

Коми-слова:

— усны — возвращаться с охоты, абы — нет, еванзы — не кричи, баржиалы — шататься без дела, бара — сызнова, ваныр — речная быстрина, вад — озерко, важмыны — обветшать, вабмыны — ослабнуть, выгты — молчи, велавны — привыкать, вердны — кормить, дыр — долго, ланьтыны — смолкнуть, кынмыны — мерзнуть, мавны — смазать, му — земля, мыргыны — трудиться друг для друга, мыж — опора, уклад — сталь, чер — топор — —

— — в сумерки пришел на завод зырянин Следопыт, потолкался у кухни на казармах, — в закате направился к директору. Зырянин был с собакой, с кремневым самопалом, было ему лет сорок, нос у него был провален. Иван принял его у себя в кабинете. Они заговорили позырянски. Коми-слова — усны, абы, еванзы — были тем лексиконом, которым говорили эти два зырянина, меняясь приветствиями. Широкоплечий Иван, в суконной косоворотке, подпоясанный широким поясом, сидел за письменным столом, локти положив на стол.

Следопыт пришел посмотреть на Ивана.

— Ты роешь из земли камень, — сказал Следопыт, — такой камень, от которого умирает человек, на котором не растет ни сосна, ни кедр, ни вереск. Наши деды знают эту лощину, вот ту, где твоя шахта, люди всегда обходили ее. Зачем ты роешь этот камень? — Ты не знаешь, твой отец был братом моему отцу, ты скажи мне чистую правду. О тебе говорят в лесах, что ты делаешь злые чудеса, к тебе прилетает змий, и ты колдун. Я пришел посмотреть на тебя.

— Аэроплан должен сейчас прилететь, — сказал Иван. — Завтра, если ты хочешь, тебя понесут в воздух.

Зырянин сидел на краешке кресла, подобрав ноги, с шапкою между колен.

Из-за шиворота его рубашки на красную шею выползла вошь.

— А водка у тебя есть? — спросил Следопыт.

— Нет, — ответил Иван. — Будем пить чай. Ты расскажи про леса.

Глаза Следопыта шмыгнули мышами, он поправил в коленях шапку.

— Не пьешь?

— Не могу.

— Вот и мне говорили в лесах, — такое богатство, а не пьешь.

— Не пью.

— —

— — в этот вечер летчик Обопынь-младший уходил в небо, чтобы над Подкаменьем снести самолет к заводу, ибо с миром завод общался, кроме парохода летом и авиасаней зимою, аэропланом.

Бортмеханик Снеж молчаливо наливал через замшевую воронку бензин, просматривал мотор. Обопынь курил. Снеж подсел, чтобы тоже покурить. Покурили и пошли к самолету. Обопынь сел в кабину. Бортмеханик разворачивал пропеллер («контакт!» — «есть контакт!»). Мотор зарокотал. Самолет на земле — черная провалина носа мотора с выемками глазниц-кабин пилота и бортмеханика — походил на человеческий череп, символ тлена мудрости. Снеж сел рядом с пилотом, пристегнулся ремнем, подтянул ремень шлема.

Самолет — это та прекрасная машина, которая несет человека в воздух, которою человек — себя и свою волю

бросил за облака. Самолет — это тот человеческий гений, та человеческая воля, которые не допускают неточностей: недовинчена, перевинчена самая пустяковая гайка, — он упадет с неба, — от человека, понесшего его в небо, не останется даже костей; — но каждая гайка, таящая смерть, свинчена человеческим мозгом: и голова того, кто понес машину в воздух, должна быть ясна, как гений гаек мотора и хвостового — на самолете — оперения, — ибо иначе — смерть. Так указывает машина, так машина утверждает быт, ибо — инстинктом сохранения жизни — указано человеку бояться смерти...

И перед тем, как двинуть машину, Обопынь бодро сматерщинил, мигнув Снежу. Машина пошла в воздух.

Полет! — если человек убежден: что «рожденный ползать — летать не может», — пусть тогда он не идет в воздух, не завязывает ремень, не затягивает шлема: его мозг будет видеть разбитые крылья самолета, разможженные тела, смерть, — и, быть может, рожденному в убеждении ползать лучше и не заползать в самолет. — Там в воздухе известно, что самолет идет сто семьдесят километров в час, только известно, ибо быстроты полета чувствовать нельзя, и видно лишь, как там внизу ежесекундно отбрасываются назад клинья полей, озера, леса, — земная рубаха, земная карта. И тоже только известно, что самолет в двух километрах над землей: высоту нельзя чувствовать. Там в воздухе, окруженный стихиями, каждый устанавливает, что он летал многажды уже, главным образом в отрочестве и юности, от двенадцати до семнадцати лет, во снах: так вот полеты те, во снах, — куда величественнее, значимей, страшнее — полетов подлинных! — там, во сне и в детстве, нет препятствий полететь на лунные болота на луну, в неподлинность, в фантастику, — здесь на самолете в небе подлинность измерена тремя километрами высоты: — выдумывать, проектировать, романтить — много интересней, чем отыскивать явь. — Но на самолете земные часы — минутами: и в эти часы человек в небе узнает, что человек человеку — обязательно брат, что машина человеку — хозяин, что весь мир есть — огромная, великая мудрость, мудрость и закономерность, — ибо — очень просто — пилот неправильно принял воздушную яму — смерть, бортмеханик перебил мотор — смерть, лопнула гайка в моторе — смерть!

Самолет пошел в воздух, поползла земля, сошли со своих мест, переселившись на карту, — река, нищая пароходная конторка, холм, реки, лес, поле, — люди на конторке стали мухами, все ушло назад, в реве пропеллера, утверждающего молчание. Земля отсюда из высот — земля внизу кажется одетой в очень старую, очень заплатанную, многажды перешитую рубаху пажитей (пажити потом исчезнут в лесах), лесов, гор, оврагов, лощин, рек: вон та географическая карта, что лежит внизу, и есть рубаха России — то ржаная, то гречневая, опушенная овчиною лесов, расшитая серебром рек и позументами сел, — нищая рубаха, и все же бархатная, — ах, как византийски разукрашенная: об этой рубахе надо думать часами полета.

Но за братством и рубахою России, за явью снов — —

— ...«Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане — —

— — «Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья» — —

— — «есть упоение в бою» — есть упоение в полете: — каждый, кто ходил в воздух — через явь сновидений, через волю — должен знать упоение полета: когда с большой высоты самолет идет быстро вниз, звенит в ушах, густеет и бухнет в жилах кровь, — стало быть, чем выше в воздух, чем дальше от земли, тем спокойнее — неизъяснимее сердце и кровь! — И есть, и есть подлинное, физическое, упоительное наслаждение полета, стремленья — здесь, в высоте! — И есть, и есть, ибо «аз воздам», странная, страшная болезнь пилотов — когда пилот вылетался: тогда появляется боязнь воздуха, боязнь полета, исчезает вера в себя, уверенность, воля, пилот теряет сердце и глаз, он неверно ведет самолет: если он останется у машины, если болезнь не заметил он и не увидели его товарищи, — он гибнет, он разбивается, он «гробит» машину. —

Сейчас вел машину Обопынь-младший: — Обопынь-старший, отец, остался в городе Москве по делам, пустив в полет сына.

Птичьим глазом «консерв» Обопынь-младший взлядывался в землю впереди, облака сначала шли ря-

дом, розовели в закате, исчезли, — и вновь возникли внизу, под самолетом. Давно уже остались позади латы пажитей, синим океаном стали внизу леса, синими глыбами стал впереди хребет, и из-за хребта и с севера приходила свинцовая синь сумерек. Рев пропеллера — всегда величествен. Белым осколком стал на востоке месяц. Полюдова лощина возникла впереди из сини пространств.

Пилоты, снизившись на плато за Полюдовой лощиной, покурив в стороне от самолета, медлительно, долго, в той привычности, которая всегда координируется машиной, убирали машину, просматривали, проверяли, заводили в ангар, затягивали брезентом. Пилоты на земле всегда медлительны и угловаты, — и к шахте спускались они уже темными сумерками — —

— —

— — в тот час, когда над Полюдовой лощиной заревел пропеллер и в небе возникла точка самолета, у Ивана Москвы сидел Следопыт.

Следопыт подошел к окну, Следопыт глянул в небо.

— Вон, видишь в небе, — сказал Иван. — Это самолет. Завтра он поднимет тебя в воздух.

Глаза Следопыта забегали мышами, спрятались в его бороде, растущей из глаз. Следопыт зажал шапку меж ног и сел на корточки. И на корточках, пригибаясь к земле, Следопыт пополз в угол. Следопыт закрестился.

Следопыт крикнул:

— Отпусти!

— Что ты, дурак, обалдел?! — ответил Иван и пошел к Следопыту. — Встань!

Следопыт вжался в угол, сторонясь Ивана. Он грозно крикнул, обнажив клыки:

— Чур меня, чур!

Лесной житель был страшен в своем страхе и в шаманстве.

Пропеллер стихнул за горой. И Иван, и Следопыт молчали. Иван предложил Следопыту папиросу, сказал: «садись!» — Следопыт закурил, сел.

— Это кто летал? — спросил Следопыт.

— Человек, — ответил Иван.

Следопыт молчал, не веря. Таежный вечер нагружал комнату мраком.

— Пойдем пить чай, — сказал Иван.

И еще раз зачурался Следопыт. В столовой шумел самовар, было темно. Иван включил электричество. — И вновь тогда забегали глаза Следопыта мышами, вновь запятился Следопыт в страхе. — Иван понял: Иван выключил ток, лампа погасла, — Иван зажег вновь. — Следопыт смотрел и растерянно и хитро. Он подошел к выключателю, протянул руку и отнял ее.

Иван сказал:

— Верти.

— Ничего? — спросил Следопыт, выключил ток и вновь зажег лампочку.

— Горит! — сказал Следопыт. — Колдуешь?

— Нет.

— А какая сила? — без фатагену? — Следопыт пощурился на лампу, осмотрел внимательно, подставил ладонь к свету, понюхал воздух: — И не греет, и не воняет. Светит!..

(...весь тот вечер Следопыт впадал в чудеса. Весь вечер то и дело он включал и выключал электричество, присматривался, примеривался, ухмылялся, — а в те минуты, когда на него не смотрели, он хитро крестился и шептал, шаманил. — Третий раз впадал в чудо Следопыт, когда в красном уголке заговорил громкоговоритель Москвою: — «слушайте! слушайте! слушайте!» — опять пятился Следопыт и приседал в ужасе на корточки, — опять, как штепсель электричества, обнюхивал громкоговоритель, крестясь, хитря, шаманя, радуясь чудесному и в страхе от него, — и опять быстро освоился, в чудесном удивлении переводя регулятор с концерта в Большом театре на вступительное слово Луначарского к съезду ученых, со вступительного слова на радиогазету: тогда лицо Следопыта становилось блаженным в хитрости. Он выключал электричество, вновь включал его и шел передвигать регулятор на музыку Бетховена. — Вечером, когда пришли летуны, Снеж дал Следопыту стакан и еще стакан водки. Следопыт сидел на полу, ибо не мог держаться на стуле, — ноги разложил широким циркулем, блаженно мотал головою в шапке, пел зырянские свои песни и, в твердом убеждении, что вокруг него сидят отчаяннейшие колдуны и жулики, просил взять его в их компанию. — Затем Следопыт уснул. Его положили в конторе на диване, с дивана он свалился. Дверь из конторы вела в кабинет Ивана.

И ночью Иван видел, как в смятении, в ужасе, в ничтожестве Следопыт прятался в угол за диваном, челюсть Следопыта билась о его колена, — он мелко-мелко крестился и не мог уже шаманить, ибо челюсти и язык ему не подчинялись. Иван подошел к нему. Следопыт смотрел неподвижными зрачками. Иван грузно сел рядом, сказал: — «перестань, брось» — и грузно замолчал. — «Пойдем, я тебе покажу» — —).

— — в тот час, когда летуны сели на землю, а Иван со Следопытом пили чай, к Ивану пришла Александра, врач, — прекрасная женщина дней бабьего лета, дней серебристых паутинок у глаз и в волосах. Она была в белом платье, высокая и прямая. Третий пустой стакан стоял для нее, — она налила себе чаю. Следопыт ходил включать и выключать электричество. Иван расспрашивал Следопыта о лесах, она молчала. Затем Иван отвел Следопыта в красный уголок и вернулся один. Был час отдыха, на горе у летунов, где стал самолет, была свежая почта: она и Иван пошли навстречу пилотам.

Об этой женщине зналось немногое. Она, также зырянка, прошла длинную дорогу — длинными и достойными путями книг, раздумий, труда, голода, фельдшерских курсов, коммунистической революции, гражданской войны, медицинского университетского факультета. Тридцать четыре женских года — большие сроки, когда возникает первая седина, когда пройденные дороги отбыли и путь впереди — ясен. Все проходит и ничто не проходит в этой жизни: из-за громов революции, из многопутья Москвы ее пути привели ее, коммунистку и врача, на радиевый завод. В стороне от шахт и цехов стала ее амбулатория, белый дом у отвеса скалы.

Синие сумерки, рожденные лесами и горами, застлали землю, как следует. Во мраке камни тропинки были мучительны ногам, эти лысые камни, на которых ничто не растет. Чем выше уходили они в гору, тем просторнее было кругом, дальше уходили внизу леса и долины. Одинокий стоял в небе месяц, медленный и усталый. Камни под месяцем посеребрели.

Они шли молча, она впереди, он сзади.

И высоко на горе, на обрыве, мраком уходящем вниз, над огоньками завода внизу, в лунном свете, она остановилась, чтобы сказать. Лунный свет падал плас-

тами, лунные тени падали от гор. Лунный свет осветил ее лицо, печальное и твердое. Было кругом мертво и тихо. Иван остановился, опустив голову.

— Что ты мне скажешь, Иван? — сказала она тихо, твердо. — Ты знаешь, Иван, о чем ты должен сказать.

Иван молчал, спрятав лицо в лунную тень.

— Нам надо сказать последние слова, — сказала она. — Иван, ты все знаешь, и я все знаю. Так случилось, что все мои дороги были дорогою к тебе. Ты заставляешь меня говорить! — вот, я приехала сюда, оказывается, для того, чтобы никогда больше не уходить от тебя. Говори, Иван.

Иван молчал. Иван ступил шаг вперед к обрыву.

— Говори, Иван.

— Я не могу, Александра. — Люблю ли? — ты приходишь, ты проходишь, — и густеет воздух так, что заполыхивается сердце, — и редеет воздух так, что нельзя дышать. Я старик, а я следы твои целую, как в романах.

Александра протянула вперед руки, руками ловила слова, руками слова охраняла.

— Говори, Иван.

— Уезжай, Александра.

Иван ступил назад от обрыва. Александра опустила руки, просыпая слова.

— Уезжай, Александра! — уезжай сейчас же, завтра же, навсегда выкинь меня, забудь, строй свою жизнь без меня. Я не могу, Александра. Ты не знаешь, — вот этот мешок, который называется моим телом, — сколько я дал бы, чтобы выпрыгнуть из него, из этой гнилой могилы, куда заперт мой ум. Дед и отец изъели мои кости и отравили мое мясо. Что ты хочешь? — эти руки, ноги и грудь — мертвы, заживо мертвы, их надо на свалку, от них надо сторониться. У меня ясный мозг, достаточно ясный для того, чтобы понять, что я уже в гробу моего тела, что я не имею права иметь свое будущее. Я ничего не могу. Ты не знаешь, никто не замечал — —

Александра подняла свои руки, чтобы защитить ими себя от слов, — но лицо ее в лунной мути, лицо египтянки, было покойно, плотно были сжаты губы в бередливой улыбке.

— Ты не знаешь, никто не заметил, — мой мозг еще видит, — я потерял здравый смысл, ночами в бессонни-

цы я теряю черту между явью и бредом. В бреду, как в яви, я тащу мертвецов, тех, которых тащил на фронте, и тогда качается земля. У меня остался только мозг, но и он туманится. Я говорю с человеком, и вдруг человек проваливается, и вместо человека передо мною сидит какое-то страшное, кровавое государство — —

Иван замолчал, приложив руку к голове. Он крепко расставил ноги, осмотрелся кругом.

Александра сказала:

— Говори, Иван.

— Да, да, я говорю, — заговорил Иван. — Приехала ты, сейчас лето. Ночью я просыпаюсь, и я путаюсь в своей комнате, ибо я забываю теперешнюю мою комнату и помню ту каморку, которая была у меня на Чермозе. Я протягиваю руку к стене, к часам, и мне страшно, почему нет стены, почему моя рука виснет в воздухе. Я иду, натыкаясь на вещи, потому что тогда в той комнате вещи стояли иначе. — И все же за окном, вместо этих гор, стоит Чермозский завод, улица, плотина: я смотрю за окно, вижу завод и вижу вдруг, как на улицах завода появляются вдруг очертания Кубанской степи, — все двоится, я не понимаю, где я, и я готов выть собакой. И тогда — здоровым мозгом — я начинаю понимать, что мой мозг туманится.

Иван замолчал. Молчала Александра.

— Ты должна уехать, Александра, забыть про меня. Я отказался от всего. Я вот строю завод и добываю радий, чтобы хоть мозгом вырваться из себя, из прошлого, отовсюду — в будущее, которое я проектирую. — Я не могу тебя осквернить собою.

— Нет, Иван, я никуда не поеду. Ты говоришь, что я шла к развалинам. Пусть так. Слушай, Иван, — на Кубани — —

Но она не докончила. Наверху на тропинке послышались веселые голоса, весело сбегали вниз Снеж и Обопынь, Снеж с сумкою писем. — Когда подходили летуны, Иван сказал Александре негромко: « — следующим аэропланом я полечу в Москву, пойду к врачам, пусть скажут врачи». — Летуны весело приветствовали, сообщили очередные будни новостей, торопили ужинать.

За ужином веселый Снеж поил Следопыта водкой, соглашался взять его в колдуны и порешил наутро снести его в воздух.

Уходя к себе в лабораторию, Александра вызвала Ивана на крыльцо. Всею женскою нежностью она протянула к нему руки, сказала:

— Иван, пойдем ко мне. Я никуда не уйду от тебя. Я не сказала тебе того, что я хотела сказать. Однажды на Кубани...

На крыльце горела электрическая лампочка. Иван посмотрел на Александру маленькими своими, острыми глазами, взгляд был зелен и холоден. Иван сказал нарочито грубо:

— Потом поговорим. Успеется.

Александра не двинулась.

Иван сказал тихо:

— Вот, ты видела Следопыта. Он мой дядя. У него провален нос. Я могу поцеловать его, но я не смею коснуться тебя... — Иван смолк и сказал вновь грубо:— Ступай, иди!

Ночь была черна, месяц посинел. Александра ушла во мрак. Иван вернулся в дом, прошел в кабинет разбирать почту.

— — ночью Следопыт видел четвертое чудо — чудо лаборатории. Ночью Иван пришел к Следопыту. В смятении, в ужасе, в ничтожестве Следопыт прятался за диван, челюсть Следопыта билась о его колена, — он мелко-мелко крестился и не мог уже шаманить, ибо челюсти и язык ему не подчинялись. Иван подошел к Следопыту. Следопыт смотрел неподвижными зрачками. Иван грузно сел рядом, сказал:

— Перестань, брось! — и, грузно, помолчав, добавил: — пойдем, я тебе покажу!

Следопыт не двинулся, еще крепче вжавшись в угол, — глаза его, не мигая, следили за Иваном, точно Следопыт, как рысь, готовился прыгнуть на Ивана.

Следопыт злобно прошептал:

— Не трогай!

Так же немигающе стал смотреть Иван на Следопыта, сказал стопудовой гирей: «— вставай, идем!» — и Следопыт встал.

Не улыбаясь, Иван похлопал, погладил Следопыта по плечу.

— Старик ты, а глупый.

Они пошли темными комнатами: Следопыт шел покорно.

В лаборатории Иван не поражал Следопыта мраком и светом: включив электричество, Иван взял из ящика, из-под замка стеклянную пробирку.

— Видишь? — сказал Иван, — подержи, закрой глаза, поднеси к голове.

В руках Следопыта была обыкновеннейшая стекляшка, чуть побуревшая. Следопыт осмотрел ее, пощупал, — прикрыл глаза и поднес стекляшку к лицу: и сейчас же отпрянул от стекляшки, широко раскрыв глаза, в недоумении, в удивлении.

Иван взял из рук Следопыта пробирку. Иван опустил голову, закрыл глаза, поднес пробирку к виску: — —

— — и в глазах его, в голове возник нестерпимый ярчайший зеленый свет: это радий выбрасывал свою энергию, лучи которой пронизывали мозг.

В лаборатории горело электричество, пробирка была совершенно обыкновенная. Иван смотрел на нее удивленно, подносил ее к голове, — и нестерпимый свет возникал в закрытых глазах, пронизывал мозг.

— Этот свет, как твоя любовь, Александра! — сказал Иван.

Иван бессильно сел на табурет.

Иван заговорил.

Ивану казалось, что он говорит следующее: —

— ...ты слышишь, Александра? — это все понятно, — это лучи распада атомной энергии. Все понятно, да, все объяснимо, — но какой прекрасный свет! Это твоя любовь, Александра... Слушай, я говорю тебе. Человеческая жизнь следует совсем иным и гораздо более сложным законам, — средняя человеческая жизнь. Жизнеспособность в любом возрасте представляет практическую задачу для вычисления. Жизнеспособность при рождении меньше, чем в мужестве, когда она достигает максимума, — затем, с возрастом, жизнеспособность постепенно уменьшается. Жизнеспособность атома, даже радия, не зависит от его возраста, — это простейший закон для атома, но не для меня! — Каким образом распадается элемент? — Этого человечество не знает. Есть предположение, что непосредственная причина распада атома — дело случая! — слышишь? — дело случая!.. — Вот, видишь, если бы судьба выбрала из всех живущих на земле людей определенный процент, которые умирали бы в каждую минуту

независимо от возраста, молодого или старого, если ей просто нужно было бы число жертв, которые она набирала бы случайно, лишь бы получить нужное количество, то тогда наша жизнеспособность была бы такой же, как у атома радия. Атом радия — отдает энергию и — не умрет. Я отдам энергию и — умру. Я хочу жить, я должен жить! — слышишь, Александра! — Все человеческое будущее я вижу через наш собачий быт, — и я хочу любить, Александра... Я вижу всю закономерность того, что должно выпасть из закономерностей, — что разрушает канон сохранения энергии революцией распада атома — —

— — Ивану казалось, что он говорит именно так. В действительности он говорил иначе, в бреду:

— ...Александра, Сашенька, Саша, Сашуха... понятно — лучи — распад — атомы — жизнеспособность... Александра, Саша, — жизнеспособность — случай! — слышишь, — случай, случай. Не хочу помирать, не хочу, не могу, слышишь?! — не хочу... — и так много раз, с повторением.

Следопыт слушал Ивана сначала внимательно, потом безразлично. Тогда Следопыт взял из рук Ивана пробирку, поиграл ей, привыкнув. Сунул ее обратно в руку Ивана. Пошел к выключателю, чтобы поиграть им. И тогда Следопыт увидел пятое чудо. Он выключил ток: и во мраке ожили, засветили, зафлюоресцировали земные недра и земные тайны. В этот миг загудел заводской гудок. Колба в руках Ивана светилась.

Иван включил ток. Следопыт сидел на четвереньках. Иван сокрушенно помотал головою: он знал, что те альфа-, бета- и гамма-лучи распада радия, которые пронизали его руку, зазнобят руку, рука зачирвеет, покроется красной коростой ожога.

— Как ты попал сюда, старик?! — удивленно спросил Иван Следопыта.

— Сам привел, — ответил Следопыт.

— Ты все путаешь, старик — —

— — на заре веселый Снеж вел Следопыта на гору к ангару, чтобы снести Следопыта в небо. Обопынь ушел вперед. Снеж, строго остря, непреклонно подталкивал Следопыта в гору.

Следопыт шел так, как люди ходят, должно быть, только на расстрел — —

— — все утро, весь день Иван провел на заводе.

На заводе там, где в чанах соляной кислотою разлагается на элементы — на уран, свинец, кальций, железо — разлагается руда — разлагаются U_3O_8, RbS, SiO_2, CaO, FeO, MgO, — там нечем дышать, и рабочие работают в противогазах сменою через каждые четверть часа — в удушье соляных, азотных и серных кислот. На заводе там из тонн руды добываются миллиграммы радиевых солей: и эти тонны, прежде чем освободить радий, многажды во многих чанах — окисляются, ощелачиваются, насыщаются водным раствором, выпариваются, окристаллизовываются и вновь окисляются. Тогда, когда откинуты все посторонние элементы, когда получен радионосный сульфат, — этот сульфат переводят путем карбонатов в хлориды, путем спекания сульфатов с углем в сернистые соединения: радий тогда остается вместе с барием, — в тех пекарнях, где спекается сульфат с углем — неимоверно жарко. — Рабочие работают в противогазах, сменяясь каждые четверть часа, чтобы отдышаться. — Поистине, если бы Следопыт попал в химические цеха, он должен был бы решить, что самое главное страшилище и колдовство — именно эти цеха, где люди работают в страшилищах масок, — где нечем дышать, — где незащищенный глаз слезится и слепнет, — где непонятный ряд трубищ, труб, трубочек, печищ, печей, печурок, замысловатых приборов и аппаратов, — где шипит, булькает, чавкает, харкает, хрюкает, свистит, стонет, — где в чанах ползают земные недра и родятся кристаллы, первородные элементы вселенной, — где люди молчаливы, действенны, точны.

Право на жизнь этим цехам дали земные недра, куда человек врезался шахтами, во мрак, неизвестность и удушье земли.

Иван все утро был на заводе, следил, указывал, руководительствовал.

Перед обедом он спускался в шахту, где во мраке и удушье люди дробят земные недра.

— — и здесь надо говорить о пустяках, — быт всегда чудесен несуразностями.

В шахте сделана была конюшня, где жили ослепшие лошади, таскающие вагонетки. Неожиданнейше в шахте — в конюшне — к запаху земных недр примешивались запахи конского пота, навоза, сена. Отдыхаю-

щие у коновязи лошади мирно жевали. На полу в конюшие валялась солома. На нарах под электрической лампочкой, на соломе, с книжкой, валялся конюх как конюх, паренек лет двадцати, добродушнейшерожий. Ни в какой мере ему не было дела до того, что он лежит в местах земных чудес, в коих разлагается земная энергия, откуда человечество берет новое знание. В шахте, и в конюшне в частности, было очень жарко. Паренек лежал в совершенном блаженстве, ногу ?адрав на ногу, руку закинув на шею, медленно мусоля страницы «Матери» Горького.

Иван обошел шахту, где люди добывали руду, — и Иван пришел на конюшню, к конюху.

Лошади жевали. Конюх же не двинулся, сказал добродушно:

— Здравствуй, товарищ директор. Говорят, дядя к тебе пришел?

— Здравствуй, Яшка, — ответил Иван и присел к парню на нары. — Ну как?

Яшка ответил охотно:

— Ты про Аленку? Вчера выходила на свидание.

— Ну, а как рабфак? — спросил Иван.

— Через три недели потащуся, — ответил Яшка.

Яшка подробнейше, чуть привирая, рассказал о любовном своем свидании. — Иван слушал его внимательнейше — —

— — з а г о в о р н а р а з л у ч е н ь е: — «черт идет водой, волк идет горой, они вместе не сходяца, думы не думают, плоды не плодят, плодовых речей не говорят, — так бы и раба божья (имярек) с рабой (имярек) мысли не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не говорили, а все б, как кошка да собака, жили» — —

— —

— — в тот день, когда Иван взял самолет, чтобы уйти на Усольскую железную дорогу, — вечером, как и каждый день, рабочие в свободную смену собрались в красном уголке — одни, — другие сидели в казармах, третьи пошли к обрыву. На обрыве тогда молодежь пела песни, пиликала во мраке гармоника, хохотали девки-тачечницы, которых точнее назвать—не девками, не женщинами, а — девкищами, ибо были они в пыли и в запахах дневной работы, похожими на каменных из раскопок баб. В красном уголке громкоговоритель мешал (или не мешал?) читать газеты, брошюрки, журналы. В казармах иные играли в козла.

Вечер проходил, как подобает проходить глухому заводскому вечеру.

Быть может, Яшка увел Аленку далеко в горы или вниз к реке, и хоть он и похвалялся перед Иваном всякими своими храбростями, в действительности здесь он сидел около Аленки в молчании и скромности, в том прекрасном бессилии, которое приносит настоящая любовь, — часами, быть может, в молчании, в счастии, держал каменную Аленкину руку, и если и заговаривал, то говорил вовсе не озорные слова, а рассказывал о том, что вычитал в «Матери», и о том, как через три недели он поедет учиться — учиться!.. — И в небо тогда поднимался серебряный месяц. А в шахте слепые лошади, ослепшие в вечном мраке, в час отдыха мирно жевали овес.

В казармах, отрываясь от козла, люди говорили о делах, буднях, отцах, детях, урочищах, — одна «рука» спорила с другою об очередях и о том, какая рука спорей работает.

Кругом полегли горы, леса, болота, реки, — такие леса, в которых, в дни, когда Иван Москва шел походом на изыскания, целые села спрашивали его, — какая теперь власть в России, кончилась ли война и кто царствует на царском престоле? — такие горы, в которых золото дешевле хлеба, но дороже хлеба — мунянь. — Здесь же, в мертвой лощине, в гору от реки ползла подъемная дорога, внизу на берегу стояли баржи и пароходишко. Нагружали баржу бочками медного колчедана. Штабелями были сложены дрова и уголь. Завод на голом камне прилепился ласточкиным гнездом. Скрипели, скрипели, двигались сверху вниз и снизу вверх вагонетки элеватора — —

Коми-слова:

— усны — возвращаться с охоты, абы — нет, дыр — долго, выбмыны — ослабнуть — —

Московская глава

Воровские слова:

— револьвер — шпайка, часы — бака, галоши — пароходы, карта — святцы, рубашка — бабочка, деньги — сармак, брюки — шкеры, ночлег — могила, паспорт —

очки, разиня — антон, сапоги — кони, карманщик — ширмач, глядеть — стремить, крест — чертогон —

— —

— — Иван подъезжал к Москве со смутными чувствами, в воспоминаниях того десятилетия, которое в памяти его сейчас сдвинулось в гармошку: октябрь 1917 был вчера и геологическую эпоху тому назад, — завод был оставлен вчера, но вчера же он собирался идти на изыскания с мандатами ВСНХ и Академии наук.

Иван всегда с неприязнью думал о Москве, ибо каждый в Москве трижды переспрашивал его фамилию, недоумевал и удивлялся так, точно Иван не по праву от отцов получил имя Москвы, но украл его: но Москву он любил, как мать, Москву, давшую ему право на биографию.

Иван ехал с Обопынем-младшим: Обопынь возвращался в Москву, чтобы вернуть место пилота на самолете отцу, которого заменял. Обопынь в вагоне-ресторане выпивал две рюмки водки, плотно ел, посвистывал, шутил, спал и читал газеты. Иван с Вятки замолчал в невеселом настроении, — с карандашом в руках расписывал свое московское время: ЦК, ВСНХ, НТУ, врач-невропатолог — днем, — друзья, театры, книжные лавки — вечером.

Поезд приходил в Москву к вечеру, Иван стоял у окна, следил за полями. После Александрова Иван сложился. Во мраке вечера вдали впереди возникли огни Москвы, синие и зеленоватые, — фосфоресцирующие, как определил Иван.

В Москве на вокзале, в белесом свете газовых фонарей, Иван условился с Обопынем, что он, Иван, поедет сначала в гостиницу, в «Париж» у Охотного ряда, где останавливаются хозяйственники из провинции, — устроится и затем приедет к Обопыням, к Обопыню-старшему, старому, еще с фронтов, другу.

Обопынь заковылял к выходу тою походкою, которой ходят по земле пилоты.

День был воскресный.

— —

— — в тот день в Москве, как в каждые дни, в миллионном городе Третьего Интернационала, в столице первого на земном шаре социалистического государства — за фасадами столицы — за волей видеть и не видеть — за вывесками, гудами, гудками и звонами за-

водов, паровозов, автобусов — за бодростью дней воли, дел, деяний, свершений — —

— на задворках миллионного города круглые сутки, каждую ночь — в тот день — привезли, привозили — в институт Склифосовского, в Яузскую больницу, в Екатерининскую, в Александровскую — привозили — раненных пулей револьвера, не успевших умереть в виселице, не умерших от яда, — отравленных, зарезанных, подстреленных, избитых, задушенных. В институт Склифосовского свозили задворки миллионного города, потерявших смысл жизни, право на жизнь, честь и жизненный инстинкт, уходящих в смерть в сумасшедствии и от голода, от одиночества, от ненужности, от старости, от исковерканной молодости, поруганного мужества и оскверненного девичества, — свозили людей, обезображенных в драке, в алкоголе, в ревности, в грабеже, — молодых, старых, детей. Каждые пять минут к подъезду подходили кареты скорой помощи, и братья милосердия вытаскивали из них людей с размозженными черепами, истекающих кровью, в запекшейся мыльной пене отравы на губах и подбородках. Этих людей, из которых каждый, оставшись жить, умоляет вернуть ему жизнь, — этих людей на носилках растаскивали по операционным и покоям, чтобы вынимать из человеческого мяса и костей пули и ножи, чтобы заштопывать раны, вставлять на должное место вывихнутые кости, чтобы нейтрализовать яды, — с тем, чтобы — все же — большая часть этих людей к утру умерла, а оставшиеся в живых — вернулись к жизни калеками или полукалеками, — с тем, чтобы институт Склифосовского стонал всеми человеческими стонами и болями, которые приводят человека к смерти — —

— — это одни задворки — —

— — на других задворках — в притонах Цветного бульвара, Страстной площади, Тверских-Ямских, Смоленского рынка, Серпуховской, Таганки, Сокольников, Петровского парка — или просто в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных — собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться. В подвалах нищенства людьми командовала российская горькая под хлип гармоники. Бульвары и рынки ко-

мандовались кокаином. Российский Восток нирванствовал опием и анашой, засаленными нарами эротических снов перед приходом милиции. На задворках этажей и рублевого благополучия, ночами, мужчины в обществах «Черта в ступе», или «Чертовой дюжины», членские взносы вносили — женщинами, где в коврах, вине и скверных цветчишках женщины должны быть голыми. — И за морфием, анашой, водкой, кокаином, в этажах, на бульварах и в подвалах — было одно и то же: люди расплескивали человеческую — драгоценнейшую! — энергию, мозг, здоровье и волю — в тупиках российской горькой, анаши и кокаина — —

— — на третьих задворках, в Лефортове, расстрига-поп, в заброшенной церкви, ровно в полночь, служил черную мессу, — приход чиновных подонков истерически воздыхал под гнус попа, — поп отрезывал голову черному петуху на обнаженной груди женщины, которая лежала на алтаре — —

— — на четвертых задворках —

— — на пятых задворках —

— —

— — Иван занял номер в «Париже», разложил свой чемодан, в номер его провела, раскрывала постель и наливала ванну расторопная уборщица, кокетливая, ухмыляющаяся, в белой наколке и в неслышных ночных туфлях.

Приняв ванну, Иван вышел на улицу.

Тверская текла людьми и желтым светом, рожки автомобилей подмазывали своими басами шелест толпы. Иван свернул к сини Кремля, пошел вниз подкремлевским садом, прошел под мостом, связывающим Кутафью и Троицкие ворота. Здесь было пустынно, сыро по-осеннему и сторожко. Под ногами шелестели листья. Мрак был холоден.

Ивану следовало бы пройти Тверской до Пушкина, там свернуть бульваром до пролома Богословского переулка и там вникнуть в район студенчества и Бронных, где жили Обопыни, — но Иван пошел другой дорогой. Медленно, наблюдая окрест, он спустился кремлевскими рвами к Москва-реке, пошел под храмом Христа к москворецким плотинам, где Москва-река шумит прибоем. Там Иван долго стоял, прислушиваясь к шуму падающей воды, — с простора омутов заплоти-

ненной воды несло сыростью и мраком. Кремль уходил во мрак, небо над городом было желто-зеленым. Никого кругом не было. Напротив, на конфетной фабрике ночной сторож трещал колотушкой, — с мостов долетали звоны трамваев.

И тогда к Ивану подошли трое.

— Дай закурить, товарищ! — сказал один из троих.

И сейчас же двое других выхватили из карманов наганы, приставили их к лицу Ивана.

Первый сказал:

— Руки вверх! молчать!

Иван — памятью фронтов — понял, что его сейчас убьют. Он поднял руки, чтобы рассчитать действительность. Но первый — ловкостью хорошего портного — расстегнул его куртку, обшаривая — массажистом — тело. Иван понял, что речи о смерти нет, и пассивно успокоился, удивляясь, как безразличны ему эти шарящие по телу руки. Бандит вынул из заднего кармана револьвер, — Иван вспомнил, что этот револьвер был у него десять лет, некогда он отобрал его у раненого немецкого офицера, под Нарочем, — и удивился, как спокойно он отдает его, старого друга. Бандит расстегнул пуговицы, шарил и ощупывал совершенно виртуозно. Бандит снял кепи с Ивана, швырнул свою фуражку за гранит набережной в воду и надел кепи Ивана на себя. Два дула револьвера были все время перед лицом Ивана, мешая ему видеть.

В кармане у Ивана, еще от поезда, по рассеянности, осталась никелированная мыльница: бандит вынул ее и не мог раскрыть, — Иван вспомнил, как перед Москвой он ходил мыть руки, и не припоминал сейчас, как засунул мыльницу в карман.

Бандит сказал:

— Что это такое?

— Мыльница, — ответил Иван.

— Открой! — сказал бандит.

Иван открыл.

— Зачем мыло носишь с собою?

— Я приезжий.

— Где служишь?

Иван затруднился ответить сразу на этот вопрос (если бы его спросили — кому служишь? — он ответил бы сразу:— революции!), — Иван стал объяснять:

— Я... моя профессия...

Бандит не дослушал.

— Ага, — профессор! — так бы и говорил! — сказал бандит миролюбиво.

Иван подумал, что для бандитов, должно быть, так же авторитетно звание профессора, как для сельских учительниц.

— А я думал, что ты ресефесер! — пошутил бандит и заговорил на воровском наречии, обращаясь к помощникам.

Бандиты опустили наганы. Один из них осветил электрическим фонариком землю под Иваном, поднял с земли перчатку и отдал ее Ивану.

— Катись! — сказал бандит. — Постой! — где проживаешь?!

— В «Париже», — ответил Иван.

— Ага. Документы пришлем завтра, с рассыльным. — Катись колбасой, счастливого пути, товарищ профессор!

Но прежде чем Иван двинулся, бандиты исчезли, точно провалились сквозь землю.

У Ивана были взяты револьвер, бумажник, часы и кепка.

Иван был совершенно покоен. Он постоял у набережной, послушал шум воды, зевнул и пошел обратно, решив, что без кепи в гости идти неудобно. Он шел сначала медленно, потом ускорил шаги, — мимо храма Христа он уже бежал. У моста он нанял извозчика, забыв, что у него нет денег, чтобы расплатиться. Он не замечал, что он бежал, — ему казалось, что он совершенно покоен.

Портье заплатил извозчику.

В номере была открыта постель, ярко горело электричество. Иван сел к столу. В комнате у дверей стала уборщица, не уходила, перебирала белый фартук. Иван посмотрел внимательно. В нарочитой смущенности и в совершенно недвусмысленном ламца-дрица горничная склонила голову набок и сказала:

— Может, чего хотите с дороги?

Иван посмотрел на нее внимательнейше, Иван сказал медленно:

— Садись.

Иван смотрел внимательнейше, разглядывал, в удивлении поднявшись со стула — —

— — женщина исчезла в его сознании, сознание помутнело — — он увидел, как на стул село некое громад-

нейшее государство. Он увидел миллионы нечеловекоподобных людинок, которые бежали, катились, текли по этому закупоренному кожей сложнейшему государству — от легких, к perpetuum mobile сердца к кухням кишек, к озонаторам легких, к лабораториям мозга. Человек, сидевший на стуле, думающий, страдающий, продающийся, — исчезнул. Иван видел рот, красные губы, — и видел, как за жерновами зубов, за мясом языка, через глотку в желудок шел кусок коровьего мяса — с тем, чтобы из коровьего превратиться в человечье. В клоаке кишек собирались отбросы столиц. Глаза шли в генераторы мозговых извилин. — Но рот, губы и глаза исчезли за счет мостовых звеньев позвонка, парапетов тазовых костей. Ежесекундно сердце гнало марши крови. Легкие набухали воздухом, чтобы человеченки крови мылись в нем. Тюбы кишек, кишечные дистрикты содрогались удавами. Мозговые клетки обсасывали фосфор. — Женщина двинула ногой в ночной туфле: — какая сложная система эстафет полетела к позвонку, к спинному мозгу, к коре большого мозга и в подкорковые майораты — и обратно от них в исполкомы мышечных нервов, в провинции человеческого мяса, построенного мышцами, чтобы — перестраиваясь, сжимаясь и разбухая — человеческое мясо подняло само себя на воздух, — себя и кости, заросшие этим мясом, и ночную туфлю, чулок, подвязку и юбку, — подняло в воздух и поставило на другое место, вновь и вновь послав об этом эстафеты, — такие эстафеты, о которых ничего не узнал предсовнарком этого государства — сознание, кора большого мозга. — За эпидермисом, мальпигиевыми слоями, слизями и марками кожи — поистине сложнейшее жило государство красных и белых кровяных людинок, лилового человеческого мяса, белых костей и нервов, страданий, радостей, соображений, сознательного и бессознательного, такого, что не познано еще корою большого мозга.

Горничная давно уже не улыбалась, недовольно и настороженно посматривая на молчащего человека. Иван разглядывал ее болезненно остановившимися глазами.

— Ты дура, — негромко и очень сердечно сказал Иван. — Ты не знаешь, что кроме незнания, которое ограничивает наш мир, ты — и я — мы ограничены еще вот твоим мясом, из которого нельзя выскочить.

— На что это вы намекаете? — сказала горничная, обадриваясь, готовая к улыбке.

— Ну, ты смотри. Это все равно, ты или я. Я некрасивый, ничего у меня нет. Ну, ты смотри, что это на тебе за туфли? — бедность одна! — а вот ты сидишь, кокетничать за пятерку собралась, довольна сама собою. А на самом деле ты — переваренное мясо — и больше ничего, так, одна мышечная клетка из человеческого организма.

Иван помолчал.

— Вот, радий в своем пути разложения приходит к свинцу. И вот, свинец, возникший из радия, имеет атомный вес 296,09, а обыкновенный свинец, плюмбум, неизвестно как возникший, имеет другой атомный вес — 207,2. — Понятно? — ничего не понятно!

Иван помолчал.

— Ты прости, девушка, я из мозгов своих выскочил, — я куда ни посмотрю — все у меня в глазах разваливается — —

— — и он не кончил — —

— — опять

все провалилось, и опять возникло громадное государство костей, мяса, крови, нервов. Иван уже не знал, кто это государство — женщина ли, сидящая перед ним, или он сам. Во мраке черепной коробки повисли сталактиты времени, чердаками рухляди свалена была память: и во мраке черепной коробки было совершенно темно, совершенно, — черепная коробка разрасталась в невероятия, — как на заводе в шахте, Иван бродил по черепной коробке, спотыкаясь о память и с фонарем в руке. И — уже непонятно откуда, из черепа или из шахты — Иван вышел в ночное поле, в степь: — —

— — трое

здоровых, они несли на плечах винтовки и мертвецов — —

Горничная — уже не проститутьи кокетливо, уже не злобно, — но глубоко по-человечески, матерински-нежно толкала человека с остановившимися глазами к постели, — подталкивая, шептала:

— Ну, ну, ты ложися, ложися, поспи, — поспи, говорю!..

Иван отвечал тихо:

— Да, да, я посплю. Я очень устал. Ты стань на караул, возьми винтовку. Я посплю.

Матерински — женщина снимала сапоги с Ивана, раздела, положила, укутала, — и ушла из комнаты, бесшумно шлепая ночными своими туфлями.

Электричество осталось гореть.

— —

— — дальше Москва — комиссару Ивану Москве — была бредом, повторностью явлений и нереальностью.

— —

— — артист Владимир Савинов — в закулисном клубе одного из московских академических театров, в заполночный час, в заседании общества «Честное Слово» — читал лекцию о кукольном театре, о марионетках. Слушателями были артисты и немногие гости. Актер Владимир Савинов имел асимметричное лицо астеника: несмотря на русскую фамилию и явное российское происхождение, — разрезом глаз, крыльями бровей, лбом, цветом кожи — Савинов походил на индуса. Говорил Савинов лаконически, короткими фразами. Актеры знают тайну вещей — путь вещей в достижениях актерских целей: и Савинов повязал свою голову оранжевой чалмой. Тип астеников на русском языке называется — породою шалопупых: быть может, Савинов был и диспластиком.

Актер Савинов рассказывал историю марионеток, их путь через века, о том, что сейчас, вышед из веков, они остались в Осака в Японии, в Калькутте в Индии, в Каире в Египте, — что индийская память насчитывает марионеткам три тысячи лет, — этому абстрагированию искусства, когда человек в искусстве отказался даже от тела, тело заменив куклой.

Мозг и слова актера Савинова носили фантазию слушателей по неизученностям пространств и времени, по тем историческим закоулкам, которые называются искусством, которые всегда чуть-чуть истеричны и затырканы в дальние и темные углы кварталов темной человеческой радости.

И после лекции Владимир Савинов демонстрировал свое искусство: искусство владеть марионетками.

Была растянута черная материя, до третьей пуговицы жилета закрывающая Владимира Савинова. Был потушен лишний свет.

И тогда из-за черной материи вышла марионетка, женщина в плаще египтянки. Она поклонилась глубо-

ким поклоном, опустив руки к коленям. В руке ее было опахало. Голосом, собранным интонациями одних булыжин, Владимир Савинов, свисая над марионеткой, читал стихи. Марионетка — египтянка — женщина величиною меньше четверти метра — шла, шла, ступала своими сандалиями, как самая настоящая женщина, — шла, заставляя забыть, что она — только кукла в ловкости рук Владимира Савинова, дергаемая невидимыми ниточками. Она была примитивна. Она опустила опахало, она постояла в задумчивости, руку прислонив к глазам, — и она взяла сосуд с водою, поставила его себе на плечо, она согнулась под тяжестью сосуда, — и она пошла обратно.

Вслед за нею вышел индус в белых одеждах, — он сел на землю, подобрав под себя ноги, — он склонил голову, — и он задумался, как думают века истории его отечества.

Это было удивительнейшее зрелище, удивительная темная условность искусства, — и темная сила искусства, колоссальная, — ибо эти куклы — совершенно категорически жили в ловкости рук Владимира Савинова, человека с лицом диспластика, говорившего голосом булыжин.

Куклы: — жили, оживали в руках актера Владимира Савинова — —

— —

— — Иван был у врача.

Он позвонил в подъезде, разделся в прихожей, ожидал в приёмной, прошел в кабинет.

В тот момент, когда Иван входил в кабинет, в кабинет из другой двери входил профессор — из столовой, где на столе кипел самовар. Профессор по психиатрическим делам оказался человеком неожиданно тучным и имел такой вид, точно он спал ежесуточно по пятнадцати часов.

Ивану сразу показалось, что профессор стал его подкарауливать.

Профессор подал руку, сел, предложил сесть, снял крошку с пиджака и щелкнул портсигаром: «— курите?» —

Иван взял папиросу, но не закурил.

— На что можете пожаловаться? — спросил профессор, раскуривая папиросу.

И дальше Иван не помнил своего визита к профессору, по психиатрическим делам. Он вспомнил себя на улице, в руке у него была бумажка с адресом Донской психиатрической лечебницы. Он разорвал бумажку и бросил ее. Он — тогда на улице — совершенно точно ощущал в себе два сознания: одно, теперь владевшее им, было темным, волчьим сознанием, страшным, проваливающимся в непознанные непонятные инстинкты, — вот те, которые заставили разорвать адрес больницы, — другое сознание было ясным, прозрачным и — безвольным, — оно следило за первым и было бессильным.

— —

— — Иван пошел к Обопыню вечером. Обопыней не было дома, старик должен был прийти домой с минуты на минуту, — Ивана провели в темную комнату, чтобы он ожидал.

Обопыни в первый год революции поселились в княжеском особняке, в упраздненной домовой церкви. Обопынь-старший свой кабинет устроил в алтаре. Обопынь-старший нашел досуг стащить в свой алтарь неразграбленные вещи князей: его алтарь хранил в себе покойствие дубового письменного стола, дубовых кресел и дивана в медвежьей шкуре. Стены и пол Обопынь застлал коврами, которые крадут звуки. Печь, когда она горела, населяла алтарь покойствием, так же, как покойствие вселяли старинные кувалдинские часы, отзванивающие каждые четверть часа менуэтами осьмнадцатого века. Портьеры кутали окна алтаря, как женщины кутают пледами плечи. Обопынь внес сюда запахи псины (запах холостяцкого его положения) и касторового масла (запах его профессии): ладанный запах алтаря давно был выветрен.

Иван прошел в кабинет и сел на медвежью шкуру растянувшись, откинув голову к спинке дивана. Комнату эту Иван давно знал, и давно знал запахи Обопыня. Так Иван просидел минут десять.

Он уловил в воздухе, кроме запахов холостяцкой псины и касторки, третий, непонятный запах. Он стал принюхиваться. Непонятный, бередливый, чуть заметный, — Иван не сразу узнал запах разложения, мертвечины.

— Наверно под полом издохла крыса, — решил Иван.

Но запах не переставал беспокоить, и в памяти стал фронт.

Во мраке комнаты, за тяжелыми коврами мягкая была тишина. Иван лег на медведя, положив под голову подушку и заложив за голову руки. И тогда он услышал, как за головою его, в углу, нечто гудит, едва слышно, как гудят морские раковины.

Иван поднял голову и — поспешно сел на медведя: — в углу, едва заметно, призрачным фосфорическим светом светились человеческое лицо, шея, плечи, — бередливое шипение морской раковины шло из этого же угла.

Иван поднялся с дивана, пошел навстречу фосфорическому свету, в углу стоял человек. Иван зажег электричество.

В углу стояла мумия.

Но Иван — но Иван признал в ней — не мумию: — в углу — для Ивана — стояла Александра. Иван подошел вплотную к мумии: мумия пахнула мертвецом. Иван всмотрелся: закрытые веки мумии, ее лоб, ее ржаные волосы, ее прическа, ее губы, ее непонятная, прекрасная улыбка на губах мумии, — все то, что мумия пронесла через тысячелетья, — все это удивительнейше было похоже на Александру, — через тысячелетья все это удивительнейше повторилось в Александре — —

Но мумия рассказала и о другом: Иван узнал, что он обладал Александрой. Та женщина, имя которой он забыл в бреду, которую он забыл в бредовых памороках кубанского июля, — та женщина, с которой сошелся Иван в первый и последний раз за свою жизнь, тогда в июле в степной больнице, — была Александрой и мумией одновременно. Тогда в том бредовом июле безымянная девушка отдалась Ивану, чтобы стать женщиной, — тогда она встретила Ивана такою страстью, такими поцелуями и таким отданьем, которые могут родиться только в бреду — —

Многие куски этого вечера совершенно выпали из памяти Ивана Москвы, навсегда. В кабинет вошел Обопынь-старший. Иван не видел его. Обопынь-старший видел совсем не то, что в бреду казалось Ивану.

В углу комнаты стояла неподвижная мумия. С открытыми глазами лунатика человек склонился перед мумией. Всем благоговением, которое может в себе со-

брать любящий человек, человек целовал мумию — ее глаза, губы, щеки. Обопынь оторопело и удивленно говорил: — «грудку, грудку поцелуй, ножки!», — и человек целовал сплющенную тысячелетьем пелены грудь мумии, коричневые, иссохшие ее ноги, где мясо превратилось в ремень. Совершенно оторопевший Обопынь командовал: — «видишь, она просится к тебе на руки, — возьми ее, приласкай, поноси!» — и человек, корчась под тяжестью камня мумии, носил голую мумию по комнате, качал ее, как ребенка, и пел ей зырянскую колыбельную песню.

Это видел оторопелый Обопынь.

Иван видел, как Александра, умершая три тысячи лет тому назад, пошла к нему навстречу. Он, Иван, был вне времени и пространств, — он шел навстречу трехтысячелетней Александре. И он обнял Александру — по праву, по прекрасному праву, которого не было у него в жизни, которое дала ему кубанская ночь. И Александра склонилась к нему на грудь. Всем благоговением и всею нежностью, какие он мог собрать в себе, он целовал глаза трехтысячелетней Александры, которая, в мудрости трех тысячелетий, вышла к нему обнаженной, — всем благоговением он коснулся ее губ и колен. И он взял ее на руки, он баюкал тысячелетья на своих руках, он понес на груди самое прекрасное, что было у него в жизни, и он запел, как пела над ним его мать.

Обопыню, должно быть, стало страшно, — он сказал весело:

— Ванька, брось, поставь ее на место, брюхо надорвешь!..

И Иван покорно поставил мумию в угол.

— Ты присядь, Ваня, что ты на самом деле! — брось! — сказал Обопынь.

Иван покорно сел на медведя. Обопынь посмотрел на него удивленно, повеселел, недоумело. Иван сказал:

— Я задремал, что ли. Ты уже пришел.

Обопынь повеселел, заговорил:

— Мумию рассматривал?! — вот, брат, на старости лет женился, три тысячи лет барыньке. Три тысячи прожила, а в нашу революцию смердить стала. Вот, третью неделю воюю с ней, сам с собою борюсь.

Обопынь закурил толстую папиросу. Глаза Обопыня заплыли в тяжелые складки морщин, как бывает

иной раз у бульдогов, — и, как бывает у бульдогов, белки глаз Обопыня были испещрены красною сетью венок. Обопынь наклонился к Ивану. Обопынь был очень серьезен.

— Я сейчас с аэродрома, — говорил Обопынь. — Мне говорят, я вылетался, потерял сердце, — ерундиссима! — Куда угодно, как угодно я поведу машину, — в облака, за облака, — с закрытыми глазами поведу, как хочешь. — Нет, я не потерял сердца, — пусть кто-нибудь другой вылетался, это не мое дело!.. Я с мумией живу, поди!.. Ерундель, — по-французски — ласточка!..

— Это что значит — вылетался? — спросил Иван.

Обопынь ответил тихо:

— Это, знаешь... наша профессия. Пилоты, со временем, теряют сердце, у них появляется неуверенность, они начинают бояться воздуха, у них пропадает глаз, они неверно ведут самолет, — нервы гадятся. Если их болезни не заметят, они всегда гробятся, разбиваются.

Обопынь помолчал.

— Страшная болезнь! — крикнул он. — Человек боится воздуха, марает, как шмендрик, — и все-таки лезет в воздух, не может жить на земле, нечего ему на земле делать, — боится воздуха и лезет на него, — а на земле скучает, томится, водку пьет, — а в воздухе еще больше того дрожит от страха и — гробится на ровном месте, как шмендрик.

— Я вот тоже вылетался, — сказал Иван.

Обопынь заорал:

— Нет, я не вылетался, — нет-с, — ерундиссима, аттанде немного!.. Я в себе силу открыл. Велю, и никакая машина не может разбиться. Велю, и мумия будет танцевать. Это я тебе велел целовать мумию.

Иван встал, чтобы идти домой. Обопынь предлагал ему подождать сына, который хотел свести стариков к артистам в гости, где будут показывать марионеток.

Иван ушел.

— —

— — на том месте, где ныне стоит памятник Тимирязеву, в октябрьские дни 1917 года стоял трехэтажный дом. Этот дом был разрушен юнкерами и пушками. В этом доме Иван дрался за свою биографию. В дни до-биографии Иван обедал в этом доме несколько раз.

Ночью, когда Иван шел от Обопыней, — пролазом Богословского переулка, мимо старенькой церквенки, он вышел на Тверской бульвар и пошел направо, к Никитским воротам, чтобы посмотреть на тот дом, где он дрался за самого себя и за прекрасное человеческое будущее. Он обогнул кофейню, которую старые москвичи называли «Греком», и пошел вниз.

Он думал о том, что было тогда, в Октябре.

Он ждал увидеть вывеску столовой и трехэтажное здание.

Во мраке он увидел памятник.

«Как же это я ошибся, — подумал он, — шел к Никитским, а попал к Пушкину?»

И он повернул обратно.

Ночь была черна и безлюдна.

Он прошел мимо «Грека». Он увидел впереди памятник.

Он остановился в удивлении.

Он пошел к памятнику.

Это был Пушкин.

Иван прочитал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Иван потер себе лоб, осмотрелся кругом и пошел обратно.

Бульвар был темен и глух, — впереди стоял Пушкин.

Иван вжал голову в плечи и — уже не пошел, а побежал обратно.

Впереди стоял Пушкин.

Пушкин раздвоился.

Пушкин замыкал пути Ивана.

И тогда Ивана объял леденящий страх. Вжав голову в плечи, крадучись, на цыпочках, Иван вышел с бульвара в пролаз Богословского переулка, — Ивану казалось, что Пушкин спрятался за церковь, — Палашевскими Иван вышел на Тверскую, пошел к Дмитровке, Пушкин был за каждым углом. Иван шел на цыпочках.

— —

Александра — подлинная — знала о том, что у нее был бредовой июль, лишивший ее девичества, — но там

в бреду, как никогда в жизни, она не узнала, что мужем ее был Иван Москва, запамятовав это бредом.

— — утром Иван сложил чемоданы, чтобы уехать в этот же день. Он послал курьера за билетами и к Обопыню, чтобы тот был готов к отъезду. Сам Иван собрался в ВСНХ, в ЦСУ и в ЦК. Иван действовал и точно представлял себе порядок вещей. Он заготовил заявления о болезни и о негодности для работы. В гостинице, когда он спускался по лестнице, чтобы выйти на улицу, его остановил рассыльный и вручил ему сверток. В свертке были его вещи, которые у него отобрали бандиты, револьвер, бумажник, часы и кепка, — и было письмо.

В письме содержалось следующее:

> «Дорогой боевой товарищ и командир Ваня Москва! пишет тебе твой боевой товарищ и рядовой красноармеец, Семен Клестов с которым вместе ты тощил боевых мертвецов в Кубанских степях. Просмотрел я твои документы и сердце мое кровью облилося, как разъехались наши дороги ты ответственный красный директор а меня судьба вывела на большую дорогу. Прости меня, что тогда в темноте я тебя не узнал. Очень хотел я к тебе зайти старое помянуть, да сам понимаешь, не статья мне в ваши владения ходить.
>
> Низко кланяюсь тебе дорогой боевой товарищ и командир Ваня Москва и остаюсь рядовой Семен Клестов».

— —

— — вечером Иван Москва и Обопынь лежали в купе мягкого вагона.

Иван возвращался на завод, чтобы сказать Александре о том, что она — жена его, что он — ее муж. Тот бредовый июль был их венчанием, когда девушка Александра стала женщиной.

Иван дремал. Обопынь говорил:

— Хочешь, сейчас сюда вызовем эту самую мумию? — она тебе чай будет наливать! — —

— —

— — республиканские слова:

ЦСУ, НТУ, ВСНХ, ПГУ, Промбюро, рабфак — —

Глава заключительная

Вне обстоятельств.

...под уральскими металлургическими заводами земли крепки, как пот.

От дней Петра каждый завод на Урале памятует хорошее столетье быта, — и все заводы построены, как один. Леса кругом, глубокая здесь издревле лежала балка, по дну ее протекал ручей или речуга, — и речугу заплотинили плотиной, иной раз верст на пять длиной: и с одной стороны плотины возникал огромный пруд, целое озеро, а с другой — в овраге, в лощине под плотиной ставился тогда завод. Так делалось к тому, чтоб, кроме кабальных рабочих рук, пользовать еще бесплатную водяную энергию, — силою воды пускали завод.

Каждая такая плотина помнит столетье, — заводы стоят в сырости, в оврагах, прокоптились, одряхлели, на заводах работают вручную, — на заводах в домнах и мартенах плавят чугун и сталь, как плавили столетие тому назад, — не каменным — древесным углем, деревом, дровами: и у каждой заводской плотины — огромные сплавы дров, и пыхтит двигатель на лесопилке, готовя топливо заводу. И направо и налево от заводов, подпирая лес, в леса влезая, стоят прокопченные, приземистые, широкопазые избенки рабочего поселка. Рабочие здесь — вручную льют чугун, вручную мнут болванку, а дома пашут землю, ловят рыбу и пасут скотину (и такие горькие ботала звенят на шеях у скотины!). Рабочие с поселков остались здесь от крепостных и «государственных» крестьян.

Красный месяц поднимается на востоке, красною раною уходит солнце на западе, защитившись огненными щитами облаков: по лощинам в синей мгле лесов, меж гор вспыхивают красные раны мартенов — на Чермозе, на Майкоре, на Пожве, на Кувине, на Чусовой.

На заводах, на заводе из кусков чугуна («штыкового», «полового», «изложницы», «скардовника»), почти вручную, первобытно, почти как при Петре, выковывают серпы, косы, рельсы, чаны, котлы, кровельное железо. В мартене, конечно, зажат кусок солнца: туда надо смотреть, как на солнце, через синие очки, — но солнце мартена становится простою серою болванкою. Эту болванку разогревают в сварочном цехе: и с помощью

десятка рабочих рук и прокатного станка красное тесто железа раскатывают в длинные полосы, как хозяйка, когда хочет такими полосами покрыть пирог. Эти скатки режут на куски, почти вручную: и куски идут в железопрокатный цех, вновь их раскаляют, вновь их катят, как хозяйка скалкой тесто на пирог. Потом эти листы обрежут, проверят, промаслят, сложат — и будет готово листовое железо, различных качеств и толщин.

Потому что здесь работают первобытно, здесь на каждой пачке железа мастер пишет свое имя, отчество и фамилию — Карп Маркович Москва, внучатый племянник Ивана.

Там, где надо железо размять, прокатить, — там работает молот, силу получивший от воды, ничуть не сложнее, чем на наших деревенских водяных мельницах, где, как сказывают сказки, проживают в омутах водяные.

На заводе тесно, копотно, все старо, все завалено столетним мусором, вагончики таскают вручную. — Над заводом, за плотиной — простор озера. — Избы на поселке — широкопазы, с коньками на крышах, вестниками путины, еще не конченной на Руси — —

— — это быт,

родивший Ивана Москву.

Заключение первое.

Иван говорил Александре, неизвестно — в бреду или в яви:

— Радий!.. это совершенно неверно, что он есть некий сверхъестественный кладезь сверхматериальной силы. Это совсем не потому, что он обладает какими-нибудь особенными силами или содержит непознанный запас энергии, которого нет у других элементов... Слушай?! — слушай! — радий изумителен только потому, что он распадается быстрее всех остальных элементов, тогда как иные тела или вовсе не изменяются, или же изменяются так медленно, что человек не в силах проследить за ними. — Слушай, — радий из рода азров, — «полюбив, он умирает». Да, да, любовь есть распадение энергии, азры суть конденсированная энергия, — потому они прекрасны. Да, да, и не случайно радий обладает способностью наделять своею радиоактивностью окружающие предметы. Но, разлагаясь,

умирая, азра-радий дает в триста шестьдесят тысяч раз больше энергии, чем при сжигании того же веса угля, — слышишь, какая энергия?! — Так умираю я.

Иван говорил:

— Человечество стоит на пороге знаний. Этим знаниям я отдал свою жизнь. Первым шагом человечества от варварства к цивилизации было искусство добывать человеческой волей огонь. Но сейчас, когда человек стоит перед знанием о внутриатомных запасах энергии, на пороге обладания этой энергией, — сейчас человечество вновь находится в положении первобытного человека, когда этот первобытный стоял перед костром, зажженным молнией, не зная, как добывается огонь. Те источники энергии, которыми мы сейчас пользуемся, теперь мы считаем просто остатками от первобытных запасов природы, — это есть, это было. Будет, — будет, когда ключ от сокровищницы природы будет в наших руках, когда мы научимся превращать элементы — по нашей воле — из одного в другой. Человек — тоже только запас энергии: человек будет в руках человека: «случайности распада» будут скинуты со счетов человеческой жизни. Это — будет. Пока же — у человечества в руках только двести тридцать граммов радия, да, только!..

Иван говорил:

— Было принято рассматривать эволюцию Земного Шара как результат великих катаклизм и катастроф. Теперь человечество знает вечную, непрерывистую и непреодолимую работу космоса, которая, несмотря на медленность, делающую эту работу в краткости человеческого времени незаметною, вызвала в эпохах космического календаря такие большие и полные изменения, что современные черты земного шара являются только преходящими моментами постоянно меняющегося действа. — Да, но я умру. — Ты слышишь, Александра?!.

Заключение второе.

— — как всегда, когда рокотал пропеллер самолета, — по дорогам, по пахотам, верхами, на телегах, рысью, вскачь, на своих на двоих — бежали к самолету — мужики, парни, бабы, девки, дети, древнейшие старики — посмотреть, — в страхе, готовые в случае чего

дать лататы обратно, в случае чего принять в дреколья, во всяком случае такие, чтоб было понятно, что их «хата с краю».

Обопынь-старший и Снеж убирали самолет. Рабочий протолкался к Москве.

— Позвольте вас спросить, товарищ, — сказал рабочий. — По прямой линии с востока на запад сколько верст в час пролетит самолет?

— Сто семьдесят километров, — ответил Иван.

— А с запада на восток?

— Тоже сто семьдесят километров, — ответил Иван. Рабочий задумался, прищурил глаз, сказал:

— При такой скорости для точности, хотя бы пока в секундах, но принципиально надо брать в расчет вращение земли, товарищ!

Рабочий был прав. Иван вспомнил, что на его заводе время — по солнцу — разнится от местного на полчаса и нет ничего абсолютного, — и что человечество должно уже брать для «принципиальной точности» — брать в свой обиход вращение земли. Фюзеляж самолета похож на скошенный лоб, а кабины пилота и бортмеханика на глазницы, — и самолет, если смотреть ему в лоб, был похож на человеческий череп — эти пустые глазницы, этот срезанный лоб: человеческий череп всегда был символом мудрости.

— Что же, на небе холодней, что ли? — я гляжу, вы куртки меховые надеваете.

— Да, — ответил Иван, — чем выше, тем холодней. В высоте на три тысячи метров вода мерзнет в самую большую жару.

— Та-ак, — ответил мужичок раздумчиво, — святым, выходит, там холодно, — в шубах, небось, приходится ходить!..

Толпа комментировала:

— Яруслан, слышь, полетит?!

— Как гусь, — и по небу, и по земле!

— Дальнее поле жать ездить — очень подходяще.

— Раз загранитцы (от слова заграница) всю технику превзошли, нашей державе отставать никак нельзя.

Когда Иван, надев уже шлем, садился в самолет, он слышал, как одна баба сказала другой: — «коров пригнали, доить иттить надо!» — и вторая баба ответила: — «погоди, надоишься на своем веку, — не каждый

день ероплан летает!» — и Иван представил себе, как миллионы русских баб в этот закатный час, по команде солнца, сидят у коровьего вымени, миллионы доятся коров, — даже страшно представить эти миллионы российского лаптя кабалы к земле. И нет сил рассказать о том, что не комментируется словами, — того, что вот тут, у этого поля, где родились и умерли деды собравшихся, где в памяти соликамские строгановские разбои, где все родное, где пасутся овцы, а через речку плавает дощаник, такой дощаник, которому от рождения лет пятьсот, поди, — здесь на этом поле лежал самолет, человеческая воля, несущая человека в небо.

Право быть в воздухе — строгое право, и Обопынь был молчалив и торжественен.

— Контакт!

— Есть контакт!

Пропеллер ревет, толпа отвернулась от самолета, — или самолет отвернулся от толпы? — Земля мчит стремительно — до того момента, пока она не качнулась под самолетом: значит, самолет оторвался от земли, значит, самолет в стихиях, где нет быстроты и высот. И тогда уже не самолет, — самолет стоит на месте, — а земля под ним ползет назад, река, леса, поля, игрушки деревень, рубаха России. Клокочет пропеллер, солнце сбоку, рядом, — режет ветер. Минуты в воздухе — часами.

Облака идут под Иваном, самолет ушел за облака. Лермонтов верно сказал: караваны облаков. Караваны идут под Иваном. Солнце — рядом, то солнце, во имя которого качнулась однажды в мозгах Ивана земля. И если бы Иван был в Арктике, он понял бы здесь за облаками, что он — вновь в Арктике. Те облака, что над самолетом, это — небо и глетчеры вдали, они розовеют от вечного дня и солнца, они медленны. Те облака, что под самолетом, это льды, которые идут по сини моря. Леса вдали внизу, меж облаков — слились в синь моря, там во мгле. Конечно, Арктика, — вон та большая льдина плывет на самолет, — вон там на горизонте стал глетчер, — вот заторосились айсберги. Какое странное солнце в Арктике! — оно не идет высоко, но оно вечно, если там лето.

Но вон там впереди облака синеют, свинцовеют, солнце там ало, легкие тучи собираются табунами, там идет тучища. Самолет летит туда. Там не видно земли.

Там, внизу, где должна быть земля, — синь и мрак, которые не пускают туда глаз, — в эту синь закуталась рубаха России, щетина лесов. И чуть влево от самолета, под самолетом полыхнула молния, гром переревел пропеллер. Под самолетом — гроза. Самолет идет вперед: он единоборствует со стихиями, — ибо — вот кинуло самолет вверх, вот брошен самолет на крыло, вниз. Самолет летит над грозой. Минуты в воздухе — часами. Еще и еще самолет кинут направо, налево, вверх, вниз. Гремит гром, и полыхают молнии. Слева под самолетом свинцовая синь, видны потоки дождя, там полыхают, спешат молнии. А справа от самолета — безбрежный простор солнца, небесной сини, лазурной лесной сини, синих далей. — Молния, гром, кинуло вверх и вниз, звон в ушах, — и видно, как затрепетала машина, как крылья уперлись в воздух, зазвенели: быть может, на момент самолет остановился в воздухе, — но пропеллер опять уже рвет стихии, рвет облака, рвется вперед, вперед. Гроза — позади. — Сумерки, и вон из-за лесов, из-за земли красный, огромный встает диск луны, багрово красит облака: это на востоке, — а на западе красною раной уходит солнце, в кровь раскалывая облака. И земля внизу — синя, туманна, в сизой дымке, — и видно тут, и видно там, как леса горят в лесных пожарах, — мглится там внизу земля.

И тогда впереди внизу возникла Полюдова лощина, Полюдова гора, где Иван Москва разлагал земные недра.

Самолет пошел на снижение.

И тогда — —

— — бульдожьи морщины расправились у глаз Обопыня, глаза вылезли из орбит. Самолет шел штопором. Иван инстинктивно хотел встать и не двинулся, привязанный ремнем. Самолет стал в пике. Земля вертелась внизу волчком. Глаза Обопыня лезли из орбит. Руки Обопыня были свободны. Снеж, бортмеханик, сосредоточеннолицый, лез с парашютом в руках на фюзеляж, на крыло: с крыла его сорвало ветром, надувшимся парашютом. Тогда кровавой ракетой вспыхнул бензин — —

— — Александра вышла на гору встречать самолет. В синем небе вспыхнула ослепительная ракета. Этою ракетой умирал Иван, муж, о котором не знала жена.

Как некогда для Ивана солнце, сейчас неподвижным для Александры были — она и ракета, и качалась, качалась, падала земля. Александре было совершенно несущественным, что с земли встал веселый Снеж, отряхивая колени — —

В час смерти Ивана внизу, под обрывом, уже горели огни завода, того завода, выработкой которого Иван хотел установить, что в мире нет границ количеству свободной энергии, кроме пределов человеческого знания. Над землею шел тихий зырянский вечер...

Заключение третье.

Следопыт ушел с завода за день до смерти Ивана. Вернувшись к себе на урочище, куда он шел две недели по северной Кельтьме и по Екатерининскому каналу, закрытому семьдесят лет тому назад, — Следопыт, вернувшись домой, на родину Ивана, рассказывал о своих впечатлениях примерно так:

— Конешно дело, как я пришел, значит, на завод, один добрый человек свел меня сейчас к Ивану. Сидим это мы, чаёвничаем, и вдруг по небу летит ероплан, пролетел и уселся на земле. — «Слышь, — говорит Иван, — ткни суды пальцем!» — я ткнул, и весь дом загорелся лампами, которые светят, а не горят и не воняют. Тут пришли летчики, напоили меня пьяным, и я ничего не помню. Только знаю, проведена от Москвы на завод труба, и в ту трубу на завод говорит народный комиссар Луначарский разные слова. И говорит мне летчик по фамилии Снеж: — «придется тебе завтра лететь с нами!» — Я думал, он пошутил, и пошел с ними на гору ради шутки. Пришли, а он, еловый сук: — «влезай, — говорит, — в ероплан!» — Вот уж я испугался. Я побежал, да меня поймали. — «Если, — говорит, — побежишь, мы тебя арестуем!» — Думал, думал, пришлось садиться. Я не иду, а они подхватили меня под руки и повели, привязали там на ремень, чтобы не убежал. — «Не бойся, — говорят, — отец, если упадем, то вместе!» — Вот и поехали. Сначала это по земле ста полтора саженей летели, только брызги из глаз сыпались, — а потом на воздух поднялись, вот уж страшно, — летим, летим, потом вдруг сядем книзу аршина на два, а то и больше. Я поймался за начальника и сижу с ним. Он спросил: — «ви-

дишь, — говорит, — завод?», а я хоть и не вижу, а говорю, что видать. Земля внизу вроде тарелки. Конешно дело, покрестился я и заговор прочитал. — Потом мы опять сели на землю, все начальство на заводе меня узнало, за харчи даже не взяли. А начальник Снеж удостоверение написал, — «покажи, мол, дома, что ты летал, а то не поверят»... — Всем говорю, — хорошая штука ероплан, — всем советую сходить полетать. — Вот так и полетал, даже старший начальник по милиции остановил меня на дворе и спросил, как я летал. А потом Иван зазвал меня к себе, посадил на стул, спрашивал, как и летал, что на уме было, — я тут сознался, что сначала про себя матюгал на летчиков и даже перекрестился, а сейчас, говорю, согласен лететь!.. — Всем советую сходить полетать!.. —

Заключение четвертое.

И за день до смерти Ивана ушел с завода Яшка.

Через пять дней после смерти Ивана уехала с завода Александра.

В Усть-Куломе Александра догнала Яшку.

...«Зыряны» — значит — «оттесняемые», — но настоящее имя Коми — Коми-народ, — Коми-морт. В Усть-Куломе Александра спросила:

— Сколько верст осталось до железной дороги?

— Семьсот, — ответили ей.

Александра была у военкома, и военком рассказывал, как он ездил на регистрацию в село Мыелдино, за пятьсот верст. Там, в селе, все сидели по домам, в новой одежде; военком приказал показать ему для регистрации лошадей, — ему ответили, что лошадей показывать не стоит, ибо все равно завтра в девять часов утра будет конец света. Так никто и не шевельнул пальцем, сидели по домам и торжественно ждали. Военкому пришлось прождать до двенадцати часов дня, когда привели лошадей, решив, должно быть, что конец света отложен. Военком же рассказывал, как в селах здесь даются мандаты: — «Сельский совет, СССР и прочее», а затем вместо всяких слов хлебом приклеено гусиное перо и крестик по неграмотности. Мандат такой значит: — «вези такого-то, как перо!» — и мчат лесные народы по такому мандату — как пух — на лодках, телегах и оленях.

Александра вернулась в избу, где она должна была ночевать.

И ночью она услыхала, как кто-то возится внизу с лошадьми, понукает, двигает телегу. Она спросила, в чем дело? — и ей ответили:

— А это студенты в Москву уезжают.

Она спустилась вниз и увидела среди студентов Яшку.

Отсюда, из этих лесов, в Москву ехали студенты, один рабфаковец (Яшка), два студента Кутвы, один из петербургского техникума. Им предстояло проехать триста верст до парохода. Александра поехала с ними.

В Усть-Сысольске Александра и студенты пересели на пароход.

От времени до времени капитан парохода кричал:

— Граждане пассажиры, на корму!

Пассажиры шли на корму, — пароход проползал половину мели, — тогда — по команде капитана — пассажиры шли на нос.

Затем пароход застрял окончательно на мели, стоял сутки, пока не пришел второй пароход взять пассажиров. На пароходе было человек десять случайных пассажиров, таких, как Александра, — и было человек полтораста студентов. Это было то, что леса, болота, озера Коми-области выделили из себя, послали за знанием. — Каждый помнит с картинок из учебников географии старинные русские шляпы из войлока, вроде ведерок, — гречневики: студенты ехали в расшитых рубахах и в таких шляпах. Студентки ехали в сапогах и в платочках.

В ту ночь, когда пароход стал на мели, студенты сходили на берег, и Александра с ними. — Был зеленый, тихий — последний перед осенью — вечер, капал дождь и переставал, перестал. Лес стоял безмолвный, ельник и сосна, под ногами песок. Ныли последние комары. В просторном мраке, неподалеку, позванивали — глухо, медленно — ботала на шеях коров, — тех коров, около которых сидят ежевечерне миллионы русских баб, — ботала перезванивали на разные голоса, точно играл вдалеке испорченный орган. И от этого испорченного органа и от тихой ночи было покойно и мирно, и древне. Студенты разложили костер, пели около него песни. Александра присматривалась в зеленом мраке:

лицо зырянской девушки, широкое, здоровое, некрасивое, — только глаза за пенсне: — какие? как определить? — лесные глаза! — Девушка говорила медленно, очень на «о», очень открытыми звуками. — Она кончит в этом году университет. Ее зовут: Юлга-Елень. Она очень покойна, — только эти глаза, — какие? как передать? —

Александра спросила:

— В детстве вас водили молиться вашим богам, в лес?

Юлга-Елень не ответила.

Сказала Александра:

— Не стесняйтесь, меня к очень многим богам водили, в детстве. Я так же, как вы, ушла из этих лесов — —

— — и

Александра не кончила, ибо — —

Обстоятельство последнее.

— — трехтысячелетие мумии сменилось бредом Александры и Ивана! Вместо Ивана — на место Ивана — сейчас ехало — за счет распада энергии Ивана — ехало полтораста студентов, «оттесняемых» в знание лесами, болотами и озерами Коми-земли, — ибо «мне отмщение, и аз воздам». — А на заводе у Полюдовой лощины, в этот час, в лаборатории — таинственнейше, таинственнейше, светом звезд, луны, мумии и всего ночного, — светились, флюоресцировали, распадались камни земных непознанностей.

Узкое, 25 февр. — 19 марта 1927.

ШТОСС В ЖИЗНЬ

Часть первая

«...и каждый день был в театре. Что за т е а т р! Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо— ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеймейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо кончать или начинать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в это время кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь, головой прямо в барабан, и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! О, ужас! На голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи я все ждал, что будет?»...

. . . .

30 декабря с линии, из крепости Грозной, приехал в полк поручик Лермонтов, целый год ехавший из Петербурга в ссылку к тенгинцам. Полк был размещен на зимние квартиры в станице Раздольной. Квартирьер отвел Лермонтову халупу на краю станицы, предложив его казакам вернуться в сотню. Лермонтов казаков оставил при себе, отослав квартирьера. Весь день Лер-

монтов пробыл у себя в халупе, устраиваясь жить, развешивая по стенам ковры и раскладывая трубки.

Была зимняя слякоть, тучи каждодневно мазали собою небеса, снег падал и таял, и падал вновь, полк бездействовал, в полку было скучно, весть о приезде гусара, разжалованного в пехоту, поэта, дуэлянта и бамбошера, очень скоро разошлась по офицерским квартирам, и Лермонтова поджидали в корчме, где помещалось офицерское собрание. Лермонтов в корчме не появлялся, через денщиков же узнали, что к Лермонтову приехал из Симферополя со столичными сундуками крепостной его человек, по имени Иван Вертюков, лакей по положению. Вертюков приехал в петербургской ливрее, и через окно видели, как Лермонтов с казаками и с Вертюковым, сидя на корточках на коврах, с засученными рукавами, пил чай, отдыхая от уборки. Полк был провинциален. Вечером подпрапорщик Вадбольский, влюбленный в легенды о Лермонтове, подглядывал в окошко, —казак выходил за калитку, чтобы цыкнуть на ротозея. Через окошко была видна нищая казачья изба, выбеленная мелом. Лермонтов и его рабы бездельничали за трубками. Вертюков курил лермонтовскую трубку и брал табак из лермонтовского картуза. Бородатый казак рассказывал историю.

Огонь в окошке погас далеко за полночь.

Наутро Лермонтов был в штабе полка и был зачислен приказом по полку —«налицо». Лермонтов явился к командиру в полной пехотной форме; командир, уездный и боевой полковник, старый уже человек, покряхтел, покрутил пуговицу лермонтовского мундира и просил поручика пожаловать в собрание на встречу Нового года. Лермонтов откланялся, командир покряхтел. В полку Лермонтова знали понаслышке, знаком с ним был только офицер артиллерийской роты Мамацев, но Мамацева не было на месте, он должен был вернуться к вечеру, и в офицерском собрании, в корчме, за биллиардом стало известно немногое, что: невысок, головаст, кривоног, волосы темные и на самом лбу светлая прядь, одет небрежно, а пахнет английскими духами, глаза наглые.

Приказ же о зачислении «налицо» писарями пришивался к Книге приказов, где наряду с Журналом военных действий писалось примерно следующее:

«...Выйдя такого-то числа, отряд в две роты штыков, сотню казаков и в одну пушку встретил на перевале к такому-то лесу сброд чеченцев в таком-то количестве. Хищники рассеяны по степи...»

«...Выйдя такого-то числа, таким-то отрядом, напали на такие-то аулы. Аулы уничтожены дотла, население бежало в горы...»

«...В сожженном ауле таком-то в плену остались одни грудные дети...»

«...Возвращаясь из экспедиции такого-то числа в таком-то составе, подверглись нападению обезумевших дикарей. Чеченцы лезли на штыки, не сообразуясь с никаким смыслом, картечь их не останавливала. Противник уничтожен весь до одного. Отмечаем беспредельную храбрость офицеров таких-то...»

— — то есть приказ о Лермонтове «налицо» был вписан в книгу, где рассказывалось без всяких прикрас о кавказской кампании Николая I, той кампании, которую следует по существу называть не войною, а организованным вырезыванием людей на Кавказе, ибо война протекала «экзертициями», когда горцы — старики, дети, женщины — уничтожались поголовно, их аулы выжигались и сравнивались с землей, их стада угонялись на кормежку русских солдат и в казачьи степи. Понятно, почему «дикари» «обезумели». Война шла во имя покорения Кавказа — Двуглавому Белому Орлу, дабы горцы были — «покорны»!

В корчме, нивесть каким образом, имелся биллиард. Офицеры понатащили туда ковров, трубок, шахмат и шашек. Вина продавал еврей-маркитант. Тридцать первое декабря было серым днем с утра, затем шел снег, к вечеру стало морозить, и облака ушли на Кубань. Было скучно, офицеры предпочитали с утра сидеть в собрании. По правилам фронтовой жизни строгости формы не соблюдались, — одевались как вздумается, одни в артикульной форме, другие в черкесках, третьи в вышитых матерями и невестами рубашках, — играли на биллиарде, курили, валялись на диванах, рассказывали всячес-

кие истории. Собрание по существу было общежитием. Император Николай в золоченной раме величествовал со стены. Неожиданно и очень ненадолго приходил Лермонтов, — он перещеголял небрежностью одежды, — пришел в бурке, в папахе, их оставил на руках Вертюкова в лакейской, в буфетную вошел в старых гусарских рейтузах и в красной канаусовой рубахе, подпоясанной черкесским, с серебряным набором, ремешком. Откланялся офицерам, ни к кому не подошел, прошел в буфетную, заказал обед и вместо вина пил молоко, тяжестью глаз своих давил тарелки, ни разу не подняв их на подпрапорщика князя Вадбольского, который сидел против Лермонтова с бутылкой кахетинского. Лермонтов ушел сейчас же после обеда, Вертюков следовал на шаг сзади него, таращa по сторонам глаза.

В корчме притихло, пока там был Лермонтов, но, когда он ушел, никто ни словом не помянул его. Капитан Арапов в диванной закурил новую трубку и стал продолжать рассказ, как однажды гусары выиграли казначейшу. Юнкер Мещерский спросил:

— Арапов, ты помнишь, где это было?

— В Тамбове, — ответил Арапов.

— Жорж, так эта история описана поручиком Лермонтовым!

Было чистейшей случайностью, что лермонтовская «Казначейша» всплыла в памяти Арапова в день приезда Лермонтова. Арапов круто переменил тему: стал рассказывать, как при усмирении поляков гулялось с паненками.

К вечеру приехал Мамацев, и Мамацев сейчас же пошел к Лермонтову. Они поцеловались, они сели на диван рядом, рука в руку. Ванюшка Вертюков принес свежую бутылку рома. Они вспоминали Пятигорск, госпожу Гоммер де Гэлль, Нину Реброву, водяное общество и водяные куры. За этими разговорами они пришли в собрание, Лермонтов был в сюртуке без эполет.

В собрании Мамацев возвестил:

— Михаил Юрьевич Лермонтов, новый наш товарищ, душа общества и укротитель дам! Охулки на... не кладет и банк мечет до последних брюк.

Офицеры решили, что Мамацев пьян. Командир полка, полковник Хлюпин взял Лермонтова под руку, повел представлять по чинам. Лермонтов был любезен и весел.

— До полночи, батенька, не дам ни рюмки, — говорил командир, — как хотите, — если душа не терпит, бегайте к жиду на кухню. В полночь выпьем здравие государя императора, за воинство и за тенгинцев, и тогда — как хотите!

Лермонтов и Мамацев сели играть в шахматы, но партии кончить не удалось. Стол окружили офицеры. В гостиной, готовясь к полночи, варили жженку и, как всегда бывает в таких случаях, не умели варить как следует, — призвали Лермонтова, Лермонтов снял сюртук. Штаб-офицеры сели за большой шлем, молодежь сломала колоды для штосса. Лермонтов с засученными рукавами и с половником в руке поставил карту, ее убили, он бросил золотой, отыграл, вернулся к жженке.

— Господа, — сказал князь Мещерский. — Сегодня святки, на севере в России, у нас в усадьбах, в Москве, в Петербурге, — по всей России сейчас в каждом доме — собрались наши сестры, невесты, любовницы, и все гадают и рассказывают святочные истории... Вадбольский, я уверен, что сейчас какая-нибудь Мэри или Китти или попросту горничная Дашка вздыхает по вас, забившись куда-нибудь под шубы и чихая от нюхательного табака... И за воротами спрашивают, как будут звать их жениха, а на самом деле думают о вас, князь Вадбольский!.. Попросим Лермонтова рассказать какую-нибудь святочную историю. Попросим, чтобы он придумал, чем и как нам погадать!

Лермонтов рассказать историю — согласился охотно. Он сходил к столу, взял карту, карту били.

— На счастье! — сказал Лермонтов и вернулся к жженке. — Я вам расскажу странную историю, — заговорил он. — В Петербурге эта история хорошо известна. В Петербурге проживал художник Лугин, человек, принятый в большом свете, и большой чудак. Светские забавы ему были чужды. Он только что вернулся из Европы, где осматривал мастеров живописи. Петербургские туманы заразили его сплином, аглицкой болезнью. И во сне и наяву ему стал неведомый голос твердить адрес: в Столярном переулке у Кукушкина моста, дом титулярного советника Штосса, — заметьте, мы играем сейчас в штосс! — квартира нумер двадцать семь. И так ежечасно. Лугин никогда не слыхал даже о Кукушкином мосте. Наконец он решил разыскать квартиру нумер двадцать семь. Адрес, пригре-

зившийся во сне, оказался действительностью. Плешивый дворник сказал, что дом только на днях перешел к титулярному советнику Штоссу, а раньше принадлежал купцу Кифейкину, который разорился. Лугин был удивлен. Дворник рассказал, что квартира нумер двадцать семь — недобрая квартира — все разорились. Лугин осмотрел квартиру. Квартира была запущена, с пыльной мебелью, некогда позолоченною, со скрипящими сосновыми полами, в обоях, на которых по зеленому грунту нарисованы были красные попугаи и золотые лиры. Висели на стенах портреты. И один портрет поразил Лугина. Это был человек заполдневных лет, в халате, с табакеркою в руке, с перстнями на пальцах. Портрет был плох, казалось — он написан ученической кистью, —но в выражении лица, особенно губ, дышала невыразимая жизнь. Губы были насмешливы, ласковы, злы и грустны одновременно. Портрет был зловещ и разителен, и он был неизъяснимим. Лугин снял эту квартиру ради этого портрета и ради вести о том, что здесь живет нечто недоброе. Не принадлежа уже своей воле, он послал людей в трактир Донона, где стоял, за вещами и к вечеру расположился в новом своем кабинете, расставив по местам свои холсты. Надо заметить, что на самое видное место он положил папку незаконченных карандашных и акварельных рисунков, на которых было рисовано одно и то же лицо — эскиз женской головки. У каждого человека есть идеал женской красоты, которую каждый человек ищет до конца своих дней, —это были наброски фантазии художника, его мечта, его видение... Непостижимая лень охватила художника, кисти валились из его рук. Свечи на столе и в канделябрах закачали свет свой и стали чадить. Приближалась полночь. И вдруг тогда за окном заиграла шарманка, она играла незнакомый старинный немецкий вальс. Эта музыка в полночь была необыкновенна. Старик-лакей вошел в кабинет оправить свечи. «Ты слышишь музыку?»— спросил Лугин. «Никак нет, сударь»! — ответил Никита. «Пошел вон, дурак!» — молвил бессильно Лугин. Музыка продолжалась, и необыкновенное беспокойство овладело Лугиным, ему хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Все жизненные силы напряглись в нем, он сразу вспомнил всю свою жизнь. Облик той девы, которую он видел в грезах и ради которой жил, наклонился над ним. Лу-

гин впал в транс. Шорох шлепающих туфлей привел его в память. Он поднял голову. Страшного портрета не было на стене. В доме была могильная тишина. Тогда скрипнули половицы, пропела дверь, и в комнату, со свечою в руке, в халате, в ночных туфлях, вошел — тот самый старик, который был изображен на портрете... Но не это было главное, — вслед за стариком, во плоти, опустив глаза, в подвенечном платье — шла та дева, образ которой навсегда мучил своею божественностью воображение художника. Его мечта, его смысл жизни, — она была во плоти... И поэт не заметил старика, шлепающего к нему туфлями, он весь был поглощен видением любви, которая была выше жизни. Дыхание погреба повеяло на Лугина от старика, — музыка рая неслась от девы. Старик поставил на стол свечу и положил новые колоды карт. «Позвольте представиться, —сказал старик, — титулярный советник Штосс!» — «Хорошо, — сказал Лугин, — мы будем играть на жизнь» — «Што-с?» — спросил титулярный советник. «Прошу без шуток! — вскричал Лугин, — мы играем на жизнь и на красоту!» — «Не угодно ли, я вам промечу штосс?— ответил старик, делая вид, что он не слышит, и положил на стол клюнгер, — я играю только на деньги»...

Лермонтова перебили.

— Господа офицеры, через десять минут полночь! Прошу за столы! —крикнул полковник Хлюпин. — Поручик, вы успеете еще дорассказать вашу страшную историю. Долг требует выпить здоровье его величества!

Офицеры двинулись к столам. Лермонтов остановил понтера, спросил:

— Что же, еще карту? Старик научил нас не ставить на карту желаний и дев. Я ставлю золотой.

Лермонтов проиграл, вернулся к жженке. Его помощники суетились, он был задумчив. Офицеры уходили из диванной вслед за командиром. В комнате стало тихо. К запаху табака примешался запах жженого сахара, сахар горел, облитый коньяком, синие огни бегали как гномы. Шум перешел в соседнюю комнату, в буфетную. Синие гномы бегали по сладости сахара. Вестовые тушили свечи. Несколько офицеров обступило Лермонтова.

— Михаил Юрьевич, — сказал Мещерский, — конечно, это ваше новое творение. Вы второй раз возвращаетесь к теме карточного выигрыша женщины. Пер-

вый раз это было в тонах реализма, именно в «Казначейше». Прошу вас, продолжайте рассказ ваш. Старик мистичен, — тем не менее он играл только на деньги...

У Лермонтова были тяжелые глаза. Он был низкоросл, и все же казалось, что он на людей смотрит сверху вниз, и он не умел глядеть в глаза людей — именно потому, что он был низкоросл. Лермонтов обратился к Вадбольскому:

— Знаете, прапорщик, в вашем возрасте я выигрывал женщин без карт.

Вадбольский не понял, Мещерский покраснел, как принято краснеть девицам. Молвил Мамацев:

— Полно, Мишель, продолжай твой рассказ. Скоро полночь.

Лермонтов ответил не сразу, очень серьезно — так серьезно, что серьезность можно было принять за пародию.

— Нечего продолжать, полковник перебил меня на месте, — сказал Лермонтов тихо, — я все уже кончил. Лугин хотел играть на жизнь, ибо его мечта о деве стоила жизни, — он хотел, чтобы старик поставил на карту эту деву. Старик поставил клюнгер. Мистические силы — и те играют на деньги, скушно... А вы правы, Мещерский, — я никогда не думал о совпадении казначейши со Штоссом, — это совершенно не случайно. — Лермонтов помолчал. — Вы говорили, что горничная Дашка ждет Вадбольского, Мещерский, — вы свалили с больной головы на здоровую, не так ли?..

Стенные часы стали бить полночь. Офицеры побежали в буфетную к столу. Пили здоровье императора Николая Павловича. Офицеры кричали «ура», — и по тому, как они кричали, можно было с уверенностью заключить, что пьяны были офицеры задолго до полночи. Вскоре тосты спутались, пили и приветствовали каждый по своему усмотрению, на свой салтык. Тогда молодежь стала требовать тоста от Лермонтова. Притащили грузинский рог, выбрали тамаду. Тамада передал рог Лермонтову. Круг офицеров затих — одни в безразличии, другие в недовольстве, третьи в восхищении. Соседи Лермонтова вышли из-за стола. Офицеры в конце стола стали на стулья. Лермонтов был бледен и опять очень серьезен тою серьезностью, которую можно принять за пародию, в руке у него был рог, полный кахетинского. Настала тишина.

— Господа офицеры! — крикнул Лермонтов и добавил очень тихо: — я пью — за смерть!..

Не все расслышали, слово с м е р т ь прошелестело объяснением. Лермонтов пил рог, полуприкрыв глаза. Рог, в котором было несколько бутылок вина. Лермонтов пил не отрываясь. Офицеры не нарушали тишины. Вены на висках Лермонтова надулись, но лицо бледнело. Лермонтов опустил пустой рог и опустился к столу.

— В чем дело, поручик?— спросил командир. — Что за странные шутки!

— Это очень серьезно, господин полковник, — ответил Лермонтов, подняв тяжелые веки. — Покойной ночи, господа офицеры, нового счастья!

Лермонтов поднялся со стула и пошел к двери, офицеры расступились, Вертюков подал бурку и упал, потеряв равновесие, к ногам Лермонтова. Лермонтов вышел, не поднимая глаз, Вертюков малость полз на четвереньках, затем стал на ноги. Мамацев вышел вслед за Лермонтовым.

На улице подмерзло, и светили звезды, воздух был свеж и колок. Лермонтов шел быстро, кривоногий человек. Мамацев догнал его, пошли рядом. Светила в небе громадная луна. Лермонтов остановился на перекрестке, поджидал ползущего Вертюкова, смотрел вдаль, улыбнулся луне и стал вновь серьезен. Вертюков сидел на снегу.

— Видишь, — сказал Лермонтов Мамацеву, — вон в том месте Эльбрус, — видишь, там под луной должны блестеть его ледники. — Лермонтов стал торжественен. — Это я вижу первый раз Эльбрус ночью.

— Да там ничего и не видно, — ответил Мамацев.

— Смотри!— Лермонтов указал сторону, где вдали под луною должны были быть ледники хребта, вечное спокойствие. Там был мрак. Выли в станице собаки. Лермонтов долго смотрел во тьму пространства.

— Мишель, — заговорил Мамацев. — Почему такой странный тост — за смерть?

— Это очень серьезно. Конечно! Смерть — единственное реалистичное. Умрет старик командир, умрем мы, умирают наши любовницы. А мы, солдаты, прямо к тому и существуем, чтобы умирать.

— Но ты сегодня же говорил иначе, вспоминая Жанну. Мне говорили, будто бы ты скакал на тележке в Крым, чтобы догнать ее...

Лермонтов ответил не сразу.

— Что же, и м-м Гоммер де Гэлль тоже умрет, — а Эльбрус останется.

— Ты действительно ездил к ней?

Лермонтов не ответил. Офицеры двинулись к дому Лермонтова.

— У меня был случай в жизни, — заговорил Лермонтов. — Даже смерть есть также пустяки!.. Ванюшка, нализался сукин сын! — обратился он к денщику. — Ползи вперед, зажги свечей, согрей чаю, — да не спали спьяна избы, подлец!.. — Это было в Тифлисе. Я шел в баню и встретил красавицу-грузинку. Я пошел за ней, на углу она поманила меня. Я позвал ее в номер. Она пошла вперед и вскоре вернулась, опять поманив меня. Она сказала, что суббота, бани полны, и невозможно пройти туда незамеченным. Я позвал ее к себе, она отказалась. Я ее не пускал, она была прелестна. Тогда она сказала, что соглашается... Она сама найдет место — только чтоб я поклялся сделать, что она велит. Я поклялся. Я пошел за ней в туземный квартал. Она приняла меня на коврах и мутаках, она была упоительна. Тогда она потребовала выполнения клятвы. Она просила меня вынести труп. Мне стало страшно. Она повела меня по темной лестнице куда-то вниз, в подвал дома. Там, завернутый в татарский саван, лежал мертвец. Я и не подозревал, что я предаюсь объятиям в доме, где лежал труп. Она поцеловала меня, толкая к мертвецу. Мне стало дурно, но я поднял мертвеца и поволок его в сад. Она мне помогала. Мы пошли закоулками, остерегаясь прохожих. Отдыхая, мы целовались. Я бросил труп в Куру, сняв с него незаметно кинжал. Я обернулся. Женщина исчезла. Я пошел искать ее дом и ничего не нашел. Мне сделалось совсем дурно. Я пришел в сознание только на утро на гауптвахте, куда меня отнесли дозорные. Кинжал мертвеца был при мне. Я посвятил в тайну моих товарищей. Мы отправились на розыски. Мы не смогли найти дома. Тогда мы пошли с кинжалом к Геургу, оружейному мастеру, потому что кинжал был его работы. Геург сказал, что он сделал этот кинжал русскому офицеру. Мы приказали Ахмету найти следы этого офицера. Ахмет разыскал денщика, нам стало известно имя. Денщик сказал, что его барин долго ходил по соседству

к одной старухе с дочерью, а затем пропал без вести. Денщик повел нас к дому, где жила старуха, этого дома я не знал, в доме никто не жил. Мы ничего не нашли. Я мечтал встретить мою грузинку. И я ее встретил. Я шел ночью по караван-сараю и увидел ее с грузином. Она узнала меня, она подала мне незаметный знак, чтобы я не узнавал ее и шёл за нею. Я пошел следом. Они вышли к Куре, пошли на мост около Метехского замка. Я шел за ними. Вдруг оба они возникли передо мною. Он спросил, как меня зовут. Я ответил. Он крикнул, как смею я волочиться за его женой. У нее в руке был кинжал, она была прекрасна. Я понял, что кинжал этот приготовлен для груди грузина. Он схватил меня за плечи, чтобы столкнуть в Куру, но у меня наготове был стилет — и грузин пал в Куру замертво. Я обернулся, чтобы поцеловать грузинку. Ее кинжал занесся над моим сердцем. Я не успел ее поцеловать — она последовала в Куру за мужем... Она была прекрасна!.. — Лермонтов замолчал. — Что же, три смерти... Я рассказываю теперь об этом спокойно... А однажды в атаке я неловко ударил чеченца саблей. Я рассек ему глаз, скулу и губы, конец сабли застрял в зубах. Я никогда не забуду его лица. Здоровый его глаз метался белком. Он извергал мольбы Аллаху и русские ругательства, и изо рта сыпались зубы, и у него было четыре кровавых губы.

— Но ты ничего не говоришь о м-м Жанне Гоммер де Гэлль!— сказал Мамацев, совершенно пьяный.

Лермонтов и Мамацев стояли у калитки. Лермонтов молчал.

Светила полная луна. Замерзший снег блестел морозом. Вдалеке под луной покойствовал, величествовал хребет, Эльбрус, — но хребта не было видно в ночи со станицы Раздольная. Мамацев предложил послать за кахетинским. — Лермонтов хотел чаю. Товарищи простились. Лермонтов долго следил за луной. Лицо его было печально. На глазах его были слезы. В халупе он сел к столу, к свечам, и долго сидел у стола, с бумагами. Вернувшийся вчера Ванюшка Вертюков привез письма из Петербурга, от друзей, об бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Вяземский присылал книгу «Современника» со статьей Белинского о «Герое нашего времени». Бабушка рассказывала светские новости, ожидала внука в Петербург к масляной, пересылала бумагу старосты Степана насчет продажи крепостных

людей, чтобы внук засвидетельствовал в полковой канцелярии руку. Лермонтов долго сидел над бумагами и книгами.

Так Лермонтов встретил 1841 год, последний год своей жизни.

. . . .

Мамацев же тою ночью под 1 января 1841 г. не ложился спать, прокутив всю ночь. Он вернулся в корчму, где допивали дебоширы. Было совершенно пьяно. Тела валялись по диванам и по полу. На биллиарде спал капитан Кочубей, в изголовье его горели три свечи. На груди его метали банк. Играли в штосс. Понтеры сидели и висели на биллиарде. В буфетной допивали и пели. Мамацев догонял собутыльников в водке, и он рассказывал истории Лермонтова. Офицеры слушали без послесловий. Ссылки в связи со стихами на смерть Пушкина и за дуэль с де Барантом были общеизвестны. Мамацев рассказал о Жанне Гоммер де Гэлль, этой прекрасной француженке. В окна кормчы ползли синие мертвецы рассвета. Мамацев сидел на биллиарде, рассказывая. Штосс был забыт. В золотой раме на стене поблескивали масляные краски императора Николая.

— Это была обольстительная женщина, француженка, жена французского путешественника и ученого, сама путешественница и поэтесса, воспетая Альфредом Мюссэ. С мужем она исколесила всю Азию, и судьба ее занесла на воды. Лермонтов вернулся из экспедиции в Малую Чечню, где крошили хищников, и поселился в Пятигорске. Водяное общество было блестяще. Мадам де Гэлль была окружена эскортом поклонников. В галерее каждодневно гремела музыка и были балы. В грот Дианы невозможно было ходить, потому что он перестал быть местом уединения, став отдельным кабинетом золотой молодежи. Ежедневно кавалькады уезжали на Машук и к подножью Бештау. Лермонтов был всюду. Лермонтов устраивал пирушки в гроте, заливая его шампанским. Лермонтов волочился сразу за тремя дамами — за де Гэлль, за Ребровой и за петербургской франтихой, забыл как звали, рыжая красавица. Мадам де Гэлль, не стесняясь, при всех называла Лермонтова Прометеем, прикованным к горам Кавказа, намекая на его ссылку. Мадемуазель Реброва была влюблена без памяти. Франтиха ездила с Лермонто-

вым наедине в горы. Лермонтов вел свои куры при всех сразу. Однажды вся компания переехала в Кисловодск, там был грандиозный бал в честь их высочеств в закрытой галерее. Де Гэлль и Реброва остановились в одном доме. Лермонтов провожал Реброву и де Гэлль. Он был блистателен. Реброва — очень оживлена. Тогда Лермонтов во всеуслышание сказал ей, что он не любит ее и никогда не любил. С Ребровой — истерика. Лермонтов все же проводил ее домой и, уходя, оставил у нее свою фуражку. В два часа ночи видели, как Лермонтов стучал в окно спальни мадам де Гэлль. Окно отворилось, и Лермонтов исчез в нем, махнув фуражкой. Ставня закрылась за Лермонтовым... Но в пять часов утра, уже на рассвете, Лермонтова видели совсем на другой улице; он спускался на простынях с террасы того дома, где жила петербургская франтиха. Он был без фуражки. Наутро стало известно, что Лермонтов оставил за ночь три своих фуражки в трех разных домах — у Ребровой, у де Гэлль и у франтихи, — имея три ночных рандэву. Но Лермонтов не удовлетворился этим. Утром Лермонтов проезжал мимо окон Ребровой и де Гэлль, — он ехал верхом рядом с франтихой, и на голове франтихи была — фуражка Лермонтова!.. Франтиха не понимала, что она всенародно компрометирует себя этой фуражкой, похожей на Диогенов фонарь среди бела дня. Мадемуазель Реброва слегла в постель. Мадам де Гэлль отослала с лакеем фуражку и отказала Лермонтову от дома. Франтиха, считавшая себя победительницей, к вечеру, вернувшись с прогулки, узнала, каким чучелом нарядил ее Лермонтов, когда она по своей же воле надела его фуражку, — и на следующее утро она выехала с вод в Петербург, потеряв весь свой престиж, совершенно скомпрометированная... Лермонтов был счастлив!..

В корчму шли утопленники рассвета. Мамацев рассказывал с упоением. Штосс был забыт. Капитан Кочубей спал на биллиарде, в головах у него горели три ненужные свечи, грудь его была завалена картами. В золоте рамы на стене в белых лосинах император Николай величественно смотрел перед собою. В буфетной выстрелами из пистолетов стали тушить свечи. Кочубей вскочил от выстрелов, с него посыпались карты. Карты собрали для штосса. За окнами рассвело. За станцией, где стоял на зимних квартирах полк, лежала степь. Вдали был виден хребет, солнце окрасило вечные льды. Хребет

покойствовал вечным величием. Там в горах жили люди, с которыми воевал царь Николай — воевал разорением, насилием, огнем, уничтожением, вырезывая племя за племенем. Горы были к югу от станицы.

К северу лежала — Россия — —

. . . .

Мамацев рассказал истину о м-м Гоммер де Гэлль. В старых французских архивах есть письма М-м Гоммер де Гэлль, этой необыкновенной женщины, которой посвящал свои стихи Альфред де Мюссэ, которая — действительно считала Лермонтова Прометеем — прикованным к горам Кавказа, величайшим поэтом России. И действительно Лермонтов скакал по октябрьским степным грязям две тысячи верст на телеге, без разрешения начальства, вопреки стихиям, чтобы пробыть несколько часов около Жанны де Гэлль. Вот желтые листки ее писем:

> «...Тэбу де Мариньи доставил нас на своей яхте в Балаклаву. Вход в Балаклаву изумителен. Ты прямо идешь на скалу, и скала раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продолжаешь путь между двух раздвинутых скал. Тэбу показал себя опытным моряком. Он поместил меня в Мисхоре, на даче Нарышкиной. Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре и поправляет свои стихи. Я ему сказала, что он в них должен непременно помянуть места, сделавшиеся нам дорогими. Я, между тем, пишу мое письмо к тебе. Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе! Не подумай чего дурного. Мы оба поэты. Он сблизился со мною за четыре дня до моего отъезда из Пятигорска и бросил меня из-за рыжей франтихи, которая до смерти всем в Петербурге надоела и приехала пробовать счастья на кавказских водах. Они меня измучили, я выехала из Кисловодска совсем больная. Теперь я счастлива, но не надолго. Мне жаль Лермонтова; он дурно кончит. Он не для России рожден. Его предок вышел из свободной Англии со своей дружиной при деде Петра Великого. А Лермонтов великий поэт. Он описал наше первое сви-

дание очень мелодичными стихами. Он сам на себя клевещет: я редко встречала более влюбленного человека...

. . . .

... Я ехала с Лермонтовым, по смерти Пушкина величайшим поэтом России. Я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отстали от нашей компании. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Ламбат. Мы приютились в биллиардном павильоне, принадлежащем, по-видимому, генералу Бороздину, к которому мы ехали. Киоск стоял один и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли биллиард с лузами, отыскали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю русскую партию. Мне казалось, что наша игра гораздо значительней, чем просто игра в биллиард, и это была русская игра... Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам... Я всегда любила то, чего не ожидаешь...»

Тэбу де Мариньи, владетель военной шхуны «Юлия», был французским генеральным консулом в России. Лермонтов приезжал в Крым, чтобы пробыть несколько часов с Жанной Гоммер де Гэлль. Лермонтов играл с м-м Гоммер де Гэлль в биллиард — в грозе, в зеленой роще — в предпоследнюю с ней встречу. Тэбу де Мариньи собирался ехать вслед Лермонтову на Кавказ, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль. Это был солнечный крымский октябрь. Жанна Гоммер де Гэлль была солнечной женщиной, эта женщина, которая любила Лермонтова, человека и поэта, потому что она была нерусской, и любила так, как никто его никогда не любил. Она писала: «Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам». — Лермонтов вернулся к своим отрядам, Жанна ушла в синь Черного моря. Тэбу де Мариньи встретил ее на своей шхуне — пушечным салютом. Шхуна ушла в синее море, Лермонтов...

...К северу от Крыма, от Кавказа — лежала — великая! — Россия!..

И еще был Новый год — 1840-й. Его встречали в Пятигорске в доме наказного атамана кавказских казачьих войск генерала Верзилина, в том доме, который впоследствии перешел к Акиму Александровичу Шан-Гирею, двоюродному брату Лермонтова, и в котором 13 июля 1841 г. Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Генерал Верзилин был начальством, — хлебосолом и отцом — как своих дочерей, так и падчерицы — Эмилии Клинкенберг, впоследствии Шан-Гирей. Старшая дочь Верзилина, Аграфена Петровна, вышла замуж за Василия Николаевича Дикова; у Лермонтова сохранилась строфа, посвященная Аграфене и Василию:

... А у Груши целый век
Только дикий человек!..

Эмилия Александровна Клинкенберг рождена была лютеранкой и впоследствии перекрещена в православие. Так как имени — Эмилия — в православных святцах нет, она была названа Меланией. В доме продолжали называть ее Эмилией, но день ангела справляли 31 декабря, в день Мелании.

31 декабря, в ночь под сороковой год, у Верзилиных были именины и новогодний бал. И на этом бале Василий Николаевич Диков, тогда еще жених Аграфены, «грушин век», подарил Эмилии Александровне — серебряный кавказский стаканчик, черненый, позолоченный. Пятигорский чеченец-гравер начертал на дне стакана:

Въ. День. Ангила
Э. 1840. К.
ВД.

Стакан, по существу говоря, был провинциален и беден. На бале, в полночь, из этого стакана пригубливала красное кахетинское — Эмилия Александровна, и все, бывшие на бале, рассматривали подарок Дикова.

. . . .

Рассказ повторяется. В дневнике Печорина от 26 июня записано:

«Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. На дверях ресторации яви-

лась длинная афиша, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление»...

Это было в Кисловодске. Печорин записывает:

«Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня, в десятом часу вечера, приходи ко мне по большой лестнице: муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. — Я жду тебя; приходи непременно».

Печорин только на минуту заходил смотреть фокусника. Он не видел фокусов. Ночью он был у княгини Лиговской. Этой же ночью он оказался под окном княжны Мэри. Там он подрался с Грушницким и с драгунским капитаном, секундантом Грушницкого, получившим от Печорина в рожу. Эта ночь была окончательным поводом дуэли между Печориным и Грушницким. Наутро у нарзанного колодца утверждали, что Печорин имел ночное рандеву с княжной Мэри. Печорин записал о той ночи, когда он на шалях спускался из окошка княгини Веры:

«Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников осталось бы на месте».

Рассказ повторился Жанною Гоммер де Гэлль. Прошло почти столетье. Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

. . . .

Лермонтов не послал Печорина к фокуснику Апфельбауму, герой м-м Гоммер де Гэлль. Но я был на Минеральных группах — в положении фокусника. Меня купило управление Кавминвод — Кавказских Минеральных вод, — чтобы я читал лекции, показывал себя и составлял «общество», — и я погружался в пошлость Минеральных вод. На рассвете в Москве меня взял аэроплан, в закате дня я сошел с самолета на станции Минеральные Воды. Через сто лет самолет будет дормезом, сейчас он величествен — лермонтовски, ибо в стихиях самолет мерит себя и свою волю — только стихиями, — и мерит — только смертью: человеку на самолете гордо — за человека, за человеческого демона, то есть гения, которого искал Лермонтов. С Минеральных Вод я поехал поездом, которого не было при Лермонтове, — в Ессентуки, где ждала меня комната на даче «Звездочка» (пошлее не придумали). Я нанял извозчика — на «Звездочку». Извозчик оказался хохлом.

— Ага, — молвил он, — на Звездочку? — значит, артист!

На «Звездочке», приехавший до меня, жил критик Александр Константинович Воронский, так же, как и я, приглашенный для культурной революции. Я увидел его через окно, и я крикнул:

— Где здесь живет артист Воронский!?

Мы смеялись, целуясь.

О моих лекциях: мне нечего говорить, тезисы составлял Дюкло, наш правитель, чтобы эпатировать курортное население. Но там был один тезис: «Разговор с М. Ю. Лермонтовым», — этот тезис предложил я, и я замалчивал его на лекциях. До сих пор я не могу его оформить, потому что он лежит вне слов, — я же очень хорошо знаю, что самое несовершенное в общении людей — слово, слова, — что словами можно рассказать только промилли того, что чувствуешь — и чем ответственнее чувствования, тем бессильнее слова. На самолете в небе тогда я думал о Лермонтове, и я хотел написать письмо Михаилу Юрьевичу о его местах. Меня не страшило столетие, ставшее между нами: писатели существуют только тогда, когда они могут бороть время, — пройдет еще сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской литературы — не тем, что Лер-

монтов описывал пошляков, а я описывал метели революции, — но тем, как мы видели, молились, ошибались, жили, любили, — и писатели знают, что их письма пишутся для черных кабинетов читателя. Я не написал этого письма, не найдя слов для песни, которая спета во мне Лермонтовым. В памяти моей остались только отрывки этой песни, сложенные в слова.

— Михаил Юрьевич! — Мне страшна ваша Россия, — полосатоверстая, как каторжный туз, николаевская Россия. Я был в ваших местах. Я следил за бытом ваших героев. Это никак не верно, что вы автобиографичны. Печорин, Грушницкий, капитаны (капитан, предлагавший не заряжать вашего пистолета, — просто мерзавец!), — княгиня Вера, княжна Мэри, ее мамаша — чистокровнейшие пошляки, бездельники, невежды. Умные разговоры Печорина с Вернером — глупы. Печоринская манера подслушивать под окошками — неприлична. Все вертится около скверных романишек, пистолетов и издевательств над человеком, — нехорошо! — ужели стоит марать перо о растлителей молодых девушек? — и этот Пятигорск организованной пошлости!.. — Нет, Михаил Юрьевич, — вы не автобиографичны, — век рассказал мне об этом...

Впрочем, Пятигорск жив поныне: сейчас там лечат сифилитов, с лекциями и под музыку в разных галереях, живых от Лермонтова, — и жив грот, где Печорин встречался с Верой, он назван Лермонтовским, и туда ходят писать на стенах похабные слова и собственные имена похабников. Памятник на месте убийства Лермонтова также изрешечен изречениями о Мане и Зине; там же висят засаленные черкески со страшными газырями, и любители могут, нарядившись в них, фотографироваться около памятника! меня обманула даже природа. Я ждал Кавказа, гор, первобытность, — я увидел холмы, заросшие лесом, куда забираются ослы и автомобили, — причем эти семь-восемь холмов сиротливо торчат среди просторов облупленной степи, и торчат случайностью. Я верю Лермонтову, что сто лет тому назад у Мэри на Подкумке, в июне месяце, закружилась голова от потоков вод этой горной реки: сейчас эту реку в июне — в любом месте перейдет курица. — Мне стыдно перепонтировать героев лермонтовского времени! — Человек всегда пошловат, когда он отдыхает и когда он доволен. Сюда ездят отдыхать и быть доволь-

ными. Витии называют курорты фабриками здоровья. Витии печатают лозунги:

> «Больные! Сохраняйте бодрое, спокойное настроение духа — это способствует правильному лечению!»
>
> «Питание, выписанное врачом, должно строго соблюдаться!»
>
> «Половое воздержание — всегда безвредно!»
>
> «Распутство и пьянство на курортах завела буржуазия — надо изживать эти пороки, так как они мешают ремонту здоровья!»

Курорты превращены в фабрики здоровья, люди одеты в больничные халаты санаториев, из-под халатов торчат тесемки, и из больничных туфлей торчат пятки, — и в общественных столовых меню разбиты по диэтическим рубрикам: «при поносах», «при запорах» и пр. Не может не быть у человека уважения к земле, к ее недрам, к ее законам; в этих местах из земли бьют целебные ручьи, рожденные вулканами, целебная вода; в первый же день я пошел к источникам, как здесь называются ручьи; источники вделаны в камень; со мною шла толпа халатов и кургузых женских платий, у всех в руках были кружки и стеклянные трубочки; источники, вделанные в камень, назывались бюветами; девушки типа больничных хожалок проворно наливали в кружки воду; кургузы и халаты пили воду через стеклянные трубки, чтобы вода лучше усвоялась желудками, оттопыривали в священнодействии губы и походили на идиотов; я слышал разговоры о пищеварении, прекратились ли газы у Ивана Иваныча; Александр Константинович Воронский ходил к врачу, чтобы лечиться, — врач сказал: «Конечно, воды очень полезны, но думается, что самая полезная вода — вода обыкновенная». — Я был в диэтической, запорно-поносной столовой только один раз — меню мешало моему желанию есть. Дюкло называл эти столовые — не диэтическими, но идиотическими. — В Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске лечат — сифилис в кондиломатозном и гуммозном периодах, полейриты интоксикационные, субацидные и акацид-

ные катары желудка, вагиниты и эррозии, — научные слова! Больничные храмы величественны, построенные из поддельного мрамора, украшенные символами эллинского здоровья. Я ходил осматривать эти храмы. Я был в белом халате, за доктора. Меня провожал мой знакомый врач. Я видел очень много издевательств над человеком, учиненных самим же человеком; я был в отделении, где грязью лечат ожиревших женщин; эти голые зеленотелые женщины были издевательством над красотою человека, их животы висели сальными фартуками примерно до колен, раздвоенные пупком, их груди спускались на живот зеленым салом, тыквы их задниц были омерзительны; у многих из них были подкрашены губы, — и у всех у них было на лицах обалдение распаренного уважения к целебностям; хожалки приносили ведра горячей грязи, мазали грязью женщин, заворачивали их в простыни, покрывали одеялами, и женщины лежали в блажном страдании; в клиниках покойствовала торжественность; мой знакомый доктор, — фамилия его никак не Вернер, — выгонял из мужской мочи химические формулы свинца, — это было единственно интересным. Дюкло рассказывал сказку, как мужику плохо жилось, как цыган обещал облегчить его жизнь, велел сначала взять в избу кур, потом телят, потом свинью, затем корову, — мужик стал окончательно задыхаться, — цыган велел вывести тогда — сначала корову, потом свинью, затем телят, — мужик задышал легко и даже согласен был оставаться с курами, — и Дюкло уверен, что принципы местных лечений построены на этой побасенке. — Мне стыдно перепонтировать вас нашими козырьми, Михаил Юрьевич! — Люди приезжали на поездах убежденными фалангами, убежденно лечились, организованно пищеварили в течение месяца и — возвращались — с фабрик здоровья — на российские веси — опять-таки организованно, неорганизованно выполняя лишь заветы пиит, местных витий, которые печатали:

«Распутство и пьянство на советских курортах надо выжигать каленым железом!»

Под заборами этих лозунгов я вспоминал грязелечебных гусынь. Впрочем, пииты ж писали:

«Театр — отдых и школа, а на курорте, кроме того, — лечебный фактор!»

«Скука мешает правильному лечению!»

«Курортная физкультура — лечебная процедура!» —

и по вечерам на курортах было все, — симфонические оркестры, драматические спектакли, оперетта, опера, эстрада, пластические и балетные номера, комики, рыжие, раешники, —и были мы, писатели, на предмет культурной революции, о которой много говорилось в 1928 году.

Михаил Юрьевич! — я перечитал ваше письмо к Лопухиной, вы назвали это письмо «Валериком». Валериком называется — не *река*, но *речка* смерти. На Группах нет теперь никаких боев, там показывают — лермонтовский грот, лермонтовскую галерею, лермонтовские ванны, лермонтовскую долину, Лермонтовский водопад, — а на месте лермонтовской смерти — фотографируются в засаленных черкесках с громадными кинжалами.

...жалкий человек...
Чего он хочет? Небо ясно...

У меня не было более ненужных дней, чем эти мои дни на Группах. И я часто вспоминал вашу речку смерти, Михаил Юрьевич. Впоследствии я прочитал в донесении генерал-адъютанта Граббе о сражении при Валерике, бывшем 11 июля 1840 года, в Ольгин день, — генерал записал о вас:

«...офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы». —

Все нужное, что связано у меня с этими моими днями, связано вами, Михаил Юрьевич.

. . . .

Печорин не пошел Смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

Это было в июньских числах Печорина, в Кисловодске, в Нижнем парке, около Нарзанной галереи, где некогда ловили печоринских черкесов. Своим человеком я прошел за кулисы, чтобы поздороваться с м-м Жанной. Меня встретил ее муж, человек в больших круглых, роговых пенсне.

— Очень жаль, что вы будете смотреть Жанну на базаре, — сказал он.

М-м Жанна была в черном, в черном платье с белыми кружевами и высоким воротником, в черных чулках и в лаковых туфельках. Волосы ее были гладко зачесаны, в ушах блестели старинные серебряные подвески. В руках у нее был белый платок. Глаза ее были девичьи.

— Мы начинаем, — сказал муж, поправив прическу, волосы мужа были зачесаны назад, за уши, в традициях партикулярных людей начала девятнадцатого века.

Я вышел к зрителям. За большими буквами афиш фотография м-м Жанны не походила на подлинник. На стульях сидели больничные халаты, торчали тесемки подштаников. Сваленая белая кепка и милые красные платочки захлопали м-м Жанне, галки на чинарах зашумели крыльями и закаркали. Вспыхнули дополнительные огни софитов, ночь за деревьями стала черней. М-м Жанна вышла с белым платком у губ, этот медиум, она казалась девочкой и лунатиком одновременно, вид ее был прост и таинственен. С курзала донеслись медные трубы оркестра, на вокзале прогудел отходящий поезд. Вслед за м-м Жанной вышел ее муж, во фраке.

— Жанна, будьте внимательней! — крикнул муж тоном циркового наездника.

Муж спустился к рядам, чтобы принимать вопросы. Муж наклонился над критиком Леопольдом Авербахом, чтобы выслушать его вопрос. Авербах, посоветовавшись коллективно с драматургом Киршоном, шепотом спросил: — когда приедет их друг прозаик Либединский?

— Жанна, будьте внимательней! Отвечайте, мадемуазель! — крикнул жокейски муж.

М-м Жанна ответила не сразу, она опустила голову, напрягая мысль, и бессильно опустила руки. У нее был звонкий голос, картавый на «р».

— Я п'ислушиваюсь... я слышу... вы сп'ашиваете о вашем д'уге Ю'ие... об известном писателе Ю'ие Ли-

бединском... я вижу... он п'иедет, мне кажется, в начале июля...

— Дальше, Жанна! Мадемуазель, дальше!— крикнул муж и отошел от Авербаха, наклоняясь над военкомом. — Дальше, мадемуазель, внимательней!

— Я п'ислушиваюсь... я вижу вы а'тилле'ист, вы служите в Москве! — М-м Жанна подняла голову, улыбнулась, заговорила быстро, глаза ее были детски. — Вас зовут Исидо' Мейчик, вам двадцать семь лет, номе' вашей па'ткнижки — двадцать две тысячи... се'ия...

Военком был поражен; он спрашивал, в каком полку он служит, сколько ему лет, номер его партийной, ВКП, книжки: М-м Жанна отвечала быстрее, чем он задавал вопросы. Военком сдвинул фуражку на затылок, явно вспотев. Кепки притихли.

— Дальше, Жанна! Скорее! Внимательней! — кричал муж, склоняясь над ответственным работником.

Ответственный работник, в халате, в кепке и в тесемках, спрашивал: изменяет ли ему в Москве жена? Как ее зовут? М-м Жанна опустила глаза и руки, вид ее был беспомощен.

— Вашу жену зовут 'евеккой, — сказала она беспомощно и тихо. — Нет, она не изменяет вам, нет... она ве'ная жена... Но я вижу... я п'ислушиваюсь... — м-м Жанна сказала совсем тихо и очень печально. — Я вижу, как вы изменяете своей жене...

Ряды захохотали. Совработник заерзал на стуле. Галки кричали на чинарах, посвистывал паровоз. Ночь была душна, и под скамейками трещали кузнечики. Я недоумевал, вспоминая лермонтовский штосс. Я не мог придумать рационального объяснения этому совершенно метафизическому явлению. Дюкло не слышала вопросов, она отвечала ясновидяще правильно. Люди, задавшие вопросы, были растеряны. М-м Жанна стояла на эстраде девически целомудренно, в черном платье стиля начала прошлого века, усталая женщина, похожая на девочку. Никаких гоголевских «портретов» не было. Была уездная эстрада, открытая, в парке, ротондою. М-м Жанна выступала после пластически-раешных номеров, — ее номер считался ударным, ее выпускали под занавес. У европейцев принято восторги выражать ладошами, — хлопали мало. Шла обыкновеннейшая курорт-

ная ночь, когда в одиннадцать надо быть в бараках санаториев. В старину такие номера обставлялись черными комнатами, свечами, таинственностью, шепотом. Люди повалили с рядов бараном, опять потревожив галок. Нарзанная галерея была заперта.

Мы ждали Дюкло, пока они переодевались. М-м Жанна с мужем, профессор Федоровский с женою, писатель Иван Алексеевич Новиков и я — мы пошли в Аллаверды, в шашлычную, ужинать. М-м Жанна говорила о своей дочке, оставшейся в Москве, и медленно пила кахетинское № 110. — Штосс сведен на эстраду, тресвечие, семисвечие метафизики — упразднены. М-м Жанна была очень утомлена, медленна и обыденна. Ее муж острил. Иван Алексеевич, писатель, чье творчество навсегда пропахло березками благостных зорь, — говорил — о троицыном дне, о белой троицыного дня березке, называя березкою м-м Жанну. Они говорили о девочке Дюкло. — В шашлычной пахло тархуном, бараньим салом, и скрипач наяривал молитву Шамиля. Профессор Федоровский строил объяснения номера м-м Жанны. Дюкло-муж не открывал секрета, предлагая придти на разоблачительную — его — лекцию. Штосс Лермонтова, прошед через кулисы эстрады, расцвел для Ивана Алексеевича Новикова — белою троицыного дня березкою. Метафизики больше нет. Всем сердцем я был с Иваном Алексеевичем! —

...Я был в доме, который теперь называется Лермонтовским музеем. Там на стене висит церковная выпись, — поручик Тенгинского пехотного полка, — убит на дуэли, — «погребение пето не было». — Вы не погребены, Михаил Юрьевич, вы — живы! — Ваш домишко, где вы жили со Столыпиным перед смертью, куда привезли ваш труп после дуэли, — превращен в музей. Я ночевал в этом музее, в вашем кабинете-спальной, где некогда лежал ваш труп. Вы записали, Михаил Юрьевич:

> «...моя комната наполнилась запахами цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками».

Все это по-прежнему, Михаил Юрьевич, по-прежнему стоят платаны, и скосилась коряга грецких орехов, и в палисаднике цветут цветы. Я сидел за вашим письменным столом, встречая ночь. Пятиглавый, — так называли вы его, — Бештау синел, уходя во мрак. Я был один. Над землей дул ветер, очень сильный, он пахнул степью и качал деревья в палисаднике. В домишке было глухо и сыровато. Я думал о том, что, если бы мы жили одновременно, мы, вернее всего, не встретились бы! — я был Апфельбаумом. Я говорил с вами через столетье о том, что встретиться нам необходимо, чтобы чокнуться временем сердца о сердце. Я заснул тогда очень поздно, перед сном рассматривая янтари ваших трубок. И ночью я видел вас, во сне. Это было в степной станице, в полку, в новогоднюю ночь, вы держали в руке рог, офицеры безмолвствовали, вы были очень бледны, ваши глаза, всегда тяжелые, были особенно тяжелы, — вы сказали: — «Я пью за — за жизнь!» — и кругом были мертвецы, мертвые офицеры, мертвая корчма, ночь, — все было мертво, и на стене блистал император Николай. Живы были только мы. Нам сказали, что нас ждут, — мы вышли. Нас ждал самолет, пилот был тот самый, который принес меня из Москвы. — «Через сто лет самолет будет только дилижансом», — сказали вы, Михаил Юрьевич, — «но тогда мы найдем другие пути, чтобы брать за сердце жизнь и чтобы чокаться смертями. Впрочем, я знаю, что останется, если будет жизнь, — останутся — смерть, любовь, рождение, рассветы и ветры!» — над степью ревел буран, космы снега заплетали Лермонтова, его папаху, его бурку, сплетая его с космосом. Вопреки стихиям над буранною степью высился Эльбрус. «Мы летим меряться силами со стихиями!» — крикнули вы, Михаил Юрьевич. — Я проснулся. Был мертвый час ночи. Всеми нервами своими я ощутил, что лежу в доме, где некогда лежал мертвец — Лермонтов. Над домом, за ставнями, свистел ветер. Я зажег спичку, закурил, осмотрелся, открыл ставню. Светало. Свистел синий ветер.

Утром я понял, что от Лермонтова в его доме ничего не осталось, кроме чинары и черешен в палисаднике. Пролетарский поэт Тришин, хранивший лермонтовскую усадьбу, сказал мне, что письменный стол, столик у дивана, мундштуки — все это привезено из Петербурга, из

дворцовых фондов. Кроме чинар остались перестроенные стены дома да память о том, как расположены были комнаты при Лермонтове и Столыпине. Полковник Челищев, домохозяин, призывал попа освящать этот домишко после того, как лежал здесь труп Лермонтова.

Но Тришин сказал мне, что рядом в переулке сохранился дом Верзилиных, ставший впоследствии домом Шан-Гиреев, национализированный в годы революции, — и что в доме живет сейчас Евгения Акимовна Шан-Гирей, дочь Акима Шан-Гирея, друга и двоюродного брата Лермонтова, с которым Михаил Юрьевич вместе возрастал, называя его в письмах Екимом, — дочь Акима Шан-Гирея и Эмилии Александровны Клинкенберг, той, которую по неверному преданию называют княжной Мэри. Я пошел в этот дом. Он отдан в нищету, на дворе сапожничал рабочий. Я встретил Евгению Акимовну, ко мне вышла старушка в темном платье, я знал уже, что ей семьдесят три года, лицо ее было светло. Время остановилось. Мы заговорили. Мы стояли на террасе, завитой виноградником.

— Тогда этого хода не было, — сказала Евгения Акимовна, — спускались через террасу, и вот здесь, — она указала рукой, — на этом месте Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Лермонтов был злой человек, он не любил людей и всегда издевался над слабостями его окружающих. Мартынов любил порисоваться, одевался черкесом и ходил с засученными рукавами, нося на поясе громадный кинжал... Так рассказывала моя мама.

Мы вошли в дом.

— Эта комната была гостиной и танцевали именно здесь, — Евгения Акимовна указала рукой, — здесь стоял диван, а здесь было фортепиано. У нас была вечеринка. Моя мама, Лермонтов и Пушкин, брат поэта, сидели на диване. Мартынов стоял около фортепиано с моей тетей Надеждой Петровной. Лермонтов и Пушкин острили. Князь Трубецкой играл на фортепиано, Трубецкой оборвал аккорд и ясно прослышались слова Лермонтова «Montagnard au grand poignard...» — горец с большим кинжалом, — как Лермонтов называл Мартынова. Мартынов был добрый малый, но был позер. У Лермонтова был злой язык, он был недобрый человек. Мартынов побледнел... Все это мне рассказывала мама... Тогда на террасе, на том месте, которое я пока-

зывала вам, Мартынов сказал Лермонтову: — «Сколько раз мне просить вас оставить ваши шутки при дамах!» — Лермонтов ответил: «Вместо пустых угроз, ты гораздо лучше бы сделал, если бы действовал» — и Мартынов вызвал Лермонтова.

Я стоял в комнате, где возникла смерть Лермонтова. Я хотел вглядеться в комнату и в столетие. Комната была невелика и — ныне — нища, давно запыленная временем. Около меня стояла светлая старушка, осколок тех дней. Вещи, когда-то бывшие, исчезли из комнаты, изгнанные нищетой и временем. От наказного атамана кавказских казачьих войск — ничего не осталось. Я искал вещественных памятников.

— Вот это зеркало тогда висело над фортепиано, — сказала Евгения Акимовна и указала рукою. — Вот этот шкаф был тогда с книгами...

Мы прошли в комнату, которая была диванной. Некогда в ней жила бабушка, порицавшая Лермонтова. Ныне жила здесь Евгения Акимовна. Вещей от Лермонтова в этом доме почти не осталось, ничего не осталось от тех дней, дом умрет вместе с Евгенией Акимовной.

Евгения Акимовна принесла и показала мне серебряный кавказский стаканчик, очень начищенный, позолоченный. На дне стаканчика было выгравировано:

Въ День. Ангила
Э. 1840 К.

Это был тот самый стаканчик, который подарил Василий Николаевич Диков Эмилии Александровне Клинкенберг.

— Этот стаканчик маме подарил Диков, когда он был женихом тети Аграфены Петровны и когда мама была еще девушкой, — сказала Евгения Акимовна, — мама говорила, что из этого стаканчика пивал и Михаил Юрьевич. —

Я склонился над этим осколком времени, над этою вещью из времени, чтоб заглянуть в век. Я глядел через время. Я видел век, глядя на стаканчик, из которого пили вы, Михаил Юрьевич. Евгения Акимовна была печальна. Угольная комната, некогда диванная, застыла в тишине.

Ныне этот стаканчик у меня.

Евгения Акимовна сказала печально:

На днях приходили из милиции, требуют, чтобы мы все выселились отсюда, хотят в этом доме устроить уголовный розыск... Быть может, вы поговорили бы с Луначарским, чтобы этот дом перешел к музею... Хорошо еще у нас живут рабочие, которые не хотят этот дом отдавать под уголовный розыск...

Я видел оба века. Сидел со старушкой, остановившей время. —Уголовный розыск будет — докапываться до уголовных причин смерти Лермонтова!? — Михаил Юрьевич, — это называется — валериком?— речкой смерти? —

. . . .

... Это был бред...

Мы, люди со «Звездочки», жили звездочетами, потому что ночи у нас начинались рассветами, и дни возникали заполднями. На моей двери были нарисованы одинокие — стул и слезы. Жены через день по утрам собиралась выезжать из этого сумасшедшего дома, куда актеры возвращались после работы к двум часам ночи и начинали шипеть примусами, садясь до утра за поккерное помешательство. У меня примуса не было, — у меня была одна хозяйственная вещь — стакан Василия Дикова. Двери в этом доме никогда не запирались, во многих окнах не хватало стекол, дом был полупуст, и в нем, кроме актеров, жили летучие мыши. В саду около дома каждую ночь кричали совы. В грозы в доме протекала крыша, а в тишину слышно было, как бежит вода из испорченных кранов, которые всем лень было закручивать. Тихими часами были часы от рассвета до полдней. В закаты певцы разучивали арии, музыканты экзерсировались, а драматические актеры доигрывали партии поккера, не доигранные за ночь. На визитной карточке комнаты нумер первый было написано:— «Кахетинское № 110». Действительно, в моей комнате были только— стол, стул и кровать. Я набил сенник, положил его на террасе, — это было моим диваном, где я валялся днями, в табаке и книгах.

В тот вечер я был в шашлычной. В час я лег спать. В два меня разбудили Дюкло. У них были гости. Во-

ронский вернулся к нам, так же как и я, из постели. Светало, и мы разговаривали. Или это был сон?— Когда до солнца осталось полчаса, я пошел к полковнику, ставшему извозчиком, у которого мы брали лошадей. Я взял коня и поскакал в степь, к горе Шелудивке, навстречу Бештау. Конь шел карьером. Было совершенно светло, и с минуты на минуту должно было возникнуть солнце. Пахло степным рассветом, полынью и конским потом. Мне было чудесно тем восхищением перед миром, которое граничит со смертной тоской, — тем восхищением, от которого мистики молятся, а я мог бы плакать. По степи стали курганы. По долинам шел благостный туман, уничтожавший таинства ночи. Я поскакал к кургану, я поднялся на его вершину. Я слушал храп коня и смотрел на восток. Небо багровело, облака расплавляли латы. Я оглянулся на юг, — в синей мгле, в ста верстах от меня, вспыхнула двуглавая шапка Эльбруса зловещим огнем. Я повернул голову — и солнце ударило мне в глаза. Конь подо мною заржал, приветствуя утро. Солнце ослепило меня, мои глаза ослепли от слез. Конь помчал дальше в пространства, в степь, к Шелудивке, к просыпающейся станице. В станице я выпил стакан водки с крынкой молока. Тем рассветом я написал, никогда не записанное, письмо Ивану Алексеевичу Новикову — о белой березке троицына дня и о горькой березовой горечи: род Ивана Алексеевича Новикова древен писателями и пусть, когда мы оба умрем, — пусть будет это, никогда не записанное, письмо вставлено здесь в этот рассказ о Вас, Михайл Юрьевич, и о Вас, Иван Алексеевич, письмо о березовой горечи счастья!..

При Лермонтове Ессентуки были пустой казачьей станицей. Печорин записал:

> «...Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки, она стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастия! Бог знает, какие

странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. — И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; раза два он уже споткнулся на ровном месте... Осталось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если бы у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся на землю...

... и долго я лежал неподвижно, и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется»...

Михаил Юрьевич, вы должны были уметь плакать — плакать горчайшими слезами отчаяния!.. Я искал тем рассветом места, где плакал Печорин, и я въезжал на каждый курган, на эти могилы неизвестностей, чтобы дальше видеть. Дормезы заменены железными дорогами, железные дороги сменятся аэропутями, — рассветы и слезы — останутся.

Я вернулся в свой дом. Солнце не успело еще загнать в комнаты дня, гнилые ставни были заперты, горело электричество, на столах умирали хлеб и стаканы. В тот день, когда я был в клиниках лечения грязью и видел женское сало, доктор Ахматов рассказал мне о том, чего я не знал, что недавно открыли немцы, — о том, что в человеческом организме, оказывается, существуют — два сердца: одно общеизвестно, а другое — его немцы называют периферическим сердцем — другое: самые кончики, самые мельчайшие сосудики артерий, в том месте, где они переходят в вены, где кровь из артериальной становится венозной, — эти сосудики вооружены нервами и мышцами, — эти нервы и мышцы помогают большому сердцу, — миллионы этих нервинок и мышчинок составляют периферическое сердце... — Мы останавливали ночь гнилыми ставнями. Со мною сотворилось странное. Я сидел рядом с Дюкломужем, м-м Жанна не слышала наших разговоров: и она стала отвечать мне, читая мои мысли. История ху-

дожника Лугина повторялась мною. То, что м-м Жанна делала на сцене, что категорически отказывалась она делать у себя в доме, — делалось сейчас со мною. Возникал лермонтовский штосс. День был остановлен гнилыми ставнями. Я был слишком пьян рассветом, чтобы четко соображать. Дюкло-муж склонился надо мною, он весело крикнул, расхохотавшись:

— Борис Андреевич, — крикнул он, — мы весело разыграли вас! Выслушайте, на чем построен наш номер. Вы знаете, что такое стенография, — представьте себе — звукографию. Я говорю Жанне, — «мадемуазель, будьте внимательней!» — вы слышите только это, — но вибрацией голоса, ударениями на звуки, придыханием, тем, как звуки я растягиваю, — я передаю ей: — «Борис Андреевич пьян и бредит Лермонтовым, которого будто бы он караулил сейчас около Шелудивки!»

Я распахнул широко гнилые ставни.

. . . .

Михаил Юрьевич! штосс Жанны Дюкло не есть даже фокус, это просто упорный труд и очень музыкальные уши. — Михаил Юрьевич! Иван Алексеевич Новиков утверждал березовую горечь троицына дня Жанны Дюкло, — ужели чудесная березовая горечь Жанны Гоммер де Гэлль не была горечью троицына дня!?

... М-м Жанна Гоммер де Гэлль... Впрочем, в селе Подмоклове, Подольского уезда Московской губернии, в церкви, на картине страшного суда — помещены вы, Михаил Юрьевич, в числе горящих в огне великих грешников, — вы, Михаил Юрьевич, чьи предки в Шотландии — один в одиннадцатом веке дрался с Макбетом, а другой в тринадцатом — был бардом, заколдованным царством фей, и воспетым Вальтером Скоттом. Вы написали вашему другу Лопухину:

> «... смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеймейстера»...

Да, Михаил Юрьевич, — это трагическое России — и я прав, мы наверное не встретились бы с вами, — из-за полицеймейстера. И вы не увидели бы, — как не увидали Жанну Гоммер де Гэлль, — Жанны Дюкло, березовой горечи вашего штосса. Михаил Юрьевич, — тогда, в новогоднюю ночь сорок первого года, когда вы пили за смерть, вы не дорассказали истории титулярного советника Штосса, — вы ставили на карту жизнь ради своих видений, которые были выше жизни, вы понтировали на жизнь, — и титулярный советник Штосс играл с вами на клюнгеры!

И позвольте мне рассказать вам о м-м Гоммер де Гэлль.

Я уже делал выписки из донесений генерал-адъютанта Граббе, — «офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством». — В наградном списке, написанном Раковичем, значится:

«Лермонтов с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии выстрела от пушки. При переправе через Аргун он действовал отлично... и поражал неоднократно собственною рукою хищников».

За степями, за лесами, на севере, в Санкт-Петербурге — за плечами Лермонтова, на плечах Лермонтова — стоял всероссийский император Николай, его величество, уничтожавшее Кавказ, когда горцы в приказах не назывались иначе, как хищники, дикари и сброд. — Михаил Юрьевич, пятого ноября вы расстались с Жанною Гоммер де Гэлль. Вы вернулись на фронт в свой полк, — а мадам Гоммер де Гэлль, на яхте французского посольства, под французским флагом, ушла в море, в бирюзу морских волн, в просторы моря, чтобы — —

чтобы — —

... от Жанны де Гэлль остались пожелтевшие листки:

«Тэбу уехал, не простившись ни с кем, а на другой день снялся с якоря и отправился на Кавказ стреляться с Лермонтовым.

На четвертый день я увидела яхту на рейде. У меня была задняя мысль, что Лермонтов еще не уехал и будет у меня с объяснением, все же, что ни говори, возмутительного своего поступка в биллиардном павильоне, когда он так скомпрометировал меня в глазах Тэбу. Он пришел. Я простилась с моим поэтом на станции, слушала и задыхалась. Я долго оставалась в раздумье, пока я слышала звон его колокольчика, и затем поспешила сесть на катер, доставивший меня на яхту...

... в ночь перевезли на яхту четырнадцать ящиков с двумястами карабинов, разной мелочью для подарков, порохом, моими туалетами и двумя горными пушками, все это под печатями английского консульства. Я их везу в подарок князю адигеев, — кроме моих парижских туалетов, разумеется, которые обворожали моего кавказского Прометея. Мне ужасно жаль поэта. Ему не сдобровать. А я целых две пушки везу его врагам. Если одна из них убьет его, я тут же сойду с ума»...

— — чтобы придти, сокрыто от глаз императора Николая, к бирюзе кавказских берегов, — чтобы подняться в горы к военноначальникам тех племен, которых воспевали вы, Михаил Юрьевич, и которых — вы же, офицер Михаил Юрьевич, — уничтожали, — потому что эти люди отстаивали естественное свое право жить и не быть холуями императора Николая. Люди в горах встречали Жанну Гоммер де Гэлль — всем благородством, которое вы знаете у кавказских племен. Вожди кланялись ей, этой солнечной женщине. — Михаил Юрьевич, Жанна Гоммер де Гэлль привезла на своей шхуне, по сини моря — своим горным друзьям — пушки, ружья, свинец и порох, — тот свинец и тот порох, которым кавказцы отстреливались от вас, офицер Михаил Юрьевич. Она, эта солнечная женщина, л ю б и л а вас, Михаил Юрьевич, поэта и человека, любила вас так, как никто не любит, — потому что она была, нерусской. Вы не знали этого, Михаил Юрьевич, — вы играли р у с-

скую партию. Вы не знали, что те пули, которые посылали вам, —в вас чеченцы, — эти пули дала чеченцам женщина, любившая вас. Вы не написали романа м-м Жанны Гоммер де Гэлль, вы, брат Байрона.

Я знаю — —

> «... Жанна Гоммер де Гэлль так описывала Тэбу, генерального консула:
>
> «... Тэбу в самом деле смешон; он ходит с утра в светло-синем фраке, со жгутом и с одним эполетом и золотыми с якорями пуговицами, в белом жилете и предлинных шпорах (хотя он на лошади и без шпор держаться не умеет) и нанковых, несмотря на осень, панталонах. Костюм его совершенно напоминает Людовига XVIII блаженной памяти. Он очень смешон, особенно когда вальсирует или галопирует и садится на минуту, весь впопыхах. Он, кажется, лечится от воображаемого жира и танцует более для моциона. Он страдает закрытым геморроем»...

Михаил Юрьевич, вы дурачили этого фламандского ловеласа. Вы заставляли его в дожде дураком бегать вокруг биллиардного павильона, около вашей русской партии в любовь, когда чудесности были в ваших руках. И дурак стал рыскать за вами, чтобы вызвать вас. Вы проводили Жанну на его судно, отдали ее фламандцу...

Я знаю: — если бы не было этой ссоры с дураком, эта женщина, любившая вас, эта солнечная женщина унесла бы вас на пути своей шхуны, вы были бы с нею в морях, вы, брат Байрона, — вы отдали б вашу жизнь вашей поэзии, вашим демонам, — и ваша жизнь была бы чудеснейшей человеческой поэмой. Вашими плечами, вы подпирали бы ваших демонов, вашу поэзию, но не императора Николая Первого, — и пуля Мартынова тогда была бы оправдана!.. Жанна Гоммер де Гэлль ушла от вас в лазурь синих морей, она записала о вас: — «Мне жаль его, он дурно кончит. Он не для России рожден». — Она была права, ваш штосс раскрыт Жанной Дюкло, Печориным я перепонтирую вас, вы не

знали березовой горечи троицыного дня Ивана Алексеевича Новикова, — причем, оказывается, Жанну Гоммер де Гэлль совершенно не следовало выигрывать штоссом Жанны Дюкло.

. . . .

На севере, за степями, за лесами — лежала в болотах — великая! — Россия.

. . . .

... Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит:
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно.
Спит земля в сияньи голубом...
... Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

Солнце уходило в облака, и облака горели красным закатом. Закат наступал медленно и упорно. Синяя тень от Бештау легла далеко в степь. Машук немотствовал. Зеленый лес не шумел. Прокричала в лесу сова, уже по-осеннему. И опять была тишина и умирал закат.

На земле валялась фуражка пехотного офицера, с красным околышем, с высокою белою тульею, фуражка лежала вниз тульей, и в ней были вишни. Так эта фуражка и осталась лежать здесь ночь и рассвет, пока не приехала наутро следственная — «по делу стреляния между поручиком Лермонтовым и отставным майором Мартыновым» — комиссия. Эта комиссия подобрала фуражку. Эта же комиссия описала в протоколе своем «место стреляния», как сказано в протоколе.

«... место отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне горы Машуки, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в немецкую Николаевскую колонию. По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины горы Машуки до ее подошвы, по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора, отделившаяся от Машуки».

Лермонтов был убит: на дороге.

Солнце зацепилось за Бештау, озолотило его вершины. Прохлада ночи повеяла с Машука. Тучи собирались зловеще. Этот человек, в кавалерийских рейтузах и в красной рубашке, тот, фуражку которого подняли наутро, приехал первым к месту дуэли, и приехал один.

И он долго лежал на земле, лицом к небу. Он глядел на умирающий закат и на тучи, которые собирались грозой. В картуз он положил вишен, но он не ел их.

Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чем?

И в тот час, когда солнце зацепилось за Бештау, когда Лермонтов увидел — с этой проезжей в немецкую колонию дороги — увидел последний раз золото солнца, на вершине Бештау, — в тот час приехали к месту бойни блестящие офицеры: князья Васильчиков и Трубецкой, Алексей Аркадьевич Столыпин, гвардеец Глебов и — отставной майор Николай Соломонович Мартынов. Они приехали все вместе: Лермонтов — был один. Мартынов был громоздок и красив, должно быть, как Николай Первый, если бы Николай отпустил бороду, предвосхитив своего внука. Мартынов приехал убивать человека в черкесском белом бешмете, рукава бешмета были засучены, гозыри блестели серебром. Мартынов в бешмете походил на полосатый верстовой столб. Руки из-за засученных рукавов походили на руки мясника. Это был человек очень немногих движений, потому что он проверял каждый свой жест, чтобы каждый жест был непременно красив.

Все было очень просто.

Васильчиков и Глебов отмерили тридцать шагов, десять шагов, еще десять и еще десять: каждому по десяти шагов, чтобы идти к смерти, десять шагов мертвого пространства. Глебов передал пистолеты Лермонтову и Мартынову. Секунданты отошли в сторону смотреть, как будут убивать. За Машуком прогремел гром, вдалеке затрепетали без ветра листья.

Васильчиков скомандовал:

— Сходитесь!

Ворот красной лермонтовской рубашки был расстегнут, его рейтузы были измазаны землей, и желтый дубовый лист, оторвавшийся от ветки родимой, трепетал, зацепившись за голенище сапога. В горсти Лермонтова были вишни. Лермонтов взвел курок пистолета и взял пистолет подмышку, чтобы освободить руку для вишен. — Мартынов был торжественен. Человек

немногих движений, он торжественно двинулся с места, с левой ноги, пятки вместе, носки врозь. Он торжественно поднял пистолет, по всем правилам дуэлянтов. Он выстрелил. Лермонтов упал. Мартынов торжественно пошел в сторону, опустив дымящийся пистолет. Лермонтов упал с горстью вишен в руке и с пистолетом подмышкой. Лермонтов был мертв. В груди, в правом боку, дымилась рана, из левого текла кровь, — пуля прошла насквозь. Новый прогремел над Машуком гром, налетел ветер, стемнело сразу, тучи застлали небо, полил дождь. Солнце ушло за землю. Глаза мертвеца были открыты и были — мертвы. Дождь мочил волосы мертвеца, и белая прядь на лбу, которую так любила гладить м-м Гоммер де Гэлль, выбилась из прически, завилась. Труп лежал на колее дороги.

Князь Васильчиков тогда поскакал в Пятигорск — за лекарем. Черный мрак пал на землю. Дождь лил и лил из-за Машука. Лекаря отказались ехать на место дуэли — по такой погоде, и требовали — или протокола, или приказа — полицейских. И тогда в город поехали Столыпин и Глебов — за извозчиком, чтобы перевезти труп. И опять гремели громы и перекатывалось эхо в горах, и рвались молнии, — и труп валялся на грязи дороги под дождем, молнии блестели над ним, и гремели громы. Извозчики в городе последовали лекарям. И только к полночи приехали полицейские дроги. Офицеры пошли к трупу, чтобы оттащить его в сторону от колеи, они поволокли его, — и мертвец тогда вздохнул, спертый воздух со свистом выступил из груди: Лермонтов вздохнул очень печально, очень глубоко и — облегченно. Мертвеца взвалили на дроги, прикрыли полицейской шинелью и повезли в город. Фуражка на земле осталась до утра коротать ночь, — а кровь осталась в земле — навсегда. И всю ночь рвалось небо молниями, и стонал лес, и метался ветер, и кричали совы.

...«Погребение пето не было»...

. . . .

Усадьба Знаменское лежит под сердцем России, в тридцати верстах от Москвы, —и лежит в Черногрязенской волости, родовая подмосковная.

Шли годы. Мимо усадьбы пролегла железная дорога. Вокруг усадьбы задымили заводы. Усадьба, ее пар-

ки, ее пруды, река Клязьма под горою, дом с колоннами, с мезонином и с часами на бельведере, конный двор, службы — остановили время. В залах этого дома стыла тишина. В залах этого дома висели родовые портреты. В кабинете хозяина этого дома — на письменном столе стоял портрет, один-единственный, небольшой, темный, сделанный масляными красками, неизвестного художника, — портрет Лермонтова. Лермонтов положил голову на руки и смотрел вперед — очень пристально, очень тяжелыми глазами. В этом доме нельзя было говорить: о нем. Кабинет был пуст. Хозяин дома дни свои проводил в этом кабинете, никогда не появляясь на людях. За окнами осыпались листья и зеленели вновь, шли дожди и падали снега. В этом доме никогда не смеялись. Пало крепостное право, строились железные дороги и заводы, в 1871 году, в тридцатилетие убийства Лермонтова, по всей России собирались деньги на памятник Лермонтову. Последние двадцать пять лет жизни хозяин дома выходил из своей усадьбы только раз в году — 15 июля. В дни около 15 июля хозяин дома совершенно замолкал. В этот же день — никто его не видел; полями, по бездорожью, он ходил на соседний заштатный погост князей Мышецких — и там служил — заупокойную обедню о рабе божием Михаиле. Дома в этот день он не выходил из своего кабинета, его никто не видел, и он сидел перед портретом — его. Он положил голову на руки и смотрел вперед. В этой усадьбе никогда не говорили — о нем. Дороги к усадьбе заросли лебедой.

Николай Соломонович Мартынов умер в родовой постели с 14-го на 15-е декабря 1875 года, через тридцать четыре года после дуэли. В завещании своем он наказал никаких надписей не делать на его могильном камне, даже имени, — дабы имя его было стерто песком времени.

Погребение пето — было.

Углич,
22 августа 1928.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО

Глава первая

Нищие, провидоши, побироши, волочебники, лазари, странники, странницы, убогие, пустосвяты, калики, пророки, дуры, дураки, юродивые — эти однозначные имена кренделей быта святой Руси, нищие на святой Руси, калики перехожие, убогие Христа ради, юродивые ради Христа Руси святой, — эти крендели украшали быт со дней возникновения Руси, от первых царей Иванов, быт русского тысячелетья. О блаженных макали свои перья все русские историки, этнографы и писатели. Эти сумасшедшие или жулики — побироши, пустосвяты, пророки — считались красою церковною, христовой братиею, мольцами за мир, как называли их в классической русской истории и литературе.

Известный московский юродивый, живший в Москве в середине девятнадцатого века, недоучившийся студент духовной академии, Иван Яковлевич — умер в Преображенской больнице. О похоронах его писали репортеры, поэты и историки. Поэт писал в «Ведомостях»:

Какое торжество готовит Желтый Дом?
Зачем текут туда народа волны
В телегах и ландо, на дрожках и пешком,
И все сердца тревогой полны?
И слышится меж них порою смутный глас,
Исполненный сердечной, тяжкой боли:
— Иван Яковлевич безвременно угас!
Угас пророк, достойный лучшей доли!

Бытописатель Скавронский в «Очерках Москвы» рассказывает, что в продолжение пяти дней, пока труп не был похоронен, около трупа было отслужено более двухсот панихид. Многие ночевали около церкви.

Н. Барков, автор исследования под названием — «26 Московских лжепророков, лжеюродивых, дураков и дур», очевидец похорон, рассказывает, что предложено было хоронить Ивана Яковлевича в воскресенье, «как и объявлено было в «Полицейских ведомостях», и в этот день, чем свет, стали стекаться почитатели, но погребение не состоялось по возникшим спорам, где именно его хоронить. Чуть не дошло до драки, а брань уже была, и порядочная. Одни хотели взять его в Смоленск, на место его родины, другие хлопотали, чтоб он был похоронен в мужском Покровском монастыре, где даже вырыта была для него могила под церковью, третьи умиленно просили отдать его прах в женский Алексеевский монастырь, а четвертые, уцепившись за гроб, тащили его в село Черкизово». — «Опасались, чтобы не крали тела Ивана Яковлевича». — Историк пишет: «Во все это время шли дожди и была страшная грязь, но, несмотря на то, во время перенесения тела из квартиры в часовню, из часовни в церковь, из церкви на кладбище, женщины, девушки, барышни в кринолинах падали ниц, ползали под гробом». — Иван Яковлевич — при жизни — испражнялся под себя, — «из-под него текло (как пишет историк), и сторожам велено было посыпать пол песком. Этот-то песок, подмоченный из-под Ивана Яковлевича, поклонники его собирали и уносили домой, и песочек стал оказывать врачебную силу. Разболелся у ребеночка животик, мать дала ему в кашке пол-ложечки песочку, и ребенок выздоровел. Вату, которой были заткнуты у покойника нос и уши, после отпевания делили на мелкие кусочки для раздачи верующим. Многие приходили ко гробу с пузырьками и собирали в них ту влагу, которая текла из гроба, ввиду того что покойник умер от водянки. Срачицу, в которой умер Иван Яковлевич, разорвали на кусочки. — Ко времени выноса из церкви собрались уроды, юроды, ханжи, странники, странницы. В церковь они не входили, за теснотой, и стояли на улицах. И тут-то среди бела дня среди собравшихся делались народу поучения, совершались явления и видения, изрекались пророчества и хулы, собирались деньги и издавались зловещие рыкания». — Иван Яковлевич последние годы своей жизни приказывал поклонникам своим пить воду, в которой он умывался: пили. Иван Яковлевич не только устные делал прорицания, но и письменные, которые сохранены

для исторических исследований. Ему писали, спрашивали: «женится ли такой-то?» — он отвечал: — «Без праци не бенды кололаци»...

Китай-город в Москве был тем сыром, где жили черви юродов. Одни писали стихи, другие пели петухами, павлинами и снегирями, третьи крыли всех матом во имя господне, четвертые знали только по одной фразе, которая считалась пророческой и давала пророкам имена, — например, — «жизнь человека сказка, гроб — коляска, ехать — не тряско!». — Имелись аматеры собачьего лая, лаем прорицавшие божьи веления. Были в этом сословии нищих, побирош, провидош, волочебников, лазарей, пустосвятов — убогих всея святой Руси — были и крестьяне, и мещане, и дворяне, и купцы, — дети, старики, здоровенные мужичищи, плодородящие бабищи. Все они были пьяны. Всех их покрывало луковицеобразное голубое покойствие азиатского российского царства, их, горьких, как сыр и лук, ибо луковицы на церквах, конечно, есть символ луковой русской жизни.

. . . .

...И есть в Москве, в Петербурге, в иных больших российских городах — иные чудаки. Родословная их — имперская, а не царская. С Елизаветы возникло, начатое Петром, искусство — русской мебели. У этого крепостного искусства нет писаной истории, и имена мастеров уничтожены временем. Это искусство было делом одиночек, подвалов в городах, задних каморок в людской избе в усадьбах. Это искусство существовало в горькой водке и в жестокости. Жакоб и Буль стали учителями. Крепостные подростки посылались в Москву и Санкт-Петербург, в Париж, в Вену, — там они учились мастерству. Затем они возвращались — из Парижа в санкт-петербургские подвалы, из Санкт-Петербурга в залюдские каморки, — и — творили. Десятками лет иной мастер делал один какой-нибудь самосон или туалет, или бюрцо, или книжный шкаф, — работал, пил и умирал, оставив свое искусство племяннику, ибо детей мастеру не полагалось, и племянник или копировал искусство дяди, или продолжал его. Мастер умирал, а вещи жили столетьем в помещичьих усадьбах и особняках, около них любили и на самосонах умирали, в потайные ящики секретеров прята-

ли тайные переписки, невесты рассматривали в туалетных зеркальцах свою молодость, старухи — старость. Елизавета — Екатерина — рококо, барокко — бронза, завитушки, палисандровое, розовое, черное, карельское дерево, персидский орех. Павел — строг, Павел — мальтиец; у Павла солдатские линии, строгий покой, красное дерево заполировано, зеленая кожа, черные львы и грифы. Александр — ампир, классика, Эллада. Николай — вновь Павел, задавленный величием своего брата Александра. Так эпохи легли на красное дерево. В 1861 году пало крепостное право. Крепостных мастеров заменили мебельные фабрики — Левинсон, Тонэт, венская мебель. Но племянники мастеров — через водку остались жить. Эти мастера теперь ничего не строят, они реставрируют старину, но они оставили все навыки и традиции своих дядей. Они одиночки, и они молчаливы. Они горды своим делом, как философы, и они любят его, как поэты. Они по-прежнему живут в подвалах. Такого мастера не пошлешь на мебельную фабрику, его не заставишь отремонтировать вещь, сделанную после Николая Первого. Он — антиквар, он — реставратор. Он найдет на чердаке московского дома или в сарае несожженной усадьбы, — стол, трельяж, диван — екатерининские, павловские, александровские — и он будет месяцами копаться над ними у себя в подвале, курить, думать, примеривать глазом, — чтобы восстановить живую жизнь мертвых вещей. Он будет любить эту вещь. Чего доброго, он найдет в секретном ящике бюрца пожелтевшую связку писем. Он — реставратор, он глядит назад, во время вещей. Он обязательно чудак, — и он по-чудачески продаст реставрированную вещь такому же чудаку собирателю, с которым — при сделке он выпьет коньяку, перелитого из бутылки в екатерининский штоф и из рюмки — бывшего императорского — алмазного сервиза.

Глава вторая

1928 год

Город — русский Брюгге и российская Камакура. Триста лет тому назад в этом городе убили последнего царевича династии Рюрика, в день убийства с царевичем играли боярские дети Тучковы, — и тучковский род жив в городе по сие время, как и монастыри и многие другие роды, менее знатного происхождения... — Российские древности, российская провинция, верхний плес Волги, леса, болота, деревни, монастыри, помещичьи усадьбы, — цепь городов — Тверь, Углич, Ярославль, Ростов Великий. Город — монастырский Брюгге российских уделов и переулков в целебной ромашке, каменных памятников убийств и столетий. Двести верст от Москвы, а железная дорога — в пятидесяти верстах.

Здесь застряли развалины усадеб и красного дерева. Заведующий музеем старины здесь ходит в цилиндре, размахайке, в клетчатых брюках и отпустил себе бакенбарды, как Пушкин, — в карманах его размахайки хранятся ключи от музея и монастырей, — чай пьет он в трактире, водку в одиночестве — в чуланной комнате, в доме у него свалены библии, иконы, архимандритские клобуки и митры, стихари, орари, поручи, рясы, ризы, воздухи, покровы, престольные одеяния — тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого веков, — в кабинете у него каразинское красное дерево, на письменном столе пепельница — дворянская фуражка с красным околышем и белой тульей.

Барин Каразин, Вячеслав Павлович, служил некогда в кавалергардском полку и ушел в отставку лет за двадцать за пять до революции из-за своей честности, ибо проворовался его коллега, его послали на расследование, он рапортовал начальству истину, начальство покрыло вора, — барин Каразин не снес этого, подал второй рапорт — об увольнении, — и поселился в усадьбе, приезжая оттуда раз в неделю в уездный свой город за покупками, ехал в колымажной карете с двумя лакеями, указывал белой перчаткой приказчику в лавке, чтобы завернули ему полфунта зернистой, три четверти балыка, штуку севрюжки, — один лакей расплачивался, другой лакей принимал вещи; однажды купец потянулся было к барину с рукой, барин руки

не подал, аргументировав неподачу кратким словом, — «обойдется!». — Ходил барин Каразин в дворянской фуражке, в николаевской шинели; революция выселила его из усадьбы в город, но оставила ему шинель и фуражку; в очередях барин стоял в дворянской фуражке, имея перед собою вместо лакеев жену.

Существовал барин Каразин распродажей старинных вещей; по этим делам заходил он к музееведу; у музееведа видел он вещи, отобранные у него из усадьбы волей революции, смотрел на них пренебрежительно, — но увидел однажды на столе музееведа пепельницу фасона дворянской фуражки.

— Уберите, — сказал он коротко.

— Почему? — спросил музеевед.

— Фуражка русского дворянина не может быть плевательницей, — ответил барин Каразин.

Знатоки старины поспорили. Барин Каразин ушел с гневом. Больше он не переступал порога музееведа. — В городе проживал шорник, который благодарно помнил, как барин Каразин, когда шорник был малолетним и проживал у барина в услужении казачком, — как выбил барин ему одним ударом левой руки за нерасторопность семь зубов.

В городе стыла дремучая тишина, взвывая от тоски дважды в сутки пароходными гудками да перезванивая древностями церковных звонниц: — до 1928 года, — ибо в 1928 году со многих церквей колокола поснимали для треста Рудметаллторг. Блоками, бревнами и пеньковыми канатами в вышине на колокольнях колокола вытаскивались со звонниц, повисали над землей, тогда их бросали вниз. И пока ползли колокола на канатах, они пели дремучим плачем, — и этот плач стоял над дремучестями города. Падали колокола с ревом и ухом, и уходили в землю при падении аршина на два.

В дни действия этой повести город стонал именно этими колоколами древностей.

Самая нужная в городе была — профсоюзная книжка; в лавках были две очереди — профкнижников и не имеющих их; лодки на Волге на прокат были для профкнижников — гривенник, для иных прочих — сорок копеек в час; билеты в кино для иных — двадцать пять, сорок и шестьдесят копеек, профкнижникам — пять, десять и пятнадцать. Профкнижка, где она была, лежала на первом месте, рядом с хлебной карточ-

кой, причем хлебные карточки, а, стало быть, и хлеб, выдавались только имеющим выборный голос, по четыреста грамм в сутки, — не имеющим же голоса и детям их — хлеб не давался. Кино помещалось в профсаду, в утепленном сарае, — и звонков в кино не полагалось, а сигнализировали с электростанции — всему городу сразу: первый сигнал — надо кончать чай пить, второй — одеваться и выходить на улицу. Электростанция работала до часу, — но в дни имянин, октябрин и прочих неожиданных торжеств у председателя исполкома, у председателя промкомбината, у прочего начальства — электричество запаздывало потухать иной раз на всю ночь, — и остальное население приноравливало тогда свои торжества к этим ночам. В кино же однажды уполномоченный внуторга, не то Сац, не то Кац, в совершенно трезвом состоянии, толкнул случайно по неловкости жену председателя исполкома, — та молвила ему, полна презрения: — «Я — Куварзина», — уполномоченный Сац, будучи не осведомлен в силе сей фамилии, извинился удивленно, — и был впоследствии похерен из уезда. Начальство в городе жило скученно, остерегаясь, в природной подозрительности, прочего населения, заменяло общественность склочками и переизбирало каждый год само себя с одного уездного руководящего поста на другой в зависимости от группировок склочащих личностей по принципу тришкина кафтана. По тому же принципу тришкина кафтана комбинировалось и хозяйство. Хозяйствовал комбинат (комбинат возник в году, когда Иван Ожогов — герой повести — ушел в охламоны). Членами правления комбината были — председатель исполкома (муж жены) Куварзин и уполномоченный рабкрина Преснухин, председательствовал — Недосугов. Хозяйничали медленным разорением дореволюционных богатств, головотяпством и любовно. Маслобойный завод работал — в убыток, лесопильный — в убыток, кожевенный — без убытка, но и без прибылей, и без амортизационного счета. Зимою по снегу, сорока пятью лошадьми, половиной уездного населения таскали верст пятьдесят расстояния — новый котел на этот кожевенный завод, — притащили и бросили — за неподходящестью списав стоимость его в счет прибылей и убытков; покупали корьедробилку — и тоже бросили — за негодностью, списав в счет прибылей и убытков; покупа-

ли тогда на предмет дробления корья соломорезку — и бросили, ибо корье не солома, — списывали. Улучшали рабочий быт жилстроительством; купили двухэтажный деревянный дом, перевезли его на завод и — распилили на дрова, напилили пять кубов, ибо дом оказался гнил, — годных бревен оказалось — тринадцать штук; к этим тринадцати прибавили девять тысяч рублей — и дом построили: как раз к тому времени, когда завод закрылся ввиду его, хотя и неубыточности, как прочие предприятия, но и бездоходности, — новый дом остался порожним. Убытки свои комбинат покрывал распродажею оборудования бездействующих с дореволюции предприятий, — а также такими комбинациями: — Куварзин-председатель продал леса Куварзину-члену по твердым ценам со скидкою в 50% — за 25 тысяч рублей, — Куварзин-член продал этот же самый лес населению — и Куварзину-председателю, в частности, — по твердым ценам без скидки — за пятьдесят с лишком тысяч рублей. — К 1927 году правление пожелало почить на лаврах: дарили Куварзину портфель, деньги на портфель взяли из подотчетных сумм, а затем бегали с подписным листом по туземцам, чтобы вернуть деньги в кассу. Ввиду замкнутости своих интересов и жизни, протекающей тайно от остального населения, никакого интереса для повести начальство не представляет. Алкоголь в городе продавался только двух видов — водка и церковное вино, других не было, водки потреблялось много, и церковного вина, хотя и меньше, но тоже много — на христову кровь и теплоту. Папиросы в городе продавались — «Пушка», одиннадцать копеек пачка, и «Бокс», четырнадцать копеек, иных не было. Как за водкой, так и за папиросами очереди были — профессиональная и непрофессиональная. Дважды в сутки проходили пароходы, там в буфете можно было купить папиросы «Сафо», портвейн и рябиновку, — и курители «Сафо» были явными растратчиками, ибо частной торговли в городе не было, а бюджеты на «Сафо» не рассчитывались. Жил город в расчете стать заштатным, огородами и взаимопомощью обслуживая друг друга.

У Скудрина моста стоял дом Скудрина, и в доме проживал Яков Карпович Скудрин, ходок по крестьянским делам, человек восьмидесяти пяти лет, — кроме

Якова Карповича Скудрина проживали в городе в отдельности от Якова Карповича много младшие его две сестры, Капитолина и Римма, и брат охламон Иван, переименовавший себя в Ожогова, — речь о них ниже.

Лет сорок последних страдал Яков Карпович грыжей и, когда ходил, поддерживал через прореху у штанов правою своею рукою эту свою грыжу, — руки его были пухлы и зелены, — хлеб солил он из общей солонки густо, похрустывая солью, бережливо остатки соли ссыпая обратно в солонку. Последние тридцать лет Яков Карпович разучился нормально спать, просыпался ночами и бодрствовал тогда за Библией до рассветов, а затем спал до полдней, — но в полдни он всегда уходил в читальню, читать газеты: газет в городе не продавали, на подписку не хватало денег, — газеты читались в читальнях. Яков Карпович был толст, совершенно сед и лыс, глаза его слезились, и он долго хрипел и сопел, пока приготавливался заговорить. Дом Скудриных некогда принадлежал помещику Верейскому, разорившемуся вслед отмене крепостного права в выборной должности мирового судьи: Яков Карпович, отслужив дореформенную солдатчину, служил у Верейского писарем, обучился судейскому крюкодельству и перекупил у него дом вместе с должностью, когда тот разорился. Дом стоял в неприкосновенности от екатерининских времен, за полтора столетия своего существования потемнел, как его красное дерево, позеленев стеклами. Яков Карпович помнил крепостное право. Старик все помнил — от барина своей крепостной деревни, от наборов в Севастополь; за последние пятьдесят лет он помнил все имена отчества и фамилии всех русских министров и наркомов, всех послов при императорском русском дворе и советском ЦИКе, всех министров иностранных дел великих держав, всех премьеров, королей, императоров и пап. Старик потерял счет годам и говорил:

— Я пережил Николая Павловича, Александра Николаевича, Александра Александровича, Николая Александровича, Владимира Ильича, — переживу и Алексея Ивановича!

У старика была очень паршивая улыбочка, раболепная и ехидная одновременно, белесые глаза его слезились, когда он улыбался. Старик был крут, как круты в него были его сыновья. Старший сын Алек-

сандр, задолго еще до 1905 года, будучи посланным со срочным письмом на пароходную конторку, опоздав к пароходу, получил от отца пощечину под слова: — «пошел вон, негодяй!» — эта пощечина была последнею каплей меда, — мальчику было четырнадцать лет, — мальчик повернулся, вышел из дома — и пришел домой — только через шесть лет, студентом Академии художеств. Отец за эти годы посылал сыну письмо, где приказывал сыну вернуться и обещал лишить сына родительского благословения, прокляв навсегда: на этом же самом письме, чуть пониже подписи отца, сын приписал: «А черт с ним, с вашим благословением», — и вернул отцу отцовское письмо. Когда Александр — через шесть лет после ухода, солнечным весенним днем, — вошел в гостиную, отец пошел к нему навстречу с радостной улыбочкой и с поднятой рукой, чтобы побить сына: сын с веселой усмешкой взял своими руками отца за запястье, еще раз улыбнулся, в улыбке весело светилась сила, руки отца были в клещах, — сын посадил отца, чуть надавив на запястья, к столу, в кресло, и сын сказал:

— Здравствуйте, папаша, — и зачем же, папаша, беспокоиться? — присядьте, папаша!

Отец захрипел, захихикал, засопел, по лицу прошла злая доброта — старик крикнул жене:

— Марьюшка, да, хи-хи, водочки, водочки нам принеси, голубушка, холодненькой с погреба, с холодненькой закусочкой, — вырос, сынок, вырос — приехал сынок на наше горе, ссукин сын!

Сыновья его пошли: художник, священник, балетный актер, врач, инженер. Младших два брата стали в старшего — художника и в отца, двое младших ушли из дома, как старший, и самый младший стал коммунистом, инженер Аким Яковлевич, — и он никогда не возвращался к отцу, и, наезжая в родной свой город, жил у теток Капитолины и Риммы. К 1928 году старшие внуки Якова Карповича были женаты, но младшей дочери было двадцать лет. Дочь была единственной, и ей образования никакого не давалось, в громе революции.

В доме жили — старик, его жена Мария Климовна и дочь Катерина. Половина дома и мезонин не отапливались зимами. Дом жил так, как люди жили — задолго до Екатерины, даже до Петра, пусть дом безмолвство-

вал екатерининским красным деревом. Старики существовали огородом. От индустрии в доме были — спички, керосин и соль, только: спичками, керосином и солью распоряжался отец. Мария Климовна, Катерина и старик с весны по осень трудились над капустами, свеклами, репами, огурцами, морковями и над солодским корнем, который шел вместо сахара. Летами в рассветах можно было встретить старика — в ночном белье, босого, с правою рукою в прорехе, с хворостиною в левой руке — за околицами в росе и тумане, пасущего коров. Зимами старик зажигал лампу только в те часы, когда бодрствовал, — в иные часы мать и дочь сидели во мраке. В полдни старик уходил в читальню читать газеты, впитывал в себя имена и новости коммунистической революции. — Катерина тогда садилась за клавесины и разучивала духовные песнопения Костальского, она пела в церковном хоре. Старик приходил домой к сумеркам, ел и ложился спать. Дом проваливался в шепот женщин и во мрак. Катерина уходила тогда на спевки в собор. Отец просыпался к полночи, зажигал лампу, ел и вникал в Библию, читал вслух наизусть. Часов в шесть старик засыпал вновь. Старик потерял время, перестав бояться смерти, разучившись бояться жизни. Мать и дочь молчали при старике. Мать варила каши и щи, пекла пироги, топила и квасила молоко, стряпала холодцы (и бабки прятала для внучат), — то есть существовала так, как было у россиян и в пятнадцатом, и в семнадцатом веке, и пищу готовила также пятнадцатого и семнадцатого веков. Мария Климовна, сухая старушка, она была чудесной женщиной, тем типом женщин, которые хранятся в России по весям вместе со старинными иконами Богоматерей. Жестокая воля мужа, который пятьдесят лет тому назад, на другой день после венчания, когда она надела бархатную, малинового цвета душегрейку, спросил ее: — «это к чему?» (— она тогда не поняла вопроса) — «это к чему?» — переспросил муж, — «сними! — я тебя и без нарядов знаю, а другим заглядываться нечего!» — наслюнявив тогда большой палец, больно муж показал жене, как надо зачесывать ей виски, — жестокая воля мужа, заставившая убрать в сундук навсегда бархатную душегрею, пославшая жену на кухню, — сломала ли она волю жены — или закалила ее подчинением? — жена навсегда была беспрекословной, достойна, молча-

лива, печальна, — и никогда не была криводушной. Ее мир не выходил из-за калитки, — и один был путь за калитку — в церковь, как могилу. Она пела с дочерью псалмы Костальского, ей было шестьдесят девять лет. В доме стыла допетровская Русь. Старик по ночам наизусть читал Библию, перестав бояться жизни. Очень редко, через месяцы, в безмолвные часы ночей старик шел к постели жены, — он шептал тогда:

— Марьюшка, да, — кхэ, гм!.. да, кхэ, Марьюшка, это жизнь, Марьюшка!

В его руках была свеча, его глаза слезились и смеялись, руки его дрожали:

— Марьюшка, кхэ, вот я, да, — это жизнь, Марьюшка, кхэ!

Марья Климовна крестилась.

— Постыдитесь, Яков Карпович!..

Яков Карпович тушил свет.

У дочери Катерины были желтые маленькие глазки, которые казались неподвижными от бесконечного сна. Около разбухших ее век круглый год плодились веснушки. Руки и ноги ее были, как бревна, грудь была велика, как вымя у швейцарских коров.

...Город — русский Брюгге и русская Камакура.

Глава третья

...Москва громыхала грузовиками дел, начинаний, свершений. Автомобили мчались вместе с домами — в пространства и ввысь. Плакаты кричали горьковским ГИЗом, кино и съездами. Шумы трамваев, автобусов и такси утверждали столицу вдоль и поперек.

Поезд уходил из Москвы в ночь черную, как сажа. Лихорадка московских зарев и громов погибала, и погибала очень быстро. Поля легли черной тишиной, и тишина вселилась в вагон. В двухместном купе мягкого вагона сидели двое — два брата Бездетовы, Павел Федорович и Степан Федорович, краснодеревщики-реставраторы. Оба они имели вид непонятный, одеты были, как одевались купцы при Островском, в сюртуках, но в бекешах, — лица ж у них, хоть и бритые, хранили ярославскую славянскость, — глаза у обоих были пусты и умны. Поезд уволакивал время в черные пространства полей. В вагоне пахло дубленой кожей и коноплей. Павел Федорович достал из чемодана бутыль коньяку и серебряный стаканчик, — налил, выпил, — налил, молча передал брату. Брат выпил и вернул стаканчик. Павел Федорович убрал бутыль и стаканчик в чемодан.

— Бисер брать будем? — спросил Степан.

— Обязательно, — ответил Павел.

И еще через полчаса молчания братья выпили по стаканчику.

— Так называемые русские гобелены брать будем? — спросил Степан.

— Обязательно, — ответил Павел.

Прошло полчаса в молчании. Поезд волочил время, останавливая его перед станциями. Павел достал бутылку и стакан, выпил, налил брату, убрал.

— Девушек угостим? Фарфор брать будем? — спросил Степан Федорович.

— Обязательно, — ответил Павел.

В полночь поезд пришел к Волге, к селу, славному по всей России кустарным сапожным производством. Кожей пахло все крепче и крепче. Павел налил по последнему стаканчику.

— Позднее Александра брать не будем? — спросил Степан.

— Невозможно, — ответил Павел Федорович.

На станции горами свалены были российские сапоги — не философия, но конкретное утверждение русских дорог. Кустарничество пахло дегтем. Мрак был густ, как деготь, которым пахнул. По станции бегали сапожники. Все кругом за станцией проваливалось в грязь. Павел Федорович молчаливо за сорок копеек нанял телегу к пароходной конторке. Извозчики ругались в темноте, как сапожники. От просторных мраков Волги повалило сыростью. Заволжье горело электрическими огнями сапожничества. В буфете на пароходе пьянствовала компания евреев-перекупщиков, руководила компанией, разливала водку молодая женщина в манто из обезьяньего меха, — компания ушла после третьего свистка. Пароход притушил огни. Ветер стал шарить волжские пространства, сырость полезла в каюты. Бабища-буфетчица, накрывая Бездетовым, накрывала постели на столах в буфете, говорила о своем любовнике, который украл у нее сто двадцать два рубля. Пароход уносил в себе запахи сапожной кожи. Палубные пассажиры пели от холода разбойничьи песни. В серой мрази утра предстали пейзажи — не четырнадцатого, а любого доисторического века, — нетронутые человеком берега, сосны, ели, березы, валуны, глина, вода, — четырнадцатый век по европейскому летоисчислению представал плотами, паромами, деревнями. К полдням пароход пришел в семнадцато-осьмнадцатый век русского Брюгге, — город спустился к Волге церквами, кремлем и развалинами пожарища 1920 года (тогда, в двадцатом, здесь сгорела добрая и центральная половина города. Занялся тогда пожар в уподкоме, — надо было бы тушить пожар, — но стали ловить буржуев и сажать их в тюрьму заложниками, — буржуев ловили три дня, ровно столько, сколько горел город, и перестали ловить, когда пожар отгорел без вмешательства пожарных труб и населения). — В тот час, когда антиквары сошли с парохода, над городом летали обалделые стаи галок и ныл город необыкновенным стоном стаскиваемых с колоколен колоколов. Собирался над городом покапать дождь.

Павел Федорович — молчаливо — нанял тарантас к Скудрину мосту — к Якову Карповичу Скудрину. Извозчик затарахтел по целебным ромашкам мостовых старины, рассказал о колокольной городской новости, объяснил, что у многих в городе нервное произошло

расстройство из-за ожидания падения колоколов и грома падения, как бывает у неопытных стрелков, у которых жмурятся глаза из-за ожидания выстрела. Якова Карповича Бездетовы встретили во дворе, старик рубил сучья для печки. Мария Климовна выкидывала из коровника навоз. Яков Карпович не сразу узнал Бездетовых, — узнав, обрадовался, —заулыбался, закряхтел, засопел, — произнес:

— Ааа, покупатели!.. А я для вас теорию пролетариата придумал!

Мария Климовна поклонилась гостям в пояс, руки убрав под передник, — пропела приветливо:

— Гости дорогие, добро пожаловать, гости многожданные!

Катерина в подоткнутой до ляжек юбке, измазанная землей, опрометью пробежала в дом — переодеваться. Над крышами домов, шарахнув вороньи стаи, проревел падающий колокол, Мария Климовна перекрестилась, — бабахнуло колоколом громче, чем из пушки, зазвенели стекла в окнах на двор, — нервы, действительно, можно было испортить.

Все вошли в дом. Мария Климовна пошла к ухватам, у ее ног запел самовар. Катерина вышла к гостям барышней, сделала книксен. Старик скинул валенки, ходил вокруг гостей босиком и голубком ворковал. Антиквары помылись с дороги и сели к столу рядом, молча. Глаза гостей были пусты, как у мертвецов. Мария Климовна справилась о здоровии и расставляла по столу кушания семнадцатого века. Гости поставили на стол бутылку коньяку. Говорил за столом один Яков Карпович, хихикал и хмыкал, сообщал, куда надо пойти за стариной, где он ее приметил для братьев Бездетовых.

Павел Федорович спрашивал:

— А вы так и будете крепиться? — не продаете?

Старик заерзал и захихикал, плаксиво ответил:

— Да, да, мол. Не могу, нет, не могу. Мое при мне, мне самому пригодится, поживем — увидим, да, кхэ... Я вам лучше теорию... Я еще вас переживу!

После обеда гости легли спать, — притворили скрипучие двери, улеглись на перины и безмолвно пили коньяк из старинного серебра. К вечеру гости упились. Весь день Катерина пела духовные песнопения. Яков Карпович бродил около дверей к гостям, поджидая, когда гости выйдут или заговорят, — чтобы зайти к ним

побеседовать. День был унесен воронами, весь закат очень полошились вороны, разворовывая день. Сумерки развозились водовозными бочками. Глаза у гостей, когда они вышли к чаю, были совершенно мертвы, обалдело немигающие. Гости сели к столу безмолвно и рядом. Яков Карпович примостился сзади них, чтобы быть ближе к их ушам. Гости пили чай с блюдечек, подливая чай в коньяк, расстегнув свои сюртуки. Екатерининский торшер чадил около стола. Обеденный стол был круглый, красного дерева.

Яков Карпович говорил захлебываясь, спеша высказаться:

— А я вам мысль приготовил, кхэ, мысль... Теория Маркса о пролетариате скоро должна быть забыта, потому что сам пролетариат должен исчезнуть, — вот, какая моя мысль!.. — а стало быть, и вся революция ни к чему, ошибка, кхэ, истории. В силу того, да, что еще два-три поколения и пролетариат исчезнет — в первую очередь в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии. Маркс написал свою теорию в эпоху расцвета мышечного труда. Теперь машинный труд заменяет мышцы. Вот какая моя мысль. Скоро около машин останутся одни инженеры, а пролетариат исчезнет, пролетариат превратится в одних инженеров. Вот, кхэ, какая моя мысль. А инженер — не пролетарий, потому что чем человек культурней, тем меньше у него фанаберских потребностей и ему удобнее со всеми материально жить одинаково, уровнять материальные блага, чтобы освободить мысль, да, — вон, англичане, богатые и бедные, одинаково в пиджаках спят и в одинаковых домах живут, в трехэтажных, а у нас — бывало — сравните купца с мужиком, — купец, как поп, выряжается и живет в хоромах. А я могу босиком ходить, и от этого хуже не стану. Вы скажете, кхэ, да, эксплоатация останется? — да как останется? — мужика, которого можно эксплоатировать, потому что он, как зверь, — его к машине не пустишь, он ее сломает, а она стоит миллионы. Машина дороже того стоит, чтобы при ней пятак с человека экономить, — человек должен машину знать, к машине знающий человек нужен — и вместо прежней сотни всего один. Человека такого будут холить. Пропадет пролетариат!..

Гости пили чай и слушали немигающими глазами. Яков Карпович хрюкал, харкал и торопился, — но раз-

вить мысли своей окончательно не успел: пришел Иван Карпович, брат, — охламон, переименовавший себя из Скудрина в Ожогова. Он, аккуратненько одетый в отчаянное тряпье, аккуратненько подстриженный, в галошах на босу ногу, — он почтительно всем поклонился и сел в сторону, в молчании. Поклону его никто не ответил. Лицо его было сумасшедшее. Яков Карпович заерзал и заволновался.

Мария Климовна сказала сокрушенно:

— И зачем только вы пришли, братец?

Охламон ответил:

— Посмотреть виды контрреволюции, сестрица.

— Какая ж тут контрреволюция, братец?

— Что касается вас, сестрица, то вы контрреволюция бытовая, — тихо и сумасшедше заговорил охломон Ожогов. — Но вы от меня плакали, — значит в вас есть зачатки коммунизма. Братец же Яков ни разу не плакал, и очень я раскаиваюсь, что не приставил я его в мое время к стенке, не расстрелял.

Мария Климовна вздохнула, покачала головой, молвила:

— Сынок-то твой как?

— Сынок мой, — ответил гордо охламон, — мой сын кончает вуз и меня не забывает, ходит в мое государство, когда бывает на каникулах, греется у печки, я ему революционные стихи сочиняю.

— А супруга?

— С ней я не встречаюсь. Она женотделом заведует. Знаете, сколько у нас заведующих приходится на двоих производственных рабочих?

— Нет.

— Семь человек. У семи нянек дитя без глазу. — А гости ваши — контрреволюция историческая.

Гости пили чай с оловянными глазами. Яков Карпович, наливался лиловою злобой, стал походить на свеклу. Он пошел на брата, захихикал в вежливости, засучил руками, усердно тер их друг о друга, точно в морозе.

— Знаете, братец, — заговорил, засипел Яков Карпович, очень вежливо, — убирайтесь отсюда к чертовой матери. Я вас чистосердечно прошу!..

— Извиняюсь, братец Яков, — я не к вам пришел, — я пришел историческую контрреволюцию посмотреть и с ней побеседовать, — ответил Иван.

— А я прошу — убирайтесь к чертовой матери!

— А я не пойду к ней!

Павел Федорович Бездетов медленно глянул оловом левого своего глаза на брата и сказал:

— Разговаривать с юродами мы не можем, — не уйдешь, велю Степану тебя выгнать в шею.

Степан мигнул так же, как брат, и поправился на стуле. Мария Климовна подперла щеки и вздохнула. Охломон сидел молча. Степан Федорович нехотя встал из-за стола, подошел к охламону. Охламон трусливо приподнялся и попятился к двери. Мария Климовна еще раз вздохнула. Яков Карпович хихикал. Степан остановился посреди комнаты, — охламон остановился у двери, гримасничая. Степан шагнул к охламону, — охламон ушел за дверь. Из-за двери он сказал просительно:

— Дайте в таком случае рубль двадцать пять копеек на водку.

Степан глянул на Павла, Павел произнес:

— Отпусти на полбутылки.

Охламон ушел. Мария Климовна выходила за калитку проводить его, сунула ему кусок пирога. Ночь за калиткой была черной и неподвижной. Охламон Ожогов шел темными переулками к Волге, мимо монастырей, пустырями, ему одному известными тропками. Ночь была очень черна. Иван разговаривал сам с собою, бормоча невнятно. Он спустился к промкомбинатскому кирпичному заводу, там он пролез через заборную щель, пошел ямами карьеров. Среди ям горела обжигная печь. Иван полез под землю, в печную яму, — там было очень тепло и очень душно, из щелей от заслонов шел красный свет. Здесь на земле валялись оборванцы, заросшие войлоком волос, коммунисты Ивана Ожогова, люди безмолвного договора с промкомбинатом: они бесплатно жгли печь кирпичного завода, эту, огнем которой обжигался кирпич, — и они бесплатно жили около печи, люди, остановившие свое время эпохой военного коммунизма, избрав председателем себе Ивана Ожогова. На соломе около доски, служившей столом, лежали трое, отдыхающие оборванцы. Ожогов присел рядом, подрожал, как люди дрожат в ознобе, согреваясь, положил на стол деньги и кусок пирога.

— Не плакали? — спросил один из оборванцев.

— Нет, не плакали, — ответил Ожогов.

Помолчали.

— Тебе идти, товарищ Огнев, — сказал Ожогов.

Вползли в глину подземелья еще двое в войлоке бород и усов, в рваной нищете, прилегли, положили на доски деньги и хлеб. Человек лет сорока, — уже старик, — лежавший в самом темном тепле, — Огнев, подполз к доске, сосчитал деньги, — полез из подземелья наверх. Остальные остались сидеть и лежать в безмолвии, — один из пришедших лишь молвил, что завтра с утра надо будет грузить баржу дровами. Огнев вернулся скоро с бутылками водки. Тогда охламоны придвинулись к доске, достали кружки, сели кружком. Товарищ Огнев разлил водку, чокнулись, безмолвно выпили.

— Теперь я буду говорить, — сказал Ожогов. — Были такие братья Райты, они решили полететь в небо, и они погибли, разбившись о землю, упав с неба. Они погибли, но люди не оставили их дела, люди уцепились за небо, — и люди — летают, товарищи, они летают над землей, как птицы, как орлы! — Товарищ Ленин погиб, как братья Райты, — я был у нас в городе первым председателем исполкома. В двадцать первом году все кончилось. Настоящие коммунисты во всем городе — только мы, и вот нам осталось место только в подземелье. Я был здесь первым коммунистом, и я останусь им, пока жив. Наши идеи не погибнут. Какие были идеи! — теперь уже никто не помнит этого, товарищи, кроме нас. Мы — как братья Райты!..

Товарищ Огнев налил по второму залпу водки. И Огнев перебил Ожогова:

— Теперь я скажу, председатель! какие были дела! как дрались! Я командовал партизанским отрядом. Идем мы лесом, день, идем ночь, и еще день, и еще ночь. И вот на рассвете слышим — пулеметы...

Огнева перебил Пожаров — он спросил Огнева:

— А как ты рубишь? — ты как большой палец держишь при рубке, согнув или прямо? — ты покажи!

— На лезвие. Прямо, — ответил Огнев.

— Все на лезвие. Ты покажи. Вот, на ножик, покажи!

Огнев взял сапожный нож, которым охламоны резали хлеб, и показывал, как он кладет большой палец на лезвие.

— Неправильно ты рубаешь! — крикнул Пожаров. — Я саблю при рубке держу не так, я режу, как бритвой. Дай, покажу! — Неправильно ты рубаешь!

— Товарищи! — молвил тихо Ожогов, и лицо его исказилось сумасшедшей болью, — мы об идеях должны сегодня говорить, о великих идеях, а не о рубке!

Ожогова перебил четвертый, он крикнул:

— Товарищ Огнев! ты был в третьей дивизии, а я во второй, — помнишь, как вы прозевали переправу около деревни Шинки?!

— Мы прозевали?! — нет, это вы прозевали, а не мы!..

— Товарищи! — опять тихо и сумасшедше молвил Ожогов. — Мы об идеях должны говорить!..

К полночи люди в подземелье у печки спали, эти оборванцы, нашедшие себе право жить в подземелье у печи кирпичного завода. Они спали, свалившись в кучу, голова одного на коленях другого, прикрывшись своими лохмотьями. Последним уснул их председатель Иван Ожогов, — он долго лежал около жерла печи, с листком бумаги. Он мусолил карандаш, он хотел написать стихи. — «Мы подняли мировую», — написал он и зачеркнул. — «Мы зажгли мировой», — написал он и зачеркнул. — «Вы, которые греете воровские руки», — написал он и зачеркнул. — «Вы — либо лакеи, иль идиоты», — написал он и зачеркнул. Слова не шли к нему. Он заснул, опустив голову на исчирканный лист бумаги. Здесь спали коммунисты призыва военного коммунизма и роспуска тысяча девятьсот двадцать первого года, люди остановившихся идей, сумасшедшие и пьяницы, люди, которые у себя в подземелье и у себя в труде по разгрузке барж, по распилке дров создали строжайшее братство, строжайший коммунизм, не имея ничего своего, ни денег, ни вещей, ни жен, — впрочем, жены ушли от них, от их мечтаний, от сумасшествия и алкоголя. — В подземелье было очень душно, очень тепло, очень нище.

Полночь следовала над городом неподвижная и черная, как история этих мест.

В полночь на лестнице в мезонин младший реставратор Степан Федорович остановил Катерину, потрогал ее плечи, крепкие, как у лошади, пощупал их пьяною рукою и сказал тихо:

— Ты, там, скажи своим... сестрам... Опять устроим. Найдите, мол, место...

Катерина стояла покорно и покорно прошептала:

— Хорошо, скажу.

Внизу в ту минуту Яков Карпович развивал Павлу Федоровичу теории цивилизации. В гостиной на круглом столе стоял стеклянно-бронзовый фрегат, приспособленный для наливания алкоголем, чтобы путем алкоголя, разливаемого через краник из фрегата и через рюмки по человечьим горлам, — путем алкоголя путешествовать на этом фрегате по фантазиям. Этот фрегат был вещью осьмнадцатого века. Фрегат был налит коньяком. Павел Федорович сидел в безмолвии. Яков Карпович копошился вокруг Павла Федоровича, топтался голубком на ногах, через прореху поддерживая грыжу.

— Да-с, кхэ, — говорил он. — Что же, по-вашему, движет миром, цивилизацию, науку, пароходы? Ну, что?

— Ну, что? — переспросил Павел Федорович.

— А по-вашему что? — труд? знание? голод? любовь? — нет! — Цивилизацией движет — память! — Представьте себе картину: завтра утром у людей пропадет память, — инстинкты, разум остались, — а памяти — нет. Я проснулся на кровати — и я падаю с кровати, потому что я по памяти знаю о пространстве, а раз памяти нет, я этого не знаю. На стуле лежат штаны, мне холодно, но я не знаю, что со штанами делать. Я не знаю, как мне ходить, на руках или на четвереньках. Я не помню вчерашнего дня, значит, я не боюсь смерти, ибо не знаю о ней. Инженер забыл всю свою высшую математику, и все трамваи и паровозы стоят. Попы не найдут дорогу в церковь, а также ничего не помнят об Иисусе Христе. Да, кхэ!.. У меня остались инстинкты, хотя они тоже вроде памяти, но допустим, — и я не знаю, что мне есть, стул или хлеб, оставшийся на стуле с ночи, — а увидев женщину, я свою дочь приму за жену.

Алкогольный фрегат на столе норд-остами пояснял мысли Якова Карповича, — вместе с фрегатом в красном дереве гостиной застрял от осьмнадцатого века российский Вольтер. За окнами осьмнадцатого века шла советская уездная ночь.

Еще через час дом Скудриных спал. И тогда в кислой тишине спальни зашлепали туфли Якова Карповича — к постели Марии Климовны. Мария Климовна, древняя старушка, спала. Свеча в руке Якова Карповича дрожала. Яков Карпович хихикал. Яков Карпович коснулся пергаментного плеча Марии Климовны, глаза его заслезились в наслаждении. Он зашептал:

— Марьюшка, Марьюшка, это жизнь, это жизнь, Марьюшка.

Осьмнадцатый век провалился в вольтеровский мрак.

Наутро над городом умирали колокола и выли, разрываясь в клочья. Братья Бездетовы проснулись рано, но Мария Климовна встала еще раньше, и к чаю были горячие, с грибами и луком пирожки. Яков Карпович спал. Катерина была заспанна. Чай пили молча. День настал сер и медленен. После чая братья Бездетовы пошли на работу. Павел Федорович составил на бумажке реестрик домов и семей, куда надо было идти. Улицы лежали в безмолвии уездных мостовых, каменных заборов, бурьянов под заборами, бузины на развалинах пожарища, церквей, колоколен, — и глохли в безмолвии, когда начинали ныть колокола, и орали безмолвием, когда колокола ревели, падая.

Бездетовы заходили в дом молчаливо, рядом, и смотрели кругом слепыми глазами.

1. На Старой Ростовской стоял дом, покрившийся набок. В этом доме умирала вдова Мышкина, вдова — семидесятилетняя старуха. Дом стоял углом к улице, потому что он был построен до возникновения улицы, — и дом этот был строен не из пиленого леса, а из тесаного, потому что он возник во времена, когда русские плотники пилы еще не употребляли, строя одним топором, — то есть до времен Петра. По тогдашним временам дом был боярским. В доме от тех дней хранились — кафельная печь и кафельная лежанка, изразцы были разрисованы барашками и боярами, залиты охрой и глазурью.

Бездетовы вошли в калитку не постучавшись. Старушка Мышкина сидела на завалинке перед свиным корытом, свинья ела из корыта ошпаренную кипятком крапиву. Бездетовы поклонились старушке и молча сели около нее. Старушка ответила на поклон и растерянно, и радостно, и испуганно. Была она в рваных валенках, в ситцевой юбке, в персидской пестрой шали.

— Ну, как, продаете? — спросил Павел Бездетов.

Старушка спрятала руки под шаль, опустила глаза в землю к свинье, — Павел и Степан Федоровичи глянули друг на друга, и Степан мигнул глазом — продаст.

Костяною рукой с лиловыми ногтями старушка утерла уголки рта, и рука ее дрожала.

— Уж и не знаю, как быть, — сказала старушка и виновато глянула на братьев, — ведь деды наши жили и нам завещали, и прадеды, и даже времена теряются... А как помер мой жилец, царствие небесное, прямо невмоготу стало, — ведь он мне три рубля в месяц за комнату платил, керосин покупал, мне вполне хватало... А вот и батюшка мой и матушка моя на этой лежанке померли... Как же быть... Царствие небесное, жилец был тихий, платил три рубля и помер на моих руках... Уж я думала, думала, сколько ночей не спала, смутили вы мой покой.

Сказал Павел Федорович:

— Изразцов в печке и в лежанке сто двадцать. Как уговаривались, по двадцать пять копеек изразец. Итого сразу вам тридцать рублей. Вам на всю жизнь хватит. Мы пришлем печника, он их вынет, и поставит на их место кирпичи, и побелит. И все за наш счет.

— О цене я не говорю, — сказала старушка, — цену вы богатую даете. Такой цены у нас никто не даст... Да и кому они, кроме меня, нужны? — вот если бы не родители... одинокая я...

Старушка задумалась. Думала она долго, — или ничего не думала? — глаза ее стали невидящими, провалились в глазницы. Свинья съела свою крапиву и тыкала пятачком в старухин валенок. Братья Бездетовы смотрели на старуху деловито и строго. Вновь старуха утерла уголки губ трясущейся рукою. Тогда она улыбнулась виновато, виновато глянула по сторонам, по косым заборчикам двора и огорода, — виновато опустила глаза перед Бездетовыми.

— Ну, так и быть, дай вам Бог! — сказала старушка и протянула руку Павлу Федоровичу, неумело и смущенно, но так, как требует заправская торговая традиция, — отдала изразцы из полы в полу.

2. На соборной площади в полуподвале бывшего собственного дома жила семья помещиков Тучковых. Прежняя их усадьба превратилась в молочный завод. Здесь в подвале жили — двое взрослых и шестеро детей, — две женщины — старуха Тучкова и ее сноха, муж которой, бывший офицер, застрелился в 1925 году накануне смерти от туберкулеза. Старик-полковник

был убит в 1915 году на Карпатах. Четверо детей принадлежали Ольге Павловне, как звали сноху, — двое остальных принадлежали расстрелянному за контрреволюцию младшему Тучкову. Ольга Павловна была кормилицей, играла по вечерам в кинематографе на рояле. И она, тридцатилетняя женщина, походила на старуху.

Подвал был отперт, как во всех нищих домах, когда туда пришли братья Бездетовы. Их встретила Ольга Павловна. Она закивала головой, приглашая войти, — она побежала вперед, в так называемую столовую, прикрыть кровать, чтобы посторонние не видели, что под одеялом нет постельного белья. Ольга Павловна глянулась в триптих зеркала на туалете александровско-ампирного — красного дерева. Братья были деловиты и действенны. Степан поднимал стулья вверх ножками, отодвигал диван, поднимал матрас на кровати, выдвигал ящики в комоде — рассматривал красное дерево. Павел перебирал миниатюры, бисер и фарфор. У молодой старухи Ольги Павловны осталась легкость девичьих движений и умение стыдиться. Реставраторы чинили в комнатах молчаливый разгром, вытаскивая из углов грязь и нищету. Шестеро детей лезли к юбке матери в любопытстве к необыкновенному, двое старших готовы были помогать в погроме. Мать стыдилась за детей, младшие хныкали у юбки, мешая матери стыдиться. Степан отставил в сторону три стула и кресло, и он сказал:

— Ассортимента нет, гарнитура.

— Что вы сказали? — переспросила Ольга Павловна, — и крикнула беспомощно на детей: — Дети, пожалуйста, уйдите отсюда! Вам здесь не место, прошу вас...

— Ассортимента нет, гарнитура, — сказал Степан Федорович. — Стульев три, а кресло одно. Вещи хорошие, не спорю, но требуют большого ремонта. Сами видите — в сырости живете. А гарнитур надо собрать.

Дети притихли, когда заговорил реставратор.

— Да, — сказала Ольга Павловна и покраснела, — все это было, но едва ли можно собрать. Часть осталась в имении, когда мы уехали, часть разошлась по крестьянам, часть поломали дети, и — вот — сырость, я отнесла в сарай...

— Поди, велели в двадцать четыре часа уйти? — сказал Степан Федорович.

— Да, мы ушли ночью, не ожидая приказа. Мы предвидели...

В разговор вступил Павел Федорович, он спросил Ольгу Павловну:

— Вы по-французски и по-английски понимаете?

— О, да, — ответила Ольга Павловна, — я говорю...

— Эти миниатюрки будут — Бушэ и Госвей?

— О, да! — эти миниатюры...

Павел Федорович сказал, глянув на брата:

— По четвертному за каждую можно дать.

Степан Федорович брата перебил строго:

— Если гарнитур мебели, хотя бы половинный, соберете, куплю у вас всю мебель. Если, говорите, имеется у мужиков, можно к ним съездить.

— О, да! — ответила Ольга Павловна. — Если половину гарнитура... До нашей деревни тринадцать верст, это почти прогулка... Половину гарнитура можно собрать. Я схожу сегодня в деревню и завтра дам ответ. Но — если некоторые вещи будут поломаны...

— Это не влияет, скинем цену. И не то, чтобы ответ, а прямо везите, чтобы завтра все можно у вас получить и упаковать. Диваны пятнадцать рублей, кресла семь с полтиной, стулья по пяти. Упаковка наша.

— О, да, я схожу сегодня, до нашей деревни только тринадцать верст, это почти прогулка... Я сейчас же пойду.

Сказал старший мальчик:

— Maman, и тогда вы купите мне башмаки?

За окнами был серый день, за городом лежали российские проселки.

3. Барин Вячеслав Павлович Каразин лежал в столовой на диване, прикрывшись беличьей курткой, вытертой до невозможности. Столовая его, как и кабинет-спальня его и его супруги, являли собой кунсткамеру, разместившуюся в квартире почтового извозчика. Братья Бездетовы стали у порога и поклонились. Барин Каразин долго рассматривал их и гаркнул:

— Вон! жжулики. Вон отсюда!

Братья не двинулись.

Барин Каразин налился кровью и вновь гаркнул:

— Вон от меня, негодяи!

На крик вышла жена. Братья Бездетовы поклонились Каразиной и вышли за дверь.

— Надин, я не могу видеть этих мерзавцев, — сказал барин Каразин жене.

— Хорошо, Вячеслав, вы уйдете в кабинет, я переговорю с ними. Ах, вы же все знаете, Вячеслав! — ответила барыня Каразина.

— Они перебили мой отдых. Хорошо, я уйду в кабинет. Только, пожалуйста, без фамильярностей с этими рабами.

Барин Каразин ушел из комнаты, волоча за собой куртку, вслед ему в комнату вошли братья Бездетовы, еще раз почтительно поклонились.

— Покажите нам ваши русские гобелены, а также скажите цену бюрца, — сказал Павел Федорович.

— Присядьте, господа, — сказала барыня Каразина.

Распахнулась дверь из кабинета, высунулась из двери голова барина. Барин Каразин закричал, глядя в сторону к окнам, чтобы случайно не увидеть братьев Бездетовых:

— Надин, не разрешайте им садиться! Разве они могут понимать прелесть искусства! Не разрешайте им выбирать! — продайте им то, что находим нужным продать мы. Продайте им фарфор, фарфоровые часы и бронзу!..

— Мы можем и уйти, — сказал Павел Федорович.

— Ах, подождите, господа, дайте успокоиться Вячеславу Павловичу, он совсем болен, — сказала барыня Каразина и села беспомощно к столу. — Нам же необходимо продать несколько вещей. Ах, господа!.. Вячеслав Павлович, прошу вас, прикройте дверь, не слушайте нас, — уйдите гулять...

4—5—7— —

К вечеру, когда галки разорвали день и перестали выть колокола, братья Бездетовы вернулись домой и обедали. После обеда Яков Карпович Скудрин снарядился в поход. В его карманах были бездетовские деньги и реестрик. Старик одел широкополую фетровую шляпу и овчинный полушубок, на ногах у него были опорки. Он шел к плотнику, к возчику, за веревками и рогожами, — распорядиться, упаковать купленное и отвезти на пароходную пристань для отправки в Москву. Старик был у дел, он сказал, уходя:

— Надо бы охламонам поручить перенос и упаковку, самые честные люди, хоть и юроды. Да нельзя. Братец Иван им не позволит, их самый главный революционер, — не даст работать на контрреволюцию, хи-хи!..

Братья Бездетовы устроились в гостиной отдыхать. Земля последовала на ночь. Весь вечер стучались украдкою люди в окошко Марии Климовны, — к ним выходила Катерина, — и люди, нищенски заискивая, предлагали, — «дескать, гости у вас живут, всякие старинные вещи покупают», — старинные рубли и копейки, испорченные лампы, самовары, старые книги, подсвечники, — эти люди не понимали искусства старины, они были нищи всячески, — Катерина не допускала их до гостей, с их медными лампами, предлагая вещи оставить до завтра, когда гости, отдохнув, глянут. Вечер был темен. В закат подул ветер, нанес тучи, заморосил дождь осенней непреложностью, — лесом, дорожными грязями (теми самыми, в которых в эти дни завязал Аким Скудрин) шла Ольга Павловна, женщина с лицом старухи и с движеньями, девически легкими. Лес шумел ветром, в лесу было страшно. Эта женщина в девическом страхе леса шла в свою деревню, чтобы у крестьян купить, ненужные крестьянам, кресла.

Часов в восемь вечера Катерина отпросилась у матери — сначала на спевку, потом к подруге, — нарядилась и ушла. Через полчаса после нее вышли в дождь Степан и Павел Федоровичи. Катерина ждала их за мостом. Степан Федорович взял Катерину под руку. Они пошли вдоль оврага, тропинкой, в кромешной темноте, к окраинам города. Там жили старухи-тетки Скудрины. Катерина и Бездетовы ворами прошли во двор, ворами пошли в сад. В глубине сада стояла глухая баня.

Катерина постучала, полуоткрылась дверь. В бане горел свет, там гостей ожидали три девушки. Окна девушки глухо занавесили, к ступенькам на полок придвинули стол. Девушки были празднично наряжены, поздоровались торжественно.

Братья Бездетовы вынули из карманов бутылки с коньяком и портвейном, привезенные из Москвы.

Девушки раскладывали на столе — на бумаге — вареную колбасу, шпроты, конфеты, помидоры и яблоки. Старшая в компании — Клавдия — достала из-за печки бутылку водки. — Все говорили шепотом. Братья

Бездетовы сели рядом на ступень к полку. На полке горела железная лампа.

Через час девушки были пьяны, — и тем не менее они говорили шепотом. У пьяных людей, и у пьяных женщин, в частности, когда они очень пьяны, надолго на лицах застревают одни и те же выражения, созданные алкоголем. Клавдия сидела за столом, по-мужски оперев голову рукою, зубы ее были оскалены, а губы окаменели в презрении, — иногда голова ее сползала с руки, тогда она рвала свои стриженые волосы, не чувствуя боли, — она курила одну папиросу за другой и пила коньяк, — она была очень румяна и безобразно-красива. Она говорила брезгливо:

— Я пьяна? — да, пьяна. И пусть. Завтра я опять пойду в школу учить, — а что я знаю? чему я учу? — А в шесть часов я пойду на родительское совещание, которое я созвала. Вот мой блокнот, тут все написано... Я пью — эх, была не была! — вот я и пьяна. Кто вы такие? какие вы мне родственники? вы красное дерево покупаете? старину? — вы и нас хотите купить вином? — вы думаете, я не знаю, что такое жизнь? нет, знаю, у меня скоро будет ребенок... а кто его отец, я не знаю... И пусть, и пусть!

Зубы Клавдии были оскалены и глаза неподвижны. Павел приставал с просьбой к Зине, самой младшей, — эта была коротконогой хохотушкой в кудельках белых волос, — она сидела на чурбане поодаль от всех, расставив ноги и упираясь руками в боки. Павел Федорович говорил:

— А вот ты, Зина, кофточку не снимешь, лифчик не расстегнешь, не смеешь!

Зина зажимала себе рот, чтобы громко не хохотать, хохотала и говорила:

— А вот и покажу!

— Нет, не покажешь, не смеешь!

Клавдия сказала в презрении:

— Покажет. Зинка, покажи им груды! пусть смотрят. Хотите, я покажу? — вы думаете, я пьяница? — нет, последний раз я была пьяна, когда вы приезжали. И сегодня пошла, чтобы напиться — в дым, в дым — понимаете? — в дым!.. была не была!.. Зинка, покажи им груды! ведь показываешь своему Коле... Хотите, я покажу?!

Клавдия рванула ворот своей кофточки. Девушки бросились к ней. Катерина сказала рассудительно:

— Клава, не рви одежду, а то дома узнают.

Зина с трудом держалась на ногах, она обняла Клавдию, схватив ее за руки. Клавдия поцеловала Зину.

— Не рвать? — спросила она. — Ну, хорошо, не буду... А ты покажи им... Пусть глядят, мы не стыдимся предрассудков!.. Вы красное дерево покупаете?

— Хорошо, я покажу, — покорно сказала Зина и деловито стала расстегивать кофточку.

Четвертая девушка вышла из бани, ее тошнило. — Конечно, Бездетовы чувствовали себя покупателями, они умели только покупать.

За баней шел дождь, шумели в ветре деревья. — В тот час Ольга Павловна добралась уже до своей деревни и, счастливая, благодарная деду Назару, что он продал ей стулья и кресло, засыпала на полу на соломе в Назаровой избе. Барин Каразин бился в тот час в припадке старческой истерии. Охломоны в тот час в подземелье у печи глазами и голосами сумасшедших утверждали девятьсот девятнадцатый год, когда все было общее, и хлеб, и труд, когда ничего не было позади и впереди были идеи, и не было денег, потому что они были не нужны. — А еще через час баня опустела. Пьяные женщины и братья Бездетовы пошли по домам, — пьяные девушки бесшумно крались в домах к своим постелям. На полу в бане остался валяться блокнот. В блоке было записано: — «собрать на 6 час. 7-го родительское совещание». — «На собрании месткома предложить записаться на заем индустриализации в размере месячного оклада». — «Александру Алексеевичу предложить повторить Азбуку Коммунизма» — —

Наутро вновь ныли колокола, и наутро потащились к пароходной пристани, под управлением Якова Карповича, возы красного дерева екатерины, павлы, александры. Братья Бездетовы спали до полдня. На кухне к этому часу собралась толпа ждущих участи их старых рублей, ламп, подсвечников.

Город — русский Брюгге.

Глава четвертая

...И в эти же дни, двумя днями позднее братьев Бездетовых, приехал в город инженер Аким Скудрин, младший сын Якова Карповича. Сын не пошел к отцу, остановившись у теток Капитолины и Риммы. Инженер Аким приехал без дел, у него была свободная неделя — —

...Капитолина Карповна идет к окну. Провинция. Кирпичный, красный развалившийся забор упирается в охренный с бельведером дом на одном углу, а на другом церковь, — дальше площадь, городские весы, опять церковь. Идет дождь. Свинья нюхает лужу. Из-за угла выехал водовоз. — Из калитки вышла Клавдия, в смазных сапогах, в черном до сапог пальто, в синей повязке на голове, — опустила голову, перешла улицу, пошла под развалинами забора, ушла за угол на площади. Глаза Капитолины Карповны светлы — она долго следит за Клавдией. За стенкой Римма Карповна кормит внучку, дочь старшей своей Варвары. В комнате очень бедно и очень чисто, прибрано, устоялось десятилетиями, — как должно быть у старой девы — девы-старухи, узкая кровать, рабочий столик, машинка, манекен, занавески. Капитолина Карповна идет в столовую.

— Риммочка, давай я покормлю внучку. Я видела, как ушла Клавдия. Варя тоже ушла?

Эти две старухи, Капитолина и Римма Карповны, были потомственными, почетными, столбовыми мещанками, белошвейками, портнихами. Жизни их были просты, как линии их жизней на ладонях левых рук. Сестры были погодками, Капитолина — старшая. И жизнь Капитолины была полна достоинства мещанской морали. Вся жизнь ее прошла на ладони все-городских глаз и все-городских правил. Она была уважаемым мещанином. И не только весь город, но и она знала, что все ее субботы прошли за всенощными, все ее дни склонились над мережками и прошивками блузок и сорочек, тысяч сорочек, — что ни разу никто чужой не поцеловал ее, — и только она знала те мысли, ту боль проквашенного вина жизни, которые кладут морщины на сердце, — а в жизни были и юность, и молодость, и бабье лето, — и ни разу в жизни она не была любима, не знала тайных грехов. Она осталась примером всегородских законов, девушка, старуха, проквасившая свою жизнь целомудри-

ем пола, Бога, традиций. — И по-другому сложилась жизнь Риммы Карповны, тоже белошвейки. Это было двадцать восемь лет тому назад, это длилось тогда три года — тремя годами позора, чтобы позор остался на всю жизнь. Это было в дни, когда годы Риммы закатились за тридцать, потеряв молодость и посеяв безнадежность. В городе жил казначейский чиновник, актер-любитель, красавец и дрянь. Он был женат, у него были дети, он был пьяницей. Римма полюбила его, и Римма не устояла против своей любви. Все было позорно. В этой любви было все, позорящее женщину в морали уездных законов, и все было неудачно. Кругом стояли леса, где можно было бы сохранить тайну, — она отдалась этому человеку ночью на бульварчике — она постыдилась понести домой изорванные и грязные в крови (в святой, в сущности, крови) панталоны, — она засунула их в кусты, — и их нашли всенародно наутро мальчишки, — и ни разу за все три года ее позора она не встретилась со своим любовником под крышею дома, встречаясь в лесу и на улицах, в развалинах домов, на пустующих баржах, даже осенями и зимой. Брат Яков Карпович прогнал сестру из дома, отказавшись от нее, — даже сестра Капитолина стала против сестры. На улицах в нее тыкали пальцами и не узнавали ее. Законная жена казначейского актера ходила бить Римму и наущала — тоже бить — слободских парней, — и город своими законами был на стороне законной жены. У Риммы родилась дочь Варвара, ставшая свидетельством позора и позором. У Риммы родилась вторая девочка — Клавдия, и Клавдия была вторым свидетельством позора. Казначейский любитель уехал из этого города. Римма осталась одна с двумя детьми, в жестоком нищенстве и позоре, женщина, которой тогда было уже много за тридцать лет. — И вот теперь прошло почти тридцать лет с тех пор. Старшая дочь Варвара замужем, в счастливом замужестве, и у нее уже двое детей. У Риммы Карповны двое внучат. Муж Варвары служит. Варвара служит. Римма Карповна ведет большое хозяйство, родоначальница. И Римма Карповна — добрая старушка — счастлива своей жизнью. Старость сделала ее низкой, счастье сделало ее полной. У низенькой полной старушки — такие добрые и полные жизни глаза. И у Капитолины Карповны теперь — только одна мысль: жизнь Риммы, Варвары, Клавдии,

внучат, — ее целомудрие и всегородская честность оказались ни к чему. У Капитолины Карповны нет своей жизни.

Капитолина Карповна говорит:

— Риммочка, давай я покормлю внучку. Я видела, как ушла Клава. Варя тоже ушла?

За окнами провинция, осень, дождь. — И тогда в прихожей скрипит блок, мужские сапоги топают о пол, чтобы стряхнуть сырость и грязь, — и в комнату входит человек, беспомощно оглядывающийся, как все близорукие, когда они снимают очки. Это инженер Аким Яковлевич Скудрин, точь-в-точь такой же, как лет пятьдесят тому назад был его отец. Он приехал — неизвестно, к чему.

— Здравия желаю, дорогие тетки! — говорит Аким и первой он целует тетку Римму.

Провинция, дождь, осень, российский самовар.

...Инженер Аким приехал без дел. Тетки его встретили самоваром, скоро сделанными лепешками и тем радушием, которое бывает у русской провинции. К отцу и к начальству Аким не пошел. Над городом ныли умирающие колокола, здравствовали улицы в целебной ромашке. Аким пробыл здесь сутки и уехал отсюда, установив, что родина ему не нужна: город его не принял. День его прошел с тетками, в бродяжествах памяти по времени, в тщете памяти, в жестокой нищете теток, их дел, их мыслей, их мечтаний. Вещи в доме стояли, как двадцать, как двадцать пять лет тому назад, и манекен, который был страшен в детстве, теперь не пугал. К сумеркам вернулась из школы Клавдия. Они сели вдвоем на диван, двоюродные брат и сестра, разделенные возрастом на десять лет.

— Как жизнь? — спросил Аким.

Говорили о пустяках, и потом Клавдия заговорила о главном для нее, она говорила очень просто. Она была очень красива и очень покойна. Сумерки медлили и темнели.

— Я хочу посоветоваться с тобою, — сказала Клавдия. — У меня должен быть ребенок. Я не знаю, как мне поступить? — я не знаю, кто его отец.

— Как ты не знаешь, кто его отец?

— Мне двадцать четыре, — сказала Клавдия. — Весной я решила, что пора стать женщиной, и стала ей.

— Но у тебя есть любимый человек?

— Нет, нету. Их было несколько. Мне было любопытно. Я сделала это от любопытства, и потом — пора, мне двадцать четыре.

Аким не нашелся, как спрашивать дальше.

— В центре моего внимания лежала не любовь к другому, а сама я и мои переживания. Я выбирала себе мужчин, разных, чтобы все познать. Я не хотела беременеть, пол — это радость, я не думала о ребенке. Но я забеременела, и я решила не делать аборта.

— И ты не знаешь, кто муж?

— Я не могу решить, кто. Но мне это неважно. Я — мать. Я справлюсь, и государство мне поможет, а мораль... Я не знаю, что такое мораль, меня разучили это понимать. Или у меня есть своя мораль. Я отвечаю только за себя и собою. Почему отдаваться — не морально? — я делаю, что я хочу, и я ни перед кем не обязываюсь. Муж? — я его ничем не хочу обязывать, мужья хороши только тогда, когда они нужны мне и когда они ничем не обременены. Мне он не нужен в ночных туфлях и чтобы родить. Люди мне помогут, — я верю в людей. Люди любят гордых и тех, кто не отягощает их. И государство поможет. Я сходилась с теми, кто мне нравился, потому что мне нравилось. У меня будет сын или дочь. Теперь я никому не отдаюсь, мне не нужно. Вчера я напилась пьяной, последний раз. Я говорю с тобою, как думаю. Мне противно, что я вчера была пьяна. Но — вот ребенку, быть может, нужен будет отец. Ты ушел от отца, — и я без отца родилась и никогда о нем не слышала ничего, кроме гадости, в детстве мне это было обидно и я сердилась на мать. И все же я решила не делать аборта, вся моя утроба полна ребенком. Это даже большая радость, чем... Я сильная и молодая.

Аким не мог собрать мыслей. Перед глазами на полу лежали дорожки из лоскутьев, путины бедности и мещанства. Клавдия была покойна, красива, сильна, очень здоровая и очень красивая. За окнами моросил дождь. Аким-коммунист — хотел знать, что идет новый быт, — быт был древен. Но мораль Клавдии была для него — и необыкновенна, и нова, — и не правильна ли она, если так воспринимает Клавдия?

Аким сказал:

— Роди.

Клавдия прислонилась к нему, положила голову к нему на плечо, подобрала ноги, стала уютной и слабой.

— Я очень физиологична, — сказала она. — Я люблю есть, люблю мыться, люблю заниматься гимнастикой, люблю, когда Шарик, наша собака, лижет мне руки и ноги. Мне приятно царапать до крови мои колени... А жизнь — она большая, она кругом, я не разбираюсь в ней, я не разбираюсь в революции, — но я верю им, и жизни, и солнышку, и революции, и я спокойна. Я понимаю только то, что касается меня.

Остальное мне даже неинтересно.

По половику к дивану прошел кот и привычно прыгнул на колени Клавдии. За окнами стемнело. За стеной загорелась лампа и зашила машинка. В темноту пришел мир.

Вечером Аким ходил к дяде Ивану, переименовавшему себя из Скудрина в Ожогова. Охламон Ожогов вышел к племяннику из печи. Потому что вокруг кирпичных заводов разворачивают землю, а крыши кирпичных сараев низки и длинны, — кирпичные заводы всегда похожи на места разрушения и таинственности. Охламон был пьян. С ним нельзя было разговаривать, — но он был очень рад, очень счастлив, что к нему пришел племянник. Охламон с трудом держался на ногах и дрожал собачьей дрожью.

Охламон повел племянника под навес кирпичного сарая.

— Пришел, пришел, — шептал он, прижимая дрожащие руки к дрожащей груди.

Он посадил племянника на тачку, опрокинув ее вверх дном.

— Выгнали? — спросил он радостно.

— Откуда? — переспросил Аким.

— Из партии, — сказал Иван Карпович.

— Нет.

— Нет? не выгнали? — переспросил Иван, и в голосе его возникла печаль, — но кончил он бодро: — ну, не сейчас, так потом выгонят, всех ленинцев и троцкистов выгонят!

Дальше Иван Карпович бредил — в бреду рассказывал о своей коммуне, о том, как был первым председателем исполкома, какие были те годы и как они погибли, грозные годы, как потом прогнали его из революции и ходит он теперь по людям, чтобы заставлять их плакать, помнить, любить, — он опять рассказывал о своей коммуне, о ее равенстве и братстве, — он утверждал, что

коммунизм есть первым делом любовь, напряженное внимание человека к человеку, дружество, содружество, соработа, — коммунизм есть отказ от вещей, и для коммунизма истинного первым делом должны быть любовь, уважение к человеку и — люди. Аккуратненький старичишка дрожал на ветру, перебирая худыми, тоже дрожащими, руками ворот пиджака. Двор кирпичного завода утверждал разрушение. Инженер Аким Скудрин был плотью от плоти Ивана Ожогова. — ...Нищие, побироши, провидоши, волочебники, лазари, странники, убогие, калики, пророки, юродивые — это все крендели быта святой Руси, канувшей в вечность, нищие на святой Руси, юродивые святой Руси Христа ради. Эти крендели были красою быта, христовою братией, мольцами за мир. — Перед инженером Акимом был — нищий побироша, юродивый лазарь — юродивый советской Руси справедливости ради, молец за мир и коммунизм. Дядя Иван был, должно быть, шизофреником, у него был свой пунктик: он ходил по городу, он приходил к знакомым и незнакомым, и он просил их плакать, — и он говорил пламенные и сумасшедшие речи о коммунизме, и на базарах многие плакали от его речей, он ходил по учреждениям, и сплетничали в городе, будто некоторые вожди мазали тогда луком глаза, чтобы через охламонов снискать себе в городе необходимую им городскую популярность. Иван боялся церквей, и он клял попов, не боясь их. Лозунги Ивана были самыми левыми в городе. В городе чтили Ивана, как приучились на Руси столетьями чтить юродивых, тех, устами которых глаголует правда и которые ради правды готовы идти умирать. Иван пил, разрушаясь алкоголем. Он собрал вокруг себя таких же, как он, выкинутых революцией, но революцией созданных. Они нашли себе место в подземелье, у них был подлинный коммунизм, братство, равенство, дружба — и у них у каждого была своя сумасшедшесть: один имел пунктиком переписку с пролетариями Марса, — другой предлагал выловить всю взрослую рыбу в Волге и строить на Волге железные мосты, чтобы рыбою расплачиваться за эти мосты, — третий мечтал провести в городе трамвай.

— Плачь! — сказал Иван.

Аким не сразу понял Ивана, отрываясь от своих мыслей.

— Что ты говоришь? — спросил он.

— Плачь, Аким, плачь, сию же минуту за утерянный коммунизм! — крикнул Иван и прижал свои руки к груди, опустив на грудь голову, как делают молящиеся.

— Да, да, я плачу, дядя Иван, — ответил Аким.

Аким был силен, высок, громоздок. Он встал около Ивана. Аким поцеловал дядю.

Хлестал дождь. Мрак кирпичного завода утверждал разрушение.

. . . .

Аким возвращался от охламонов городом, через базарную площадь. В одиноком окне горел свет. Это был дом городского чудака музееведа. Аким подошел к окну, — когда-то он вместе с музееведом рылся в кремлевских подземельях. Он собирался постучать, но он увидел странное и не постучал. Комната была завалена стихарями, орарями, ризами, рясами. Посреди комнаты сидели двое: музеевед налил из четверти водки и поднес рюмку к губам голого человека, тот не двинул ни одним мускулом. На голове голого человека был венец. И Аким тогда разглядел, что музеевед пьет водку в одиночестве, с деревянной статуей сидящего Христа. Христос был вырублен из дерева в рост человека. Аким вспомнил, — мальчиком он видел этого Христа в Дивном монастыре, этот Христос был работы семнадцатого века. Музеевед пил со Христом водку, поднося рюмки к губам деревянного Христа. Музеевед расстегнул свой пушкинский сюртук, баки его были всклокочены. Голый Христос в терновом венце показался Акиму живым человеком.

Поздно ночью к Акиму пришла его мать, Мария Климовна. Тетки вышли из комнаты. Мать пришла в домашнем затрапезном платье, прибежала, накинув на плечи платок. На глазах у матери были очки, перевязанные ниткой, — чтобы лучше разглядеть сына. И мать была торжественна, как на причастии. Мать обняла сына, мать прижала свою сухонькую грудь к груди сына, мать перебирала своими костяными пальцами волосы сына, мать прижала голову свою к шее сына. Мать даже не плакала. Она была очень серьезна. Не веря глазам, она пальцами отрагивала сына. И она благословила его.

— Не придешь — к нам не придешь, сынок? — спросила мать.

Сын не ответил.

— Зачем же тогда — я-то — прожила свою жизнь?

Сын знал, что отец побьет мать, если узнает, что она приходила к сыну. Сын знал, что мать долгими часами сидит в темноте, когда спит отец, и думает о нем, о ее сыне. Сын знал, что мать от него ничего не скроет и — ничего, ничего не расскажет нового, — старое ж проклято, — а мать — мать! — единственнейшее, чудеснейшее, прекраснейшее, — его мать, подвижница, каторжница и родная всей своей жизнью. — И сын не ответил матери, ничего не сказал матери.

. . . .

Наутро инженер Аким уехал. Пароход уходил вечером, — он поехал пятьдесят верст на лошадях, чтобы поспеть к ночному поезду. Ему подали тарантас и пару гнедых. День был голомяным — то дождь, то солнце и синее небо. Дорога шла по московскому тракту. Грязи развезло по втулки колес и по колена лошадям. Ехали дремучими лесами, леса стоят пасмурны, мокры, безмолвны. Возница торчал на козлах, стар и молчалив. Лошади шли шагом. На полдороге, когда Аким начал уже беспокоиться, как бы не опоздать к поезду, — останавливались покормить лошадей. В кооперативной чайной сказали, что водкой не торгуют, но водку достали напротив у шинкаря, у секретаря сельсовета. Возница подвыпил и заговорил. Он скучно рассказал свою жизнь, — о том, что тридцать лет он работал, как сказал он, по мясному делу и бросил его за ненадобностью с революцией. Когда возница был окончательно пьян, он стал удивляться власти: — «ведь вот-жа, поди-ж ты, прости господи, — я тридцать лет по мясному делу, а комиссар пришел и в три недели все сделал, а через три недели моего брата сместил по мучному делу, а брат мой по этому делу тоже тридцать лет специализировался!» — и нельзя было понять, действительно ли изумляется возница, или издевается. — Покормили лошадей, поехали дальше, опять молчали.

Инженер Аким был троцкистом, его фракция была уничтожена. Его родина, его город ему оказался ненужным: эту неделю он отдал себе для раздумий. Ему б следовало думать о судьбах революции и его партии, о собственной его судьбе революционера, — но эти мысли

не шли. Он смотрел на леса — и думал о лесе, о трущобах, о болотах. Он смотрел на небо — и думал о небе, об облаках, о пространствах. Ребра лошадей давно уже покрылись пеной, лошади раздували животы в усталом дыхании. Грязь на дороге лежала непролазно, по дороге разлились озера — именно потому, что здесь шла дорога. Уже сумеречило. Лес безмолвствовал. От мыслей о лесе, о проселках, которым тысячи верст, мысли Акима пришли к тетке Капитолине и Римме, — и в тысячный раз Аким оправдал революцию. У тетки Капитолины была — что называется — честная жизнь, ни одного преступления перед городом и против городских моралей, — и ее жизнь оказалась пустою и никому не нужною. У тетки Риммы навсегда осталось в паспорте, как было бы написано и в паспорте Богоматери Марии, если бы она жила на Руси до революции, — «девица» — «имеет двоих детей», — дети Риммы были ее позором и ее горем. Но горе ее стало ее счастьем, ее достоинством, ее жизнь была полна, заполнена, — она, тетка Римма, была счастлива, — и тетка Капитолина жила счастьем сестры, не имея своей жизни. Ничего не надо бояться, надо делать — все делаемое, даже горькое бывает счастьем, — а ничто — ничем и остается. — И — Клавдия, — не счастливее ли она матери? — тем, что не знает, кто отец ее ребенка, — ибо мать знала, что любила — мерзавца. Аким вспомнил отца: лучше было б его не знать! — И Аким поймал себя на мысли о том, что, думая об отце, о Клавдии, о тетках, — он думал не о них, но о революции. Революция ж для него была и началом жизни, и жизнью — и концом ее.

Леса и дороги темнели. Выехали в поле. Запад давно уже умирал, израненный красным закатом. Ехали полем — таким же, каким оно было пятьсот лет тому назад, — въехали в деревню, потащились грязями ее семнадцатого века. За деревней дорога шла в овраг, переехали мост, за мостом была лужа, которая оказалась непроезжей. Въехали в лужу. Лошади рванули и стали. Возница ударил лошадей кнутом, — лошади дернулись и не сдвинулись с места. Кругом была непролазная грязь, тарантас увязал посреди лужи, увяз левым передним колесом выше чеки. Кучер изловчился на козлах и ударил коренника в зад сапогом, — лошадь дернулась и упала, подмяв под себя оглоблю, лошадь ушла в тину по хомут. Кучер хлестал лошадей, пока не

понял, что коренник встать не может, — тогда он полез в грязь, чтобы выпрячь лошадей. Он ступил, и нога ушла в грязь по колено, — он ступил второй ногой, — и он завяз, — он не мог вытащить ног, ноги вылезли из сапогов, сапоги оставались в грязи. Старик потерял равновесие и сел в лужу. И старик — заплакал, — заплакал горькими, истерическими, бессильными слезами злобы и отчаяния, этот человек, специалист по убиению коров и быков.

К поезду, как и к поезду времени, троцкист Аким опоздал.

Глава пятая

Искусство красного дерева было безымянным искусством, искусством вещей. Мастера спивались и умирали, а вещи оставались жить, жили, — около них любили, умирали, в них хранили тайны печалей, любовей, дел, радостей. Елизавета, Екатерина — рококо, барокко. Павел — мальтиец, Павел строг, строгий покой, красное дерево темно заполированно, зеленая кожа, черные львы, грифы, грифоны. Александр — ампир, классика, Эллада. Люди умирают, но вещи живут, — и от вещей старины идут «флюиды» старинности, отошедших эпох. В 1928 году — в Москве, в Ленинграде, по губернским городам — возникли лавки старинностей, где старинность покупалась и продавалась, — ламбардами, госторгом, госфондом, музеями: в 1928 году было много людей, которые собирали — «флюиды». Люди, покупавшие вещи старины после громов революции, у себя в домах, облюбовывая старину, вдыхали — живую жизнь мертвых вещей. И в почете был Павел — мальтиец — прямой и строгий, без бронзы и завитушек.

Братья Бездетовы жили в Москве на Владимиро-Долгоруковской, на Живодерке, как называлась Владимиро-Долгоруковская в старину. Они были антикварами, реставраторами, — и они, конечно, были «чудаками». Такие люди всегда одиночки, и они молчаливы. Они горды своим делом, как философы. Братья Бездетовы жили в подвале, они были чудаками. Они реставрировали павлов, екатерин, александров, николаев, — и к ним приходили чудаки-собиратели, чтобы посмотреть старину и работу, поговорить о старине и мастерстве, подышать стариной, облюбовать и купить ее. Если чудаки-собиратели покупали что-либо, тогда эта покупка спрыскивалась коньяком, перелитым в екатерининский штоф, и из рюмок бывшего императорского — алмазного сервиза.

...А там, у Скудрина моста, — там ничего не происходит.

Город — русский Брюгге и российская Камакура.

Яков Карпович просыпался к полночи, зажигал лампу, ел и читал Библию, вслух, наизусть, как всегда, как сорок лет. По утрам к старику приходили его друзья и просители, мужики, ибо Яков Карпович был хода-

таем по крестьянским делам. Мужики в те годы недоумевали по поводу нижеследующей, непонятной им, проблематической дилеммы, как выражался Яков Карпович. В непонятности проблемы мужики делились — пятьдесят, примерно, процентов и пятьдесят. Пятьдесят процентов мужиков вставали в три часа утра и ложились спать в одиннадцать вечера, и работали у них все, от мала до велика, не покладая рук; ежели они покупали телку, они десять раз примеривались, прежде чем купить; хворостину с дороги они тащили в дом; избы у них были исправны, как телеги, скотина сыта и в холе, как сами сыты и в труде по уши; продналоги и прочие повинности они платили государству аккуратно, власти боялись; и считались они: врагами революции, ни более ни менее того. Другие же проценты мужиков имели по избе, подбитой ветром, по тощей корове и по паршивой овце, — больше ничего не имели; весной им из города от государства давалась семссуда, половину семссуды они поедали, ибо своего хлеба не было, — другую половину рассеивали — колос к колосу, как голос к голосу; осенью у них поэтому ничего не родилось, — они объясняли властям недород недостатком навоза от тощих коров и паршивых овец, — государство снимало с них продналог и семссуду, — и они считались: друзьями революции. Мужики из «врагов» по поводу «друзей» утверждали, что процентов тридцать пять «друзей» — пьяницы (и тут, конечно, трудно установить, — нищета ли от пьянства, пьянство ли от нищеты), — процентов пять — не везет (авось не только выручает), — а шестьдесят процентов — бездельники, говоруны, философы, лентяи, недотепы. «Врагов» по деревням всемерно жали, чтобы превратить их в «друзей», а тем самым лишить их возможности платить продналог, избы их превращая в состояние, подбитое ветром. Яков Карпович писал чувствительные и бесполезные грамоты. Приходил к Якову Карповичу — враг отечества, — человек, сошедший с ума, Василий Васильевич. Был Василий Васильевич до революции управским — земским письмоводителем, начитался в увлечении агрономических книг. В 1920 году он пошел на землю, дали ему десятину земли, пришел он на свою десятину с голыми руками и с горячим сердцем, сорокалетний человек: в 1923 году на Сельскохозяйственной Всероссийской выставке получил он золотую ме-

даль на бумаге и похвальные отзывы от наркомзема — за корову и за молоко, и за председательство в молочной артели; по весне 1924 года предложили ему сорок десятин земли, дабы построил он показательное хозяйство, — двадцать десятин он взял, к 26-му году у него было семнадцать коров, нанял он тогда рабочего и — пропал: стал кулаком; к 27-му году у него осталось пять десятин и три коровы, — остальное раздал податями, займами и налогами; по осени 28-го года он от всего отказался, решив вернуться в город в письмоводительское состояние, — несмотря на то, что по осени 28-го — на плотах через Волгу, на проселках, в трактирах и на базарах мужики толковали — о цифрах, о том, что сдать в кооператив пуд ржи — рубль восемь гривенников, купить в этом же кооперативе — по ордеру — пуд ржи — три-шесть гривен, а на базаре продать пуд — шесть рублей. Василий Васильевич вернулся в город — и — сошел с ума, не имея сил вырваться из кулаческого состояния. Села да деревни в этих местах не особенно часты, леса, болота.

Яков Карпович потерял время и потерял боязнь жизни. Кроме прошений, никому не нужных, он писал еще прокламации и философские трактаты. До тоски, до тошноты был гнусен Яков Карпович Скудрин.

Город — русский Брюгге и российская Камакура. В этом городе убили царевича Дмитрия, в шестнадцатом веке. Тогда Борис Годунов снял колокол со Спасской кремлевской церкви, тот самый, в который ударил поп Огурец, возвествуя об убийстве; Борис Годунов казнил колокол, вырвал ему ухо и язык, стегал его на площади плетьми вместе с другими дратыми горожанами — и сослал в Сибирь, в Тобольск. Ныне колокола над городом умирают.

Яков Карпович Скудрин — жив, у него нет событий.

. . . .

В 1744 году директор китайского каравана Герасим Кириллович Лобрадовский, прибыв на кяхтинский форпост, принял там в караван некоего серебряника Андрея Курсина, уроженца города Яранска. Курсин, по наказу Лобрадовского, поехал в Пекин, дабы там узнать у китайцев секрет производства фарфора, порцелена, как тогда назывался фарфор. В Пекине, через русских «учеников прапорщичья ранга» Курсин подку-

пил за тысячу лан, то есть за две тысячи тогдашних русских рублей, мастера с Богдыханского фарфорового завода. Этот китаец показал Курсину опыты производства порцелена в пустых кумирнях в тридцати пяти ли от Пекина. Герасим Кириллович Лобрадовский, вернувшись в Санкт-Петербург, привез туда с собою и Курсина, и писал государыне донесение о вывезенном из Китая секрете порцеленного дела. Последовал высочайший указ, объявленный графом Разумовским барону Черкасову об отсылке приехавших из Китая людей в Царское Село. Почести Курсину были велики, но его воровство проку не дало, ибо на деле выяснилось, что китаец обманул Андрея Курсина, «поступил коварно», как тогда сообщалось в секретном циркуляре. Курсин вернулся к себе в Яранск, страшась розог. — Одновременно с этим, 1 февраля 1744 года, барон Корф заключил в Христиании секретный договор с Христофором Конрадом Гунгером, мастером по фарфору, обучавшимся, как он говорил, и познавшим мастерство в Саксонии на Мейссенской фабрике. Гунгер, сторговавшись с бароном Корфом, секретно на русском фрегате приехал в Россию, в Санкт-Петербург. Гунгер приступил к постройке фарфоровой фабрики, впоследствии ставшей императорским фарфоровым заводом, — и приступил к производству опытов, попутно учиняя дебоши и драки на дубинках с русским помощником его Виноградовым, — и бесплодно занимался этим до 1748 года, когда был изгнан из России за шарлатанство и незнание дела. Гунгера заменил русский бергмейстер, ученик Петра, беспутный пропойца и самородок Дмитрий Иванович Виноградов, — и это он построил дело русского порцеленного производства, — таким образом, что русский фарфор ниоткуда не заимствован, будучи изобретением Виноградова; но родоначальниками русского фарфора все же надо считать яранца Андрея Курсина, кругом китайцами обманутого, и немца Христофора Гунгера, кругом Европой обманывавшего. И русский фарфор имел свой золотой век. Мастера — императорского завода, старого Гарднера, «vieux» — Попова, Батенина, Миклашевского, Юсупова, Корнилова, Сафронова, Сабанина — цвели крепостным правом и золотым веком. И, по традиции Дмитрия Виноградова, около фарфорового производства были — любители и чудаки, пропойцы и скряги, — заводствовали светлей-

шие Юсуповы, столбовые Всеволожские — и богородский купец-чудак Никита Храпунов, поротый по указу Александра Первого за статуэтку, где изображен был монах, согбенный под тяжестью снопа, в коий спрятана была молодая пейзанка; все мастера крали друг у друга «секреты». Юсупов — у императорского завода, Киселев — у Попова, Сафронов — подсматривал секрет поздно ночами, воровски, в дыру с чердака. Эти мастера и чудаки создавали прекрасные вещи. Русский фарфор — есть чудеснейшее искусство, украшающее земной шар.

Ямское Поле — Волков дом.
15 января 1929 г.

Рассказы

ПООКСКИЙ РАССКАЗ

Два лыжных следа идут под гору. Если внимательно присмотреться, можно десятками мелочных примет установить, что на лыжах прошли две женщины, взрослая, уже немолодая, и девочка-подросток лет тринадцати: — женщина расставляет лыжи шире, чем мужчина, и шаг делает меньше. Очень хороший лыжный следопыт установил бы, что женщины — не русские. След идет с горы, по скату, очень прямой, — вниз к Оке. День декабрьский, морозный, снег сыплется, не мнется...

Нельзя сказать, кто герой этого рассказа, возникшего на русском Поочьи в Муромских лесах. Лыжный след принадлежит фрейлейн Леонтине Вальтер — во девичестве, — Леонтине Карловне Битнер — в замужестве. Ее муж, Готфрид Готфридович Битнер (крестьяне называли Федором Федоровичем), был земским зоотехником, разводил племенной скот и насаждал маслодельные заводы на поокские луга. Готфрид Готфридович, русский немец, обучаясь в Галле, встретил фрейлейн Леонтину Вальтер, они полюбили, поженились, — и она вместе с ним приехала в Муромские леса коротать русские дни: муромские дни стали отсчитывать годы. — Если Битнеры суть герои этого рассказа, тогда надо утвердить, что человеческое всегда человечно: пусть немецкая культура шьет свою вышивку на поокских суходолах. Леонтина Битнер — как, какими словами рассказать, что вот этот лыжный след, прямой, белый, твердый, прошедший по суходолу к Оке, — есть символ этой женщины, этой высокой, худощавой, красивой женщины, всю свою жизнь проходившей в белых платьях с глухим воротником и с глухими рукавами?.. — Лыжный след девочки возник через десятилетья: фрау Леонтина Битнер навсегда была бездетна.

Глава первая рассказа — возникла в тысяча девятьсот одиннадцатом году и протекла в губернском городе.

В доме агронома-зоотехника Готфрида Готфридовича Битнера разместился строжайший немецкий порядок, недоставало только курантов кирки в часы немецкого регламента. Тринадцать градусов тепла хранились в доме круглый год; рододендроны в зале-гостиной росли как инженерные постройки; пол блестел солнцем, а на пороге в гостиную незаметные стояли туфли фрау Леонтины, как такие же туфли стояли на порогах кухни, столовой и спальни, для каждой комнаты свои туфли. Очень много было в комнатах солнца, покойствовавшего в тишине дома. Минута в минуту в семь было кофе. Минута в минуту в десять потухало электричество. Дом стоял на окраине города, большими своими окнами глядел на губернию, на пригородные пустыри, на тюрьму, на Заочье.

Фрау Леонтина только несколько слов могла произносить по-русски, с тяжелым трудом. Агроном Битнер утром уходил в управу, в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый и круглоголовый. Каждый день, от четырех до семи, за отдыхом, он говорил о сепараторах, о племенных телках и нетелях, об Эрнесте Геккеле, Бюхнере (произнося Бюхнера — Бихнер), о Мечникове, о его «Сорока годах искания рационального мировоззрения»: к нему в эти часы приходили агрономы, крестьяне, кооператоры, маслоделы, студенты, — он курил толстейшую сигару. С семи, после ужина, он читал книги в переплетах, с красно-синим карандашом в руках (и автору этого рассказа только единственный раз пришлось видеть — в руках Готфрида Готфридовича — осмысленное применение красно-синего карандаша, когда красным карандашом делались положительные пометки, синим же — отрицательные, строгим правилом). Без пяти десять он был в постели, ровно в десять потухал свет. Детей у Битнеров не было.

Иногда Готфрид Готфридович уезжал в уезд, — тогда на эти дни дом замирал в тишине.

Глава первая рассказа должна начаться с возникновения в быте Битнеров юноши Алексея Битнера, племянника Готфрида Готфридовича. Юноша, сын старше-

го брата Готфрида Готфридовича, приехал к ним на зиму, чтобы окончить в этом городе реальное училище. И эта же первая глава сообщает о девушке-курсистке, Шуре Белозерской: Шура Белозерская — никак не эпизод этого рассказа. Она была студенткой — Петровской тогда — сельскохозяйственной академии, выученица Готфрида Готфридовича.

Реалист Алексей Битнер, сын русской матери, никак не мог поспевать к кофе и каждодневно принимать ванну. Готфрид Готфридович прозвал его — «шалаш некрытый», по-русски. Юноша читал Достоевского и Соловьева, твердил брюсовские стихи, и по естественным наукам с трудом у него выходили тройки. Впрочем, Готфрид Готфридович не тратил на него времени, предоставив его фрау Леонтине. Ласков ли был юноша, или в нем говорил пол, запутанный родством, — этого не знал он сам, — и он, конечно, не умел разбираться в бытейском и духовном мире фрау Леонтины. Фрау Леонтина вела хозяйство, помогала мужу в его литературных работах, рылась в справочниках (также с красно-синим карандашом), переписывала доклады и статьи для «Сельскохозяйственного вестника» и для «Зоотехнии». Реалист ходил в школу, учил уроки. В новом городе дружб у него еще не возникло. В досуги он приходил к фрау Леонтине, ластился к ней, звал ее на диван, и на диване, положив голову свою к ней на колени, на белое ее платье, читал вслух ей — Брюсова, Андреева, Чирикова, — то, что попадалось в толстых журналах. Читая, ее рукою гладил он свои щеки, — и, отрываясь от чтения, целовал белую ее руку. Прощаясь, они целовались. Все это отступало от немецких правил, — быть может, ей казалось, что он, юноша, оторванный от матери, от русской матери, нуждается просто в материнской ласке? — быть может, он восполнял отсутствующую у нее заботу матери к ребенку, потому что своего сына у нее не было? — ей тогда было тридцать три года, — быть может ей — женщине — нужна была человеческая ласка?

Реалист был переполнен всяческими мечтаниями, как и подобает в осьмнадцать лет, когда все впереди. Реалист был наполнен любовиями к миру и ко всему мирскому, еще непознанному. Он был общителен, шутлив, озороват, — вскоре у него появились друзья, —

вскоре сам он не знал, в какую из десятка его подруг гимназисток, Кать, Оль, Зин, Ась, — он сегодня влюблен, — время его заполнилось, кроме уроков, свиданьями с друзьями и любимыми девушками. С друзьями он вслух читал «Гоголя и черта» Мережковского, «Толстого и Достоевского» Вересаева, — подружкам, — во мраке кинематографа, — читал стихи Бальмонта. Четверть принесла двойки. Готфрид Готфридович разъяснил, что такое значит — «шалаш некрытый». Фрау Леонтина поступила круто, строжайше предложив ему войти в ее регламент: на час в день он может выходить гулять, с коньками на каток; в театр и в кино он может отправляться только раз в неделю, по субботам; друзей он может приглашать к себе только в воскресенья, он должен говорить, куда он ходит, и может в гости выходить, —- опять таки в субботу, выбрав по желанию гостей или кино, — девушки были выкинуты из обихода. — Здесь надо говорить о том, как иной раз находит коса организованности немецкой на камень российских безалаберств: потому, что однажды, удрав потихоньку, ночевал Алексей в прихожей на сундуке, ибо двери, сколь он ни дубасил в них и не ломал, не отворились, — потому, что, опоздав к кофе на три минуты, кофе он не получал — — потому, что очень странными были минуты примирения, когда фрау Леонтина тихо приходила к нему в комнату, смотрела, что он читает, гладила его голову и щекою своею прислонялась к его щеке. К весне все это кончилось тем, что юноша Алексей захворал острой формой неврастении: врачи повелели ему елико возможно больше гулять, — в реальном дали ему бумажку, что может он появляться на улицах позже восьми, в целях лечения, — а дома трижды в сутки Готфрид Готфридович, ворча о шалаше некрытом, поливал его из ведра подсоленной водою.

На рождественские каникулы, когда первые приступы неврастении приходили к Алексею в ряд с прибывающими и солнечными предъянварскими днями, когда по утрам не мог Алексей поднять с подушки развинченной головы и не мог спать ночами, когда метался он от буйства к ипохондрии, часы ипохондрии вылеживая на диване лицом в подушки, — на каникулы приехала из Москвы Шура Белозерская, некрасивая, в сущности, девушка, годами старшая, чем Алексей.

В сумерки однажды, когда Готфрид Готфридович с фрау Леонтиной поехали за покупкой к сочельничьей елке, Алексей сказал Шуре, рассматривая свой помятый носовой платок:

— Видите вот этот носовой платок. Утром он был свеж и бел, сейчас он мят и сер. Это жизнь. Жизнь — это серая стена, около которой, не видя ее, тоскуют люди. Сегодня я шел по улице, я увидел, как на морозе корчится нищая старуха, — мне захотелось кричать и плакать, — я отдал ей все мои деньги и я поцеловал ее... Посмотрите, вы тоже будете, как этот смятый платок.

Шура ничего не ответила, Алексей ушел к себе и лег на диван, носом в подушки. Около часа была тишина. Тогда Шура на цыпочках прошла к Алексею, наклонилась к нему, потрогала его голову руками, поцеловала его затылок. Алексей медленно повернулся, взял ее плечи, посмотрел на нее, привлек ее к себе, поцеловал в губы, положил голову ее себе на грудь, сказал:

— Мы — несчастные люди, мы — как тени. Как Диоген, мы при солнце ходим с фонарями, потому что мы слепы. Я хочу тебя полюбить, но я не могу, у меня нет сил.

Шура ничего не ответила, — она нашла его губы и поцеловала. Алексей сказал:

— Уйди. Я хочу быть один.

Шура ушла. Приехали старшие. Минута в минуту в семь был ужин. Минута в минуту в десять погаснул свет. Алексей зажег секретную свою свечку, лег с книгой. В одиннадцать, со свечкой в руке, Алексей стал гвоздем сверлить стену в соседнюю комнату, в комнату приезжих. Из-за стены он услыхал шепот:

— Зачем ты портишь стену? Тебе не хочется спать? — приходи ко мне, будем разговаривать.

— Я не одет, — ответил Алексей.

— Ну, так что? — мы же не мещане. Я тоже разделась, — ответила Шура.

Алексей пришел к ней, накинув на плечи плед. Она лежала, до подбородка закрыв себя одеялом. Алексей сел на край кровати. Он заговорил о Гамсуне, о гамсунских несбывающихся любовях.

Он сказал:

— Я не могу спать ночами. Весь мир, все мои представления о мире и все мои инстинкты я сейчас перестраиваю. От детства мне казалось, что я — центр, от

которого расходятся радиусы жизни. Теперь мне ясно, что я только пешка в лапах жизни. — Нет, — Александра, я никогда не полюблю тебя.

Затем он сказал:

— Александра, мы же без предрассудков. Я никогда не видел обнаженных женских плеч. Покажи мне.

Она молча обнажила плечо. Он рассматривал, как инженеры рассматривают новую машину.

— Можно поцеловать? — спросил он.

Она кивнула утвердительно головою. Он поцеловал так же, как дегустаторы распробывают качества вина.

— Ты девушка, Александра? — спросил он.

— Нет, — ответила она. — Был такой человек, когда я в последнем классе гимназии...

Алексей перебил ее, он сказал:

— Мне неинтересно, Александра. Я не люблю тебя, прости. Я пойду одиночествовать.

И он ушел. — Все же он провертел в стене дырочку, дырочка приходилась к изголовью постели Шуры. Ночами Алексей пододвигал стул к дырочке и разговаривал через нее с Шурой, доказывая ей, что он не любит ее. Больше он не ходил к ней ночами. Два раза она приходила к нему, — ей было холодно, и она залезала к нему под одеяло, чтобы слушать ту кашу, которая творилась в его голове. — В ночь, когда назавтра Шура должна была уезжать в Москву, через дырочку Алексей сказал ей:

— Александра, мне стыдно сознаться. Я ни разу в жизни не целовался с женщиной. Мне страшно думать, что это будет с любимой женщиной. Я хочу, чтоб это было с тобой.

— Я тоже хочу, — ответила она, — приди ко мне сейчас.

— Нет, ты приди ко мне, — сказал он.

Он знал, что, если пойдет он, у него на пороге двери задрожат руки, и он будет совершенно влюбленным. — Так ни он к ней, ни она к нему и не пришли в ту ночь, — ни в ту ночь, никогда. Утром Алексей ушел в реальное. Шура уехала без него. Они не простились. Только на другой день он нашел записку, всунутую в книгу.

«Ах, Алексей! — Брюсовская холодность вам не к лицу. В провинции, на окраинах, живут такие девушки с ямками на щеках: от полнокровия им нужна брюсов-

кая холодность. Продумайте хорошенько ноябрьскую ночь...» — так написала она ему такое, чего он не понял.

В январе, по примеру с нищей, Алексей поцеловал в лысину учителя математики, в слезах сказав ему о том, что он милый и несчастный, как мир, — в этот же день Алексея освободили от занятий, и Готфрид Готфридович стал лить на него по три ведра в сутки соленой воды. В январе ж Алексей с компанией гимназистов угодил в публичный дом, впервые в жизни; инстинкт чистоплотности заставил его быть только свидетелем, — но на другой же день он завопил, что весь мир и он сам в первую очередь заражены сифилисом, чтобы его не трогали, чтобы не заразиться. Теперь сам он уже никуда не хотел идти, просиживал дни у печки, а в сумерки, несмотря на выдуманный свой сифилис, шел к фрау Леонтине, ластился к ней, клал голову к ней на колени, говорил, что она единственный его человек, целовал ее руки, шею, глаза и щеки. А ночами, в бессонницы, всю кашу своих домыслов он изливал в письма к Шуре Белозерской в Москву. Шура ему но отвечала ни разу.

В начале февраля в Москву на съезд на неделю поехал Готфрид Готфридович. Готфрид Готфридович вернулся и передал Алексею его — Алексеевы — письма к Шуре. Письма были распечатаны. Готфрид Готфридович сказал, передавая письма:

— Шура просила вернуть тебе твою белиберду. Я прочитал, — какие безобразия ты пишешь девушкам!

Алексей полез на дядю с кулаками, чтобы доказать ему возмутительность чтения чужих писем. Дядя отшутился, в шутке взяв руки Алексея и помяв ему кости. Алексей не понимал такой гадости — ни со стороны Шуры, ни со стороны дяди. Готфрид Готфридович сказал:

— Ты разорви эти письма, тебе должно быть стыдно за них.

Алексей пошел читать письма фрау Леонтине. Тогда Готфрид Готфридович, несвойственно для немцев осердившись, отнял эти письма и бросил их в печку. И тогда впервые увидал Алексей, как плакала фрау Леонтина, крупными безмолвными слезинками.

Здесь кончается глава первая рассказа. Алексей уехал в мае от Готфрида Готфридовича — навсегда, чтобы поступать в жизнь.

Глава вторая рассказа — истоками своими имеет главу первую, но узлы ее развязались пять лет спустя. За эти годы возникла война, увертюра революции. В эту увертюру Готфрид Готфридович купил себе на реке Кадомке, над Окою, усадьбу. Сам он по-прежнему жил в губернском городе, разъезжая по уезду, — в усадьбе же посадил фрау Леонтину, где она примерное немецкое завела хозяйство, молочное, маслобойное, свиное, усадьбу покрыв, по-немецки, черепицами.

Надо восстановить историческую обстановку. Проходили четырнадцатый, пятнадцатый годы: война с немцами, когда каждая победа немцев на фронте отражалась немецкими погромами в тылу. Фрау Леонтина почти не говорила по-русски. В колоссальном одиночестве (излюбленное немцами слово — колоссал), в чужой стране, в непонимаемой стране, во враждебной стране (ибо, все же, Германия была страною рождения и — в дали — была идеалом), без языка, гордая эта женщина, молчаливая, всегда в белом платье, — неделями, месяцами, одиночествовала в чистоте и порядке поистине уже немецкого под черепицами дома, в коровниках, где пол блестел, в свинарниках, где свиньи утверждали неизвестную в России истину того, что свинья — чистоплотнейшее животное. Вечера проходили у лампы с книгами в напряженном слухе, когда инстинктивно слушали уши — не зазвенел ли уездный колокольчик пары Готфрида Готфридовича (который настоятельно стал к этому времени Федором Федоровичем!), — не крадутся ла погромщики громить ее — немку?.. — Зимами в сумерки уходили лыжные следы: женщина шла ровно, покойно, чуть наклонив вперед и вниз голову, руки ее не по-русски были отброшены назад.

Готфрид Готфридович — Федор Федорович — наезжал всегда неожиданно, вечерами, — справлялся о телках и нетелях, — с фонарем обходил хозяйство, — говорил политические новости, шепотом сообщал и о русских, и о немецких победах, шепотом ставил прогнозы сепаратного мира, — затем отпирал свиной кожи свой портфель и садился к письменному столу за бумаги, за сине-красный карандаш: он был очень занят, он очень спешил. Перед сном, прячась от фрау Леонтины, он вынимал из кармана и клал под подушку револьвер.

Наутро он шел в волостное правление к волостному писарю, шутил с ним, стараясь без акцента говорить по-русски. А в полдни, после обеда, не ложась по немецкому обычаю отдохнуть до кофе, он уезжал дальше, запахивая горбатый свой нос в воротник шубы, — фрау Леонтина оставалась одна. В этот день вечером особенно крепко засовывала она засовы, особенно тщательно просматривала замки: замки и засовы — единственное русское в ее хозяйстве, ибо у немцев нет в деревенском обиходе громил, замков и засовов. Так шли недели и месяцы. Рабочими у нее служили татары, народ более честный, чем русские, — так же, как она, плохо говорившие по-русски: они понимали друг друга, — но российское окрестное население «немкину усадьбу» обходило стороной.

Об Алексее не было никаких вестей; где-то на фронте он воевал в качестве артиллерийского офицера. Шура Белозерская бросила Петровскую академию в год войны. В дом к Битнерам она не приезжала ни разу, — мельком от Готфрида Готфридовича фрау Леонтина знала, что Шура поступила на службу в их губернии в качестве заведующего молочной станцией, на маслодельный завод, что она сошлась с кем-то и что у нее двое детей, две девочки, и одна из этих девочек — слепенькая.

И вот весной, в половодье эсеровской революции, фрау Леонтина получила от Шуры письмо: Шура просила приехать фрау Леонтину к ней, возможно скорее, для очень важных переговоров. Фрау Леонтина ответила, что она приедет на Духов день.

Надо было ехать тридцать верст. Фрау Леонтина приказала заложить лошадь к рассвету — в телегу, потому что в шарабане опасно было ездить. Она вышла к телеге в белом платье, в кружевной косынке на голове, в сером дорожном пыльнике, с капюшоном, вывезенным еще из Германии. В руках у нее был зонтик, руки ее были в белых перчатках. Она улыбнулась восходящему солнцу. Она сорвала цветочек с дороги. Она пошутила с татарином, дала ему ключ, чтобы тот взял больший запас овса. Татарин спросил, куда они едут. Она сказала. Татарин насупился.

— Не нада туда ехать, — сказал татарин.

— Потшему? — спросила она.

— Не нада, — ответил татарин.

Фрау Леонтина свела брови. Она села на торбу с овсом. Они поехали в российские поля, в щебет жаворонков. Они молчали. На полдороге фрау Леонтина развязала дорожную корзиночку, достала бутерброды, дала бутерброд татарину. Татарин улыбнулся и сказал:

— Я знай. Не нада туда ехать.

Фрау Леонтина взглянула на него гордо, — в достоинстве, она не спросила его — почему не надо туда ехать?..

Придорожные села и всесолнечный день ушли назад. К сумеркам, когда солнце кидало красные косые лучи, они приехали в то село, где был маслодельный завод. Их никто не встретил. Она постучала в окно, спросить, где живет Шура Белозерская: в окне — она видела — появился старинный знакомый агроном-маслодел — и сейчас же исчезнул, — высунулась баба, спросила:

— Вам Александру Ивановну? Она вот по этой лестнице в мезонине.

Фрау Леонтина пошла по лестнице в мезонин. В комнате плакал ребенок, никто не откликнулся. Косые красные лучи учиняли сумрак в комнате и беспокойство, уперлись в помятый самовар и разбивались в нем. В комнате пахло только что спеченным черным хлебом и пеленками — русский запах. Шура вышла из соседней комнаты с тазом в руке. Она увидела фрау Леонтину, — и она заговорила так, точно они виделись последний раз вчера:

— Здравствуйте, Леонтина Карловна, садитесь. Я сейчас выплю таз.

Фрау Леонтина стояла у дверей, дожидаясь. Шура вернулась, вымыла руки у ручного умывальника над ведром и села к столу.

— Нам надо объясниться, Леонтина Карловна, — сказала она. — Я думаю, что нам обеим очень тяжело. Произошла революция, которая уничтожает все предрассудки. Мне ужасна та ложность, в которой я живу. Те две девочки, которые у меня родились, — дети Готфрида. Посудите сами, — я больше, чем вы, имею право носить имя его жены.

Фрау Леонтина прервала Шуру приказывающим жестом руки. Она сказала, первый раз, должно быть, очень правильно по-русски:

— Да, мы будем иметь с вами беседу. Но прежде, чем говорить с вами, я должна переговорить с Готфридом Готфридовичем. Я жду вас у себя. До свиданья. —

Прямая, совершенно достойная, которую ничто не может замарать, фрау Леонтина вышла из комнаты. Возница ожидал, не распрягая. Она села на телегу, сказала:

— Домой.

Они молча съехали со двора. Солнце село за землю, свет был лиловым. Ночь пришла скоро, как всегда в мае. В лугах полошились птицы. На полдороге обратно их догнал конский топот: верхом мчал Готфрид Готфридович. Татарин остановил лошадь. Готфрид Готфридович, в молчании, без слов, бросился при дороге на землю, в придорожную пыль, лицом к земле.

Фрау Леонтина сказала по-немецки:

— Встань, Готфрид. Не унижайся перед Саддердиновым! — и приказала по-русски татарину: — Езжайте!

Татарин нукнул лошадей. — Они уехали. Они приехали домой, — и всю ночь не потухал свет в окнах битнеровской мызы. Всю ночь татарин простоял у окна, тайком прислушиваясь к свету в окне, — лицо татарина было раздумчиво и печально, и на усы ему села роса. В комнатах была тишина, беззвучная, — татарин подсматривал: всю ночь, ни разу не двинувшись, не двинув ни одним мускулом, просидела фрау Леонтина в кресле, откинув голову к спинке, вытянув ноги. В шесть она поднялась и, с ключами в руке, пошла на птичий двор. Пошел день забот и будней. Татарин не спускал глаз с фрау Леонтины.

Татарин — эпизодическое лицо, человеческая теплота.

Суть второй главы в том, что наутро тогда прикатил Готфрид Готфридович, — Готфрид Готфридович пытался встать на колени, чтобы молить прощения, и хотел плакать, утверждая, что — все же, все же, — лучшее в его жизни — Леонтина, его молодость, его путь по жизни. Фрау Леонтина не позволила ему — ни вставать на колени, ни плакать. Она разрешила ему поцеловать ее руку, — и она сказала:

— Дети Александры — твои дети, Готфрид. Нам суждено умирать, им надо жить: надо думать о них, — все наши несчастья — позади. Я не верю Александре,

ее воспитательским способностям: у нее так пахнет пеленками, и помойное ведро у нее стоит в той же комнате, где печется хлеб. Ты имеешь такие же права на детей, как и Александра. И я требую, чтобы ты взял у нее детей и передал мне. Дети никогда не узнают, кто их мать, — и я воспитаю их достойными их отца. Ты можешь не приезжать ко мне, Готфрид, пока не привезешь детей. Передай об этом Александре!

Единственное, чем покривила в этой своей речи фрау Леонтина, — это было то, что Александру она называла — не фрау, но фрейлейн: барышней Александрой. Сказав, фрау Леонтина пошла на коровник; — и потому, что доходил седьмой час, на столе в столовой стал накрываться ужин.

Прошли недели, когда никто не приезжал на мызу, — и не было никаких вестей. И тогда приехала Шура с двоими своими детьми, бодренькой Анной и слепенькой Марией. Фрау Леонтина вышла навстречу. Она поцеловала в лобики девочек; — она протянула — нерусским, прямым крепким жестом — руку Шуре. Они вошли в дом, фрау Леонтина несла на руках слепенькую Марию. Обе женщины были сосредоточены на детях: детей помыли, покормили и уложили спать. Тогда фрау Леонтина пригласила Шуру в гостиную, к филодендронам. Она попросила Шуру сесть и она сказала:

— Я вас слушаю.

— Да, — ответила Шура. — Мы должны все обрешить. Все понятно, — Готфрид переживает тот период, когда мужчины вдруг полошатся перед старостью, — в общем он, конечно, только бюргер, человек немецкой мещанственности. Готфрид передал мне ваше решение. Я никогда не подчинилась бы ему. Но Готфрид бросил меня. Знаете ли вы, что Готфрид сошелся с новой женщиной, помещицей Соловьевой, муж которой на фронте, с веселящейся дамочкой? Я отдала ему лучшие мои годы. Мы с вами — обе брошенные женщины, — мы найдем, конечно, силы быть джентльменами, друг к другу.

Заговорила Леонтина:

— Дети останутся у меня, навсегда, — вы о них забудете, я буду их мать. Но я вас совсем не гоню. Вам надо учиться, вы прервали ваше учение, — вы поедете опять в Москву, я буду вам помогать, я и Готфрид. Вы станете агрономом.

Заговорила Шура:

— Да, я оставлю детей вам. Не будем говорить о жестокости: вы же знаете, что мне остается пойти на улицу нищенствовать. От службы мне отказано. Какой негодяй и мещанин — Готфрид!..

Фрау Леонтина сказала строго:

— Готфрид — мой и ваш муж. Порицая, — вы порицаете себя. Не надо так говорить. — Пойдемте прогуляться, пока спят дети.

Они пошли в поле, к большаку. Солнце садилось за суходолы, был красный закат, от которого лиловеет воздух, — приходил август. По большаку проехала коляска, — в коляске сидела женщина в лаковых городских туфлях (туфли блеснули заходящим солнцем), красивая, немолодая уже, — кучер был в павлиньих перьях. Шура медленным взглядом проводила коляску.

— Вот это — та женщина, ради которой бросил нас Готфрид, — сказала она.

Фрау Леонтина ничего не ответила. Она шла вперед. Они долго молчали, идя рядом. Тогда фрау Леонтина спросила:

— Шура, вы помните, еще в городе, когда у нас жил Алексей... Каким образом тогда получилось, что письма, компрометирующие вас, письма Алексея, вы переслали через Готфрида, незапечатанными, дав их прочитать Готфриду?..

— Тогда, в ту его поездку, я сошлась с ним, — сказала Шура.

Опять шли они молча. Небо давно уже померкло, земля августовски посинела, захолодела. Около мызы, у ворот, фрау Леонтина сказала:

— Судьба сделала нас товарищами, Александра. Но вы должны завтра уехать — навсегда. Слышите — навсегда!..

Свет в этот вечер на мызе потухнул ровно в десять часов, — но Саддердинов не спал в эту ночь, прислушиваясь к тишине дома. В комнате фрау Леонтины было беззвучно, — и далеко за полночь из комнаты Шуры послышались рыдания, Шура причитала, как причитают русские бабы: — «...девочки мои милые, доченьки мои милые...» — Комната фрау Леонтины осталась беззвучной.

Наутро Шура уехала в город, к поезду в Москву навсегда. Они поцеловались на прощанье. Фрау Леонтина сказала: «Мы — товарищи, Александра». Через месяц, сентябрьскими распутицами, вернулся к фрау Леонтине Готфрид Готфридович — плакать старческими слезами, мучиться, опохмеляться: ту женщину, с которой он жил последнее свое лето, помещицу Соловьеву — убили крестьяне, спалив ее усадьбу. Готфрид Готфридович пришел, а не приехал, к фрау Леонтине — ночью, в сбитых ботинках, в придорожной грязи. Наутро тогда Саддердинов поехал в город за вещами Готфрида Готфридовича, привез немецкие его чемоданы. Готфрид Готфридович сидел в кабинете, не выходя оттуда. Саддердинов, втаскивая чемоданы, видел, как Готфрид Готфридович подпер ладонями голову, закрыв пальцами глаза, перед письменным столом, на котором не было ни одной книги.

Глава третья рассказа — есть глава заключений. Время этой главы текло в десятилетии русской революции, — и оно выглядит столетьем новых геологических эпох. Из сломов эпох — текут новые реки, и в них истлевают старые.

Сентябрьской распутицей вернулся на мызу Готфрид Готфридович. Революция сочла мызу — культурным хозяйством, под мызой было только двенадцать десятин земли, — и немцев не выселили с мызы. Готфрид Готфридович — тогда вернувшись, ни разу не вышел с тех пор — не только с мызы, но и из дома: что русскому на пользу, то немцу вред: революция его сломала — или еще что?.. — Исчезали соль, хлеб, мясо, свет, деньги, заметались дороги, знание заменялось шепотом, здоровье выковывалось тифами, слова заменяли дела: Готфрид Готфридович расхварывался на несколько дней, сваливался в постель, когда при нем говорили о революции. Его лицо судорожно искажалось в боли, когда он видел новый листок газеты, новым правописанием. Он очень много читал: он читал порусски: он наизусть запомнил Щедрина и каждый день перечитывал «Русские ведомости», комплекты которых собирались аккуратностью фрау Леонтины. Стилизовать его время, остановившееся в сентябре 1917 года, — не стоит: не стоит утверждать время стариков, которые плачут оттого, что кофе — ячменный и к кофе нет сахара, — которые цитируют Щедрина, на-

четчески, как раскольники. Логово таких стариков неминуемо должно быть пролежено: и в чистоту обихода фрау Леонтины вплелся запах старческой неаккуратности, валенок, плохого табака.

Все ушли с мызы, кроме татарина Саддердинова: он и фрау Леонтина вели хозяйство. Фрау Леонтина сшила себе овчинную кофточку, чтобы выходить на скотный двор. Девочки росли. Фрау Леонтина воспитывала их. Татарин Саддердинов знал больше слов по-немецки, чем по-русски. Девочки говорили по-немецки и одинаково плохо — по-русски и по-татарски. Младшая девочка имела от рождения бельма на глазах. Она ничего не видела. Обе девочки были аккуратнейшими «мэдхэн». В это время возникли вторые — детские — лыжные следы: в сумерки фрау Леонтина брала с собой старшую пойти на лыжах по откосу к Оке. Все дороги к мызе замело.

Очень тогда заметало метелями дороги. Каждое утро тогда надо было откапывать мызу от снега, снежные строя траншеи. Неделями ни единый человек не приходил на мызу. В доме не все комнаты топили. Готфрид Готфридович в своем кабинете сидел — в валенках и шубе — над Щедриным, обросший бородою. — Однажды приходила баба из соседнего села, сказала, что через село в селе — объявились людоеды и там голодный бунт, убили комиссара: это было так же далеко, как если бы фрау Леонтина прочитала детям о Робинзоне Крузо. И вдруг тогда в заполдни, прямо через забор проехав по снегу, подъехала пара к черепитчатому дому. И из саней вышел — Готфрид Готфридович, тот в молодости, двадцать лет назад, — только что вернувшийся из Галле, бодрый, мужественный, — в прихожей он скинул шубу и предстал перед фрау Леонтиной — в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый, круглоголовый, горбоносый — немец.

— Не узнаешь? — спросил он по-немецки. — Алексей Битнер, твой племянник!

В дверь высунул голову — настоящий Готфрид Готфридович, в шубе на плечах, в валенках на кальсоны.

— Большевик?! — крикнул-спросил Готфрид Готфридович подлинный.

— Да, коммунист! — ответил Готфрид Готфридович Алексей. — Тут у вас голодный бунт — —

Готфрид Готфридович подлинный присел в дверной щели, хихикнул, показал «нос», подставив раскоряченные ладони к собственному носу. Он сказал, хихикая:

— Убирайся вон! — и захлопнул плотно дверь.

— Не обращай внимания, Алексей, — сказала фрау Леонтина.

В прихожую выбежали девочки, одна вела другую.

— Вот мои дети, — сказала фрау Леонтина.

Готфрид Готфридович подлинный ни разу не выходил из кабинета, затаившись в нем. Остаток дня прошел в пустяках, с детьми. Вечером фрау Леонтина и Алексей сели на тот самый диван, который был в губернском городе в комнате Алексея.

Они стали вспоминать. В эти часы, за тысячеверстными снегами, чуть-чуть спуталось время, восстановив субординации дальней той губернской зимы.

— Все в прошлом, — сказала фрау Леонтина. — Но у меня есть дети: — значит — все в будущем, потому, что я делаю достойных людей.

Алексей взял руку фрау Леонтины, почтительнейше ее поцеловал.

— Можно, как в старину, положить к тебе на колени голову? — спросил он. — Можно говорить совершенно откровенно?

— Да, — ответила фрау Леонтина.

Алексей не положил своей головы к ней на колени: ее голову он привлек к себе на грудь, седеющую ее голову, — прикрыл ее руками, шепотом сказал:

— Леонтина. Я все знаю. Я встретил Шуру Белозерскую, она мне рассказала о твоих детях... Я ничего не хочу говорить. Я преклоняюсь перед твоим мужеством. Эти дети могли бы быть моими детьми, — ты это знаешь? —

— Да, я знаю, — сказала фрау Леонтина.

— И знаешь ли ты, — теперь, через десятилетья, — мне иногда кажется, что у нас был роман, о котором я никак не знал тогда, когда он был.

Фрау Леонтина прижала свою голову к груди Алексея, — она сказала не сразу:

— Да, это было так, — тихо сказала фрау Леонтина.

Алексей нашел губы фрау Леонтины своими губами: губы фрау Леонтины дрогнули. Она встала и поправила пояс белого своего платья. Алексей тоже

встал. Они посмотрели друг на друга. Алексей отвернулся.

— Поздно уже, я пойду к девочкам спать, — сказала фрау Леонтина и улыбнулась. — На хуторе у меня живет татарин Саддердинов. Он живет у меня тринадцать лет. Он любит меня, я это знаю, но он не знает этого... — Фрау Леонтина помолчала. — Слушай, а где Шура?

— Шура в Москве. Каждый вечер на трамвае она едет из одного пригорода в другой, в рабочие клубы, и там читает лекции о новом быте, о красоте, о советской литературе. Должно быть, она пишет стихи. Подол ее длинной юбки почему-то всегда мокр. Она очень хороший, очень неглупый и очень, очень несчастный человек.

— Мы с ней — товарищи, — сказала фрау Леонтина. — Но я не хочу ее видеть. Спокойной ночи.

Наутро Готфрид Готфридович Алексей — уехал.

В зиму двадцать шестого — седьмого годов, в раздумнейшие тридцатые годы российского XX столетия, к двум парам лыжных следов присоединились третьи: в зиму двадцать пятого — шестого фрау Леонтина, продав корову и свиней, ездила с младшею слепенькой Марией — в Москву. В Москве профессор Ауэрбах сделал Марии операцию, — и Мария — прозрела, чтобы на одиннадцатом году своей жизни увидеть лица — жизни и матери, знаемые наощупь: она увидела тогда, впервые открыв видящие глаза, что лицо фрау Леонтины — все в мелких морщинках старости и — счастья. Мать и дочь вернулись на мызу: к лыжным следам присоединились третьи.

. . . .

...Три лыжных следа идут под гору, к Оке, оттуда обратно в гору. Следы прямы, как полет стрелы. На лыжах прошли три женщины — старая и две девочки. День декабрьский, морозный, снег сыплется, не мнется. Поочье. — Сумерки сменяются ночью, — ночью мимо лыжных следов, чего доброго, пройдет волчица со своими прибылями, поднимется на холм, обогнет «немкину усадьбу», повоет на черепицы. — Но ночь сменится рассветом, и тогда поднимется солнце, всякий раз новое, потому что каждый новый день несет — новую жизнь.

Москва,
14 января 1927 г.

ОРУДИЯ ПРОИЗВОДСТВА

I

Писатели в России — налоговою сеткою Наркомфина — приравнены к кустарям без мотора: и поистине, писатели — очень долгие сроки — были безмоторными кустарями. Этот рассказ посвящен орудию писательского производства. Папирус — папир — бумага в тысячелетьях человеческой истории сменили восковые пластинки, письмена на глине, иероглифы на известняках. Иероглифы восточных философов и ученых записывали не звуки, но понятия, — финикийская грамота, та, которая породила европейскую, ту, на которой и я пишу сейчас, записывает не понятия, но звуки. Уже тысячелетье на Западе пишут пером, сначала гусиным, теперь стальным, — и тысячелетья на Востоке пишут кистью. На Востоке пишут, сидя на земле, подогнув под себя ноги, взяв на колени бумагу, — или пишут лежа, как пишут в Японии, кистью и тушью. — И весь, и весь человеческий мозг, за все, за все тысячелетья человечества — всегда проливался на бумагу, — все, сделанное и созданное человеком, было пролито на бумагу, все вечное в человечестве, его истории и его строительстве — отдано было — папирусу — папиру — бумаге.

...Каждый листок бумаги, исписанный человеком, знакомым мне иль незнакомым, на всех языках, которые встречались мне, безразлично — знакомых или незнакомых, — все, от детских каракуль, от счетов московских, токийских и лондонских магазинов до писем и манускриптов, моих и чужих, — тщательнейше все разглаживаю я, храню, берегу, ибо: — —

— — пусть читатель представит — —

— — читателю попались в руки русские (иль английские) счета из лавок

осьнадцатого века, — читателю попалась в руки связка писем (русских иль французских), зауряднейших, семейных, будничных писем того же осьнадцатого иль даже девятнадцатого века: качеством бумаги, почерком, орфографией, синтаксисом, фонетикой языка, фактурой, понятиями — читатель будет вдыхать эпоху. — Каждая, каждая писанная наша строчка через столетие будет так же благоуханна, как та, которая написана столетье тому назад. Человеческие национальные культуры выплескиваются за свои национальные заборы: — — в Лондоне у букиниста (напротив Британского музея) я купил русскую, осьнадцатого века, поваренную книгу, — по-английски, выцветшими буквами, на книге написано, что книга приобретена в городе Севастополе в 1854-м, Севастопольской кампании, году; — в Пекине в русском посольстве мне подарили книгу «Географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайския Империи и татарии китайския», отпечатанную в Санкт-Питер-Бурхе в типографии императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса в 1774 году, — обе эти книги у меня в Москве: — какими словами передать о тех часах раздумья, которые были у меня, когда я читал эти книги, столетьем и морями закинутые столь необычно далеко? — пусть через столетье мой правнук такую же подарит радость другу-японцу иль китайцу, передав ему один из моих ящиков с бумагами, ящик, в котором собраны китайские и японские бумаги, письма, лоскутки бумаг.

Да, миры национальных культур переплескиваются сейчас через свои заборы.

II

Я — кустарь, но у меня есть — мотор, мое орудие производства.

В Лондоне я купил себе пишущую машинку, дорожную, такую, которая укладывается в маленький чемоданчик. Я купил машинку за день до отъезда из Англии, — и в белесой сини Северного моря, на спардеке я впервые в жизни сел за машинку, чтобы научиться на ней писать. Я играл в машинку, — играя, я учился: та-

ким образом тогда я написал рассказ «Speranza». Потому что кругом тогда была пустынная синь осени и Северного моря, — потому что я учился писать на машинке, играя, — машинка вошла в мою писательскую кухню покойным, веселым товарищем, — именно — покойным, веселым.

Уголь, карандаш, темпера — предопределяют рисунок так же, как акварель и масло — живопись: теоретики литературного искусства должны изучать влияние на литературные стили — кисти, пера, машинки.

Я знаю, как пишут многие мои товарищи: одни пишут в тетрадях, другие на отдельных листках, разрезывая бумагу по своему вкусу, — одни пишут синими чернилами, другие черными, — у каждого свое излюбленное перо, — столы у одних во время писания совершенно пусты, другие прячутся в горы книг: надо л ю б и т ь перо, бумагу, чернила и стол. — Надо не замечать «бук», «глаголей», «азов» и «ведей», когда пишешь.

За машинкой надо сидеть, как за рабочим станком, над нею, прямо, чтобы руки были, как у рояли, в уровень клавишам машинки. Уметь владеть машинкой — мастерство, как всякое умение владеть инструментом. Машинка организует мысли. Я могу писать только на своей машинке, я знаю каждую ее клавишу, каждый ее винт и каждый ее недостаток.

Тысячелетьями человечество писало кистью, карандашом и пером: человечество наших поколений знает новый способ — способ писания на машинке. Я научился впервые владеть машинкой в пустынной сини осени и Северного моря, того моря, которым за многие столетья до меня бродили норманны, вести о себе подавая наивными письменами в засмоленных бутылках.

Та пишущая машинка, которую я купил в Лондоне, прожила со мною три моих бродяжеских и очень напряженных года. Тогда, проплыв со мною от Кардифа до Кронштадта, та машинка товарищем была со мною в Северном Ледовитом океане, под 80-м градусом северной широты, около островов Уиджа, на шпицбергенских угольных копях, на Мурмане, — была на Средиземном море, в Константинополе, в Афинах, в Яффе, в Смирне, на Тысяче Островов Адриатики, под Олимпом, — вместе со мною на аэроплане та машинка была над — Подкаменными — Приуральскими землями, над

Камой, Вычегдой, Вишерой, над Коми-областью, над Северной Двиной, — вместе с нею я коротал мои московские, саратовские, коломенские, одесские, кореизские дни, — вместе со мною она разматывала версты и время Великого Сибирского Пути, Манчжурии, Кореи, Японии, центральных китайских провинций, Ян-Цзы-Цзяна... Сколько моих мозгов — не по-есенински — я пролил на ту машинку, ибо никому — ни другу, ни жене — я не поверял столького, сколько поверил самому себе — машинкою, верным товарищем, свидетелем, соработником.

В Шанхае я купил себе новую машинку, вот эту, на которой пишу сейчас.

III

И вот выписи моего шанхайского дневника, за те дни, когда я купил машинку. Тогда у меня было страшное одиночество оторванности от всего моего мира: в русской ссылке больше народу, с кем можно было бы разговаривать, — русские газеты приходили к нам через месяц. Я жил на квартире нашего шанхайского генерального консула, в том самом доме, который был терроризован полицией в апреле 1927 года. Я был там в июле, в ужасной, в отчаяннейшей, деморализующей жаре. Я, как многие в доме номер 1-й на Ванпу-роад, деморализуясь жарою, одиночествовал ссылкой, в ожидании парохода, который должен был понести меня на Сингапур, на Аден, Черным морем в Средиземье, мимо Византии в Одессу, в Москву.

Вот последняя запись, сделанная на старой машинке:

«Ночь (с 16-го на 17-е) июля.

Сегодня принесли мне новую пишущую машинку: на этой допишу этот листок, — и она отслужила мне свой век!.. — Ночь, трещит сверчок, — неизвестно, когда китайцы спят, — прилив, и на реке шум проснувшихся на сампанах китайцев. На диване передо мною, на полке, стоит улыбающийся китайский бог, которого я купил на Ян-Цзы: — улыбается — и я думаю о яде «маманди» (китайское слово — «погоди», «не торопись»), о яде ожидания, неизвестности, — это «маманди» улыбается мне китайским богом, всем Китаем, — «маманди»!..

...Да, прощай, друг, мир тебе и прах!.. верный был друг, которого я купил... — «Купил» — «друга»: совсем по-бунински — «хорошо бы собаку купить!» — Тогда купил, в Лондоне, за сутки перед путиной домой, — и теперь купил тоже, в эти же числа, тоже вне России, тоже перед путиной домой. Новая лежит на диване, смотрю на нее, как на чужую, чуть-чуть враждебную, нарядную, слишком «машинную», — и жалко мне друга, — друг состарился под моими руками, передуманный, пережитый. Он, этот брат и соработник, послезавтра поедет в Россию, будет где-нибудь за письменным столом ждать меня. Поистине есть «живая жизнь» мертвых вещей, — тебе осталось только несколько строк нашего братства: неверность есть жизнь, — это жизнь — идти к обновленному, новому, усовершенствованному. Так идет каждый, пока у него есть силы, должен идти, потому что каждый потом будет сброшен на слом смертью. — Прощай, прости!..»

И вот первая запись, сделанная на новой машинке:

« - » § I% а ’ ? ! № — это проба знаков машинки.

— Здравствуй, племя молодое, незнакомое! — это я приветствую новую машинку. — Вот она лежит под моими руками, — это я учусь писать на ней, и она мне безразлична. Так, должно быть, всегда, когда уходит вещь: — вещь уходит, вещь! — Нельзя, не надо пророчить — это по-азиатски-русски... И надо метить вперед, думать вперед — это по-петербургски-русски. Пусть безлюбовно — надо, всегда надо перед машиной подбираться, сосредоточиваться — —»

— Глупо, смешно, наивно! — совершенно верно: но так было тогда записано, и не всех наивностей и глупостей следует бояться. Это я пишу сейчас, в Москве, много месяцев спустя после Шанхая. Я помню, как тогда я сидел над новой машинкой и над старой, перебирая в памяти мои путины и сроки. Глупо, наивно я записал тогда, — но до сих пор мне стыдновато перед машинкой, перед покинутым другом.

IV

Тогда в Шанхае я припоминал, что было написано мною на старой моей машинке. Здесь, в Москве, я связал в отдельный чемодан то, что было на старой ма-

шинке написано. Очень много, очень много исписано мною на ней бумаги, писем, дневников, рассказов, повестей «Машин и Волков»: все это сложено в чемодан.

Очень возможно, что этот чемодан мне уже не будет досуга вскрыть самому: стало быть, его перечитает кто-то другой, сын, внук, правнук.

Но — вот, что я думал, связывая этот чемодан. — Какую малюсую малость, какой промилль промилля, какую бесконечно-малую величину написал я, какое ничтожно-малое количество бумаги исписал я — по сравнению с тем, что написало и исписало человечество за все тысячелетья всяческих его грамот!

И еще думал о том, что если у отошедших тысячелетий орудиями письма были кисть и перо, если у теперешнего столетия орудием письма есть машинка, — орудие письма неминуемо влияет на стили (и литератур, и эпох), — если все это есть, — то никак нельзя знать, какой стиль будет у грядущих тысячелетий и как человечество будет — перед лицом вечности — записывать свое время, — быть может, даже совсем без букв.

Наркомфин неправ: — конечно, я кустарь — с мотором.

Москва, на Поварской,
1 мая 1927 г.

ДЕЛО СМЕРТИ

О березе.

Безразлично, в березовой ли роще береза или вот та, что стояла против каменных окон Института Жизни, — русская береза, столь воспетая поэтами, навсегда нестерствующая, — белая береза, как свеча российских полевых печалей, печалующаяся российскому серому небу. Должно быть, это очень красиво, не только в роще, но и здесь, на каменном дворе.

Но надо размышлять так, как надо размышлять через каменное окно лаборатории Института Жизни, когда за окном старинные постройки и заасфальченный двор. Эта живая береза навсегда прикована к своему углу двора, никогда не уйдет отсюда: ее движение начинается за смертью, она очень крепко вросла корнями в землю. Безразлично, эта ли береза или березы в соловьиной роще: клиническим диагнозом надо установить, — самое характерное свойство березы, леса вообще — неподвижность, когда движение начинается только после топора дровосека, если это андерсеновская сказочность. И именно эта неподвижность вызывает у человека жалость к березе, жалость к древесной природе, — но от леса — человеку — эта же дана в наследие покорная неподвижность, когда на зимы березы умирают — человеческой смертью, — подлинной же березовой смертью умирают — для человеческой жизни. Поэтому лес, как береза, успокаивает человека, углубляет человека в самого себя, —человек не осознает своей жалости, которую вызывают береза и лес их неподвижностью.

Впрочем, у человеческой особи, которой нужна успокоенность, нет жалости к лесу, возмущающего и воз-

буждающего в березе, — точно так же, как для строящего человека лес противен его фатализмом, заложенным в лесной природе, действующим так же, как человеческая горькая глупость, которой нет возможности помочь.

Закон один: бесконечное органичение жизни, когда жизнь начинается после смерти, таится под этим белыми свечами коры березы, — березу видно через окно, — через стекла окон береза и мысли о ней идут в человеческое сознание, в черепную человеческую коробку.

Институт Жизни был институтом при Московской Коммунистической Академии, старый княжеский особняк был превращен в лаборатории Института. Над Москвой и над Институтом проходили рассветы и закаты, — то есть, в Космосе своими орбитами вращалась — Земля, любительница, как старинная замоскворецкая купчиха, погреть все свои бока около солнышка. По утрам в Институт приходили научные сотрудники Института, профессора, ассистенты, лаборанты, чтобы двигать работу Института. Иные из сотрудников не уходили из Института по суткам и по неделям. Иные поместились жить в Институте в сводчатых княжеских антресолях, похоронив себя там знанием и книгами. Все сотрудники были людьми той породы, которую человечество ссылает в науку: у таких людей есть традиции отцов физических и отцов знания, есть умение видеть в микроскоп и читать химические формулы, есть умение провидеть будущее, но у них часто нет выходных костюмов, носового платка и лишнего рубля, и у них могут быть различнейшие характеры, не мешающие их работам, они могут влюбляться, изменять, ненавидеть, конкурировать. Жизненные их интересы связаны с Институтом и тою таинственной сеткой, по которой получается — хамская вещь — жалованье. В лабораториях Института покойствовали формулы, колбы, микроскопы и человеческий мозг, проникающий в тайны формул, — там были сводчатые потолки, и крепостные стены хранили тишину дома, — березка за окном была случайностью.

На антресолях, куда надо было проходить винтовой лестницей, по комнатам жили научные сотрудники. В самой дальней, с окнами на солнце и в тишину парка, жил химик Сергей Андреевич Вельяшов. Вельяшову

было тридцать четыре года, — он был очень здоров и очень красив, высоколобый, широкоплечий, широкожестый. Он умел весело работать, он был озорновато талантлив, молодой химик, идущий к большой работе. К себе на антресоли, где жил он один, без семьи, он перенес все, что осталось у него от стариннейшего его кавалергардско-масонского рода, немного фарфора, немного книг осьмнадцатого века, много портретов, много грамот и семейных записей, — этого хватило, чтобы сделать его комнату комнатой антиквара и чтобы особенно подчеркнуть его стол, рабочий стол химика у светлого окна в книгах и тетрадях с формулами. У этого стола очень многие его друзья перешутили с ним очень многие вечерние часы ожидания завершений опытов.

Он, Вельяшов, застрелился из старинного пистолета, не оставив никакой записки.

Профессор Павлищев, академик, ректор Института, снес его труп в институтскую мертвецкую. Ничего, что указывало бы на причины самоубийства, найдено не было. В бумагах был найден только один листок, который казался неожиданным в его бумагах, — но этот листок был написан за год до его смерти и валялся глубоко в ящике. Вот этот листок:

«Целый день просидел неподвижно в кресле, и мысли все время разбивались по мелочам: переплет окна, береза, белеющие изразцы печи, диван, книги, — все это перемещалось в плоскости и давило на сознание. Больше всего меня давил тот факт, что мухи, облеплявшие окно в свете дня, к вечеру исчезли. Изредка одна-другая прилетали в светящийся четырехугольник окна, жужжали заунывно и улетали обратно, прочь от окна. Я думал:

«холод, а за холодом — смерть. Инстинкт жизни: лететь в темный угол от светлого окна, в тепло печи от холодного света. От холода смерть!..

«В жизни, в моей жизни, также есть холодное окно смерти, к которому изредка я подхожу. Там сияет свет, холодный, замораживающий. Идти за окно — это значит

заморозить все чувства и мысли. Тогда хочется уйти назад, — там темно, гадко, удушливо, но там тепло, теплится жизнь.

«В полумраке комната принимала огромные размеры, и светившиеся закатом окна казались пропастями в бесконечность. Весь тот вечер я рылся в дедовских записях. Холодно!..» —

Профессор Александр Иванович Павлищев приказал вскрыть Вельяшова. Вскрытие установило, что все органы Вельяшова нормальны. Академик Павел Иванович Павлищев присутствовал при вскрытии. Вообще академик походил на птицу, сделанную так, как рисуют птиц дети: волосы разлетались крыльями, лицо изображало туловище, — но под носом у него сидела вторая птица: крылья — усы, туловище — седенькая бородка, клинышком. Академик топорщился всеми своими птицами, когда патологоанатом разводил руками.

— Я ставлю вопрос, — сказал Павел Иванович Павлищев патологоанатому, — отчего же он умер? — Случайной смерти не может быть!

— Все органы нормальны, сердце нормально, мозг нормален, — ответил анатом и пожал плечами.

— Ну, это надо исследовать, это надо исследовать, надо исследовать! — возразил Павел Иванович.

Анатом взял кусочки сердца, мозгов, секретные жидкости и направился в свою лабораторию. Павел Иванович Павлищев весь тот день сидел в комнате Вельяшова, роясь в его бумагах и архивах. Через каждый час он спускался к патологу с одним и тем же вопросом:

— Ну что, разобрались?

Анатом отвечал сердито и пожимал плечами.

— Разберитесь, разберитесь.

Наутро анатом разбудил Павла Ивановича на рассвете, пришел к нему, к его постели со стеклянной пластинкой, на которой был растянут кусок ткани сердца бывшего человека. Анатом был торжественен. Рассвет был синь.

— Вот видите, нашли, — сказал академик.

Ученые пошли к микроскопу.

Академик снял пенсне, чтобы вникнуть в мир страшно-малых величин. Академик крякнул и ото-

рвался от микроскопа. Он посадил пенсне и сказал, рассматривая анатома:

— Ничего не могу понять.

— Вот именно, — торжествуя ответил патолог. — Я так и думал. Поэтому я принес вам для сравнения образец нормальной ткани сердца.

Сравнили. Ясно: перерождение тканей, видное только в микроскопе и только при сравнении здоровой ткани с больною.

— Что же, от этого только он и умер? — спросил академик.

— Да, больше нет никаких причин, — ответил анатом.

— Посмотрим, — возразил академик, — и заговорил уездным учителем, обращаясь к собравшимся ассистентам, возвещая всем известные истины: — Какой нежный орган — сердце человека!.. малейшее изменение мускулов, перерождение тканей, сужение или расширение сосудов кладут неизгладимую печать на человеческую жизнь и обрывают ее раньше времени. Но я должен сказать — — о самоубийстве мы очень мало мыслим как о чем-то неизбежном. Горькая обида растет в душе: кажется, что если бы был с человеком вместе, поговорил бы с ним, рассеял его мысли, наконец просто увез бы его куда-нибудь, дал ему другую работу, — тогда не случилось бы этого — —

Два дня академик Павел Иванович Павлищев провел на антресолях в комнате Вельяшова. Академик рыл архивы вельяшовского рода. За окном земля грела свои обочины, приходили рассветы и закаты. Две птицы лица академика углубленнейше вникали в геральдические акты, в родовые письма, в записи прадедов. Красный карандаш в белой руке профессора чертил на листке бумаги даты смертей и рождений, таблицы характеров отцов и дедов. От книг, от записей, от бумаги пахло столетьями и Вельяшовым, родовым запахом Вельяшовых, ибо старинные дворянские роды гордились не только своими геральдическими гербами, но и родовым запахом. Усы академика походили на воробья, голова его походила на ворону, глаза за очками были хитры и веселы.

Академик установил выписями из родовых записей, рассматриванием портретов и должными характе-

ристиками — установил следующее обстоятельство, записанное академиком так: —

> «Род очень старинный, материалы от эпохи Петра Первого. Материалы подтверждаются галереей предков. В каждом поколении было два типа. Один тип склонен к науке, к философии, в роду ряд масонов, вольтерьянцев, декабрист, земские деятели, люди имели склонность к тучности, к малоподвижности. Другой тип — сангвиничен, действенен, большей частью люди военной карьеры, голубые уланы, кавалергарды, низкорослы, худощавы, любострастники, со склонностью к алкоголизму. Все представители первого типа были глубоко одарены, второй тип был мелкотравчат. Люди первого типа, все до одного, включая и Сергея Андреевича Вельяшова, умирали в возрасте от тридцати трех до тридцати шести лет: для нас несущественны причины смерти. Люди второго типа, проделавшие многие походы, много раз раненые, часто глубокие алкоголики и, по-видимому, хворавшие венерическими болезнями, — доживали до семидесяти-восьмидесяти лет: сердце бреттера, кутилы выдерживало долговечную жизнь, и это долголетие передавалось на протяжении веков. Спокойные ученые, чиновники, религиозные философы, несмотря на прекрасные условия жизни, умирали все на подбор очень рано, в один и тот же срок».

В Институт Жизни из клиник Первого Университета был доставлен труп семидесятилетнего старика — для исследования. В «истории болезни» значилось, что умерший хворал сифилисом, связи с женщинами имел с четырнадцати лет, пить начал еще раньше, алкоголик, долго служил в публичном доме кассиром, дом служил ему клубом и развлечением. Человек умер, упав с лестницы в пьяном виде. Труп вскрыли. Патологоанатом был поражен сердцем: на том месте, где должно было быть сердце, был сморщенный мешочек, не имевший даже подобия нормального органа, — с таким

сердцем нормальный человек не мог бы прожить и десяти минут.

Патологоанатом направился с сердцем на антресоли к Павлу Ивановичу. Павлищев рассматривал портреты, обе его птицы щетинились, он был очень сосредоточен. Анатом молча поднес к его глазам сердце. Академик спросил:

— Сердце утреннего старика?

— Да, — ответил патолог.

Академик скинул с носа пенсне, закинул их за спину, накрутив шнурок на палец. Академик заговорил, как ворчат старики:

— Я должен констатировать следующее, да, батенька мой. Сердце доказывает мою основную мысль, которую вы иллюстрируете этим примером. Сергей Андреевич Вельяшов застрелился — по наследственности, иных причин нет. Сердце, конечно, изменено наследственно. Мы еще не докопались, но факт устанавливается: наследственность — она определяет человеческую жизнь, и, когда мы недоумевали о причинах смерти Сергея Андреевича, мы не могли предположить, что таков был его путь, начертанный ему законом наследственности.

— Вы хотите сказать, что и самоубийство тоже наследственно? — спросил анатом.

— Боюсь что-нибудь утверждать, — ответил Павлищев. — Мы еще очень мало знаем, но — это та же болезнь. Один человек простуживается и схватывает насморк, другой при этих же обстоятельствах заболевает воспалением легких.

Академик сунул анатому листок, исписанный — рукою академика — красным карандашом.

— Как идут рефрижераторные работы в подземелье?— спросил Павлищев. — В бумагах Вельяшова я нашел запись, совпадающую с моими мыслями и проектами. Вот она. Вот одна очень существенная фраза: «Холод, а за холодом — смерть. Инстинкт жизни — лететь в темный угол от светлого окна». — Вельяшов делал наблюдение над мухами. Он не продумал закон до конца. — Академик помолчал. — Рефрижераторы поставлены? — спросил он.

— Да, ставятся, — ответил анатом.

— Отлично! — сказал академик и хитро улыбнулся. — Благодарю.

В Институте Жизни жили, как подобает жить в ученом учреждении. На антресолях стояли диваны, где люди спорили, спали и ели. Основной этаж был занят лабораториями. В подвалах были анатомическая и мертвецкая, и по приказу Павлищева делались склепы, где рефрижераторы должны были в будущем круглогодно держать одну и ту же температуру, много ниже нуля. В мертвецкой лежал труп Вельяшова. В день его похорон Институт не работал. Утром приехали красные дроги. У большинства сотрудников нашлись неотложные дела, — и за дрогами пошла реденькая толпа человек в пятнадцать, чтобы отдать последний долг человеку и чтобы подтвердить убожество человеческой смерти, когда и эти пятнадцать по очереди забегали в пивные выпить по кружке пива и съесть печеное яйцо, разговаривая по дороге о чем угодно, кроме мертвеца и смерти. Павел Иванович Павлищев все время шел за гробом. В Институте в это время оставались сторожа, дежурные ассистенты, и в мертвецкой холодали трупы.

Павел Иванович Павлищев, совершеннейший воробей, шел за гробом пешком, а обратно с кладбища ехал на трамвае.

Младшие сотрудники, как подобает им почтительно шутить над профессорами, шутили; химик сказал, тихо и кося глазом:

— А я думал, что он выйдет из Института только на свои похороны!..

Сосед усмехнулся, глянув на академика.

Павлищев наклонился к ним, посмотрел и сказал очень тихо:

— Глупо, знаете ли, — гнить в земле, превращаться в другие низшие формы, — благодарю покорно!.. Надо иначе.

И академик благодушно улыбнулся.

Вечером в Институте собрались сотрудники, в химической лаборатории. Павлищев ходил между столами, руки назад, благодушествовал, говорил:

— Здесь в Институте мы сидим над вопросами биологии клетки, само понятие смерти для нас чуждо и враждебно. Уж лучше ехать на Северный полюс, там по крайней мере умрешь, но не сгниешь. Надо верить в знание, братики!

Вечерами Институт затихал. Немногие сотрудники следили за своими опытами, сидели по своим кабине-

там, — если встречались в свободную минуту, то по традиции вечерних часов говорили медленно и тихо.

Этот вечер был длинным вечером Павлищева. Старик, одинокий человек, похожий на летящего воробья и ворону, весь вечер он просидел у себя в антресолях, над книгами и записями, высчитывая, формулируя. Поздно вечером он спускался в подземелье. Старые княжеские подвалы были превращены в склепы, там ставились рефрижераторы, — электрические лампы там горели неярко и там было зимне холодно. В анатомической, где на оцинкованных столах лежали мертвецы и пахло трупом, Павлищев задержался около лаборантов, пошутил и внимательно рылся в записях температур, давления воздуха, влажностей, которые были в подземельях. Оттуда он поднялся в химическую лабораторию, просил поспешить с анализом воздуха в подземелье, его химического состава. Затем академик вновь вернулся к себе на антресоли и сел за бумагу, за письма. Он написал немного коротких писем, запечатывая, он заливал конверты сургучом и ставил свою печатку. Письма адресовались Российской Академии Наук, Сорбонне, в Берлин, в Оксфорд, в Вашингтон. Поздно ночью профессор стоял около окна. Светало и на асфальтовом дворе едва-едва была видна белая березка. Академик переоделся на ночь, надел халат. Тогда вновь академик, в халате, в ночных туфлях пошел по замершим комнатам Института, обошел весь дом, спустился в подземелье, осмотрел гробницы, позадержался в мертвецкой. И только тогда лег в постель, чтобы спать. Был Павлищев в эти часы очень грустен и рассеян, глаза его были очень мягки, никак не хитрые.

Через неделю рефрижераторы были готовы.

И опять был вечер. Академик ездил в город по делам, на заседание и вернулся часов в одиннадцать, принял ванну и спустился с антресолей в шлафроке и со свечой в руках, ходил по полупустым лабораториям, подходил к сотрудникам, здоровался, разговаривал. Около анатома он задержался. Анатом не помнил впоследствии подробностей разговора.

Академик говорил:

— Человек — это отлитая форма жизни. Человечество еще ничего не знает о законах жизни. Нелепо разбивать форму, если она может пригодиться. Мухи застывают зимой и оживают летом. Семена сковываются

морозом в почве и прорастают весной. Восстановить индивидуальную жизнь можно только тогда, когда будет сохранена ее форма. Наука должна придти к умению владеть человеческой жизнью, а я еще хочу посмотреть и прожить до тех пор, пока во мне есть жизненный рефлекс. Человечество пришло уже к способам лечения путем замораживания, — путем замораживания следует делать пересадку тканей. Вопросы бессмертия лежат, я полагаю, в области замораживания и оживления живого организма, — или по крайней мере — замораживание даст возможность сохранить форму до того времени, когда подоспеет человеческое знание.

Павлищев попрощался с анатомом, зашел в химическую лабораторию, чтобы взять там анализ воздуха подземелья, в рабочем своем кабинете взял со стола сводку подземельных температур, давлений и влажностей, достал шприц и пузырек с эфиром, — и пошел тогда к себе наверх.

В Институте было тихо и полутемно, шел рабочий будничный вечер. Академик грел себе воду, ставил последний клистир. И тогда, со шприцем, с кнопками и с листком бумаги, он пошел вниз, в подземелье. Его никто не встретил. Он прошел в склеп № 1. Дверь склепа кнопкой не прокалывалась. Павлищев вернулся обратно наверх, взял синдетикон. Синдетиконом он приклеил на двери склепа листок бумаги. Там было написано:

«Прошу хранить мое тело замороженным впредь до того, пока наука не найдет способа оживить меня.

П. Павлищев».

Академик прошел в склеп, прикрыл за собою дверь. В пустом склепе стоял цинковый стол. Академик воткнул себе в вену шприц и лег на стол.

...О березе.

Безразлично, в березовой ли роще береза или вот та, что стоит против каменных окон Института Жизни. — Русская береза, столь воспетая поэтами, навсегда нестерствующая, — белая береза, как свеча российских полевых печалей, печалующаяся российскому серому небу. Должно быть, это очень красиво, не только в роще, но и здесь, на каменном дворе.

Саратов,
июнь 1927.

ВЕРНОСТЬ

Посвящаю Марку

Двадцать лет тому назад было подполье молодости, была революция, были явки в домах незнакомых, но родных людей, сходки в бурьянах кладбищ, митинги в пыли пригородных рощ, — было двадцать лет от роду, была студенческая фуражка, было — не вера, но — знание, знание каждым мускулом и каждым лучом солнца, что мир прекрасен, труд прекрасен, жизнь — прекрасна, прекрасно человечество, — и все — впереди. На митингах в кладбищенских бурьянах надо было говорить всем сердцем о грядущей справедливости мира, о революции, — мира, против которого тогда восстал этот юноша, готовый обнять мир, — о революциях, которым этот юноша готов был отдать свою жизнь. Мир полицейских, жандармов, стражников, приставов — мир Империи — был вражественен и проклят, щетинился силою, бесправием, виселицами, тюрьмами, — и мир незнакомых домов, где были явки, где переутомленного человека кормили колбасой, поили чаем и осторожно укладывали спать на диване в столовой, иной раз двоих на одном диване, впервые встретившихся, — этот мир был миром братьев, миром справедливости, равенства, чести, где один за всех и все за одного, где нет слов «твое» и «мое», где направо тюрьма и смерть, налево — революция, ослепительная справедливость.

Этот рассказ посвящен любви.

Как приходит любовь, как уходит любовь и что дано человеку любовью? — великое ли бремя дано любовью человечеству и человеку — или великая радость, когда тяжесть любви — есть счастье? — как надо человеку нести любовь? — Тогда, там, где справа и слева

были смерти, надо было быть честным и чистым, как христианин перед причастием, остатки каторжной христианской морали считали любовь грехом, — и тогда там нельзя было думать о любви между мужчиной и женщиной, тем паче — о плотской.

И все же было у него в этом двадцатилетии однажды — только однажды, чтобы остаться в памяти на всю жизнь! — прекрасное наваждение. Он встретил ее на нелегальной квартире, и столовая в желтых обоях, где за столом человек в жилете читал «Русское богатство», превратилась в чудесность, запомнившись на двадцатилетие, — и все превратилось тогда в чудесность: чашка чая, которую передавала эта девушка, слова, которые сказали они, его и ее дела, которые были и которые будут, — и весь мир провалился в чудесность, где море по колено, где мир по колено, и в этих высотах, где мир по колено, есть только она, ее слова, долетавшие из безмерных пространств, ее руки, передававшие баранки, косы, упавшие на грудь тяжестью спелых пшениц, голубые ее глаза, уходившие в бездонности — в безмерности пространств, где мир по колено. Толстый человек в жилете и с «Русским богатством» сказал тогда, что пора спать. Надо было одному остаться на диване в столовой. Миры перекраивались чудесностью бессонницы. Рядом спала — или не спала? — девушка, которая была больше мира. Он не знал даже ее имени.

Это все, что было в том двадцатилетии: жизнь сильнее человека и мудрее его, — это все, что осталось тогда этому студенту на горькую и длинную память о чудесностях, которые бывают в мире, чтобы не повториться и чтобы остаться больною занозой на всю жизнь. — На другой же день тогда опять стали справа и слева смерти, его понесло по перекати-полю подполья, из города в город, с завода на завод, с явки на явку, по сотням квартир, по путям и перепутьям революции, где направо рядом городовой Империи, впереди ослепительная справедливость и — путь только один — налево. Круги революции 905-го года замыкались, — и путь налево привел вправо: этот юноша оказался в тюрьме, сначала в уездной, затем в губернской, потом в пересыльной, чтобы затем коротать свое время в Коми области, где слово «зыряны» значит — «оттесняемые». И в уездную, а потом в губернскую и пересыльную

тюрьмы, — приходила другая девушка, которую впервые он увидел в тюрьме и которая назвалась его невестой, присланная товарищами.

Дальше была жизнь.

Как приходит любовь, как уходит любовь, что дано человеку любовью? — великое ли бремя дано человеку в любви или великая радость, когда бремя любви есть счастье? — Риф коралловый на морском дне, как ржинка в поле, как зверь, как земной шар, миры и солнца, — все в этом космосе родится, чтобы жить, родить и — умереть. Человек живет, родившись, чтобы жить, родить и умереть. Все живущее живет, чтобы рождаться. Рожденьем у человечества правит любовь. И давно надо было бы филологам и иным словоделам позаботиться о разработке и переработке слова любовь, ибо слово любовь — есть рождение, слово любовь есть — любовь собаки к человеку, а человека — к водке, — во имя любви люди шли и идут на костры и виселицы, и в публичных домах «играют» — «в любовь». Но понятия любви путаются не только многомысленностью слова любовь. Каждая историческая эпоха создавала и создает свои понятия любви, и каждая историческая эпоха имела свои законы рождения.

Двадцатые и тридцатые годы двадцатого века в России примечательнейше безэпоховствовали в законах рождения. Эпоха великой русской революции была все же мужской эпохой. Рушились классы и перестраивались общественные группировки, мужчины старых классов уходили в нети, женщины оставались для новых рук. Люди шли умирать и не знали своего завтра. Все теряли свое прошлое: одни во имя будущего, другие во имя прошлого. Редкий человек в ту эпоху не был трижды в супружестве и не имел множества любовниц и любовников, причем женщины выходили из этого — скажем, круговорота — к тридцати пяти годам, оставаясь вдовами, но мужчинам не были стыдны их седины и отекшие животы. У тех женщин, которые рождали детей, дети собирались от разных отцов, и растили детей чужие отцы. Многоженство и многомужество моралью тех лет, в сущности, не порицалось. Для стариков было правило, почти закон: писатели, художники, актеры, общественные деятели, старики — рушили старые свои семьи и женились на женщинах, возраст

которых бывал иной раз меньше возраста дочерей этих стариков, причем случаев, чтобы пятидесятилетние женщины выходили замуж за двадцатилетних юношей, за очень малыми и очень громкими исключениями, почти не бывало. Социальная биология — история — дает определение этой особливости революционной русской эпохи.

Дальше была жизнь.

Все в этом космосе живет, чтобы родиться, родить и умереть.

Тогда в мытарства тюрем приходила девушка, которая назвалась невестой, присланная товарищами, — и она вскоре приехала в Усть-Колым, в зырянское село, также сосланная. Через три месяца их повенчал зырянский поп. Через год у них родился первый ребенок. Через два года они были свободны с минусом шесть. Вся Россия хорошо знает эти минусы, три, шесть, все, — и они оказались в городе Томске, в Сибири. Революция была раздавлена, всероссийский городовой покойствовал, — революционерам не приходилось даже зализывать ран. — Он, теперь муж и отец, навсегда был честным человеком и честно прошел все свои пути и перепутья, те, которые называются жизнью. — После университета, который называется село Усть-Колым, он окончил Томский университет. Минусы были отжиты, и в Петербургском университете он доцентствовал. Молодым профессором он профессорствовал в Саратове. — Так прошло первое десятилетие. Тогда была объявлена война, мировая. — У него была семья, начавшая уже отстаиваться в профессорских традициях, когда по воскресеньям пирог с капустой, для друзей, вторник — день жены, а суббота — вечер мужа — для всех, кто хочет забрести. Дети рождались дружно, и каждый к пяти годам знал русскую грамоту и лопотал по-английски: жена была недурной матерью и недурной профессорской женой. — И только глубоко в памяти было знание, что такой минуты, когда мир по колено, никогда не было у него с женою. — Психические субстанции людей возникают и отливаются в формы для времени — неизвестными путями: — Пушкин умер тридцати семи лет, уже в заполдни своей жизни, но человечеству навсегда он останется юношей и лицеистом, — Лев Толстой умер древним стариком, но человечеству он

остался мальчиком, старцем с мироприятием ребенка, — этот профессор навсегда был гимназистом-абитуриентом, осьмиклассником, которому тесна гимназическая тужурка и надо расстегивать ворот гимназических уставов, грозящих кондуитом, и у которого — мир впереди, ибо старый — гимназический — мир разлезается, как разлезлись штаны.

Февральская революция встретила профессора в университетской квартире, в тишине кабинета, где стены скрыты полками книг. — Октябрьская революция нашла профессора в Смольном институте, с маузером, деревянная ручка которого торчала из кармана летнего пальто. Половодья Октябрьской революции прошли для профессора так же, как для всех революционеров: фронтами, железнодорожными шпалами, верстами, которые вырастали в тысячи верст, тысячами верст, которые уменьшались в вершки. 1922 год застал профессора ректором одной из новых революционных высших школ. — Семья, как всегда, была работной, покойной, крепкой, — чуть-чуть холодной.

И тогда пришел 1925 год, двадцатилетняя годовщина половодных подполий. 1925 год в русской истории был половодным годом того развала, о котором сказано в лирическом отступлении этого рассказа. — Был будничный профессорский, ректорский день; утром в восемь часов ректор принимал студентов и заседал в предметной комиссии; в десять — до часу — ректор был в ректорском своем кабинете; с половины второго профессор читал лекции; в шесть коммунист, общественный деятель заседал в районном Совете; в десять профессор шел в университет экзаменовать студентов. — Был декабрь, светили на улицах фонари, мел около фонарей снежок. Профессор сошел с тротуара на улицу, пересек ее к бульварчику. Свет фонаря упал на лицо. И тогда окликнул его женский голос — давним студенческим именем:

— Сергей!

Профессор — Сергей — остановился. Он узнал сразу. Перед ним стояла — та, имени которой он не мог узнать, которая двадцать лет назад на одну единственную ночь поставила ночь так, что мир был по колено, и эта ночь никогда не забывалась. Профессор знал, конечно, что ему — сорок, что виски уже поседели, — про-

фессор, перегруженный работой, в строгом профессорском быте, в крепких хомутах времени и дел. Перед профессором стояла — не восемнадцатилетняя — тридцативосьмилетняя женщина, с глазами, радующимися встрече, но уставшими и поблекшими, — и прекрасными, и прекрасными для профессора.

...Давно надо было бы филологам и иным словоделам переработать, разработать слово «любовь». Любовь — есть рождение. Любовь есть — счастье. Любовь — — Двадцатилетие было скинуто со счетов времени — именно потому, что нельзя бросаться временем перед любовью и перед счастьем, ибо время уходит, и лучше поздно, чем никогда. И у него, и у нее были и семья и дети. Она приехала из городишка, где ее время было закопано уездным врачеванием и зимними снегами. Она просто рассказала, что та единственная ночь — единственной была ее радостью, на всю жизнь, сделавшая жизнь не очень нужной. Они были уже стары для весенней любви: ее восемнадцать, его двадцать лет — канули в Лету. И у него, и у нее — были свои быты, традиции, усталости, привычки.

То, что было двадцать лет тому назад, оказалось, было единственным, ибо мир опять стал по колено, если может быть мир по колено ректору и профессору. — Они нашли силы порвать все. Он оставил свой профессорский дом, таким, как он был, с детьми, с женой, с традициями и друзьями, с книгами. Он переехал сначала в гостиницу, а потом на студенческий чердак, где позволяли ему жить те небольшие рубли, которые оставались у него сверх жалованья, ибо жалованье он оставил семье. Она пришла к нему на студенческий его чердак, чтобы на керосинке поджаривать яичницу и одним-единственным для всего ножом резать колбасу, как в студенчестве.

Люди знают, что значит разорвать семью, которой двадцатилетие, где старшему ребенку семнадцать, а младшему — четыре, где быт уже зацементировался и где оставляемый — жена, муж — остается для умирания, для боли, для вдовства, ибо у него все позади, в величайшей несправедливости, — ибо легче убить человека, чем пройти через смерть. — И надо главы писать о той любви, которая была пронесена через двадцатилетие, которая нашла силы все порвать, стать половодьем,

чтобы строить наново, со студенчества, — которая забыла о морщинках времени у глаз, остановила время: надо писать главы о верности, побеждающей время.

Но это не конец рассказа.

Любовь есть рождение, ибо человек пришел, родившись, родить и умереть. Через год у них родился ребенок. — И он, и она — имели детей, родили детей, любили детей, растили детей; и — вот тогда, когда родился этот новый ребенок, — они вдруг узнали, что, в сущности, они не знали, — что такое — рождение детей. У него были дети от женщины, которую, оказывается, он не любил; у нее были дети от мужчины, которого, оказывается, она не любила. Этот ребенок родился от любящих, и из всех детей этот единственный, рожденный в большие человеческие заполдни, был подлинным счастьем рождения. Он, профессор, пришел к ней в больницу. Около нее в корзинке лежал ребенок. В глазах у нее было счастье. В глазах у него было счастье. И оба они знали, что мир прекрасен, смерть в этом мире побеждена, все в этом мире оправдано, и, поистине, все надо отдать за будущее, то, в котором будет жить этот единственный, рожденный в заполдни, но рожденный в любви, любимый каждым мускулом и каждой кровинкой отца и матери, как солнце в молодости, — сын, кусок их самих, их повторение, — новый человек! — ибо мир есть — верность.

Как приходит любовь, как проходит любовь?..

Ямское Поле.
12 декабря 1927 г.

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОТКОС

Глава первая

Десять лет человеческой жизни — громадный срок, и десять лет человеческой жизни — оглянуться назад на десятилетие — все это было вчера — Нижний Новгород, Откос, дом Рукавишникова, Печорский монастырь, Заволжье. — Всегда можно сказать о людях, что они просты, — и никогда нельзя говорить, что просты люди. —

Откос в городе Нижнем Новгороде существует к тому, чтобы очищать и печалить человеческие существа и чтобы выкидывать людей в неосознанное, в непонятное. Город Нижний Новгород расположен на горе, над Окою и Волгою, старый русский — бывший удельный, ныне губернский — город, обросоший кремлем, каменными домовинами, хорошими поколениями всех российских бытов, традиций, преданий, — и город всеми своими традициями и бытами обрывается под Откос, особенно с того места, где под Откос же обрывается кремль. Оттуда широчайшим простором видны Ока и Волга, заволжские поемы, заволжские луга, заволжские — Мельникова-Печорского — леса. Леса эти по сие число первобытны, глаз теряется в них. В городе Нижнем Новгороде идут месяцы, ярмарки, традиции, — там за Волгой, где теряется в сини лесов человеческий глаз, горят леса, идут грозы, живут звери, — там на Волге идут параходы и парусники, уходят в серебро волжских просторов, гудят пароходными гудами. Пространства печалят и очищают человека. У нижегородцев есть традиция - ходить на Откос, часами стоять на Откосе, смотреть в пространства, молчать, думать, печалить, — эти заволжские и волжские просторы и пространства выкидывают человеческие мысли в то нере-

альное, что так бередит всегда человечьи души — тоскою по пространствам, неизмеримостью просторов.

Город Нижний Новгород — удельный лесной город. Верховые волжские плесы зимами сковываются в больших морозах. На Ошарской площади тогда катаются на коньках, а за монастырской слободой в Девичей роще, около Печор, над Окой и над Волгой ловко бегают на лыжах. Дома в Нижнем Новгороде ставились широкопазые, теплые, просторные, ибо надо было быть в быте длинных вечеров, медленных чаев, книги в кабинете, рояля в гостиной сумерками.

Это была хорошая семья русских интеллигентов, такая, которые перевелись в десятилетье октябрьской революции. Их было трое: отец, мать и сын.

Отец был путейским инженером, и каждое утро половина десятого он садился в санки с медвежей полостью, здороваясь с кучером Иваном, который крякал на морозе в заиндевевшую бороду, — конь, выхоженный дома с детства, нес в Кунавино в управление дороги, черпал простор и серебряный снежок Оки, с тем, чтобы ждать потом инженера в управленской конюшне, — в управлении инженер читал газеты, просматривал чертежи, подгонял десятников, служил, — с тем, чтобы к четырем, заиндевев Окою и косыми лучами красного солнца, снимать форменную свою шинель на кенгуровом меху в теплой своей прихожей, кинув ее на руки горничной в наколке; в ванной комнате тогда была теплая вода; в столовой в то время стояла уже суповая миска, и крышка с миски, в клубах веселого пара, снималась в тот момент, когда инженер, только что вымывшийся, опрыснутый одеколоном, входил в столовую; он целовал руку жены, жена целовала его в лоб; сын целовал руку отца, склоняясь почтительно и шаркая, — отец целовал сына в лоб; после обеда был — вечерний — чай, длительные и приятные минуты семейного отдыха, покойствия, шуток, маленьких новостей, партии шахмат отца с сыном; затем был кабинет в полумраке министерского колпака на лампе и с очередными книгами «Русской мысли», «Вестника Европы» и «Вестника Министерства Путей Сообщения» — до девяти, до встречи с друзьями для винта или для споров о государственной думе и о победах около Перемышля. Ему было сорок, и он был покойным, аккуратным, чистоплотным инженером, семьяни-

ном и верноподанным своей страны. Его звали — Кирилл Павлович Клестов.

Ей, жене, шел тридцать шестой год. Ее звали — Натальей Дмитриевной. У нее был единственный сын, родившийся в первый год ее замужества: больше детей у нее не было потому, что после первых родов она оказалась неспособной к рождению. У нее было много досугов и навсегда у нее осталась та медленность слов и движений, которая бывает у голубоглазых русских осьнадцатилетних девушек и которая заставляет предполагать, что кровь у таких девушек — не красная, но голубая, как их глаза и как голубые венки на руках, на висках и у глаз. У нее была медленная, чистая и хорошая жизнь, отданная, главным образом, сыну. С первых гимназических лет сына, она вставала вместе с ним, раньше отца, — и всегда она тонкими своими пальцами делала завтрак сыну в гимназию, заворачивая его в пергамент, с неожиданным каким-нибудь сладким. Сын целовал ее руки, и кучер Иван, который потом повезет отца в управление, отвозил его в гимназию. Она оставалась дома, дни ее были длинны. Дом был покоен. Она провожала мужа и садилась за книгу: она перечитала и перерассказала сыну многое множество книг, прочитанных ею на русском, французском и английском языках. Вместе с сыном она начала учиться музыке и всегда шла на урок вперед его, потому что утрами, отрываясь от книги, она разучивала каноны и гаммы. Сын возвращался к трем, и час до четырех был сладостнейшим ее часом, — они были в комнате сына, она стояла у печки, сын — юноша, как девушка, — отцовски ходил по комнате, и они говорили — о преподавателях и уроках, о Блоке, Метерлинке, о «Критике чистого разума» Канта, о «Сорока годах искания рационального мировоззрения» Мечникова и о последнем спектакле в городском театре. В половине шестого мать и сын шли на каток, сын катался с товарищами, мать — со знакомыми дамами и со студентами знакомых дам. В половине восьмого сын садился за уроки, вместе со своим одноклассником-другом, — мать всегда знала уроки сына. К десяти часам сын ложился в постель, и в доме тогда начиналась жизнь взрослых, отца и матери, их гостей, их дел, их часов на диване в кабинете. — Каждый живущий знает материнскую

любовь, ибо у каждого живущего была мать. Человеку дано рождением детей сохранять себя перед вечностью. Должно быть, это верно, что каждая мать, отдавая себя сыну своему, любит в сыне самое себя, свое тело, свою кровь, свою жизнь, свое бессмертие. Если у женщины один ребенок и не может быть других детей, вся любовь отдана этому единственному, совершенно понятно, — этому единственному, который возник предвестиями мечтаний о нем, первым движением там под сердцем, болью рождения и стыдом рождения, — этому единственному, который возник из ее крови и пил молоко ее грудей, вся чудесность жизни которого прошла на ее руках. Наталья Дмитриевна знала, как многие нижегородцы, обрыв Откоса и знала, что та прекрасная печаль, которая щемит душу просторами семеновских лесов, непонятностью сладостной печали, когда сердце на ладони, вырванное из тисков кремлевских улиц, — есть любовь к сыну Дмитрию, ее единственному. Наталья Дмитриевна была медленна и прекрасна. Она всю свою нижегородскую жизнь думала, что она счастлива — домом, мужем, ребенком, своими днями и заботами, — и тогда она не задумывалась о печали Откоса, которым можно, как городу Нижнему Новгороду, срываться к людям.

Сыну Дмитрию шел семнадцатый год. Сын здорового, большого отца и медленной матери, у которой к тридцатипяти годам сохранились ямочки на щеках и голубые венки на висках, сын родился — здоровьем в мать и характером в отца, — так решено было в семье. Должно быть, таким, как Дмитрий, был юноша-Блок, любимый поэт Дмитрия. Дмитрий был покоен, подобран, деловит, не юношески рассудителен и медленен в своих поступках, как отец. Он был слаб здоровьем, хрупок и красив, как мать, и внешностью он походил на девушку больше, чем на юношу, с ямкой на подбородке, с девичим румянцем на щеках, с пальцами длинными, как у девушек. Люди по-разному складывают психический свой мир и по-разному определяют свое место: иные до старости чувствуют некую виноватость перед жизнью, иные никогда не чувствуют своего права на жизнь, — Дмитрий в ранних детских летах, бессознательно знал, где начинается и где кончается его право жизни, — он был прав жить просто потому, что он жи-

вет. Он был не детски уравновешен, но не был увальнем. Он был чуть-чуть замкнут. Товарищи в гимназии его любили, но знали мало, от приготовительного класса он дружил только с одним товарищем, Сергеем Березиным, на все гимназическое время его одноклассником. Как у матери, вся жизнь этого отрока и — затем — юноши была очень проста и прозрачна, в той детской мудрости, которая хранится чистотой. Он был чист в своих делах и помыслах. И отец, и мать, и товарищ Сергей знали всю его жизнь, все его мысли. В его покойности, жизнь не чинила ему событий. Товарищ больше матери, а мать больше отца знали, что пробуждение человеческих инстинктов, столь мучительные у юношей — инстинкта смерти, инстинкта права на жизнь, полового инстинкта, — у него прошли почти незаметно, совершенно безболезненно; самым страшным для матери был инстинкт половой, — мать склонна была думать, что этот инстинкт еще не пробудился в нем к семнадцатому году и чуть-чуть беспокоилась за сына — материнским своим половым инстинктом, — товарищ знал, что Дмитрий однажды — добровольно и охотно — пошел с одноклассниками в публичный дом на Миллионной, но просидел там весь вечер в гостиной, слушая рояль и поджидая товарищей, — а когда они уходили из публичного дома, когда товарищи чувствовали себя ворами, у себя же укравшими прекрасное, он весело сказал, поглядывая на светающие липы: — «Ерунда. Мерзость. Не интересно.» — Он танцевал на балах с гимназистками, но не списывал в тетради стихов и не писал стихов гимназисткам, ни одной за всю жизнь. Но стихи он писал, подражая Блоку, о блоковской России.

Город Нижний Новгород, который обрывается Откосом в человеческие неизученности, жил, доживал свой век в канонном быте, в традициях, в крепких кремлевских улицах, в крепких семьях. Дом Клестовых был покоен, медлителен, хотя, в старых, чуть-чуть нижегородских, интеллигентских традициях. Каждая новая книга толстого журнала должна была обсуждаться всей семьей. На Рождество надо было ездить в Москву пересмотреть постановки Художественною театра — и просматривать все новые постановки в своем городском театре, где отец и мать сидели в партере, в

третьем ряду, всегда на одних и тех же местах, а сын уходил на амфитеатр к товарищам. У отца был день большого шлема. У матери — час чая. По субботам у сына собирались товарищи и товарки, на кружок самообразования, где читались Бокль, Маркс и Бюхнер, по указаниям отца, и обсуждались жестоко — под руководством матери. В час между собакой и волком, после вечернего чая, когда отец уходил к себе в кабинет, мать и сын шли на каток. — Война 1914-го года чадила Полесьем, Нарочами, Карпатами, Львовом, местечком Сбручицы. Первая глава о Нижегородском Откосе — закончена.

Глава вторая

Гимназист Дмитрий Клестов носил прическу на прямой пробор, ногти на руках у него были хорошо подстрижены, из-за ворота его гимнастерки выглядывал крахмаленный воротничок и пояс тщательно всегда подбирал гимнастерку. У Дмитрия была привычка — рассматривать свои пальцы. Он был хрупок, и руки его были длинны, с розовыми ладонями, как у девушек, но по-мужски уже сухи. — Гимназист Сергей Березин приходил к своему другу Дмитрию со всяческими несуразностями.

То, поспешно вошед в комнату Дмитрия, он прятал нечто под кровать Дмитрия и семнадцатилетними басами на все комнаты требовал у горничной трехцветную веревочку от пирожного, бывшего за чаем третьего дня, и, получив веревочку, просил, смущенно покрякивая и потряхивая своими нигилистскими кудрями, уйти из комнаты Наталью Дмитриевну, а, когда она ушла, торжествующе тащил из-под кровати лошадиную ногу, копыто, кусок кости с недоеденным собаками мясом, все промороженное инеем, — раскладывал на столе Дмитрия, отодвинув фотографии Блока и матери, бумагу из кондитерской, и тщательнейше заворачивал ногу — к великому удивлению Дмитрия, — и объяснил тогда, что сегодня имянинник классик Сега и что намерен он, Сергей, эту ногу отнести Сеге в подарок с визитной карточкой директора, украденной в свое время из директорского кабинета, — (Дмитрий тогда отговорил

Сергея от затеи, грозящей исключением из гимназии, презрительно пожимал плечами и доказывал, что все это — совершенно не остроумно, нога тогда трагическую судьбу сыграла в истории нижегородских кинематографов, — Дмитрий вскользь сказал тогда, что будет в кино Леля Кнабэ, — Сергей не уступал в своих проектах, но решил зайти сначала в кинематограф повидаться с Лелей и потом отнести подарок классику Сеге; в кино же, в тепле, нога оттаяла и стала истекать сукровицей, Леля велела Сергею ее проводить, — Сергей оставил ногу на окне в фойе — на удивленье уборщику, — история ноги всплыла на гимназических партах и с тех пор каждый гимназист, от второклашки до семиклассника почитал за долг всякую стаскивать в кинематограф гадость) —

То неделями Сергей, увлекаясь Ницше, толковал об истинной человеческой свободе, которая связана у людей рудементарными инстинктами совести, и изыскивал способы уничтожить свою совесть, построив свою мораль только разумом; печалуясь существованием у себя совести, изыскивая способы ее уничтожить, Сергей пришел к выводу, что надо что-нибудь украсть, или ограбить, иль убить человека; но воровать было противновато, не эстетично, — и однажды Сергей пришел очень радостным, сообщил, что нашел он человека, которого можно ограбить, и приглашал Дмитрия на грабеж — (Дмитрий на грабеж тогда согласился, ибо так же читал Ницше, долго обдумывая и продумывая Ницше и предложение Сергея; Дмитрий взял у отца револьвер; несколько дней товарищи ходили в Марьину рощу обучаться стрельбе; затем темным вечером вышли они на грабеж; Дмитрий оказался водителем, он совершенно не волновался, так казалось; они прошли в Пушкинский сад, тогда только что посаженный и совершенно пустой; было темно и холодно; Сергей уверял, что в этот час каждый вечер здесь ходит мужчина в шубе и с руками назад, с тросточкой между лопаток; человек появился во мраке; Сергей обнажил кинжал; Дмитрий поставил браунинг на «feu»; Дмитрий должен был крикнуть — руки вверх! — к ним навстречу шел мужчина, прямой, как палка, с руками назад; Дмитрий пошел на него; тот вгляделся в Дмитрия и в тот момент, когда Дмитрий хотел крикнуть — руки вверх! —

покойнейше сказал: — «Здравствуй, Митюша, — что ты тут делаешь?» — Дмитрий ответил вежливо: — «Здравствуйте, Александр Павлинович!» — и приподнял фуражку; это был лесничий, приятель отца, от которого недавно бежала со студентом-практикантом жена; лесничий прошел мимо, гимназисты постояли в недоумении; знакомого человека грабить было неэстетично; Дмитрий выругал Сергея, Сергей почесал затылок, и они пошли домой, рассуждая, что существенен не факт, но осознание факта, тем паче, что многое бывает глупо, как факт; больше гимназисты не покушались на грабеж и убийство, — лесничий же Александр Павлинович недели через две после той ночи повесился) —

Говорить не приходится о том, что Сергей каждый день был влюблен в новую гимназистку, иногда даже в нескольких сразу, и поверял свои тайны Дмитрию и Наталье Дмитриевне, так же бурно, как бурно переживал прочитанные книги и несправедливости в гимназии. Дмитрий, когда в комнате не было матери, вставал к печке на место матери, грел руки и покойно, всегда как самое обыкновеннейшее, поверял Сергею все свои дела и мысли, большие и малые одинаково. В гимназии, на уроках, Сергей долговязо поднимался из-за парты и говорил физику Надежину: «— Евгений Иванович, вы вывели мне в четверти тройку по физике. Прошу мне поставить пару, ибо сам сознаю, что знаю только на двойку!» — и за Сергеем скромно поднимался Дмитрий с просьбой переделать его четверку на тройку. Физик Надежин переделывал отметки, — но классный наставник классик Сега всегда возмущался: «— как? сто?! — сам знаю, сколько ставить, хотю цетверку поставлю, хотю — кол!» —

Проходила зима, приходила весна. Зима шла канонами, морозами, метелями, скрипами морозов и снегов, всеми российскими обычаями, сочельником, святками, новым годом, великим постом, дымами из труб в небо, дымами из труб в метель. Нижний Новгород покойствовал своею степенностью, в днях, закатах, сумерках и вечерах.

В закатный час однажды, уже в феврале, задержавшись на репетиции перед масленичным балом-спектаклем в гимназии, вернувшись домой, вошли неожиданно и — случайно — тихо в гостиную Сергей и Дмитрий. Дмитрий вздрогнул и ухватил руку Сергея,

останавливая его. У окна стояла Наталья Дмитриевна. В комнате были густые сумерки, за окном была густая синь, золотело только случайное облако в небе. Натальи Дмитриевны, ее лица, ее выражения — не было видно, — виден был один силуэт. Она смотрела в окно, голова ее была опущена, руки ее были опущены, плечи ее поникли, в комнате была зимняя тишина. Всякий третий, если бы он был тогда в комнате, сказал бы, что у окна стоят женщина в очень большой печали, в горе, должно быть, — быть может, в таком горе, которого она сама не знает. Сергей тогда ничего не понял. Дмитрий же — он до боли сжал плечо Сергея, повернулся, потащил за собой Сергея вон из комнаты и там, в прихожей, около шуб вешалки, сел бессильно на сундук, покрытый ковром, опустил голову и руки, как мать.

— Что с тобой? — спросил подозрительно Сергей.

— Ничего, — ответил Дмитрий и крикнул: — Мама, мы пришли!

Есть и в мужской, и в женской — вообще в человеческих — судьбах такие дела, которые должен пережить, продумать и решить каждый живущий человек — только для себя, ибо только его одного, этого каждого, касаются эти дела, по-своему решить свою любовь, свою честь, свое время, свою старость — и молодость свою: этими делами человек определяет свое место в мире, не только пред лицом людей, но и пред безразличием того страшного, иль только безразличного лица, имя которому — смерть, имена которым — рождение, время, любовь, смерть. И тогда, в решениях этих дел, перед лицом решения их, в совершеннейшее безразличие падают для человека — его сегодня, завтра, его комната, вещи, быт, даже весь город Нижний Новгород, обрывающийся Откосом, — но Откос тогда становится реальностью. — В феврале Дмитрий отказался от роли в гимназическом масленичном бале-спектакле, не объяснив причин — ни начальству, ни матери, ни Сергею. Отец тогда, у себя в кабинете, сказал сыну, что директор, вчера за винтом, недоумевал, — отец сказал недовольно, сын опустил голову и рассматривал свои ногти, молчал. Отец молвил:

— Ступай. Глупо! —

и сын молча вышел. Дмитрий отказался от кружка самообразования, просил не приходить к нему товари-

щей и товарок, и сам перестал ходить к ним. Отец приходил к сыну, поправлял пенсне и спрашивал сурово:

— Что же, ты хочешь, что ли, остаться недоучкой?— разве ты не понимаешь, что коллективная работа с товарищами вырабатывает общественные навыки? — Шопенгауэра начитался? —

сын молчал. Отец рассердился тогда и вышел от сына, хлопнув дверью. — Ночью тогда, в час отца и матери, когда сын уже спал, отец говорил матери:

— Прости, Наташа, за вульгарность. Выслушай меня внимательно и не истолкуй криво. Жизнь — есть жизнь, и в жизни много отвратительного. Точно так же со мною поступил мой отец, когда мне было шестнадцать лет. Я объясняю поведение сына, — как бы сказать, — биологически... Не дай Бог, если он будет заниматься онанизмом... Надо отказать Даше и нанять новую горничную... я переговорю...

Но Наталья Дмитриевна не дала договорить мужу. Не гневом, но — колоссальнейшей болью, оскорбленностью, брезгливостью — заговорила она — протянув в умолении вперед руки и запросив пощады:

— Что ты, что ты говоришь, Кирилл!? — как тебе не стыдно? — как тебе не страшно! — как можешь ты так оскорблять меня — —

— Я говорю, как естественник, — сказал Кирилл Павлович.

— Как можешь ты так оскорблять меня, — прошептала Наталья Дмитриевна. Плечи и голова ее поникли. Она замолчала. Муж хрустнул портсигаром. Министерская лампа горела полночью, тишиной, двадцатиградусным морозом, ставшем на улицах. Жена вышла из кабинета во мрак гостиной, пошла к окну, заиндевевшему растениями доледниковой эпохи.

В февральские морозы солнце греет уже мартом. У нижегородцев есть правило в солнечные дни в феврале ходить на Откос, в полдень, когда семеновские леса видны на громадные десятки верст, и снег, и свет так остры, что ими можно порезать глаза. На Откосе трудно дышать от холода, мороз идет инеем, иней садится на ресницы, а обоз, который виден за тридцать верст на волжских льдах, уносит тогда с собою в неизвестность человеческую волю. И на Откосе, в полдень, отчаянным февральским морозом, Дмитрий, внимательно рассмат-

ривая заволжье, те снежные просторы, о которые можно порезать глаза, сказал Сергею:

— Знаешь, Сережа, я наверное скоро застрелюсь, — сказал Дмитрий. Это было в пустой урок после большой перемены. Больше ни слова не говорил Дмитрий. Гимназисты пошли в классы. Сергей пропустил пятый урок и, пока Дмитрий рисовал голову Зевса, был у Натальи Дмитриевны. Он пришел расстроенным, он затворил за собою двери, — в комнату шли мороз и свет через хвощи доледниковых эпох, в комнате был белый, очень резкий свет, — Сергей сказал без вступлений:

— Знаете, Наталья Дмитриевна, я гулял с Митей до Откосу, — и он мне сказал:— «знаешь, Сережа, я наверное скоро застрелюсь». — Я стал его спрашивать...

На плечах у Натальи Дмитриевны был тяжелый плед, плед придавил ее плечи. Мороз в окнах был холоден и пуст. Все морщинки у глаз и на висках Натальи Дмитриевны были очень видны. Морщинки у глаз — опустели, как опустели глаза, — плед стал невесомым.

— Сережа, Сережа, узнайте, Сережа, что с ним, узнайте сейчас же, узнайте во что бы то ни стало, — слышите, узнайте!..

Сергей ушел, чтобы не оставлять Дмитрия и чтобы прийти вечером. Через час пришел Дмитрий, покойный, чуть-чуть деловитый и медленный, как всегда. Мать видела его в окно, как он попрощался с Сергеем, пожал его руку и взял под козырек, поклонившись. Мать встретила сына в прихожей.

— Здравствуй, мама, — сказал сын, и он медленно раздевался.

Он пошел к себе в комнату. Мать пошла за ним. Мать прикрыла за собою комнату. Плед упал с плечей матери. Она протянула руки к сыну, она положила руки на плечи сына, она опустила голову на грудь сына. Она была бессильна и решительна. Сын судорожно обнял мать. Сын судорожно стал искать своими губами губы матери. Сын зашептал:

— Мама, мама, милая, милая... —

и судорожно оттолкнул сын свою мать, в смертной тоске закинул руки за шею, сжал свою шею своими руками, побитой собакой пошел к кровати, упал лицом на кровать, сказал негромко и твердо:

— Уйди, мама, — мама, уходи, уходи от меня, прошу тебя, мама.

Мать не ушла. Мать собою — как каждая мать — прикрыла голову сына, защищая от чего угодно, грудью своею прикрыла голову сына, говорила словами, у которых отступленья нет, — «что ты хочешь, Митя, сын мой, родной мой, что ты хочешь? — я все сделаю для тебя, — ну, скажи, ну скажи мне, родной мой, сын мой, — ну скажи мне только одно слово, что с тобою, и я все сделаю, что ты хочешь» — — Сын молчал. Сын поправил, освободил свою голову, — поцеловал платье на груди матери. Сын сказал:

— Только никогда, ни о чем не говори отцу. Клянись.

— Клянусь, — сказала мать.

— Мама, я ничего не могу рассказать тебе. Я не могу, пойми меня. Уйди от меня сейчас. Скоро приедет папа. Я ничего не сделаю против твоей воли, я обещаю тебе. Уйди от меня, мама.

Мать вышла из комнаты сына. Мать долго стояла на пороге комнаты сына. Пледа не было на плечах у матери. Звонок мужа нарушил тишину сумерек, муж вошел в столовую, потирая руки от мороза. Сын поцеловал руку отца, отец поцеловал руку матери.

Ни сын, ни мать не пошли в тот день на каток. Сын сел за уроки. Мать сказала, что едет к портнихе, — мать поехала к Сергею, и мать, и Сергей бродили по Откосу, чтобы никому не мешать. Мать просила, как взрослого и как заговорщика, выпытать все у Дмитрия, мать крепко жала руки Сергею, в умолении. Откос проваливался во мрак и в холод. Мать в тот вечер с отцом уезжала в гости, чтобы оставить Дмитрия и Сергея наедине.

И был тогда трудный вечер двух гимназистов. Дмитрий стоял у печи. Сергей метался по комнате, штурмуя Дмитрия. На столе у гимназистов горела свеча, тень Сергея бегала по стенам и по потолку. В доме в те часы, нижегородствуя, засела солидная тишина, в тепле и в редких потрескиваниях мороза за окнами.

И Дмитрий признался Сергею, в отчаянной скорби.

— Да, я хочу застрелиться, потому что со мною случилась страшная вещь, которую определить я не могу и с которой я бессилен справиться. Я люблю свою мать.

Нет, подожди. Ты вот любишь Лелю, — и ты же живешь со своей горничной, и ты ходил в публичный дом. Я никогда не любил никаких Лель, я никогда не сходился с женщинами и никогда не сойдусь, потому-что мне это омерзительно и совершенно не нужно. И вот, так, как ты любишь Лелю и свою горничную, и девку из публичного дома, — так я люблю свою мать, я люблю ее больше жизни, больше всего на свете и гораздо больше самого себя. Мне стыдно, мне позорно. Я молюсь на свою мать, как на бога, все прекраснейшее в мире — она, все чистое и священное. Но ночами я стою у двери в спальню отца и матери, и я подслушиваю все звуки, идущие оттуда, — и я готов убить отца от ревности. И дважды, точно случайно, я входил в ванну, когда мылась мама; я больше этого не делаю, потому-что боюсь, что у меня разорвется сердце от ее красоты.

Дмитрий стоял неподвижно у печи, когда говорил это. Он смотрел вверх остановившимися глазами, по щекам его текли и падали на грудь, на гимнастерку крупные, медленные слезы. Сергей бегал по комнате и тоже плакал, утирая кулаком глаза, но не стыдясь слез. Гимназисты подолгу молчали, плача. Сергей обнимал иной раз Дмитрия и мазал свой лоб его слезами, — иной раз пил из графина воду и говорил в растерянности:

— Постой, подожди, давай обсудим здраво. Ну, ты — — и не находил слов, бегал по комнате, гоняя свою тень.

— Мне надо застрелиться, — говорил Дмитрий, — потому-что ничего иного я не могу придумать. Я не могу посягнуть на мать, я не могу убить отца, которого она любит и который мне — отец. Я думал, — я ничего не понимаю. Всю жизнь самым близким человеком мне была мама, и сейчас я ничего не могу сказать ей, ибо я не смею оскорбить ее.

Сергей пил воду и бегал, останавливался против Дмитрия и говорил:

— Постой, подожди, давай обсудим здраво... Ну, ты дай мне слово, что не будешь стреляться в течение недели, —дай неделю на рассуждение. Надо обсудить.

Сергей ушел от Дмитрия через кухню в тот момент, в заполночный час, когда на парадном привычным звонком разбудил тишину дома Кирилл Павлович. Сергей вышел в луну и в мороз, смятенный делами дру-

га. Он пошел на Откос, Откосом проверить себя и дела Дмитрия. Луна светила заволжскими просторами, мороз разбросал алмазы по снегу и мороз шелестел шагами Сергея. Тень Сергея сиротливым волчонком металась за Сергеем, — таким же сиротливым и растерянным, как мысли Сергея, сердце его и понятия о дружбе и долге, смятенные словами Дмитрия. Сергей долго мотался в ту ночь по Откосу, — и Сергей решил предать друга.

Наутро Сергей караулил из-за угла, как проехал в гимназию Дмитрий, как вернулся Иван за Кириллом Павловичем, как поехал Кирилл Павлович в управление. Тогда Сергей позвонил на парадном и прошел к Наталии Дмитриевне. Сергей чувствовал себя бесчестным человеком, потому что можно предать друга на тройке в четверти, но не пред лицом друговой смерти, — можно говорить дерзости старшим, но не вмешиваться в любовные их дела и не рассказывать о том, как их подкарауливают в ванных.

Сергей сказал Наталье Дмитриевне следующее, стоя и опустив глаза, поздоровавшись поклоном, не снимая пальто, с каскеткой в руках.

— Я узнал, что происходит с Митей. Я предаю друга, мне теперь нельзя с ним встречаться, ибо я дал честное слово, что все будет в тайне, а это касается именно вас. Но я решил снять с себя ответственность за его смерть. Он любит вас, Наталья Дмитриевна, как мужчина женщину, он видел вас в ванной, он ревнует вас к Кириллу Павловичу. Он знает, что вы не можете стать его женой и решил застрелиться. — Прощайте! — Сергей шаркнул ногой, поклонился и выбежал из гостиной, со слезами на глазах, шмыгая носом.

Наталья Дмитриевна осталась посреди комнаты — шахматной королевой на паркете пола. Плечи ее не были опущены. Голова ее — не была опущена. Она не видела, не заметила, как убежал Сергей. Она сказала в пустоту:

— Да-да. Никогда не говорите, никому не говорите об этом, Сережа, никогда, никому. Да-да.

Наталья Дмитриевна улыбнулась, как улыбаются во сне, брови ее тогда сошлись в строгости и решимости. Она оглянула комнату просыпающимся взором. Комната была пуста и безмолвна в тепле, противоставшем уличному морозу. Наталья Дмитриевна, все еще

во сне, шагнула к круглому столу и взяла обеими руками спинку кресла, оперлась о него, поднялась на цыпочках, откинула назад голову, выгнула спину, прошептала еще раз:

— Никогда, никому. Да-да. Сын мой, родной мой.

Сергей в те минуты бежал по Ошарской, в морозе и смятении. Он предал дружбу, так считал он, и он был участником некой ужаснейшей мерзости, так ощущал он. И правда, больше ни разу не был Сергей в доме на Ошарской, ни разу не заговорил с Дмитрием, как и Дмитрий замолчал с тех пор для Сергея. Дмитрий не застрелился, в доме на Ошарской творилась тайна, о которой не могли говорить ни Дмитрий, ни Сергей, которому эта тайна казалась мерзостью.

Глава третья — Эпилог.

Двадцать седьмого февраля в тот год закачалась, чтобы пасть в три дня, Российская империя. — Десять лет человеческой жизни — громадный срок, и десять лет человеческой жизни — оглянуться назад на десятилетие — все это было вчера — Нижний Новгород, Откос, дом на Ошарской, Печорский монастырь. Заволжье. —

В письмах Натальи Дмитриевны остался листок, без начала и конца. — «Над Россией, над Нижним, над моим домом — тишина метели. Сегодня пришло письмо: Кирилл умер в Константинополе. Дмитрий по-прежнему на красных фронтах. Кирилл — знал ли он, что я ушла от него — с сыном, с моим и его сыном? Та тишина, которая в доме, — она к тому, чтобы мне думать о моей жизни. Милый, старый мой друг! — всю жизнь мне казалось, что я счастлива жизнью! — но настоящее, громадное счастье, необъяснимое счастье было у меня только однажды, оно пришло ко мне, когда я должна была спасать сына. Я не боюсь слов — я стала любовницей сына, и мне выпало такое счастье, которое редко выпадает людям, потому-что вечность, все, что дает человеческая любовь и человеческая жизнь, все замкнулось в моем сыне, ставшем моим любовником. Это нестерпимое счастье. Кирилл умер в Константинополе. Сын дрался против отца. Я сегодня узнала о смерти мужа. Я хожу около окон, заиндевевших морозом, я жду любовника, сына, повелителя»...» — —

Агроном Сергей Александрович Березин был проездом в Нижнем Новгороде. Он зашел в дом гимназического своего друга Дмитрия Клестова. Был май, когда полошится и полошит людей просторами и гулами Волга. Ошарская была пустынна, в палисадах цвела сирень. Окна в доме не были выставлены. Дверь долго не отпирали. Дверь отперла старуха с пледом на плечах. Это была Наталья Дмитриевна. Наталья Дмитриевна сразу узнала Сергея.

— Это вы, Сережа, — сказала Наталья Дмитриевна. — Революция уже кончена? — Вы знаете, Дмитрий не вернулся с фронта, я думаю, он погиб.

Окна в гостиной не были выставлены. Наталья Дмитриевна прошла к окну и стала спиною к Сергею Александровичу. После золотого дня в комнате было темно и на фоне окна виден был только силуэт Натальи Дмитриевны. Она смотрела в окно, голова ее была опущена, руки ее были опущены, плечи ее поникли. В комнате была зимняя тишина и пахло затхлью. И теперь — не третий уже, как некогда, а Сергей Александрович знал, что у окна стоит женщина в очень большой печали, в горе, — в таком горе, которое она осознала навсегда.

— Вы единственный знаете, Сережа, что Дмитрий был моим мужем, — очень тихо сказала Наталья Дмитриевна.

...В тот день и в те сумерки — очень долго бродил по Откосу гимназист Сергей Березин. Откос в городе Нижнем Новгороде существует к тому, чтобы очищать и печалить человеческие существа и чтобы выкидывать людей в неосознанное, в непонятное. Город Нижний Новгород расположен на горе, над Окой и над Волгою, старый русский — бывший удельный, ныне губернский — город, обросший кремлем, камнем, традициями, преданиями, — и всеми своими камнями и преданиями обрывается город под Откос. Оттуда широчайшим простором видны леса и поемы. Леса эти по сие число первобытны.

Ямское поле.
22 дек. 1927 г.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

I

Жизнь познается так же, как философские дисциплины, всеми годами жизни: молодые философы должны знать все философские системы, чтобы остаться впоследствии верными одной из них.

Обе эти девушки не знали, что такое жизнь.

Этот город, по названию Оса, лежал в ста верстах от железной дороги, на берегу реки, льющей свои воды из северных российских лесов. Город был дробью, где делителем — гоголевский почтмейстер, а делимыми — медврач, военком, фининспектор, снега, радиопередача в клубе совторгслужащих, — делимые, делители, множимые и множители могли перемещаться, но места применения логарифмических таблиц — не имелось.

В городе была тысяча человек жителей. Тысячи верст к северу от Осы и сто верст до Перми заставили почтовую городскую контору иметь при себе почтовую станцию, почтовых лошадей, как при Пушкине, — а стало быть, могли возникать в городе и истории станционного смотрителя повестей Белкина. Эти девушки не были дочерьми станционных смотрителей. Они кончали педфак. Последние два года, наряду с работой в комсомоле, они увлекались толстовскою теорией непротивления злу. Человеческие весны, как реки, должны разливаться половодьями. Белесые туманы пермских летних ночей должны коверкать человечье половодное бытие, как пушкинские рукописи. Клуб совторгслужащих его радиокричателем и книгами из библиотеки определял жестокое бытие, утверждая, что за тысячами верст, где есть железные дороги, большие города, большие мысли и радости, есть то, что занывает и называется жизнью. Направо за городом лес, налево

за городом лес, за лугами под городом таежная река: в керосиновых лампах клубных вечеров, уральских декабрей, пермских безнебных ночей радиокричатель пел Москвою, Большим театром, большими дорогами, — и во мраке за клубом совторгслужащих возникала тогда жестокая пустота ненужности, безвременности, ничтожности. Телеграфист Сергей Чемардин превращался в Дон-Кихота и в станционного смотрителя и шел рядом до калитки дома, бессильный связать две мысли. Уйти — идти без оглядки, бежать — возможности не было, некуда было уйти, ибо версты ямских лошадей упирались в заборы поверстных рублевок, а дороги таег проваливались в топи, в болота, в комариные царства, в сплетни из-за дощатых заборов, более жестокие, чем комары.

Роль пушкинского гусара взяли на себя люди с аэроплана.

II

В этот город нежданно-негаданно прилетел самолет.

И был такой день, когда в закате над лесами, над городом зарокотал самолет рокотом гордой бодрости и торжественности. Самолет полетел на город, трижды восьмерками пролетел над городом, все ниже и ниже, затем, став на крыло, погасив свой рявк, пошел к реке, блеснул в закате серебром своих крыльев и сел на воду, в плеске воды и в новом рокоте. К реке тогда побежал весь город, на рысях гремел оркестр клуба совторгслужащих. С самолета сошли двое, в шлемах, в кожаных куртках. Под звук оркестра они закурили и принялись за свои будни: один из них разулся, натянул резиновые штаны и полез в воду, чтобы пододвинуть самолет к берегу, другой вытаскивал из кабины вещи, вынес связку винных ягод, наткнутых на соломинку, развернул брезент. Слова председателя исполкома были смяты очень большой усталостью этих двоих, сошедших с аэроплана. Первый из пилотов вылез из воды, товарищ стянул с него резину штанов, оба растягивали брезент, чтобы покрыть самолет.

— Нам нужен милиционер для охраны, — сказал первый пилот.

Милиционеры сбежались к реке все до единого, и все готовы были караулить, вплоть до начальника милиции. Пилоты взяли свои сумки, подсумки, карабины, походную пишущую машинку и молча пошли к гостинице, оставив толпу у самолета. По лугам от города шла дамба, чтобы можно было пробираться к реке весенними разливами. На берегу реки были лесопильные заводы и помещался в двухэтажном доме единственный в городе трактир с номерами, где полагалось ожидать пароходов, ибо пароходы иной раз запаздывали на много суток. Пилоты пошли в этот трактир. Толпа на берегу добрый час рассматривала брезент самолета, пока не стемнело.

На трактирной террасе пилоты съели по три тарелки щей и половину буфетного заливного поросенка. Затем они вынули из своих чемоданчиков книги, газеты, бумагу, и первый защелкал на машинке. Часть тех, кто прибегал посмотреть самолет, переселилась в трактир, люди заказывали вторые дюжины пива, чтобы горько выпить под самолет, воспринимая пиво горем, на дне которого спрятано счастье непонятного, пространств, стихий, владетели которых вот тут, рядом, — и они смотрели в сторону пилотов такими глазами, точно пилоты были пустым местом.

И тогда к пилотам подошел половой, харкнул, стрельнул глазом, сказал:

— Там вас две барышни дожидаются, спрашивают, велят выйти.

Две девушки, две педфачки, Катя и Маня, как тысячи русских девушек, в темноте ночи ждали. — Громкоговоритель, радио, романы Тургенева, теории комсомольской морали, толстовская теория непротивления злу, — ведь есть же, ведь есть же настоящая свободная человеческая справедливость, выброшенная за глупость и варварство будней. Люди с воздуха, люди из стихий: прийти и сказать — о том, что в этой жизни заборов города Осы и педфака скучно, ненужно, одиноко, — спросить о необыкновенном небе, — попросить, попросить во имя той справедливости и правды, которые над обыкновенными правдами и справедливостями, попросить, чтобы их подняли в воздух, в чудесность, — быть около этих необыкновенных людей, пришедших из необыкновенности. — Девушки превозмогали стыд, потому что они впервые около трактира ждали людей из трактира. Девушки

спутали решимостью реальность, потому что они спутали свои мысли и сердца, спутав свои руки в страхе, две подружки, увлекавшиеся всем, что подсовывали им книги и жизнь. Двадцать девических лет — чудесные годы румянца на щеках, кос за плечами, голубых и карих глаз, умеющих падать долу, девичьих рук, на которых еще не высохли чернильные — чистейшие у людей! — грязные пятна.

Половой сказал в темноту:

— Сейчас ужинают и заняты. Выйдут погодя.

Маня сказала мужественно: — «Передайте, что мы будем ждать около аэроплана!» — и обе девушки спрятали свои головы в правду над правдами и в жаркий стыд.

III

Через час, когда июль совершенно закутал землю, пилот-второй выходил посмотреть самолет. Над лесом поднималась луна. Роса села на траву. Река темнела холодом. Девушки подошли к пилоту, пилот увидел те двадцать лет, которые принадлежали каждой из них, голубые и карие глаза долу, чудесное их волненье. Они заговорили вместе:

— Извините нас, вы очень заняты, но нам интересно познакомиться с вами, обо всем спросить, попросить вас показать аэроплан и все объяснить. Это можно или нельзя, чтобы вы нас подняли в воздух? Правда, вы летали в Париж? Мы вас очень просим, извините нас за беспокойство.

И пилот сказал:

— Покатать можно, отчего же. Подождите здесь, я посоветуюсь с товарищем. Мы сейчас выйдем.

Пилот-первый посыпал матрацы далматским порошком, расстегнув на себе все свои ремни и пуговицы. Пилот-второй сказал:

— Одевайся, Иван, пойдем. Это совершенно не рядовые искательницы приключений. Это две молодые девушки и очень хорошенькие, каждой по осьнадцать лет. Идем, Иван, я тебе очень советую.

Пилоты вышли под луну. Милиционер раскладывал около самолета костер. Девушки жались друг к другу, спутав свои руки. Пилоты подошли к девушкам устало. Второй сказал:

— Познакомьтесь, мой друг Иван.

Девушки серьезнейше протянули горячие свои руки Ивану.

Сказал Иван:

— Познакомьтесь, мой друг Евгений.

Девушки протянули свои руки Евгению. Евгений не выпустил руки Кати из своей руки. Карие Катины глаза глянули умоляюще. Они пошли к самолету. Иван скинул брезент с самолета. Евгений помог девушкам взойти на крыло, чтобы пройти в кабину. Луна отразилась меж крылий. Иван подошел к милиционеру прикурить от костра.

— Кто эти такие? — спросил он милиционера.

— Одна дочка доктора, а другая фининспекторова.

Девушки сидели в кабине, наслаждаясь мягкостью свиной кожи диванчика кабины. Девушки спустились на землю. Евгений принимал их на руки с крыла.

Маня сказала милиционеру в счастьи:

— Завтра мы будем на небе!

Милиционер крякнул.

За рекой до города и на десятки верст направо и налево по берегу реки легли луга. Луна ушла в небо, позеленела. Эти четверо пошли в луга, по дороге к городу. И тогда на лугу началась — не очень сложная, в сущности, игра двух мужчин с двумя девушками, двух мужчин, многажды возникавших с неба, многоопытных любовников, имевших на эту ночь несложную цель физически обладать этими девушками. Девушки не знали, что такое жизнь, ничего, кроме Осы, ибо эти люди с неба казались им необыкновенными людьми. Пилоты навыком знали несложную тактику действий. Надо было разъединить девушек, чтобы остаться двумя парами. Тогда надо было взять девушек об-руки, надо было говорить о небе, о полетах, о необыкновенности полетов и неба, о том, что завтра девушки это испытают, — и испытанными руками надо было — случайно— так касаться девушек, чтобы они физически возбуждались, девушки, самою природою предуготовленные быть бессильными перед инстинктами и обессиленные сейчас необыкновенностью. В темноте двадцати шагов ночи каждый из пилотов, в негромком своем воркованни, слышал, как возбуждающее лекарство, смешки девушки, идущей с его товарищем, неровные смешки, те, которые приводят девушек к страсти. Тогда каждый из

пилотов на шаг уходил в сторону от другого пилота, чтобы одна девушка не могла попросить помощи у другой в ту минуту, когда в безволие девушки придет ужас. Луна светила над лугами. Над землею стала тишина росы.

И тогда Иван тихо свистнул условленным посвистом. Евгений насторожился, глянул кругом и пошел к Ивану. Иван со своею девушкой шел к Евгению. Они подошли друг к другу, оба с руками на девичьих талиях. Девушки прямо посмотрели в глаза друг другу и опустили глаза: девушки были честны друг перед другом, — об этом они не говорили между собою, но *это* приходило наваждением, они были бессильны освободиться от рук пилотов, пилоты прикрывали знобкие их плечи своими тужурками, и девушки опустили глаза друг перед другом.

— Одну минуту, — сказал Иван и отошел в сторону с Евгением. — Я видел на дамбе человека, он спустился за дамбу, в нашу сторону. Заметь. За нами следят. Будь осторожен. — И Иван, и Евгений были пилотами русской гражданской войны, военными летчиками, люди с птичьими глазами. Иван говорил тоном солдата, заметившего врага. — Пойди, проверь. Я попасу твою девушку, не надо их спугивать. Револьвер с собою?

Евгений весело свистнул, вынул револьвер, прошел два шага в сторону и провалился во мраке военным разведчиком.

Птичьим глазом окинул Иван окрестность и подошел к девушкам.

— Евгений сейчас придет, — сказал он. — Мне показалось, где-то выстрелили. Он с дамбы осмотрит самолет. Видите, он прокрался под дамбой. Сейчас вы увидите его силуэт на небе, над дамбой. Вон он, видите?

Девушки ничего не видели. Иван видел птичьим своим глазом Евгения на дамбе, ему показалось, что он видит и второго, побежавшего под дамбой от Евгения. Светила луна, от дамбы шла черная тень. Вернулся Евгений, сказал, — все в порядке, проходил мимо пьяный из трактира, храпит в канаве.

— Пойдемте в луга, — сказал Иван.

И опять началась несложная игра двух пилотов, шаг за шагом в разные стороны, горячие слова, неловкие касания, когда можно взять в руки девичью голову, закинуть ее в небо и, дыша в щеку и плечо девушке, гово-

рить о том, что путь самолета — путь к звездам. И опять стали неровно смеяться девушки, бессильные пересилить в себе смешки, идущие от холода той мути, которая поднималась под сердцем. Опять усердно кутали пилоты девушек в свои тужурки.

И опять насторожился Иван, обозлился, окликнул Евгения, отвел в сторону. — «Я видел, в трехстах шагах вон там перебежал тот же сукин сын, который тебе прикинулся пьяным. Он залег вон около тех кочек!» — Иван и Евгений по-солдатски присели к земле, чтобы видеть вдаль. Девушки задрожали в ознобе, тесно обнявшись. Темная точка вдали поднялась человеком, двинулась, перебежала, легла на землю. Луна зашла за облако.

— Не упусти девушек, я его выучу, — сказал Иван и провалился в землю, побежал от кочки до кочки, пристилаясь к земле. Впереди был человек. Кочка встала на человеческие ноги и пошла навстречу. Иван залег в траву. Чужой человек караулил пилотов. Иван был более опытным разведчиком. Он перехитрил чужого. И когда чужой был в десяти шагах, Иван поднялся с земли и гаркнул:

— Стой! Кто там?

Человек упал на землю. Иван опустил предохранитель револьвера и опустил руку с револьвером в карман френча.

Светила тишиною луна. На земле лицом вниз, раскинув руки, лежал человек в чиновничьей фуражке.

— В чем дело?! — гаркнул Иван. — Коего черта вы за нами следите?! — Встать!

Человек на земле не двигался, Иван ткнул его мыском сапога в плечо.

— Встать! — вновь крикнул Иван. — Подчиняться приказаниям!

Человек не двигался.

— Вы больны или пьяны! — сказал насмешливо Иван. — Если вы больны, я отправлю вас в больницу. Если вы пьяны, я отдам вас милиции. Встать!

Человек не двигался. Иван свистнул. Поспешно прибежал Евгений. За Евгением подошли девушки, в ознобе ночи и страха. И тогда человек на земле зарыдал, громко, навкричь. Его руки подобрались под его туловище, лицо ползало по земле, плечи судорожно втягивали голову.

Он закричал истерически, в плаче:

— Делайте, что хотите! Убивайте меня, отвозите в больницу, отправьте в милицию! Вы прилетели, вы завтра улетите и никогда больше не вспомните о нашем городе, какое вам дело до какого-то телеграфиста, который вот уже пять лет любит ее. Вы прилетели из неба, она побежала на вас, как бабочка на огонь, утром вы будете вспоминать историю, как отдалась вам глупая девушка, полюбила на одну ночь за то, что вы наврали ей, будто вы поднимете ее в небо! Убивайте, вы все равно убили, воры! Что вам до телеграфиста, который отослал сегодня ваши телеграммы вашим женам, который пять лет каждую минуту молится на нее, вот этой девушке, которая... Вы, вы завтра улетите, а я на всю жизнь останусь здесь и буду утешать вот ее, оплеванную вами, и буду посылать их письма к вам, в вымышленные ваши адреса, и буду охранять от тех помоев, которые будут литься на них из-за всех калиток... Знаете ли вы, что эти девушки молятся на вас, воры, как вот я молюсь на нее? Вы знаете, воры, что вы украли всю мою жизнь?.. Убивайте меня, сдавайте в милицию! Насилуйте девушек!..

Человек с земли сел на корточки, боясь подняться под удары. Луна размазалась в слезах по его лицу. Он был совершенно трезв, он был пьянее сумасшедшего.

Маня сказала Кате, как тысячи русских Мань, когда в действительность возвращается город Оса, все калитки и заборы, вырастающие в закон помоев:

— Катя, это — Сережка Чемардин!

— Да, Катя, это я, который вас любит, а которого вы не любите, потому что он — телеграфный чиновник, беден, скучен, некрасив, неграмотен. Бейте меня, убивайте, я люблю вас!..

— Молчать, сукин сын! — колоколенным шепотом прохрипел Иван.

— Слушайте, подождите, в чем дело? — заговорил Евгений. — Как вы смеете клеветать на нас и на этих педфаковок? Как вы смеете думать, что красные пилоты — насильники! Я предам вас суду за клеветничество! Как можете вы так говорить о девушке, да еще любимой, как вы говорите?! В чем дело?! К нам пришли две студентки, чтобы мы объяснили им для доклада систему самолета, затем мы пошли их проводить

до города, чтобы на них не напал бы какой-нибудь истерический болван вроде вас...

Евгения перебил его товарищ:

— Оставь, Евгений. Ну его к черту. Пусть этот их дурак с ними гуляет, раз такое дело. Нам делать тут нечего. Идем!

. . . .

IV

...рассказ, подобный истории станционного смотрителя, кончен. Почтово-телеграфный чиновник, мазавший у себя на лице луну и землю, был единственно правым...

Направо за городом лес, налево за городом лес. Жестокие и долгие бывают зимы на пермском Урале, когда снег заваливает улицы выше заборов, закапывая человеческие жизни. Ночи тогда длинны и черны, ночи садятся на землю — даже в марте — тяжелым декабрем. В керосиновых вечерах клуба совторгслужащих радиокричатель поет Москвою, Большим театром. Телеграфист Сергей Чемардин расстегивает тогда свои овчины, чтобы не потеть в клубе. И позднее тогда, по дороге из клуба, телеграфист говорит о своей любви, о том, что тогда ночью, когда прилетали пилоты, он хотел убить себя и пилотов, чтобы оставить чистой Катю. И Катя говорит, глядя в мороз неба и на дорогу, упирающуюся в лес:

— Ах, Сережа, умоляю вас, оставьте, оставьте меня. На самом деле, почему тогда пилоты не убили вас?

Ямское Поле,
28 февраля 1928 г.

НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЯ

I

Марксштадт.

...Без четверти семь утра бьют на кирках и на костелах колокола, и все немцы в Марксштадте, как во всех кантонах и колониях, сидят за кофе. В семь утра бьют на кирках и костелах колокола, и немцы за работой. За колониями — или равнина, или холмы — степь, степь, широчайшие просторы пшеницы, солончаки, ковыль, миражи летом, бураны зимами. На площадях, если это пустыня зноя, в пыльных смерчах немотствуют верблюды, утверждающие «ночь Азии» и «змеиную азийскую мудрость», змеиношеие, драконоголовые верблюды, покойные, как Азия. Над землей пятьдесят градусов жары по Реомюру. — Без четверти двенадцать бьют на кирках колокола, — жалобный, прозрачный, стеклянный звон, — и все немцы сидят за обедом, чтобы после обеда, прикрыв ставни и раздевшись, как на ночь, спать до трех. Колокола бьют в три, — тогда пьют кофе и вновь работают. В девять последний раз отбивают время кирки и костелы, тогда наступает ночь, и тогда все спят. Рабочий день, колоколом, заканчивается в пять. В гости ходят от пяти до семи, гостям дают медовые пряники с горькой миндалиной посреди и рюмку вина. Полы моют каждый день, печь обмазывают известью после каждой топки, дом снаружи обмывают каждую субботу, по субботам же моют коровники. Непонятно — люди для чистоты или чистота для людей. У каждой хозяйки на все свои туфли: все они стоят у порогов: в одних она ходит по двору, в других — в коровнике, в третьих — по кухне, в четвертых — по «воонунг-циммерам»; у порогов ловко шмы-

гают хозяйки из одних туфлей в другие, немки в чепчиках и в белых передниках...

Доктор Пауль Рау, — археолог, — нашел в этих степях памятники неолитической эпохи — памятники человечества, отодвинутые от современности на десять тысячелетий. Здесь Паулем Рау найдены были остатки бронзовой эпохи, протекшей между четвертым и третьим тысячелетиями дохристианской эры. Третье, второе и первое тысячелетья — не сохранили памятей. От первого до второго века христианской эры здесь были сарматы. Около рождества Иисуса Христа здесь были скифы. Между третьим и четвертым веками здесь были аланы, лучшая эпоха этих земель, люди европейского черепа, ушедшие отсюда на Кавказ и в Европу. За аланами — вновь пустыня, до тринадцатого века татар. За татарами — от пятнадцатого столетия до века российской Великой Екатерины— опять пустыня, кочевья киргиз и калмыков.

Теперь — немцы.

В 1763 году по германским городам читался манифест Екатерины Второй, российской императрицы, в коем говорилось, что в России, на Волге, есть такие чудесные места, где произрастают лимоны, винограды и мирты, происходит миртовая жизнь, эдакий лирический лимонад из писаний великой императрицы, и что оная Фелица приглашает всех желающих немцев ехать туда на вечные времена трудиться и блаженствовать без податей, без воинской повинности на сто десять лет, на новые земли, где каждый может себе взять земли, сколько захочет. Манифест обещал бесплатный проезд до этих чудесных земель и ссуды на инвентарь и скотину. Манифест читался на площадях по немецким городам под звоны бубенцов, привлекающих толпу, как и доныне читаются приказы в волжских немецких колониях, — читался в дни после разгрома Семилетней войны, — и до Волги, барками по Тихвинской и Мариинской системам от Петербурга, дотащилось тридцать тысяч немецких неудачников, разоренных войною и голодом, в первую очередь ремесленников, до сих пор сохранивших свои профессии, сохранивших германский осьнадцатый век, меньше крестьян, называющих огороды плантациями, в еще мень-

шем количестве — студентов, аптекарей, солдат, офицеров, даже дворян, даже одного барона — Дэнгофа, в честь которого назван большой, ныне сарпинковый поселок. Люди тогда приехали к осени, в места, где, как полагалось по российским традициям, миртов не произрастало, но была голая степь, ковыль, пустыня и ни одного человеческого кола. По степи кочевали киргизы и калмыки, и за степью на горизонтах вставали миражи. Кроме немцев в эти места Екатериной ссылались каторжники и острожники русского происхождения. Немцы оказались в положении более жестоком, чем Семилетняя война, — и в первые же два года от тридцати тысяч немцев осталось двадцать три; офицеры ушли к Пугачеву, солдат вешала Екатерина; многие ремесленники собрались было бежать обратно, — и есть ряд рассказов о том, как березенцы, русские каторжане, за мзду брались провожать безъязыких немцев, везли немцев на дощаниках до ближайшего глухого острова и там резали немцам языки. В нынешнем Марксштадте — в прежнем Катринштадте — до сих пор видны остатки рвов, крепости, охранявшей колонию от киргизов и от россиян. Киргизы так же, как и россияне, имели привычку резать немцам языки, не умеющие говорить по-русски. В 1924 году, по переписи, немцев было шестьсот тысяч человек: но это не к тому, как немцы применились к миртовой благодати этих мест, размножившись и сохранив свой осьнадцатый век.

Немцы пришли блондинами, северяне. Тип теперешнего немца примерно следующий: выше среднего рост; темные волосы, изредка яркорыжие; темный, коричневый цвет кожи; темные глаза. На голове у немца широкополая соломенная шляпа, — такие же шляпы на головах у лошадей, — в зубах у немца сохранившаяся от Германии трубка на длинном мундштуке, сплетенном из кожи. В колонии Дэнгоф строилось в 1926 году несколькоэтажное кирпичное здание, рыли ямы для фундамента, — и оказалось, что здание ставится на старом немецком кладбище. Археолог доктор Пауль Рау и этнограф профессор Дингэс приехали на стройку, чтобы обследовать кладбище. Трупы немцев, мужчин и женщин, сгнили в гробах, но кости, волосы и одежда оста-

лись. Скелеты мужчин лежали в шелковых жилетах, в сюртуках и в галстуках, вывезенных еще из Германии. Женские скелеты были в шелковых платьях и в чепчиках. Теперешний тип немца обязательно темноволос, — в могилах сохранились волосы умерших — пшеничные волосы северян. Сто шестьдесят лет немецкого заволжья, степной зной и степные морозы, азиатские стихии — перекрасили немцев, изменили их антропологический тип.

И Рау, и Дингэс написали исследование о влиянии климата на человеческую особь. И Рау, и Дингэс — потихоньку от сельчан — взяли из могил шлафроки, галстуки, женские платки и юбки — для этнографического музея. Судьбы этих чепчиков и шлафроков — необычны, — вывезенные из Германии, пролежавшие полтораста лет в земле, ныне они лежат за стеклами музея в удушливом и пыльном зное города Покровска.

II

Профессор Георгий Дингэс записал сказку.

Шульмайстер Шварцкопф из колонии Дэнгоф Бальцерского кантона умер, оставив жену и дочь, бедную и очень красивую невесту. В это же время умер пфарер Трэнклер, богатый человек, оставив свою жену и сына, красивого и богатого жениха, бондаря по профессии. Молодой Трэнклер посватался за молодую Шварцкопф, и это была лучшая и счастливейшая в Дэнгофе пара. Шульмайстерша фрау Шварцкопф вместе со своею дочерью переехала к Трэнклерам — в богатую и покойную старость. Старухи Шварцкопф и Трэнклер очень сошлись характерами и очень подружились. Молодые были счастливы, и в первый же месяц дочь призналась матери, что она понесла ребенка. И вдруг тогда соседка сказала по секрету фрау пфарерше, что у фрау шульмайстерши — нехороший глаз. В сердце пфарерши запала тревога, мелочи стали подтверждать ее сомнения, и она тогда пошла к знахарке, чтобы посоветоваться с нею. Знахарка дала совет, как узнать истину: надо было в тот час, когда пропоет тре-

тий петух, найти в курятнике первой яйцо, снесенное за эту ночь, съесть его сырым и ждать наутро вопросов шульмайстерши; если шульмайстерша задаст подряд три вопроса: куда пошла моя дочка? — продал ли Ганс вчерашние ободья? — перестали ли болеть ноги фрау пфарерши? — если она задаст эти три вопроса, стало быть у нее черный глаз. Пфарерша поступила так, как советовала знахарка. Утром на рассвете в тот день сын уехал в соседнее село на базар и жена пошла проводить его до околицы, — и за кофеем шульмайстерша задала подряд три вопроса, напророченные знахаркой. Фрау пфарерша уверилась, что у фрау шульмайстерши черный глаз. Но через несколько дней соседка сказала пфарерше новую новость, о том, что шульмайстерша — колдунья. Пфарерша опять пошла к знахарке. И знахарка дала средство узнать, истинно ли это. Надо было у пойманной в субботу щуки в полночь, с субботы на воскресенье, вынуть икру, сварить ее до третьих петухов и съесть без соли, когда пропоет третий петух, — и утром тогда надо было идти в костел, смотреть, не отрывая глаз, в купол над алтарем, и если действительно шульмайстерша есть ведьма, тогда она будет видна в куполе, где будет она летать на венике. Пфарерша поступила так, как ей советовала знахарка, — и действительно, в тот момент, когда органист вознес «авэ, Мариа», под куполом появилась в омерзительном виде, голая на метле шульмайстерша фрау Шварцкопф. Счастье пфарерши фрау Трэнклер было разбито, сын не поверил ее видению, грозил знахарке, что он донесет русским властям, оставил у себя шульмайстершу, — и фрау Трэнклер вынуждена была покинуть богатый свой дом и поступить работницей к патеру.

Профессор Дингэс расследовал историю возникновения этой легенды.

III

Пароход уходил в закат и в отдых от зноя.

И во мраке июньской волжской ночи пароход пришел к пристани, гудел, пришвартовывался к керосино-

вым фонарям конторки, в нерусский говор. За сходнями, на берегу, под отвесом горы стоят распряженные фуры. Немцы не волнуются. Телеграмма не дошла вовремя. Ночь, — та пожухлая уже в июне волжская степная ночь, когда из степи веет жарким удушьем, пылью и мятой.

— Нам надо в Бальцер, — говорит профессор Дингэс.

— Канн-манн, — отвечает возница и медленно приступает к фуре, чтобы запрячь лошадей. — Варт-манн.

Эти фуры вывезены из Германии, в каждом поселке есть фурманн, мастер по строительству фур. Лошади в дышлах. Профессор Дингэс спрашивает, как называются части фур: опросом названий обыденнейших вещей, записью этих названий и фонетикой произношения Дингэс восстанавливает, откуда пришла эта семья немцев, из Баварии ли, из Саксонии ли иль из Пруссии. Дингэс спрашивает возницу, из какого села он родом, на ком женат, кто у него в родстве, — и Дингэс читает в его ответах книгу столетия его рода, — под электрическим фонариком он записывает иероглифы анкеты — те, которые вскрывают книгу столетия. Ночь пожухла, пыльна, удушлива. Небо темно. Прибрежные горы стоят отвесом

Лошади готовы.

— Биттэ!

Фура ползет в гору шагом, под обрывом горы, в овражную щель, валится с боку-на-бок, но не скрипит, сделанная навек. Въехали в лес, в прохладу и шелест дубов. Спустились в овраг. Поднялись вверх. Темно и ничего не видно. Прошел час пути. Лошади побежали рысью.

— Вот отсюда сворачивает дорога к Карлу Швабу, — сказал возница.

Ни Дингэс, ни Рау ничего тогда не знали о Карле Швабе. Никто ничего не ответил.

— Закурим, — сказал Рау и предложил папиросу вознице.

— Канн-манн, — сказал возница и остановил лошадей, чтобы высечь зажигалкой огонь. — Карл Шваб был очень хорошим, трудолюбивым хозяином.

— Какой это Карл Шваб? — спросил Дингэс.

— А это тот, к которому пришли черепа, — ответил возница.

Поехали дальше, во мрак, оврагами, лесом. Лошади бежали рысью, гнали за собой пыль, пыль пахла кремнем и полынью. Молчали. Выехали на холм в степь. И в бесконечном просторе степи, впереди, направо, налево, на версты и на десятки верст загорелись в степи десятки костров.

— Смотрите, Дингэс, — сказал Рау, — это от кочевого древневековья.

Сказал возница:

— Это в степи пасутся стада и табуны и костры разложены, чтобы пугать волков, которые рыщут по степи. Особенно много развелось волков после революции.

В Бальцер приехали ночью, в кантон, с улицами, проложенными линейкою и заложенными пылью по щиколотку. Кантон спал, прикрыв ставни. Выли — по-степному — собаки. Небо также было степным. На постоялом дворе блистательствовала чистота. Дали четыре полотенца и две постели. Электричество погасло в час ночи.

Наутро в палительном зное перед глазами прошел Бальцер, этот кантон, где в каждом доме ткут сарпинку, — сарпинка — Сарепта — сарептинские немцы. День прошел кожевенным заводом, где нечем дышать от удушья падали, клубами пшеничной пыли вальцовой мельницы, горами подсолнечной шелухи маслобойного завода. На литейном заводе отливали части для фур и для сеялок. За невероятностями пыли из зноя переулков, около реки Голый Карамыш стояла сарпинковая фабрика, немки склонялись над ткацкими машинами в немецком порядке и в чистоте. Бальцер — кантон, индустриальный центр, — фабрики, уничтожающие кустарничество, — и все же кантон весь день шелестит необыденным, странным для степного зноя шелестом кустарных ткацких станов: это в домах ткут сарпинку женщины, дети, мужчины.

В новом закате отдыха от зноя «форд» кантонального исполкома (у волжских немцев в каждой волости по «форду») понес ученых в Дэнгоф, в село кустарей и

школьных раскопок, на родину фрау Шварцкопф и фрау Трэнклер, в прямые немецкие улочки с белыми домами за ставнями и заборами. Учитель Кэрнер показывал новые немецкие буквари, толковал о многополье и водил на свою плантацию — и в конюшне у него за притолоку были засунуты сушеные щучьи головы — от злого глаза. Дэнгоф шелестел ульем прялок в керосиновом мраке окон средневекового ткачества. Ночь засветилась свечою месяца над степью и кострами в степи. Тогда колония уснула. Последний верблюд прошагал к воротам.

В каждом доме ткацкие станы, мужчины, женщины, дети сидят за станами, ткут сарпинку, — и в каждом доме пахнет свежим ситцем. Дингэс записал количество станов в колонии, выработки, процент туберкулезных и близоруких, стопроцентность кооперированности ткачей, — и записывал названия частей фуры, частей трубки, частей станов и сундуков, чтобы вскрыть столетия. Доктор Рау в архиве сельского совета раскапывал родословную шульмайстера Шварцкопфа и пфарера Трэнклера, чтобы совместно с Дингэсом расследовать историю черного глаза. Дингэс и Рау ходили по старикам и старинным домам, просили показать им старинные трубки, сундуки, платья, веретена, — убеждали отобранное прибрать для музея, тут же заполняя благодарственные от музея грамоты. В одном из домов они нашли старинные, еще от Германии, очки. Еще утром учитель Кэрнер сообщил, что он, вернувшись с плантации, отправит свою жену с учеными к знахарке. После вечернего кофе фрау шульмайстерша Кэрнер пошла с учеными к бабушке. Дом бабушки, как все дома, главную комнату заставил ткацкими станами, под окном у стана внучата устроили свою кукольную комнату и забились туда, чтобы посмотреть гостей. Бабушка приняла гостей в новом платье и провела их в столовую, предложила медовых пряников и по рюмке портвейна. Бабушка села в кресла к камину, и гости сели вокруг нее. В первых фразах бабушка сообщила, что она никоим образом не связана с темною силою и верная лютеранка, — все ее знания у нее от бабушки, верные знания, потому — что ее прап-

рапрадед был студентом и лекарем в Саксонии. За свою жизнь она приняла шестнадцать тысяч детей и немногим меньшее количество людей — за эти годы голода и смерти — обмыла перед гробом. Она побранила врачей, которые заставляют женщин ложиться во время родов, и с гордостью заявила, что все ее роженицы рожали стоя, как и требуется природою. Дингэс расспрашивал бабушку о фрау шульмайстерше Шварцкопф, — бабушка подтвердила истинность истории, сообщив, что все это произошло, когда она была уже замужем. Затем бабушка отвела шульмайстершу Кэрнер в отдельную комнату, чтобы дать несколько советов и побеседовать об их женских делах. Фрау Кэрнер вышла от бабушки, гордая, смущенная, раскрасневшаяся, и ничего не рассказала мужчинам о советах бабушки, — дома же, по настоянию мужа, передала профессору Дингэсу для музея порошочки из кирпича, останавливающие кровь, и порошочки из лягушечьих костей и менструальной женской крови, привораживающие любовь. Учитель Кэрнер толковал за ужином о преимуществах корнеплодного хозяйства в деле кормления животных.

Новым вечером форд отнес ученых в новое село, где также шелестели ткацкие станы. Та ночь не принесла отдыха от зноя. Улицы задыхались от жажды закрытыми ставнями окон и серебряной свечою месяца в небе. В доме, где остановились ученые, на полы в комнатах клали мокрые полотенца, чтобы утолить жажду комнат. Хозяин дома — ткач Юнг — провел гостей в гостиную. В парадной комнате стояли клавесины и две кровати за десятком подушек. Хозяин был молчалив и очень черен, заросший черной бородой.

— Если мои господа хотят, — сказал ткач Юнг, беспомощно улыбнувшись, — если мои господа хотят, мы с женой сыграли бы и спели для удовольствия гостей. Мы всегда проводим отдых в пении.

Ткач Юнг тихо улыбнулся, лицо его стало блаженным. Он извлек из клавесин несколько звуков, — удивительнейшие звуки, выцветшие в этом степном зное. Жена села рядом с мужем и запела. Муж подпевал клавесинам и жене. Запели дети, став около матери.

Лица всех певших были умиленны. Профессор Дингэс записывал слова песни: песнь сохранилась еще от Германии, выцветшая в степи и переиначенная столетьем зноя. Семья ткача Юнга оказалась духоборческой семьей.

IV

Немец Карл Шваб, рыжеусый, безбородый, черноволосый человек, кадык которого походил на его колени, а кадык и колени вместе — на его трубку, торчавшую из рыжих усов, кареглазый, впалогрудый человек, после жесточайшего голода 1920 года, дошедшего до людоедства, ушел из колонии на отруб. Карл Шваб получил надел недалеко от Волги, где степь обрывается в Волгу горами, надел был на опушке леса, на краю оврага. Лес стоял рядом, кленовый и некленовый, зеленый лес. Карл Шваб решил строить «кутор», как немцы называют хутора, на холме, неподалеку от овражного обрыва.

Еще зимой перевезя сруб и прочие материалы, конец зимы прожив у соседа, посеявшись с весны, летом Карл Шваб, переселившись со своей семьей на новый кутор, приступил к постройке дома. Работали он, его сыновья Иоганн и Фридрих, его жена Марта и дочери Мария и Виктория. Семья была молчалива и дружна. Сыновья строили себе отдельные комнаты, ибо решено было осенью жениться. Девушкам предполагалась светелка, чтобы коротать время до брака. Во временном сарае, где хранились сельскохозяйственные машины и домашняя утварь, где люди спали и питались, на полке, над обеденным столом, хранились сельскохозяйственные журналы и проспект стандартного строительства на немецком языке. Мужчины вечерами перепроверяли планы, задуманные еще зимою.

В августе, когда пшеница была убрана, когда была закончена постройка дома, — на кухне возникла немецкая печь, обмазанная глиной и известью, целое немецкое строительство со многими печурками, топками, подтопками, с кубом для выварки белья и для варки

мыла, с плиткой для кофе, с духовкой для супа и с другой духовкой для кухэнов, — целое строительство под аркой; хозяйка должна работать под этой аркой, чтобы справа и слева от ее руки были все эти топки и подтопки, чтобы камин грел ее ноги, камин, в котором также можно коптить свиные окорока и грудину. Над камином вбиты были вешалки для просушки одежды после осенних дождей и зимних вьюг.

Зимой в метельные дни должны были бы все собираться около камина, чтобы слушать сказки фрау Марты о ведьме из Дэнгофа, которая превращалась в свинью и которую в свином состоянии однажды поранил прохожий, так поранил, что ведьма, гроссмутер такая-то, целую неделю не поднималась с кровати, — средневековые сказки, привезенные сюда из немецкого осьнадцатого века.

В девичьей светелке висела мадонна, около которой девушки пели, вышивая тряпки, «авэ, Мариа». В комнате отцов стояла резная кровать, в несколько этажей заваленная подушками и одеялами, где из-под нижнего одеяла свисали кружева, сплетенные Мартой. Около кровати стоял сундук, вывезенный еще из Германии, предмет изучения профессора Дингэса. В сараях и в конюшнях у притолок были повешены сушеные головы рыбы, щуки, охраняющие от чертей, родившихся где-то в Германии: эти рыбьи головы были предметом изучения и Дингэса, и Рау.

В начале сентября, когда поля окончательно были уже обработаны и перепаханы под зиму, отец и сыновья стали копать погреб, чтобы сложить туда корнеплоды.

Было осенью сыро. Встав в пять часов, моросливым рассветом, отвесив корма животным, начав рабочий немецкий день, выпив в половине восьмого кофе из жженой пшеницы, отец и сыновья пошли на двор (построенный степным уметом), там они рыли погреб. Иоганн и Фридрих спустились в яму и выкидывали оттуда землю, Карл отвозил землю к конюшням, чтобы утеплить их землею. Трубка, кадык и колени Карла были медленны и степенны. Старший Иоганн, похожий на отца, рыл в темном углу, перекидывая

землю Фридриху. Фридрих, коренастый, как мать, кидал землю отцу.

Лопата Иоганна уперлась в твердое, это не был камень. Иоганн копнул раз, два и три — и к ногам его покатилось нечто круглое. В темноте нельзя было понять, что это такое.

— Варт-манн, — степенно сказал Иоганн брату и крикнул наверх: — Фатер!

— Канн-манн, — ответил сверху отец.

Иоганн высунул из ямы на свет человеческий череп. Череп был коричнев и скуласт. Лица Карла и Иоганна выразили ужас. Фридрих глупо улыбнулся. Не меньше, чем минуту, то есть вечность при таких обстоятельствах, Карл и Иоганн были неподвижны в ужасе.

— Что ты смеешься, оболтус, — сказал отец Фридриху.

Фридрих проникся страхом. Отец вынул трубку изо рта, все его кадыки удвоились. Иоганн вылез из ямы и стал рядом с отцом. Фридрих также вылез и также стал рядом — с братом.

— Штиллы!—сказал отец. — Молчание! — Иоганн, принеси фонарь.

Отец полез в яму. Фонарь осветил куски человеческих костей, торчавших из земли. Отец сел на землю, в страшном ужасе и горе, подпер рукою голову. Он встал и вылез из ямы. Он еще раз осмотрел человеческий череп и еще раз, с черепом, полез в яму. Он положил череп к позвонкам, затылком к востоку, как лежал череп, и вылез из ямы.

— Штиллы! Шнэллы! — сказал отец. — Молчание! Скорее!

Карл взял лопату и бросил ком земли с края ямы в темный угол, где был череп. Сыновья безмолвно последовали примеру отца. Трубки не было в зубах Карла. Фридрих от природы был глуп, как знали все в семье. Лица Карла и Иоганна были покорны судьбе. Теперь уже Фридрих возил землю на тачке от конюшни к яме. Моросил мелкий дождь. Степь была пуста и печальна.

Двадцать минут двенадцатого Марта позвала обедать. Отец воткнул лопату в землю под навесом, ничего

не сказав. Мужчины молча вымыли руки и сели за стол, около андерсеновской печи, которую Марта уже побелила, вытопив.

Обедали молча и молча после обеда пошли по своим постелям спать до кофе.

После кофе до сумерек мужчины заваливали яму в излишней для немцев поспешности. Заваливать — куда быстрее, чем выкапывать, и наутро мужчины кончили работу.

Тогда отец сказал сыновьям в последний раз:

— Безмолвие! — женщины не должны знать, никто не должен знать. Мы начнем копать погреб в другом конце двора.

Женщины не спросили мужчин, почему мужчины переменили свои планы, и тем не менее, потому что иной раз вести распространяются без человеческих слов, Марта, мать, в этот вечер, после вечерней в половине седьмого пищи, когда семья собралась около камина против арки, где священнодействовали женщины, когда мужчины повесили свои картузы над печью, — Марта инореčиво рассказала историю шульмайстерши Шварцкопф, бывшую на памяти Марты, когда она была девочкой, — когда фрау шульмайстерша Шварцкопф имела черный глаз, ради которого фрау пфарерша Трэнклер вынуждена была покинуть богатый свой дом и поступить работницей к патеру. Фрау Марта рассказала эту правдивую историю, косо поглядывая на мужа, инореčиво задерживаясь на паузах. Дочери в страхе жались к матери, младшая прятала голову от огня камина. За домом, в степи, гудели осенние ветры и шипел дождь. Лицо Фридриха было расстроено. Иоганн и отец были каменнолицы.

— Надо иметь спокойный сон, жена, — сказал Карл и поднялся со стула без четверти девять, чтобы задать скотине на ночь и в девять быть в постели.

Отец всегда один выходил в этот час на конюшню, сейчас он сказал старшему сыну: — Ты пойдешь со мною, мальчик.

Сын зажег фонарь, чего обыкновенно не делалось, — отец не упрекнул его в неэкономности. На дворе было очень темно, гудел над степью ветер и хлестал по куто-

ру дождь, в черном мраке. Мужчины шли рядом, сын жался к отцу, и сын сказал отцу шепотом:

— Страшно, папа.

— Да, очень страшно, — также шепотом ответил отец и положил руку на плечо сына, приласкал сына отцовской своей рукою. — Очень страшно, мальчик.

Наутро мужчины стали рыть погреб в другом конце двора. Иоганн перекидывал землю Фридриху, Фридрих наваливал землю на тачку, отец отвозил землю к конюшне. И через неделю произошло то же, что было девять дней назад: Фридрих откопал человеческий скелет. Лица всех троих теперь изображали ужас. Отец долго сидел на тачке, оперев щеки ладонями, трагически качая головою. Мужчины в безмолвии и поспешности стали заваливать яму. Яма была завалена и сравнена с землею.

Сентябрь уже перевалил на октябрь, начались заморозки. Отец решил рыть погреб в подполье. И опять через неделю труда найдена была могила, теперь уже много человеческих костей и среди них не человеческий уже, но лошадиный череп и около черепа непонятная золотая монета.

Подполье было закопано.

В эти девятнадцать дней рытья погребов Карл Шваб совершенно поседел.

— Мы не хотим больше иметь погреба, — сказал отец. — Мы бедны, чтобы покинуть это место. Молчание! — жизнь всегда идет наряду со смертью, если это не есть злой глаз. — Молчание!

В ноябре подули первые метели.

V

Карл Шваб построил свой кутор на старом кургане. Есть обстоятельства, когда вести расходятся по людям без слов: никто с кутора не мог бы указать, каким образом узналось и в Бальцере, и в Дэнгофе о том, что род Карла Шваба спознался с нечистою, совершенно средневековою силою, подсунувшей под кутор Карла Шваба мертвецов.

Зима в этом году была снежна и метельна, дороги к хутору замело снегами. Сыновья Иоганн и Фридрих в том году не поженились, как предполагалось, и даже не сватались.

Весною к Карлу Швабу приезжал археолог доктор Пауль Рау, чтобы обследовать курган. В начале лета к Карлу Швабу приезжал профессор Дингэс, чтобы установить, как возникают легенды о черном глазе. Обоих их у ворот встречал седой старик Карл, с трубкою в зубах, в широкополой соломенной шляпе. Его взгляд был покоен и непроницаем. Он был неприветлив и обоим приезжавшим говорил одно и то же.

— Что вы хотите от меня, мои господа? — у меня нет только погреба, и больше ничего. Прошу не позорить моего дома.

Все в округе знали, что у Карла Шваба — именно нет погреба.

После приезда этих ученых людей к Карлу Швабу — и в Бальцере, и в Дэнгофе подлинно знали, что Карл Шваб, превратившийся за зиму в старика, уступивший работу сыновьям, не только спознался с черным глазом, но и сам возымел его, упорно о том замолчав.

Так возникают истории, подобные истории фрау шульмайстерши Шварцкопф.

VI

...Степь, степь, солончаки, поля пшеницы, солончаки, ковыль, полынь, степь. Зной. Изредка побежит-побежит по земле, разбежится, оттолкнется от земли, полетит — дрофа. Изредка встанет межевым столбиком сурок. Изредка продымит около дороги трактор. Изредка пройдут верблюды. Изредка видны курганы. Степь, заволжье, зной. Там впереди — уже за десятками, а не сотнями верст — земли Казахстана, Киргизия, Азия. Безлюдье. Степь. Зной.

И вот сейчас же, за десятком верст от Волги, когда позади точно рядом волжские горы, — впереди в степи возникла чудесность — возникли пальмы, мирты, виноградники, озера, воды, непонятные человеческие

стройки, фантастика, чудесность, — все то, что написано в манифесте Екатерины Второй. Это — мираж.

Над степью зной. Впереди некие минуты стоит мираж, блекнет и растворяется в ничто. За миражем впереди — степь, изредка курганы, на горизонте горб верблюда, синий воздух, колеблющий пространства. И вновь возникает мираж, вновь к тому, чтобы утвердить манифест императрицы Фелицы. Пустыней степи идет день, зной дня, солончаками, пшеницами, курганами, дрофами. Все больше и больше солончаков выгоревшей, мертвой земли, окаймленной ковылем. В закате опять возникают миражи, необыкновенные растения, необыкновенные леса и города. И тогда впереди возникает громадная плотина, обсаженная деревьями, громадное озеро, громадные пространства садов и плантаций. Это немецкие оросительные плотины — научная станция, где изучают плод, зерно и почву.

И навстречу летят триллионы субтропических комаров. Там, за этими клоками солончаковой степи, залитыми теперь, в эти последние годы, водой, — за этими плотинами — киргизская степь, тысячи, громадные тысячи верст кочевнической Азии. — Около солончаков стоят гряды курганов, сарматские ли, скифские, монгольские — эти курганы, грядою уходящие вдаль по вершине балки. Курганы оказались аланскими.

В городе Покровске, в музее, где постоянно работают профессор Дингэс и доктор Рау, изредка собираются на заседание экономист Генрих Шлэгель, кооператор Виктор Штромбергер, статистик Николай Либих, общественные деятели, — иногда заходят члены немецкого правительства. Тогда ведутся очередные рабочие разговоры, о менно-голландском скоте менонитского коппентальского района, о холодильном деле, о хлебозаготовках, о кустарном ремесленничестве, о растительности заливных волжских лугов, о сыроварении, о беконном деле, о многом очередном прочем.

Осенью на улицах Покровска грязь по уши. Зимами над Покровском, над степью лежат белейшие снега, проходят бураны. — За буднями разговоров в музее, когда заседания заканчиваются и остаются доктор Рау

и профессор Дингэс, эти два рыцаря своей родины, когда они говорят о своих работах, так же обыденно, как на заседании, — говорят о вновь разработанной сказке и о новом разрытом кургане, о платьях, принесенных в музей из могил, — тогда возникает — здесь, в этих музейных комнатах — возникает история, наука этой страны. За стеклами витрин лежат человеческие черепа, камни и утварь тысячелетий курганов.

Ямское поле,
апрель 1928.

ЗЕМЛЯ НА РУКАХ

Летом, в начале июня, в провинциальных русских городах надо с утра открывать окна, чтобы по комнатам бродил воздух, гонимый июньским тихим ветром. В комнатах тогда прохлада и зеленый свет от лип и кленов старого сада. Дикий виноградник террасы зеленью своею прячет золото дня. В такие дни человек дружен с землею.

И было такое утро, когда муж сидел за письменным столом, около открытого окна, в дальнем от двери на террасу углу, за бумагами и мыслями, — а жена в золоте утра рылась в саду около цветочных грядок в кустах сирени, жена заходила иной раз на террасу, в косынке, с руками, отставленными от бедер, чтобы не замарать платья. Очень, очень редкое счастье — быть в дружбе с землей. Очень, очень редкое счастье — счастье супружества, любовь, доверие и верность. Это счастье было в этом доме, доверия, дружбы, любви, соработы. Это счастье может быть только у благородных по мыслям и помыслам людей, — и эти люди были достойными, простыми, работящими людьми, он — социолог-писатель, она — художница, люди, встретившие друг друга, когда ему перевалило за тридцать пять и ей — за тридцать. Есть сладостный отдых, утомляющий мышцы, — рыться в земле, рассаживать табаки и резеду по грядкам и тащить из грядок всякие сорняки, — чудесно знать, склонившись над землей, что здесь, в этой земле, возрастает тобою посаженное. И муж, прежде чем сесть ко книгам, рылся около жены на грядках. С книгами от письменного стола пришли привычные мысли, цифры, сопоставления, цитаты, несогласие, формулы, — пришел

подлинный труд, те часы, когда у ученых, как у художников, глаза становятся совершенно рассеянными, невидящими и совершенно безразличными к миру, вне книг лежащему.

В этом безразличии муж слышал, как через незапертую калитку во двор вошел незнакомый человек, кажется, в широкополой шляпе, кажется, с чемоданчиком. Пришедший сказал через окно, что ему надо видеть Анну Андреевну. Муж ответил, не поднимая головы от бумаг, что она в саду В этом безразличии он не замечал, через сколько минут жена вошла через террасу в комнату, с руками, замазанными землей, в сторону, в сопровождении незнакомца. Лица жены он не помнил. Незнакомец поклонился. Незнакомец сказал:

— Разрешите, я хотел бы еще несколько минут остаться наедине с Анной.

Сказала Анна:

— Да, мы пройдем с Сергеем ко мне в комнату, Павел.

Муж опять не видал лица жены. И опять прошли какие-то минуты, когда глаза безразличны для мира и когда мир укладывается в книги. Анна вышла из своей комнаты. Павел поднял пустые глаза, и он увидел, что руки жены, по-прежнему измазанные землей, беспомощно заломлены, а глаза ее полны слез беспомощности. Мир вещей вернулся к Павлу.

И тогда заговорил незнакомец. Анна стояла спиной к ним обоим, в дверях террасы, — золото дня, кроме виноградника, обрезывалось ее плечами.

— Павел Андреевич, — сказал незнакомец и долго молчал. — Павел Андреевич, мы оба — не воры. Мною движут человеческие чувства. — Он помолчал, чтобы собрать мысли в точные фразы. — Тринадцать лет я не видел Анну — и все эти тринадцать лет я мечтал и думал о ней. Вы знаете, мы расстались с ней в Париже, когда я русским солдатом пошел на французский фронт. Вы знаете, ее молодость прошла со мною, — и вы знаете, что ни она, ни вы не можете ни в чем упрекнуть ее. Земной шар пока еще достаточно велик, чтобы можно было заблудиться в нем. Я пришел к Анне, когда за вами уже восемь лет супружества. Мы уже очень взрослые люди. Я не знаю, что мне предложить вам.

Что скажете вы, Павел Андреевич? Я не знал, что Анна замужем.

Перед Павлом стоял человек, память которого была свята в их супружестве, первый муж Анны, достойный человек, — стоял старик, седовласый художник, некогда учивший искусству живописи и достоинству жизни девушку Анну. Глаза этого старика были добры, они любяще и непонимающе смотрели на Павла, — они не могли смотреть иначе, потому что в комнате была женщина, любимая, единственная, и потому, что этот человек был добр, Павел вспомнил, что он так же сед, преждевременно поседевший за годы русских бурь, и так же добры, бессильны его глаза, природою сданные в доброту. Друг перед другом были два человека, очень похожих друг на друга, — недаром и того и другого любила Анна. У Павла память рассказов Анны о Сергее, о молодом и чудесном художнике, о человеке солнечной ясности и строгости его сердца, — память рассказов путалась этим добрым стариком, смотрящим любящими и усталыми глазами. Человек этот вернулся из смерти. И Павел сказал растерянно:

— Как вы изменились, Сергей... Сергей Иванович!

Оба мужчины улыбнулись друг другу, очень растерянно. Павел протянул руку. И, сжав руку, задержав руку, — позвонком, нервной дрожью в плечах около лопаток он ощутил — себя, Анну и этого пришедшего. Анна любила в своей жизни только их двоих, чистая женщина. Анна чтила память Сергея, как чтил и он, Павел, эту память о человеке, любящем его жену, о котором у Анны хранилась бумажка пехотного французского полка, удостоверяющая, что русский художник, рядовой этого полка Сергей Иванович Лавренев, погиб в бою под Верденом. Самое тайное и самое святое, — особенно тайная и особенно святая, когда она чтится, — любовь, — она была между ними троими. Первая любовь жены была отдана Сергею, — последняя любовь была взята Павлом. Павел чтил память Сергея, — он вспомнил, что в чувствах бережливости к жене, — никогда за годы их любви, ни разу не спрашивал он о чувствах жены к Сергею и никогда не сопоставлял себя и его, оберегая его память. Павел держал руку Сергея. Жена, — и позвонком, дрожью в плечах Павел почувствовал, что от этой минуты он не может даже в мыс-

лях называть Анну — женой, ибо на самом деле он — не вор, как сказал Сергей.

Он долго держал руку Сергея. Глаза Сергея были неподвижны. И Павел сказал:

— Да, Сергей, конечно, я не вор.

Анна повернулась к ним. Анна подошла к ним. Ее руки окаменели, откинутые от бедер. Глаза ее были полны слез. Сергей протянул к ней руки, ладонями вверх, — глаза Анны упали, — Павел понял, что это привычный жест Сергея, который Анна знала раньше. И он опустил глаза, как опускают люди глаза в стыдливости, чтобы не видеть того, что не надо видеть. Анна поняла опущенные глаза Павла, — и руки ее потянулись к Павлу. Павел этого не видел. Анна осталась с протянутыми руками.

— Я пойду вымою руки! — крикнула Анна.

— Пойди, — сказал Павел.

— Анна, Павел Андреевич, — заговорил Сергей, и губы его дрогнули физической болью, — Анна, милая Аннушка, — если ты велишь, я сейчас же уйду, опять навсегда, Аннушка... Да, я очень постарел, Павел Андреевич, очень постарел.

Анна села в бессилии на стул около стола, забыв о руках.

— Нет, что вы, что вы, — заговорил Павел. — Анна так много, так чудесно всегда рассказывала о вас, у нас есть ваши фотографии, и мне показалось, что... и ваш образ, который я создал... — что вы, что вы, Сережа! — Павел назвал Сергея так, как он и Анна называли его, вспоминая о нем. — Нет, подождите, Сережа. Вы изменились только по сравнению с фотографией.

Руки Анны, замазанные землей, потянулись к Павлу точно тем же жестом, каким только что протягивал к Анне руки Сергей, — этот жест — Павел понял — Анна взяла у Сергея. Павел обе свои руки протянул к рукам Анны и поцеловал землю на руках Анны, черную, сырую землю поцеловал всею нежностью, какая была у него к этой женщине. Он стряхнул землю с губ. Он сказал сам себе:

— Да, да, — земля родительница. — Нет, Аннушка (он поймал себя на том, что назвал Анну именем, данным ей Сергеем), — нет, Анна, я не вор. Я понял сейчас, что я не могу тебя назвать женою так же, как и Сережа,

наверное, — до тех пор, пока ты не назовешь меня своим мужем. — Павел еще раз стер землю с губ. — Как странно сдвигается время. Вот мы трое, как это сказать? — самое чудесное, что было в моей жизни, — вы это знали раньше меня, Сережа, — а я узнал то, что было священным для вас, что было вашею единственной тайной. Я не нахожу слов.

Анна поднялась со стула. Она стояла секунду неподвижно. Силы покинули ее волю. Шея ее задрожала тетивою, втягивая голову в плечи. Она пошла к Сергею, она обняла Сергея. Павел, как и Сергей, понимали: когда Анна протягивала руки Павлу, она защищала Сергея, — когда она шла к Сергею, она защищала Павла. И Анна заговорила, втянув голову в плечи, положив голову на грудь Сергея:

— Мне страшно, Сережа, — мне страшно, Павел. Как я ждала тебя, Сережа, — тогда, когда ты ушел на фронт, как убивалась я, когда получила в России весть о твоей смерти! — ты знаешь, как я любила тебя. Ты приехал, — как я рада. Нет, это не те слова, — ты вернулся, а не приехал, — ты — вернулся, — и я — люблю тебя. Но я же — люблю Павла, у меня есть сын, у нас есть сын, единственный мой сын, и больше у меня не будет детей. Мне очень страшно. Я ничего не знаю, Павел, слышишь? — я ничего не знаю.

Павел подошел к Анне, обнял Анну и Сергея, прислонил голову к плечу Анны.

— Аннушка, — сказал Павел, опять назвал Анну словом Сергея и не поправился, — Аннушка, любимая, ты знаешь, любимая, ты знаешь, что я, как Сережа, только счастья, только счастья мы хотим тебе, — ты знаешь — мы ждем, что ты скажешь.

Павел потерял слова в великой, прекрасной, благостной любви к Анне, в благодарности человечеству за человеческое, за человеческое, создавшее Анну. Он замолчал, склонив голову. Вселенная—всем своим благородством и горечью — билась в его сердце. Он хотел взглянуть в лицо Анны, — и он не сразу разобрал ее черты: в комнате было темно, день померк за окнами. Та рассеянность безразличия ко времени, которая приходила к Павлу в часы его труда, — приходила к ним троим в этот час, когда трое они стояли, обнявшись, остановив время. Был белесый мрак белой июньской

русской ночи. Земля сняла свое золото. В комнате пахло левкоями. В саду пела малиновка. Лицо Анны, с закрытыми глазами, было бессильно. Ее руки, замазанные землей, беспомощно висели за плечами Сергея так, чтобы не замарать пиджака.

— Уже ночь, — удивленно сказал Павел. — Аннушка, пойди вымой руки, они у тебя в земле.

Павел взял руки Анны, Павел нежно поцеловал землю на руке Анны. Лицо Анны было счастливо. Анна пошла к двери в свою комнату, чтобы отмыть руки от земли. Окна в комнатах были открыты, и по дому бродил вечерний зеленый воздух В такие часы человек дружен с землею.

Ямское Поле,
8 июня 1928.

Волга впадает в Каспийское море

Р о м а н

Реки возникли в те эпохи, когда земля из астрономического состояния переходила в состояние геологическое. Кремнезем, граниты, сланцы, пески, глины — тальвег [1] — река, поток воды — расход воды, живые сечения, горизонты, трассы, — перекаты, плесы, отмели — строжайшая закономерность, где решающим являются только законы физики, сил, тяжестей, веса, — только. Природа не знает прямых движений, и на каждой реке силою падения вод по горизонту уклона — должны быть два течения: сбойное верховое, клинообразное, сходящееся, которое, опускаясь на фарватере до дна, размывает это дно, сбрасывая на стороны размытые пески и превращаясь во второе течение — расходящееся-донное, идущее от дна фарватера к берегам, загрязненное и смятое, потерявшее свою живую силу.

Так было и есть веками.

Долины рек возникают от размыва. Реки по своим тальвегам всегда идут змеями, никогда прямыми руслами, — и горизонты падения русла рек похожи на лестницу — перекат, плес, перекат, плес, — водопады на реках живут, отодвигаясь к истокам рек, — так создано законами физики, потому что иначе б живая сила воды, которая в природе ломается плесами и перекатами, освобожденная, достигла б неимоверных сил и быстрот, и реки исчезли б, слив все свои воды, ничем не задержанные.

Вода, как природа, не знает прямого течения; воды ломают свои русла, чтобы воздвигать себе препятствия.

[1] Тальвег — наиболее пониженная часть долины.

Эти два течения, расходящееся-донное и сбойное-верховое, именно они и определяют судьбы плесов и перекатов: чем круче заворот реки, чем круче поворот вогнутого берега, тем быстрее сбойное течение, тем сильнее живая сила, тем глубже размыв дна, — и здесь возникает плес, — но вода устала, сломав свою силу, вода вышла на отдых донного покойствия, она бессильна размывать, — и здесь возникает перекат, улегшийся песками между плесами. Если сила течения сильнее грунтов, она ломает, размывает берега, чтобы истратить свои силы, уравновесить их, — и река мелеет, растягивая свои живые течения широкими, но низкими поперечными горизонтами.

Так было от эпох, когда земля из астрономического состояния переходила в геологическое. Воды рек движутся параболами, гиперболами, эллипсами. Инженеры-гидравлики уложили законы течения рек в формулы математики, где не может быть погрешностей.

Роясь в юрских, девонских, каменноугольных пластах, инженеры исчисляют возрасты рек, их юности и старости. Щепка, брошенная в воду на Оке под Коломною, будет снесена в Каспийское море, — но камень, брошенный там же, будет поднят водою только тогда, когда живая сила сбоя будет сильнее камня, — так бывает очень редко, и камни засоряют речные донья. Прямое движение абстрактно, как нуль. Под городом Саратовом на Волге, которая тысячи лет тому назад называлась рекою Ра, семьдесят лет тому назад затонула баржа с кирпичом, сломала течение за собой и — народила целый остров песков против Саратова, десятки километров, раздвоивших Волгу на два рукава. Движение вод непостоянно, оно переходит от малого расхода к большому, от меженей до половодий, — но, раз пустившись в путь, подчиненная своей собственной тяжести и только ею двигаемая, вода чинит свое движение безостановочно. Инженеры-гидравлики знают силу воды — и они знают, что с этими силами можно бороться — никак не нарушая, никак не противореча им, но — координируя их.

Профессор Пимен Сергеевич Полетика ехал из Ленинграда на строительство новой реки.

Строительство раскинулось на несколько губерний. Под Коломною, ниже слияния рек Оки и Москвы, стро-

ился монолит, подпиравший и отбрасывающий назад окские и москворецкие воды. Одновременно с этим рылся канал под Москвою, соединяющий реки Москву и Клязьму. От Щелкова на Клязьме до Нижнего приготавливалось новое русло. Строительство имело целью создать реку, путь течения которой проходил бы от Коломны к Москве вспять по прежнему руслу Москвы-реки, каналом под Москвою до Клязьмы и от Москвы до Нижнего клязьминским руслом.

Профессор Полетика, инициатор строительства, ехал в Коломну.

В Москве он задержался на день, — надобно было побывать в Госплане, в ВСНХ, в Мосгубземотделе, в учреждениях, которые профессор называл строительными конторами. Профессор Полетика пребывал в старости, медленен, строг и сутул, старик строгих и старых правил, человек необыкновенной для революции судьбы. Ученый с европейским именем, большой теоретик, большой практик и строитель, Пимен Сергеевич Полетика с тысяча девятьсот третьего года, с дней съезда, расколовшего русских марксистов, принял теорию диалектического материализма в большевистском ее толке. С тысяча девятьсот семнадцатого в Россию пришла та справедливость, философию которой профессор принял в молодости, ему ничего не приходилось перестраивать. В двадцать четвертом году, как и в четырнадцатом, профессор писал по старой орфографии и лекции свои начинал словами: — «Уважаемые граждане, будучи марксистом...» — Очень немного имен, два-три десятка на всю Россию, сумели в двадцать четвертом остаться такими же, какими были они в четырнадцатом: это право до революции в среде не знавших этих людей они обрели своими делами, давшими им имена, поднявшими их над распрями имперских русских лет, — в среде ж людей, которые их знали, право это укреплялось человеческими их достоинствами, оказавшимися обязательными для всяческих лет, революция подтвердила их права. Профессор Полетика, старик, старчески и профессорски чудаковатый, никогда не ездил на автомобилях и всегда выходил из дома в сюртуке, этот ученый, медлительность почитавший одним из основных успехов прогресса и отдавший в двадцать пятом году в Ленинский институт толстую пачку писем Ленина. Студенты и инженеры че-

тырнадцатого года относились к профессору с тем же почтением, что студенты и инженеры двадцать четвертого.

Индустриальное строительство, волею которого были окрашены русские годы, начиная с девятьсот двадцать шестого, воплощали в жизнь многие проекты строителя Полетики, он стал во главе многих строительств. Ему много приходилось разъезжать по России, но из Ленинграда в Павловск Пимен Сергеевич собирался так же, как в Нью-Йорк.

В Москву Пимен Сергеевич приехал ленинградским скорым, с утра, — проехал на извозчике в Большую Московскую гостиницу, где останавливался всегда, с дней своего студенчества, и где знали его по имени-отчеству. В девятьсот двадцать девятом году Большая Московская называлась Гранд-отелем. Пимен Сергеевич позавтракал яичницей, стаканом молока, — и поехал на том же извозчике, что привез его с вокзала и с которым разговаривал он по дороге о ножницах овса и мануфактуры, — по делам в Госплан, в Наркомзем, в Мозо. В Мозо Пимен Сергеевич узнал, что на строительстве монолита работает инженер Эдгар Иванович Ласло, — Пимен Сергеевич помрачнел, услыхав об этом, брови его строго защетинились: с инженером Ласло четырнадцать лет тому назад ушла от Пимена Сергеевича его жена.

С этого разговора в Мозо началась цепь вещей, развернувшая эту повесть.

Из Мозо, который находился на Садово-Триумфальной, в доме прежней губернской земской управы, извозчик повез профессора переулками — Воротниковским, Пименовским, — и второй раз вспоминал Пимен Сергеевич о своей жене законом повторности явлений.

Двадцать пять лет тому назад Пимен Сергеевич, только что окончивший институт безусый инженер, венчался в церкви Старого Пимена. Тогда была молодость и все было впереди. В тот день, молодым инженером, не веруя в Господа Бога, все же торжественно стоял молодой этот инженер перед алтарем и перед любовью к невесте, священною, как всякая чистая любовь. Через одиннадцать лет после того дня жена ушла от Пимена Сергеевича и увела детей, оставив раздумья о человеческом достоинстве. С тех пор, со дня свадьбы, профессор не был ни в этой церкви, ни в этом переулке.

Профессор приказал остановиться около церкви Старого Пимена. На воротах в церковный двор висела вывеска:

«Аукцион при московских ломбардах».

Пимен Сергеевич прошел в церковный двор. У паперти толпились люди, на деревьях кричали вороны. Кацавейки, подтянутые кушаками, и платки на паперти, явные люди смоленского, сухаревского и таганского рынков, скучали, степенны и деловиты. В стороне от чуек стояли двое, очень похожие друг на друга, не то мастеровые, не то интеллигенты, странно одетые люди, примерно так же, как персонажи Островского — в лаковых сапогах, в картузах с лаковыми козырьками и в черных длиннополых сюртуках. Пимен Сергеевич, сам всегда носивший сюртук, глянул удивленно на их сюртуки. Старший сказал профессору, подделываясь под прасолов [1]:

— Начнут в четыре часа. Если касательно красного дерева, ничего особенного нет. Имеется один шкафчик буль. Пройдите, посмотрите сами. Если надо, можем собрать гарнитур.

Пимен Сергеевич ничего не понял, поблагодарил, сердито дернув шляпу, и прошел в церковь. Церковь походила на склад вещей, уцелевших от пожара. У стен валялись шкафы, гардеробы, диваны, много швейных машин. Иконы исчезли со стен, замазанных наскоро известкой, алтарь уничтожился, но росписи в алтаре остались. Стены лепились объявлениями и плакатами. — «В борьбе за мир крепите оборону Советского Союза!» — плиты пола заросли ошметками грязи. Перед ступенями, оставшимися от алтаря, стояли скамейки для торгующихся, как в уездных театрах, сам же алтарь исчезал под буфетами и гардеробами, и над ними, на высоте трех человеческих ростов, на двух гардеробах, на обеденном столе стоял столик с молотком и стулик для аукциониста. Людей в церкви, то есть в ломбарде, собралось немного, они не снимали шапок, деловито осматривали вещи и громко обсуждали цены, с которых начнется аукцион, вывешенные на гардеробах, кроватях и креслах вместе с номерками этих кресел, диванов и

---

[1] П р а с о л — оптовый скупщик скота и разных припасов (обычно мяса, рыбы) для перепродажи (*устар.*).

швейных машин. Сумеречный свет падал через решетки и пыль церковных окон. Профессор, следуя примеру остальных, ненужно пошел от вещи к вещи. Здесь продавали с аукциона невыкупленное в ломбарде, — продавали нищету, всячески случайную. Ситцевыми пуфами, никелированными кроватями и липовыми обеденными столами читалась история русской бедности. Покупатели, которые пришли на аукцион, были торговцами, — то есть прежние владельцы вещей не имели тех бесценков, за которые уходило их нищенство. В ломбарде сырело, серо и никак не свято.

Прыщавый юноша в шляпе, распахнув пальто и положив пальцы в карманы жилета, забравшись на гардероб, бодро крикнул со стола на гардеробах, стукнув молотком, стандартным речитативом:

— Аукцион начинается! Номер первый. Осмотрено?! — Двадцать! — Кто больше?! — Раз!

Покупатели сели на скамьи, законсервировав лица в строгую безразличность.

— Два!

— Двадцать один! — безразлично крикнула чуйка с задней скамьи.

— Двадцать один слева, — кто больше!? — Раз! — бодро крикнул прыщавый щеголь. — Два!

Профессор вышел из церкви. Вороны полошились на деревьях. Сумерки наступали тихи и ясны. Компания актеров шла по деревянным доскам двора, заменявшим тротуар, — должно быть, обедать в артистический трактирчик, поместившийся за Старым Пименом. Актеры шли гуськом и хохотали. Неправильно получивший извозчик громко укорял актеров.

— Разве я вам не рассказывал разговора в трамвае? — говорил актер, шедший впереди. — В трамваях висят антиалкогольные плакаты, на одном из них написано: — «Первую рюмку берешь ты, а вторая хватает тебя!» — Я ехал в траме, рядом сидел мастеровой, он прочитал плакат раз, два, завздыхал, задумался и сердечно сказал мне: — «Хорошо бы так, — сказал мастеровой, — я бы в деревне при таких делах третий дом поставил бы, — а то пьешь, пьешь ее, окаянную, целую телушку пропьешь, пока она тебя, стерва, схватит!» —

Актеры расхохотались вновь. Профессор подошел к своему извозчику.

Двадцать пять лет тому назад молодой инженер подъезжал в карете к этим самым воротам и ждал у паперти невесту, чуть-чуть из озорства решив венчаться в церкви своего имени. Тогда отцветал май, в час венчания наступали сумерки, и так же кричали вороны на этих же самых деревьях — души разрушения. Молодой инженер знал тогда и честь, и долг, и счастье, и бодрую тяжесть взятого себе в руки на всю жизнь — любви, — и любовь у профессора Полетики была на всю жизнь единственной. Как человеческий труд, так и воля, и честь человеческие всегда борются с голой природой, — борются тою же самой природой, природой организуя природу, труд, честь, долг. Ничто не выпадает из цепи зависимостей. Пимен Сергеевич знал истину, истинную для него и всегда подтверждавшуюся в его жизни, — что человек всегда отплачивает человеку тем же, как платит человек. Стоит быть благородным с неблагородным, — и этот неблагородный постремится быть честным не только в делах, но и в помыслах, — и наоборот: — примите благороднейшего с поправкой на мерзавца, — он ответит мерзавцем. Профессор Полетика был естественником, — правило человека — быть благородным — он считал необходимым не только в плане морали, так скажем, высшей, — но и просто выгодной для человека, ибо быть благородным человеку — и удобней, и выгодней, и разумней, — разум же человеческий Пимен Сергеевич почитал превыше всего. Отклонение от норм благородства профессор считал патологией. Таким отклонением было его расхождение с женой, — или другие причины были решающими здесь? — биология, то неосознанное, подсознательное в человеке, оставшееся от зверя, инстинкты, кровь, наследственность? — но Пимен Сергеевич считал все это темным в человеке и человека недостойным. Жена пришла чистой женщиной, тихой девушкой, ограничившей мир шиллеровской и тургеневской романтикой. Карие глаза ее светлели — как голубое русское небо. И на пороге второго супружеского десятилетия, счастливого и действенного, как казалось Пимену Сергеевичу, ибо все ладилось в семье, спорился труд мужа, строилась его слава, росли хорошие дети, — жена ушла от мужа, сошлась со студентом, с репетитором сына, ушед, увела с собою детей. Это произошло в девятьсот четырнадцатом. Профессор запер опустевшие комнаты жены и детей, — и революция прошла этими

замороженными комнатами, не входя в рабочий кабинет профессора, где Пимен Сергеевич оставался в одиночестве со своими лекциями, проектами, чертежами, формулами — один со своим трудом. С девятьсот семнадцатого Пимену Сергеевичу ничего не приходилось перестраивать, и судьба предоставила ему решать вопросы его личных дел, собственного достоинства, жизни и смерти, — тех вопросов, которые должен решить каждый, когда полки лет начинают давить на плечи, и которые каждый человек должен решить по-своему. Студент Ласло пошел стопами Пимена Сергеевича, стал инженером, изредка сталкивала их общая работа, они навсегда были незнакомы. Старший сын Пимена Сергеевича в девятнадцатом году погиб, убитый на фронте гражданской войны. Вестей от жены не приходило. В Мозо Пимен Сергеевич узнал, что Ласло работает на строительстве монолита. Мысли вернулись к отошедшему, закопались в десятилетии, засоренные временем. Мысли строились невесело.

Извозчик выехал на Тверскую. Солнце уходило в закат. Пребывал час, когда служилое сословие, расположенное в Москве военным положением, возвращалось со служб. Дворники поливали улицы водою. Если бы наркоматы, синдикаты, тресты и прочие многие служилые заведения ввели в те времена в Москве форму для своих тарифо-сеточников, — Тверская в тот час заполнена была б униформами, как плакатами, вне зависимости от пола и возраста. Служилое сословие лезло в трамваи и автобусы, рявкало автомобилями, черными ротами лилось по тротуарам и спортивными трусиками, рысцой бежало по мостовым около тротуаров, — змеями очередей вставало в хвосты у магазинов за хлебом, за колбасой, за водкой, за слоеными пирожками с капустой и за билетами в кино. Пимен Сергеевич не любил служилого сословия, плакаты ж приводили его в беспокойство, пугая. Страстная площадь взвывала плакатами кинематографа, ионовского Дома книги, РИ, «Вечерней Москвы», «Известий». Памятник Пушкина безмолвствовал. Тверская от Страстной до Советской походила на Пекин, на китайский город, где не видно неба за матерчатыми вывесками, — афиши издательств, журналов, театров, кино, лотерей висели через улицу, загораживая небо.

Лишь над площадью губисполкома меркнуло небо, тихо уходил июльски-уставший золотой день.

Расплачиваясь, профессор спросил извозчика:

— Ну, как же, братец, — что ты скажешь в конце концов про жизнь? — голомяна? — Пимен Сергеевич повторил словцо, подслушанное у извозчика.

— Голомяна, — ответил извозчик. — Конечно, если смотреть без очков, — а то в очках ни пиля не увидишь!

— Нет, ты не прав, братец, — сказал ворчливо профессор, — жизнь никогда не может быть плохой, не должна.

В ресторане Большой Московской гостиницы играл оркестр, за накрахмаленными столиками сидели иностранцы, журналисты и прожектеры, понаехавшие в Москву на зуб пробовать строительство социализма в Союзе Республик. Полетика заказал себе у безразличного лакея, называвшего профессора по имени-отчеству, сухарей, молочного супа.

Повторность явлений всегда необычна, Пимен Сергеевич думал о церкви Старого Пимена: ожидая пищи, он потребовал к себе посыльного и, со своею запиской, послал его на Никольскую к букинисту Михайлову купить Четьи-Минеи, где записано житие святого Пимена.

Оркестр благозвучал фокстротами, бывшими в запрещении в те российские годы. Иностранцы из обеда делали каждый день ресторанные развлечения, превратив старинный русский трактир, знаменитый своими селянками и расстегаями, в европейско-американский «палас». Мужчины-иностранцы покойствовали в серых костюмах туристов, женщины — в бальных нарядах. Белые лакеи величествовали поспешной медлительностью. Пимен Сергеевич осматривал сытых людей, ему казалось, что он видел злодеяния и боли, которые должны твориться и творились за этими накрахмаленными столиками в живых цветах, — почему думал Пимен Сергеевич о злодеяниях, он не знал.

Столик иностранцев англо-американского типа говорил по-французски и по команде хохотал, — острил человек, сидевший спиной к Пимену Сергеевичу. Пимен Сергеевич расслышал: — «Донбасс, mal, malheur», — перевел на русский — «зло, несчастие». — Остривший оглянулся, — Пимен Сергеевич узнал инженера Полто-

рака. Полетика вспомнил его имя — Евгений Евгеньевич. Полторак оглянулся еще раз — его столик притих. Тогда Полторак поднялся и пошел к Пимену Сергеевичу, — иностранцы провожали его глазами, рассматривали русского ученого и, встретившись с Пименом Сергеевичем взорами, поклонились ему. Инженер Полторак, здороваясь, протянул Пимену Сергеевичу обе руки.

— Вы в единственном числе, профессор, — мои друзья, иностранные инженеры, зная вашу славу, были бы польщены, если бы вы пересели к нам, — сказал Полторак.

Профессор лениво поклонился иностранцам и ответил инженеру:

— Благодарствуйте, поблагодарите их. Я устал, а кроме того, я питаюсь молоком и гренками.

— Да, да, я что-то слыхал о вашем нездоровье, — какое несчастье для России, — сказал инженер Полторак и присел к профессору. — Вы сегодня едете на стройку? Я тоже туда еду по делам ГЭТа.

Костюмом Полторак походил на иностранца, но скулы его славянствовали. Синий его жакет шился не только для глаза посторонних, но и для барственного покойствия владельца. Пробор Полторака блестел помадой. На указательном пальце его блестел бриллиант в старинной оправе. Именно на этом кольце задержал свое внимание профессор Полетика, и только потом глянул на совершенно вежливое лицо инженера. Глаза Полторака смотрели действенно, умны и точны, — «и все же такие, которых не следовало бы иметь порядочному человеку», — подумал профессор. — Он правильно их прячет за бриллиантами».

Инженер Полторак был очень холен, — и профессор вспомнил, что больше всего поражали его в инженере — зубы, обезображенные золотом, тщательно ухоженным. Этот человек всегда встречался во всех строительных комиссиях, служа сразу в десятке хозяйственных правительственных учреждений.

Инженер заговорил.

Пимен Сергеевич сидел против него — громадный старик, седоволосый и волосатый, ворчливолицый, в понурых очках, в старомодном сюртуке с белым бантом из-под бороды.

— Вы, конечно, знаете об этом, мы сейчас острили, — оказывается, в Донбассе не хватает воды, не хватает уже теперь. Это один из могущественнейших наших промышленных центров, — да вы знаете лучше меня, — в Сталинграде строится тракторный завод, который будет выпускать, если в году триста рабочих дней, каждый день по сто тридцать три трактора, — да вы знаете лучше меня колоссальное значение Донбасса. И вот оказывается, вопреки всем проектам и планам, Донбасс превращается в пустыню, Донбасс обезвожен, там не хватает воды не только для производства, но и для людей и для всего подсобного. И я рисую себе картину, как зловеще на Донбасс надвигается безводье, как изнывают заводы и их заносит песком, все выжжено солнцем, заводы задыхаются и кричат, задыхаясь своими домнами, — пить, пить!

— Ну, положим, — сказал профессор и глянул строго в щель между очков и лохматых бровей.

— Вы, кажется, разрабатываете проект обводнения Донбасса? — расскажите!

— Мер очень много, — ответил строго профессор и пожевал губами. — Со временем я их опубликую.

— А я все по-прежнему в ста комиссиях, — сказал иронически инженер и быстро спросил: — А вы надолго в Коломну? — Колоссальный проект! — И перебил себя: — Вы не обращали внимания, Пимен Сергеевич, на то, что все строительства всегда на крови, как и всякая живая жизнь, впрочем. Мы, люди, родились в крови и умираем, потому что остановилась кровь. Человеческая любовь начинается и кончается кровью. Я не знаю ни одного строительства, где не было бы крови, — строят дома — сорвался со стропил рабочий, построили завод — машины измололи мастера, ведут дорогу — поезд свалился под откос, роют канал — прорвалась плотина затопило рабочих. Это мистично, но это факт, — все на крови. Кругом — кровь и кровь. И красное — кровавое — знамя революций есть символ кровавых рождений. Когда же исчезнет кровь, тогда Донбасс будет занесен безводными песками. На вашем строительстве еще не было крови? — тихо спросил Полторак и смолк.

— У меня сегодня день повторности явлений, — удивленно сказал Полетика.

— О чем вы говорите?

— Это, знаете ли, так, пустяки.

— А крови на вашем строительстве еще не было?

— Нет, не было, — ответил Полетика.

— Будет, будет! — воскликнул Полторак, и зубы его, обезображенные золотом, этим золотом злобно блеснули. На секунду он стал очень серьезен, глаза примерились, точно он стрелял в цель, и он сказал деловито: — Вы не хотите сегодня познакомиться с моими коллегами. А это было бы интересно для обеих сторон. Разрешите откланяться. До завтра, в Коломне.

Инженер Полторак всегда выглядел тщательно-чистым, крепкий человек, — и он всегда вызывал у профессора Полетики ощущение грязной липкости.

Полторак встал и пошел к своему столику. Иностранцы поклонились Полетике. Лакей принес поджаренную булку и молочный суп. Профессор, строго оглядевшись вокруг, прикрыл салфеткой бороду, повязавшись сзади, как повязываются дети, — и стал медленно и сердито есть, — и стало понятно, что сердитость Пимена Сергеевича очень добра.

Мысли о надвигающейся на Европейскую Россию пустыне принадлежали Пимену Сергеевичу, его раздумий никто не знал, кроме двух-трех соработников и учеников, — Полторак заговорил его словами, — Пимен Сергеевич отнес это за счет повторности явлений.

Пребывал профессор в этом зале иностранцев и русских, подделывающихся под европейцев, явлением чужеродным. Гремел с хоров оркестр. Электричество загорелось очень просторно в этом белом зале.

Посыльный принес Минеи святых за месяц август и молвил, получая за труды:

— Этих самых святых Пименов, оказывается, почитай с десяток, а то и больше. Всех не нашлось. Вам позвонят.

Часы до поезда Пимен Сергеевич провел у себя в номере за Четьи-Минеями, листал их так же внимательно, как перелистал за свой век десятки, сотни тысяч математических страниц английских, немецких, французских, русских книг строительства и математики чистой, той, которая бесконечна и упирается в непознанное человеком, давая право человеку расчетом звезд строить каналы и новые реки, заводские машины

и различать атомы. За книгами Пимен Сергеевич не походил на старика.

Однажды к профессору звонил телефон.

— Товарищ профессор Полетика? — Здравствуйте, Пимен Сергеевич. Говорит антиквар Михайлов. Я к вам послал Минеи за август, других пока не нашлось, дошлю, как достану. Пока имею сообщить о нескольких святых православной церкви Пименах. Первый. Преподобный палестинский, подвизался в пустыне Руве при Маврикии. Пятьсот восемьдесят второй — шестьсот второй годы. Память двадцать седьмого августа. Второй. Пимен Великий. Умер в четыреста пятидесятом году. Египетский авва. Сподвижник Паисия Великого и Иоанна Конова. Постоянно плакал о грехах своих и других людей. Своими назидательными речами имел большое влияние на окружающее его общество. Третий и четвертый. Пимен многоболезненный и Пимен преподобный, киево-печерские иноки. Мощи их почивают в Антониевой пещере. Последний из них был другом преподобного Кукши, имел дар пророчества. Память двадцать седьмого августа. — Пока все. Об остальном письменно сообщу на днях, и пришлю книги. Имею честь откланяться.

Букинист повесил телефонную трубку. Профессор вернулся к столу и к Минеям. Он не ясно понимал, зачем ему понадобились святые и преподобные Пимены. За Пименами возникал инженер Ласло. Навыком ученого, привыкшего к книгам, Пимен Сергеевич положил в свою память издателя — Киево-Печерскую лавру. Киев был родиной Пимена Сергеевича, гимназистом он часто бегал в страх качающихся во мраке свечей и лампад и в сырую прохладу пещер над Днепром, где в раках лежали нестрашные трупы святых, мощи. Сырость пещер напомнила светлый простор петербургской квартиры, коридора, порога, за которым Пимен Сергеевич простился с Ольгой.

Профессор Полетика читал славянскую вязь:

> «Что тя ныне, Пимене, именуем; монахов образ, и исцелений самодеятеля, воздержания ранами страсти уязвиша душевныя, гражданина ангелов и собеседника, вышния метрополии жителя, добродетелей со-

сед, и благочестивых утверждения. Моли спастися душам нашим».

«Светильник рассуждения быв, озаряя души приступающия к тебе с верою, и стязю жизни показуя тем, мудре. Тем же тя хвалами ублажаем, совершающе сотое твое торжество, Пимене, отцов похвало, постников удобрение. Моли спастися душам нашим».

На обложке тисненого черного переплета Миней было распятие Христа.

Профессор отложил в сторону книгу, похлопал по ней пальцами. Детство, печерские пещеры, церковь Старого Пимена, жена, супружество, десятилетие революции, ломбард у Старого Пимена, — эти Минеи были наивны, дряхлы и — мертвы, никогда жизнь не вернется к ним, эта река человеческого духа — умерла, с христианством покончено. Там поистине все было на крови, пусть эта кровь превратилась в России в плохой кавказский кагор и в ситные опресноки. Двадцать пять лет тому назад мораль тех лет благословила любовь профессора, и в буфете в ломбарде продаются теперь простокваша и пирожные, — весну ж профессора, строителя Полетики сменил Ласло, но труд профессор отдал социализму. Полу, любви, крови — каждый человек многое отдает в своей жизни. На аукционе в ломбарде продаются швейные машинки и буфеты сухаревского модерна, их маклачат чуйки. Одно непреложно навсегда — человек должен быть честен, правдив и чист, «добродетелей сосед», — иначе — гибель, — и каждый должен иметь свою честь. Святые Пимены, мертвецы, не стали образом. В Антониевой пещере, в Киево-Печерской лавре холодно, темно, страшно, — мальчику Полетике в пещерах всегда становилось беспомощно, все делалось ненужным, — там горели лампадки и свечи, упиравшиеся в вечность, и свечи подтверждали страх и ненужность — всего, начиная с этих пещер: так бывает в жизни, когда все становится ненужным, — это — болезнь, смерть. Профессор Полетика вечность заменил бодростью и строительством. Академик Лазарев, вкапываясь в физические законы человеческой жизни, строя физические фундаменты человеческому бессмертию, установил, что самая высокая острота восприятий у человека — в двадцать лет, —

пусть так: взятое к двадцати годам, человек сопоставляет всю жизнь, — и сопоставлять надо честно — во имя физических законов и строительства человеческой жизни.

Пимен Сергеевич стряхнул с мозгов мысли о прошлом. На память пришел Полторак. За холодом пещер стал зной пустынь. И за пустынями стала Россия, СССР, социалистическое строительство.

Пимен Сергеевич подошел к окну. Земля стемнела. Кремль уходил своими башнями в небесный мрак, звезды в небе светили июльски-усталы, над зданием ЦИКа горел красный огонь. Под Кремлем лежала Москва тысяча девятьсот двадцать девятого года, колоссальных дел и замыслов, колоссального мужества и колоссальной напряженности. Всячески напряженная, до судорог, Москва, как весь СССР, шла солдатским шагом военного похода — в социализм, чтобы победить. История в те годы не шла, но бежала, не текла, но строилась, как строилась вся Россия. На самом деле, если б была введена униформа цехов строителей, Россия ходила б армиями. И на самом деле Москва жила в тот год бытом военного лагеря, в серых и героических буднях, как солдатская шинель, в героических приказах осадного положения, не допускающих возражений, в крепостном — и не страшном — продовольствии очередей. В крепость превратился город, бывший невоенным, в городе остались старики, дети, ненужные походу истории, повисшие на ней. Город жил переуплотнением крепости. Как всегда в крепостях и в походах, из-за глетчеров и глетчерных воль, которые идут и ведут историю, — из-за глетчеров, из них, из-под них ползли сырости и плесени недовольств, неверия, усталости, предательства, грязи, хлипи, зловония, потому что отбросы из крепостей некуда вывозить. И, как часто в крепостях, именно отбросы больше всего говорили о войне. Все было понятным. Именно так должны строиться истории, когда они — строятся. Отбросы надо забыть. Надо строить новые дороги в небывшее, чтобы по этим дорогам пошла жизнь, людей в историю надо гнать, ибо все разумное — действительно. Щебни истории надо закапывать в геологию, как щебни строительства.

Город и Кремль уходили в тот час во мрак неба, над зданием ЦИКа горел красный огонь знамени. В Кремле, в Китай-городе, на улице Первого мая, бывшей Мясницкой, пустели в тот час стеклянные кабинеты учреждений, двигающих историю в социализм. Человечья Москва перелилась в тесноту домов, в театры, в кино, в цирки, в парки, в трактиры, в пивные, не очень думая о войне и толкуя — о Кабуки, о Горьком, о КВЖД, а также о сетках жалований, о свиданиях с Марьями Ивановнами, о сокращениях, о сегодняшней «Вечерке». — Пусть так. — Пимен Сергеевич думал о своей работе. Через несколько месяцев под Москвою потечет, новая, молодая река, взявшая в себя окские воды.

Он, профессор Пимен Полетика, своим трудом и знанием, вместе с волей революции, идущей в социализм, силою и трудом рабочих создал проект этой молодой реки. И это было боем за социализм, так, как понимал социализм профессор Полетика, когда человеческий труд, волею своею перестраивая реки, этими реками смывает крепостные отбросы и строит новые, трудовые отношения. Река вместе с историей будет глетчером светлых вод и должна размыть и тесноту военных лагерей, и усталости недовольств, и время, — ибо человеческое долголетие создают не только академики Лазаревы, Вороновы, Штейнахи, но и освобожденный труд, освобождающий от себя человека для раздумий, разумий и досугов.

И Пимен Сергеевич увидел через мрак — теми глазами, которые есть у художников, когда художники умеют видеть не только то, что есть, но и то, что они хотят видеть:

— весенняя ночь, река, простор реки, огни на воде, морские пароходы под Москвою, гранитные дамбы. — Над водою всегда по-особенному разносятся звуки, точно они влажнеют, — профессор услыхал девичий смех с реки, влажный и молодой, смех комсомолки-дочери. Смех навсегда останется счастьем человечества вместе с молодостью. Но смех пояснел, Пимен Сергеевич узнал его, — это был смех Ольги, тогда, двадцать пять лет назад. В тысяча девятьсот двадцать девятом году в России мало смеялись, строительствуя. Да, да, — и, если смех есть счастье человечества, то в напряжении собранные мышцы на лбу — есть гордость человечества. Лохматые брови профессора собрались в строгость.

Профессор зазвонил за счетом.

Профессор записал в записную книжку:

«К проекту борьбы с пустынями. Расчет смываемых полыми водами гумусов, процент сбрасываемости их в моря».

Поезд профессора Полетики уходил в десять сорок пять.

На вокзале, в кислых запахах и в белесом свете, как всегда, суматошились люди. За газовыми огнями фонарей рельсы уползали в теплый мрак шарить темные российские пространства. Со шпал дул ветер, поиюльски сухой. Пространства пребывали в убогости, отступая от средневековья. Поезд оказался местным, пригородные люди тащили в вагоны свою бедность.

На перроне в толпе видел профессор Полетика Евгения Евгеньевича Полторака, его форменную фуражку и плечи кожаного пальто. Полторак спрятал глаза от профессора в толпу за людские затылки, — глаза Полторака глянули очень внимательно, презрительно, — так показалось профессору. Инженер Полторак уходил за толпу с нарядной женщиной, и профессор не знал, где сел в поезд Евгений Евгеньевич.

А в вагоне на скамейке против Полетики оказались те два маклака, которых видел Пимен Сергеевич сегодня у Старого Пимена, что поражали длиннополыми своими сюртуками и черные фуражки которых походили на лаковоклювых ворон, душ разрушения.

Старший поклонился профессору и молвил почтительно:

— Кажется, изволили видеться нынче в Пименовском на аукционе?

Пимен Сергеевич не ответил, в неловкости стечения явлений сделав вид, что не слышал соседа. И соседи забыли о профессоре. Поезд пошел шарить просторы рельс. Зарево Москвы погибло очень быстро. Поля легли перевобытностью и тишиной, и тишина вселилась в вагон. Люди рассовывали под головы свои узелочки бедностей и засыпали. В вагоне захрапело, запахло спящими людьми, сапожной кожей и свежею гарью. Свечи в тусклых фонарях превращали вагон в конские денники. Пимен Сергеевич приладил было к столу свечу, чтобы читать, — но пришел кондуктор, постоял раздум-

чиво и приказал свечу потушить, объяснил, что свечи в неурочном месте зажигать не дозволено, — Пимен Сергеевич возразил было, сославшись на вагонный мрак, — кондуктор разъяснил снова и не спеша:

— Вагоны сделаны не для того, чтобы читать, а чтобы ездить. Тушите во избежание штрафа.

Поезд волочил время российскими весями, останавливая его станциями. Полетика дремал, подложив подушку под голову. Его спутники бодрствовали, эти два брата явно ярославско-славянского происхождения. Спутники сняли свои картузы, оказались оба причесанными на прямой пробор. Всю дорогу они пили коньяк, обмениваясь редкими репликами. Примерно через каждые полчаса старший открывал серебряный поставец, выпивал сначала сам, затем наливал брату, брат пил, — старший убирал поставец и бутылку в чемодан, — младший спрашивал:

— Бисер брать будем?

— Обязательно, — отвечал старший.

Полчаса они молчали, пили вновь, младший спрашивал:

— Фарфор брать будем?

— Обязательно, — отвечал старший.

Еще через полчаса младший спрашивал вновь:

— Так называемые русские гобелены брать будем?

— Обязательно.

Поезд волочил ночь, останавливая время огнями — красный, желтый, зеленый — и криками станций. Вагон мирно храпел в священнодействии ночи. За окнами пылил небом сухонький месяц. Июль разводил душную пыль. Сбрасывалась назад, за окнами, избяная деревенская матушка-Русь — поля, перелески, болота, бронницкие и коломенские земли, деревенские авосьные проселки. Поезд, несмотря на росную сухость месяца, вздымал за своими шумами на шпалах пыльные вихри, погрохатывая эхом.

В полусне Пимен Сергеевич думал о том, что там, где при Тамерлане цвели сады и поля, — там теперь пустыня, песок, зной, камень, — что татары, бывшие в России на коломенских этих землях, приходили в Арало-Каспийские степи вестниками — не только истребления, но и монгольских песков, — пустыня Аравии некогда была богатейшим и цветущим государством

культуры, наук, религии, — красные пески Египта так же цвели некогда, — а татары? Пять веков назад, на исторической памяти России, совсем недавно, на низовьях Волги стояли богатейшие города татар, о них писали арабские и генуезские ученые и нормандские купцы, — ныне эти города потеряли в песках даже следы свои, — безводный зной песков надвинулся на Поволжье до Нижнего, на Донбасс, на Кубань, — пески, зной, смерть, сделавшие лица татар желтыми и сухими, как пески.

— Позднее Александра брать не будем? — спросил младший.

Старший брат ответил:

— Невозможно.

Поезд пришел в Коломну за час до рассвета, когда ночь запылилась и похолодала зеленым востоком. Строительство, место боя за социализм, легло кругом огнями, шумами и бодростью, переделывавшими все, вплоть до воздуха, — но станция пребывала еще в тылах и заброшенности. После вагона стало бодро. Полетику встречал инженер Садыков.

На перроне сошлись — и Полторак со своей спутницей, и Полетика, и маклаки. Кругом за шпалами горели берёдливые огни строительства, но за папертью станции, за станционными стройками к городу пустая площадь проваливала во мрак самый город. Там лаяли древние собаки. В темноте на площади фыркали лошади, и ночь от города пахла конским потом.

Полторак сказал:

— Вы тоже с этим поездом? Жаль, что в разных вагонах. Вы не знакомы? Надежда Антоновна Саранцева, артистка. А, и вы здесь, рыцари старины? Это мои друзья и поставщики — краснодеревщики-реставраторы, Павел и Степан Федоровичи Бездетовы.

И крикнул во мрак, не ожидая ответов:

— Эй, извозчик!

Инженер Садыков, встречавший профессора, знобивший после бессонной ночи, заботливо поддерживал Пимена Сергеевича. Скулы Садыкова землели, и плечи сутулились. Приезд профессора на строительство был событием. Инженер Садыков, инженер от станка, как шутили о нем, научился уважать знание, собранное в этом старике. Старик шел бодро, маршал на месте сражения, никому не отдавая своего чемодана. Садыков

докладывал сухо, как рапорты. За шпалами ждала автодрезина, и автодрезина пошла темнотою, особенно черной перед огнями строительства. Из-за темноты, в которой рыскала узкоколейка автодрезины, долетали лязги ночных работ. Дрезина вошла в фонари, прошла между тяжестями складов и стала у бараков под земляными рвами, ветер, дувший в дрезину, остановился вместе с нею. Садыков пошел вперед, по насыпи, около рвов развороченной земли, в траншеях цементных бочек, кирпича, леса, бута, вырезанных и срезанных огнями фонарей, — шли окопами боя, где гранит и бетон противопоставлялись природе, где взяты были железом и человеческим трудом под уздцы земля, реки и леса. Циклопический монолит уходил цепью фонарей в километры за Оку.

Профессора ждала мягкая кровать, свеча на ночном столике, последний номер журнала «Строительство», — на полу под кроватью чуть заметно обывательствовал ночной горшок. Садыков откланялся. В комнате с открытыми окнами шелестело июльскою ночью и сторожкой тишиной новых строек, где тишина пахнет сосною. За окном посвистывали паровозики Домкара, сопели небывалыми болотными птицами землечерпательные снаряды, под самыми окнами пересвистывались ночные сторожа, подчеркивая тишину и ночь. Электричество всегда бодро. Дом для приезжающих спал в электрическом свете. Коридор в плакатах и тишине хранил сосновые запахи. За стенами спали шведы, немцы и американцы, приехавшие на строительство работать и собирать машины.

Пимен Сергеевич не сразу лег в постель. Из потрепанного своего чемоданчика он вынимал толстую клеенчатую тетрадь, с красным обрезом, такую, которые называются «общими» и бывают у школьников, и профессор вписывал в нее математические формулы, за которыми скрывались мысли о зное песков.

...Древнейшие русские земли, Поочье, Ока, Москва, — рязанский край, старая татарская, старая московская и разбойничья дороги, — история России от муромы, мери, рязани, мещеры, от удельных времен до железных дорог — памятник защиты от крымских набегов и смутных лет казака Ивана Заруцкого, после-

днего мужа Марины Мнишек, женщины, потерявшей смерть, — экспедиции полковника Римана, — а до этого, до России, — сарматы, аланы, финны, скифы, каменный и бронзовый века. Пейзаж искони русский: река Москва полями вливается в Оку, над Окою холмистые берега, заросшие соснами, щуровскими и чернореченскими лесами, — пейзаж понур — поля, холмы, дерево, трава, камень, пески, валуны, былинные окские воды, юрские эпохи. В черноречонских лесах — пожары, болота, волки. — Летом, в белые по июню безнебные ночи было три года тому назад, здесь: сливались две реки, безмолвствовал превращенный в артсклад Голутвин монастырь, дымил Коломенский завод, умирала Коломна, русский Брюгге, начавшая умирать с дней, когда пролегла Казанка, — были шпалы Казанки, мосты через Оку и Москву, сосны, песок, небо, песни крестьян из Выселок и Бобренева, где женщины сажали картошку, косили луга и пасли скотину, а мужчины ходили обивать железо на Коломенском машиностроительном заводе.

В этом месте страна давала бой старой России, Расее, Руси — за социализм.

Три года тому назад, в июне, пришли на луга сюда люди, мерили и бурили землю, всматривались в пространство и в будущее, вкапывались в юрские и пермские эпохи, ходили около рек и по лугам, жгли костры, так же, поди, как некогда кочевники, — и стало известным, что дадан здесь будет бой за социализм, перестраивающий историю и геологию, — что ни Бобренева, ни Парфентьева, ни Амерева, ни Сергиевской и многих других деревень больше не будет, ибо земли их уйдут под воду. Бобреневцам надо было уходить на новые места. Мужики не соглашались до боя, — но за людьми с теодолитами пришли тысячи людей, люди свозили материалы к бою, строили дороги, форпосты, редуты, бастионы, с людьми пришли богатство, бодрость и дела, — и через год бобреневцы решали, что они, конечно, надули пришедших: пришедшие предлагали перенести и построить Бобренево заново, по-европейски, образцовым поселком, — бабы требовали, чтобы Бобренево было перенесено и поставлено — точь-в-точь, как было, и бабы отмеривали веревочками, примечая узелком широту и высоту потолков, дверей, окон, пазух, что-

бы требовать точности точь-в-точь по узелкам, — мужики ж, хитруя, пошли работать на строительство. На строительстве Бобренево прозвали — Дуракином, — Дуракино волком на четвереньках уползало в Хорошевские леса от строительства, но и село хорошево поползло за Дуракином, — а дуракинцы ж со строительства потащили домой рубли, новые аршины соображений, книги, сытость, новые разговоры о небывалых делах. — Здесь строилась молодая река, созданная не геологией, но сделанная человеком.

Москва, Ока, Поочье. Река перестраивала геологию. Река уничтожала не только деревни и историю, но и археологию. Деревни уходили на новые места. Инженеры бурили и перекапывали подпочвы. Археологи прощались с тысячелетиями. Археологи рыскали своими партиями и раскопками по десяткам квадратных километров, которые навсегда будут залиты водою, искали становища первобытного человека, городища древней мещеры, курганы, могильники, — собирали доисторию. Когда перемычки освободили окское дно, археологи искали затонувшие в водах века.

Инженеры знали, очень знали ту бодрость рождения нового, что бывает на всяком строительстве, — археологи знали бодрость прощания. В мистику рождения на крови веровать не следовало. В весях и в коломенской старине азиатская баба Россия нищенствовала очередями недостатков и умираний, — здесь на строительстве, где три года назад, как сотни лет назад, была тишина лугов, — сейчас здесь за скрежетом и шумом побед боролась за будущее новая жизнь, бодрость дела, упорный и веселый труд, разумность и богатство. Старорусские были отступали к дуракинцам. Были рассчитаны профили рек Оки, Москвы, Клязьмы, их тальвеги, ложа, их геологические основания, их живые сечения, расходы, режимы, их силы, — все то, что дает знание реки. Профили Москвы-реки, ее бьефы около городов Москвы и Коломны разнятся всего на семь метров, — то есть Москва-река под городом Москвою выше Москвы-реки под Коломной — по отношению к уровню океана — на семь метров, — а, стало быть, если подпереть Москву-реку под Коломной хотя б на восемь метров, воды Москвы-реки потекут вспять. Плотина под Коломною — монолит — строилась в двадцать пять метров, с таким расчетом, что-

бы окская вода, погнав вспять москворецкую, потекла б на Москву. Под древним городом Росчиславлем, под Коломною, под Бронницами возникали громадные озера, водохранилища новой реки, перестраивающие географию. Котлованы под монолитом обнажали речное дно, как века археологов. Археологи провожали века.

Июльский день наступил золотом дня, росою и легкими в небе облачками. Пимен Сергеевич почти не спал ночи. Аукционы Пименов остались на вчера, чтобы почерстветь. До того как войти в столовую, один, стороною и потихоньку, Пимен Сергеевич ходил к постоянному реперу осмотреть его и проверить, — у Полетики была примета, он считал первым признаком порядка работ порядок у реперов. Бетонный сторож строительства хранил луга в порядке полнейшем. Строительство будничало работами. В рабочем поселке гремели громкоговорители, оставленные с ночи.

К семи часам в столовую дома приезжающих вышел бодрый старик, строитель, делатель. Прорабы и техники в столовой, сосредоточенные люди в брезентовых сапогах до паха, молча съедали яичницу, пили кофе и уходили в бой. За домом зноем работ шипели экскаваторы. Расторопные горничные в белых халатах звенели посудой.

На стене в столовой, на доске объявлений, висели будни приказов. Профессор всегда внимательно читал эти будни, примечая, что порядок их так же существенен, как реперы. Десятитысячная армия строителей имела в себе все, что имеет в себе десятитысячное человеческое общество, от милиционера до радиовышки. Стенгазета была печатной. Пимен Сергеевич стал читать, ожидая Садыкова.

Фельетон посвящался дуракинцам. В фельетоне сообщалось, что на строительство приехал кинооператор, — фотографирует показательного прогульщика, один из показательных прогульщиков тут же был приклеен, парень лежал головою в яму, ногами и спиною вверх, спал с тросточкой в руке. Объявлялся конкурс на прогульщика. Женотдел высмеивал нарядниц. Карикатура изображала сводную физиономию инженера или техника, в фуражке с кокардой, с десятком рук, обнимающих сразу бутылку портвейна, работницу в пла-

точке, барышню в шляпке и ватерпас. Передовая писала о том, что строительство есть освобождение труда и освобождение человеческого времени, которые созидает Союз республик. На строительстве было два кино, синяя блуза, живая газета и семнадцать библиотек-передвижек, — они объявляли о себе в стенгазете. Во второй передовой разбиралось и клеймилось изнасилование работницы тремя грабарями и субботние балы техников на голутвинском вокзале. — На доске инженерских объявлений извещалось о десятке собраний десятка общественных организаций, расписание лекций, читаемых рабочим, сообщения главинжа, наряды технического бюро, извещения о новых экземплярах заграничных строительных журналов.

Пимен Сергеевич любил вдыхать этот бодрый воздух приказов напряженного труда, размеренной поспешности, указывающий, что все пахнет новым, как в этой сосновой столовой дома приезжающих, — новые стены, новые столы, новые скатерти, новая витрина с выступившей на раме золотой и клейкой смолой. Насилие работницы, чубаровщина, — было мерзостью, — глупые балы с подкрашенными машинистками на железнодорожной станции — были обывательщиной, — все это тонуло в главном, в решающем, в разумном — в строительстве.

Пимен Сергеевич ждал инженера Садыкова. Инженеры и техники разошлись, профессор остался в одиночестве. Профессор спросил у белой горничной:

— Что же это я в газете прочел, девушку негодяи... опакостили? Как же это?

— Это еще что! — строго ответила горничная и сердито звякнула тарелкой. — У нас у одного инженера жена повесилась. Мы ему покажем, что такое есть мы, женщины, раз революция нас всех уравняла!

И замолчала, не пожелав говорить, ушла за перегородку к кубу. Пимен Сергеевич плохо расслышал ее фразу, сказанную соработнице:

— Обязательно пойдем, мы ему покажем, как... Мы организованно протестовать будем!..

Федор Иванович Садыков пришел с опозданием. Горничные убирались, не обращая на Пимена Сергеевича никакого внимания, шепчась у себя за перегородкой. Садыков пришел пасмурным, деловым, усталым и

действенным, сапоги его облипли по щиколотку свежей грязью, лоб мокнул от солнца, и от козырька фуражки лоб раздвоился загаром. Этот инженер был главным инженером строительства, — и Садыков не походил на главинжа, на маршала, этот инженер от станка: главинжи, потому что им приходится командовать десятками тысяч людей, миллионами тонн гранита, десятками миллионов денег и мозгами, — люди кабинетные, огороженные секретарями и докладами, — кабинеты создают пухловатую белизну и одевают в мягкие пиджаки, — от Садыкова пахло землей, расстегнутый ворот его рубахи обнажал ключицы, походил он на мастерового, и секретари за ним не ходили. Профессор Полетика любил этого человека прямых идей и прямых действий.

Вслед инженеру Садыкову в столовую пришел инженер Полторак, приехавший из Коломны.

— Простите, я запоздал, — громко и трудно сказал Садыков. — Вчера умерла моя бывшая жена, ставшая после меня женою инженера Ласло. Она повесилась. Сегодня ее похороны. Сейчас мы перейдем в контору, вам сделают доклады, я уже всех оповестил.

Садыков сел на скамейку у стола, положил руки на стол. Солнце аккуратно обрезало фуражку на бритой его голове. Горничные перестали шуметь посудой. Солнце светило по-прежнему.

Повторности явлений! Ольга не была уже женою Ласло, — жена, Старый Пимен, ломбард у Старого Пимена, печерские пещеры, Четьи-Минеи, — все это ушло во вчера, в десятилетия, в никуда, — беспомощность антониевых пещер есть болезнь, — но собранные в напряжении мышцы на лбу есть гордость?!

Пимен Сергеевич спрятал свои глаза под брови, крепче уселся на скамье. Стечение случайностей, повторности систематизировались.

Просвистал мимо состав думпкаров. Пропела сирена.

— Каким образом она повесилась? — спросил профессор.

— Это сложная история, — ответил Садыков, — я должен был повидать Ласло, чтобы спросить его, будет ли он на похоронах, ибо иначе на похороны пошел бы я. Мне трудно говорить об этом, Пимен Сергеевич.

Садыков помолчал.

— Я не ошибаюсь, что первая жена Ласло, Ольга Александровна, была вашей женой?

— Да, — ответил Пимен Сергеевич.

— Она живет в Коломне вместе с дочерью Любовью Пименовной Полетикой и Алисой Ласло.

Инженер Полторак спросил удивленно и поспешно:

— Любовь Пименовна, девушка лет двадцати трех?

— Да, они — моя жена и дочь, — сказал Полетика.

— Любовь Пименовна работает на археологических раскопках, она коммунистка, — сказал Садыков.

Разговор в этом месте прервался, ибо вошел в столовую охломон Иван Ожогов, сторож на строительстве, человек с сумасшедшими глазами. Он торопливо здоровался за руку с горничными, с Садыковым и Полетикой, рекомендуясь каждому в отдельности: — «истинный коммунист Иван Ожогов до тысяча девятьсот двадцать первого года!» — Он остановился перед Полтораком, скорчил страшную рожу, выражавшую презрение, вильнул задом, спрятал за спину руки, сказал: — «С вами здороваться не желаю, с братцем моим целуйтесь, вредитель!» — еще раз скосил глаза и растянул в бессмысленность губы, повернулся к Полетике, прижал руки к груди, умилился, крикнул:

— Это вы и есть старый большевик профессор Пимен Сергеевич Полетика?! Нам надобно поговорить!

Около половины одиннадцатого дня профессор Полетика и инженер Садыков вышли из конторы на осмотр строительства.

Работы раскинулись на десятки квадратных километров. На лугах, где испокон веков текли Москва и Ока, работало десять тысяч рабочих, — день и ночь в работах. Семь тысяч землекопов, тачечников и тачечниц, каменотесов, плотников, маляров, столяров, штейгеров и прочих рабочих в ряд с машинами перекапывали, перестраивали природу. Русский «Нами» отвез Садыкова и Полетику к монолиту, Полетика хотел посмотреть, как достраивались плечи и замок, — то место, где монолит впаивался в геологию. Краны складывали ряды гранитов, названных сгущенным воздухом. Сотни тачечниц свозили землю, заменяя экскаваторные рефулеры. Прораб в соломенной шляпе, в белой рубашке и в сапогах до паха убеждал инженера Садыкова дать еще одну «руку»

рабочих, и зубы техника блестели под солнцем, готовые грызть тот самый гранит, которым и в который вкапывались замки монолита. Ока сломала свое русло, протекая в двух километрах отсюда по отводному каналу. У перемычек сипели, захлебываясь водою, насосы. Котлован обнажал окское дно, пески, гранит, ракушек. Майоны экскаваторов скрипели тяжестями, вычерпывая землю и въедаясь в нее. Профессор Полетика залез на граниты, присматривался, смотрел кругом, пряча глаза под брови. Над ним горбились краны, под ним к подножию плотины в котлован сползали рельсы вагонеток. Майоны грызли известняки. У рельс работали тачечницы. Под солнцем пахло развороченной землей и бетоном. Тачечницы под Полетикой, сотни здоровенных девкищ и бабищ в пестрых паневах, в красных платочках, босоногие и с засученными рукавами, одна за другой катили тачки по доскам, валили землю в вагонетки, по другим доскам шли с пустыми тачками за новой землей.

Этот пейзаж, где маршалами в бою со старой Россией за Россию новую стояли Полетика и Садыков, совершенно не походил на картину Серова, где шагает Петр в Петербурге.

И тогда в неурочный час загудел гудок.

И тачечницы бросили тачки по команде гудка. Женщины стали строиться в ряды. Женщины пошли с работ, молча, суровыми рядами. В километре отсюда, у Константиновской, также возникла пестрая колонна женщин. Толпа женщин пошла от перемычки. Женщины уходили к городу.

— Что это такое? — спросил Полетика.

— Не знаю, — ответил недоуменно Садыков. Женщины уходили молча и деловито, по-солдатски.

Прораб на велосипеде поехал догонять женщин, обогнал их, слез с велосипеда. Женщины прошли мимо него молча, не останавливаясь. Прораб вернулся, сдвинув соломенную шляпу на затылок. Женщины уходили. В полях шло несколько таких колонн. Прораб бежал к полевому телефону.

— Забастовка, что ли?! — крикнул на бегу прораб и махнул шляпой.

Садыков пошел к «Нами» Полетика побежал за ним. Техник, бросив телефонную трубку, помчал за «Нами». Брошенная не на место телефонная трубка

вдруг запищала и сразу надорвалась. По лугу, рысью навстречу «Нами» бежал председатель рабочего комитета. По команде неурочного гудка на всем строительстве женщины бросили работу и пошли в Коломну. Председатель рабочего комитета, мчавшийся рысью, взмокший и задыхающийся, повалился на землю и, лежа, с сердцем, готовым разорваться, докладывал Садыкову, чего не понимал. В конторе все были на ногах, телефонные трубки соскакивали со своих крюков. В коломенский исполком уезжал автобус, и из исполкома по лугам мчал мотоциклет. Экскаваторы перестали сипеть. Солнце светило полднями.

Расея, Русь, Коломна: провинция. — Кирпичный красный развалившийся забор на той стороне улицы упирается в охренный с бельведером дом на одном углу, а на другом — в церковь, дальше площадь, опять церковь, ветлы, летнее небо, мостовые. Свинья лежит в пыли посреди дороги, из-за угла выехал водовоз, свинья не посторонилась, водовоз ловко нацелился и проехал свинье по хвосту, свинья взвыла, став на дыбы. — А за калиткой — зеленый двор, заборчик в сад, терраса в диком винограде, позеленевший домик под липами, полуразваленная баня, тишина, солнце, пес на солнышке, подсолнечные солнца. За окнами к улице живут хозяйки дома, сестры-старухи Капитолина и Римма Скудрины. За окнами в сад, за террасой живет прежняя жена Полетики и Ласло с двумя дочерьми, с Любой Полетикой и Алей Ласло. В бане живет, одиночествуя с собакой охломон Иван Ожогов, родной и младший брат Капитолины и Риммы, переименовавший себя из Скудрина в Ожогова.

Речь идет о сестрах. В комнате Капитолины Карповны очень бедно и очень чисто прибрано, устоялось десятилетиями, как должно быть у старой девы, у девы-старухи, кровать под белым покрывалом, рабочий стол, ножная машинка, манекен, кисейные занавески.

Эти две старухи, Капитолина и Римма Карповны, пребывали потомственными почетными столбовыми мещанками города Коломны и всея мещанской Руси, белошвейками, портнихами, — и никому, кроме себя, по существу они не надобились. Сестры уродились погодками. Капитолина — старшая. Жизнь Капитолины

прошла полна достоинства мещанской морали, вся жизнь ее прошла на ладони всегородских глаз и всегородских моралей, — благословлена всегородской сволочью, — Капитолина Карповна была почетной мещанкой. И не только весь город, но и она знала, что все ее субботы прошли за всенощными, все ее дни склонились над мережками и прошивками блузок и сорочек, тысяч аршинов полотна и миткаля, — что ни разу никто чужой не поцеловал ее, — и только она знала те мысли, ту боль проквашенного вина жизни, которые делают жизнь ненужной, — а в жизни были и юность, и молодость, и бабье лето, — и ни разу в жизни она не знала любви. Она осталась примером всегородской чести, проквасившая свою жизнь целомудрием пола, Бога, коломенской морали.

И по-другому сложилась жизнь Риммы Карповны, тоже белошвейки.

Это сталось двадцать восемь лет тому назад, это длилось тогда три года — тремя годинами всеколоменского позора, чтобы позор остался на всю жизнь. Это сталось в дни, когда годы Риммы закатывались за тридцать, потеряв молодость и посеяв безнадежность. В Коломне жил казначейский чиновник, актер-любитель, красавец и дрянь, он был женат, у него были дети, он был пьяницей. Римма полюбила его, и Римма бросила к чертовой матери всеколоменскую мораль, подчинившись своей любви. Все случилось всеколоменски позорно и неудачно. За Коломной рос семибратский лес, за Москвою-рекою легла пьяная лука, где можно было бы сохранить тайны. — Римма отдалась этому человеку ночью на бульварчике, называемом Блюдечком, — и мальчишки подкарауливали их из-за кустов, чтобы улюлюкать и предать наутро позору. И ни разу за все годы позора Римма не встретилась со своим любителем под крышею дома, встречаясь в полях и на улицах, в развалинах кремлевской Маринкиной башни, на пустующих барках, даже осенью и зимой. Маринкина башня хранила в себе не только смерть Марины Мнишек, но и смерть любви Риммы Скурдиной. На улицах в Римму чужие тыкали пальцами и не узнавали свои. Даже сестра Капитолина сторонилась тогда сестры Риммы. Законная жена казначейского актера ходила бить Римму и наущала — тоже бить — запрудских

парней, — и Коломна своими законами стояла на стороне законной жены. Римме не давали прошивок и мережек, чтобы шить сорочки, и она голодала. У Риммы родилась дочь, окрещенная Варварой, ставшая наглядным пособием позорных свидетельств и позором. У Риммы родилась вторая дочь — Клавдия, и Клавдия стала вторым свидетельством позора. У Риммы в паспорте значилось: «имеет двоих детей», «девица», — как было бы записано в России до революции и у Марии, матери Христа. Казначейский любитель бил Римму и любил ее через водку, и он уехал из Коломны с законной женой. Римма осталась одна с двумя девочками, в жестоком нищенстве и позоре, женщина, которой тогда исполнилось много уже за тридцать лет.

И с тех пор прошло еще почти тридцать лет, время зазастило, время просеяло, — и Римма знает, что в ее жизни — было: — счастье, — ее жизнь полна, заполнена. Старшая Варвара замужем, в счастливом замужестве, и у нее уже двое детей. Муж Варвары служит чертежником. Варвара служит учительницей. Младшая Клавдия служит дошкольницей. Римма Карповна ведет хозяйство, домоначальница, родоначальница. Римма Карповна счастлива своей жизнью. Старость сделала ее низкой, счастье сделало ее полной.

И у Капитолины Карповны теперь — только одна жизнь: жизнь Риммы, Варвары, Клавдии, внучат. Ее целомудрие библейской смоковницы и всеколоменские честь и честность оказались ни к чему. У Капитолины Карповны нет своей жизни. Время просеяло: биологическая честь Риммы оказалась сильнее всеколоменской чести Капитолины, позор превратился в счастье, ибо ничто — только ничем и может быть, — честь же Риммы создавалась подобно речным перекатам и плесам, подпертым монолитом любви!.. В комнате Капитолины Карповны — манекен, швейная машинка, остановившееся время.

Над Коломной умирали колокола.

Российские древности, российская провинция, поочье, леса, болота, деревни, монастыри, усадьбы. В обывательской Коломне — двадцать семь церквей, четыре монастыря. Цепь городов — Таруса, Кашира, Росчиславль, Коломна, Рязань, Касимов, Муром, память российских

уделов и переулков в целебной ромашке истории, каменные памятники убийств и столетий, седые камни Кремлей: в Маринкиной башне в Коломне умерла Марина Мнишек. — Если Москва походила в тот год на воинствующую крепость, Коломна обывателей пребывала городом глубокого тыла, податей, наборов и разверсток, принявшая войну, потому что войну приняла страна. Город обывателей жил в профессиональных книжках и в очередях, и в лавках не было товаров, отданных фронтам, — и в лавках было две очереди — профкнижников и не имеющих их, как билеты в кино были для иных — двадцать пять, сорок и шестьдесят копеек, профкнижникам же — пять, десять и пятнадцать. Профкнижки в Коломне, в домах, где они имелись, лежали на первом месте, рядом с хлебной карточкой, причем хлебные карточки, а стало быть и хлеб, выдавались только имеющим гражданские права, — лишенцам же хлеб не давался. Тылы обывателей в войнах нищают без крови, желтеют, немотствуют без громов и пушек. Люди в тылах притихают и понимают немногое. Дома в тылах глохнут, зарастают бузиной, разваливаются. Очереди в тылах пасмурны и медленны, как уездные сумерки. В тылах усиленно тогда пасут скотину и мародерствуют мародеры. Алкоголь в городе продавался, по существу говоря, только двух видов — водка и церковное вино. Водки потреблялось много и церковного вина, хотя и меньше, но тоже много — как на Христову кровь и теплоту, так и для женского пола. Папиросы в городе курили — «Пушку», одиннадцать копеек пачка, и «Бокс», четырнадцать копеек, — иных не курили. Как за водкой, так и за папиросами — очереди становились профессиональная и не профессиональная, уже не по профсоюзному принципу, а по табачно-алкогольному. Глубокий тыл командовал Коломной, — Коломна жила солдатским тылом. Заведующий музеями старины ходил по Коломне в цилиндре, в размахайке, в клетчатых брюках, и отпускал себе бакенбарды, как Грибоедов. Грибоедовым его и прозывали. В карманах его размахайки хранились пудовые ключи от музея и монастырей. Пахло от Грибоедова луком, водкой и потом. В доме его, похожем на чулан, валялись музейные библии, стихари, орари, поручи, рясы, ризы, воздухи, покровы, престольные одеяния — тринадцатого, пятнадцатого, семнадцатого веков — и

валялся в пыли у него деревянный голый, в терновом венце Христос, взятый из бобреневского монастыря, работы семнадцатого века. В кабинете у Грибоедова стояло красное дерево помещика Каразина, на письменном столе дворянская фарфоровая фуражка с красным околышем и белой тульей — служила пепельницей. — Помещик Каразин, Вячеслав Иванович, служил некогда в кавалергардском полку и ушел в отставку лет за двадцать пять до революции, ибо, будучи послан на расследование воровских и дебоширских действий своего коллеги, рапортовал командиру полка истину, ненужную шефу кавалергардов, — шеф, сиречь императрица Мария Федоровна, покрывала вора. Каразин подал в отставку и поселился в усадьбе, приезжая оттуда раз в неделю в Коломну за покупками, ездил в колымажной карете с двумя лакеями, указывал белой перчаткой в лавке Костакова, чтобы завернули ему полфунта зернистой, три четверти балыка, штуку севрюжки. Один лакей расплачивался, другой принимал вещи. Однажды купец Костаков потянулся было к барину с рукою, Каразин руки не подал, молвил кратко: — «обойдется!». — Ходил Каразин в дворянской фуражке, в николаевской шинели. Революция выселила Каразина из усадьбы в город, но оставила ему шинель и фуражку. В очередях помещик стоял в фуражке, имея вместо лакеев перед собою жену. Существовал Каразин распродажей старинных вещей. По этим делам заходил он к музееведу. У музееведа видел он мебель, отобранную у него из усадьбы волею революции, смотрел на нее пренебрежительно. Но увидел однажды Каразин на столе музееведа пепельницу фасона дворянской фуражки и покраснел, как околыш.

— Уберите, — сказал он строго.

— Почему? — спросил музеевед.

— Фуражка русского дворянина не может быть плевательницей, — ответил Каразин.

Знатоки старины поспорили. Больше Каразин не переступал порога к музееведу.

В Коломне проживал шорник, который благодарно помнил, как Каразин, когда шорник в малолетстве существовал у Каразина в услужении казачком, — как выбил ему Каразин одним ударом левой руки за нерасторопность семь зубов.

Над Коломной умирали колокола, их снимали со звонниц для треста Рудметаллторг. Блоками, бревнами и пеньковыми канатами в вышине на колокольнях колокола вытаскивались со звонниц, вешались в высоте над землею и бросались вниз. И пока ползли колокола по канатам, они выли дремучим плачем. Этот плач умирал в дремучестях города. Падали колокола с ревом и ухом, и взвывали пушками, врезываясь в землю аршина на два. Колокола начинали выть с рассветов, столбовые российские.

Краснодеревщики-реставраторы Павел и Степан Федоровичи Бездетовы всегда жили в Москве на Владимиро-Долгоруковской улице, называвшейся в старину Живодеркою. На Живодерке ж, к слову, жил и Евгений Евгеньевич Полторак. Живодерка — улица кривая, узкая, темная, в тупичках и подворотнях, всегда забитая громовыми ломовыми извозчиками и пылью, примерная московско-азиатская улица.

Братья Бездетовы были преданы искусству старины и безыменности.

Искусство русской красной мебели, начатое в России Петром, имело свои памяти. У этого крепостного искусства нет писаной истории и имена мастеров время не находило нужным сохранять. Это искусство пребывало делом безымянных одиночек, подвалов в городах, задних каморок людской избы в усадьбах, горькой водки и жестокости одиночества. Жакоб и Буль оказались учителями. Крепостные подростки посылались в Москву и в Санкт-Петербург, в Париж, в Вену, — там они обучались мастерству. Затем они возвращались — из Парижа в санкт-петербургские и московские подвалы, из Санкт-Петербурга — в залюдские каморки — и: творили. Десятками лет иной мастер делал какой-нибудь самосон или туалет, или бюрцо, или книжный шкаф, — работал, пил и умирал, оставив свое искусство племянникам, ибо детей мастеру не полагалось, — и племянник — иль продолжал искусство дяди, иль копировал его. Мастер умирал, а вещи жили в помещичьих усадьбах и особняках, около них любили и на самосонах умирали, в потайных ящиках секретеров хранили тайные переписки, невесты рассматривали в туалетных зеркальцах свою молодость, старухи — старость. Елизавета, Ека-

терина — рококо, барокко, бронза, завитушки, цветочки, палисандровое, розовое, черное, карельское дерево, персидский орех. Павел — строг, Павел — мальтиец: у Павла солдатские линии солдатского масонства, строгий покой, — красное дерево темно заполировано, зеленая кожа, черные львы и грифы. Александр — ампир, классика, эллада. Николай — вновь Павел, задавленный величием брата Александра. Так эпохи легли на красное дерево. Когда пало крепостное право, питавшее это искусство, крепостных мастеров заменили мебельные фабрики. Но племянники мастеров — через водку — остались жить. Эти мастера теперь ничего не строят, они реставрируют старину — но они сохранили навыки и традиции своих дядей.

Павел и Степан Бездетовы проживали племянниками великих мастеров, они одиночки, и они молчаливы, — но они обучались, кроме дядей, еще в торговой школе и в Строгановском училище. В память дядей они жили в подвале.

Такого мастера не пошлешь на мебельную фабрику, не заставишь отремонтировать вещь, сделанную после Николая Первого. Он — антиквар, — он реставратор старины. Он найдет на чердаке московского дома, в ломбарде, в уездном городишке, в сарае несожженной усадьбы — стол, трельяж, диван — екатерининские, павловские, александровские — и он будет месяцами копаться над ними у себя в подвале, курить, думать, примеривать глазом, чтобы восстановить живую жизнь мертвых вещей. Он — реставратор, он глядит назад, во время вещей, — чего доброго, он найдет в секретном ящике бюрца пожелтевшую связку писем. Евгений Евгеньевич Полторак будет утверждать, что они, эти реставраторы, горды своим делом, как философы, и любят его, как поэты, — они обязательно чудаки, и по-чудачески они продадут реставрированную вещь такому же чудаку-собирателю, с которым — при сделке — выпьют коньяка, перелитого из бутылки в екатерининский с орлами штоф, и из рюмок — бывшего императорского — алмазного сервиза.

Коломна пребывала в дремучей тишине и в первобытном, предрассветном мраке, пропахшем конским потом, когда братья Бездетовы вышли со станции. Евгений Евгеньевич Полторак обогнал их на извозчике.

Он остановил извозчика, спрыгнул с пролетки, сказал Павлу Федоровичу:

— Завтра вечером у Скудрина!

Июльские ночи в Подмосковье — уже осенни, темны, медленны. В ночных мраках всегда есть путаница пространств и запахов, когда пахнут уездные нехитрые цветы и ничего не видно за мраком. Рассветы ж уничтожают таинственность, принося свет. Город холодал зеленым светом востока. Восток полиловел затем, стали мутнеть пространства. Улицы пребывали в предрассветном лае собак, в булыжных мостовых улиц, в гробах каменных домов, умиравших последним полустолетием. Пятницкие ворота вели в Кремль, — те самые ворота, из которых Дмитрий Донской пошел на Куликово поле. Крепостные стены лишаились в пыльном сумраке, заросшие бузиной и веками. Башня Марины Мнишек подпирала небо, зацепилась за побледневшее облако, спрятала свое подножие в туман. Земля вылезала из ночи, ночь слабела пыльным востоком. С лугов на город и на рассвет ползли туманы.

В одном из домов в Кремле, в одиноком окошке горел свет. Этот дом принадлежал музееведу. Братья подошли к окну, заглянули в комнату. Чуланоподобная комната развалилась стихарями, орарями, ризами, рясами. Посреди комнаты обретались двое: музеевед сидел против голого человека. Голый человек скрестил руки и пребывал в неподвижности. Музеевед налил из четверти чарку водки и поднес ее к губам голого человека, тот не двинул ни одним мускулом. Музеевед выпил водку. Голову голого человека оплетал терновый венец.

И братья разглядели: музеевед пил водку в одиночестве, с деревянной статуей сидящего Христа, вырубленной из дерева в рост человека. Музеевед пил водку, поднося чарку к деревянным Христовым губам. Музеевед расстегнул свой грибоедовский сюртук, обнажив волосатую грудь, баки его клокочились. Музеевед был безмерно пьян. Христос был безразличен. Деревянный Христос в терновом венце, с каплями крови на груди, со скрещенными руками, казался живым человеком.

— Вот сукины дети! — сказал удивленно младший Бездетов, — нельзя было понять, кого считал он сукиными детьми.

Башня Марины Мнишек упиралась в небо, ее подножие обнимали туманы. За лугами, за Москвою-рекою солнце собиралось вылезти из-за земли, родило новый день. Ночь деловито бледнела, и свет вытаскивал из мрака колокольни церквей, мельницу под домом музееведа, плотину и ветлы, смывал с них неясности и ставил их на дневные места. Свет в окне музееведа побледнел. Ночь пряталась в овраг под кремлевский вал.

Мимо мельницы и водокачки через плотину братья прошли в Запрудье. У мельницы сыро пахло медуницей, хоть и был рассвет пыльным. Под рассветом стыла дремучая тишина, и зазвенела заутренями уцелевших церковных звонниц.

От ночи ничего не оставалось. Свет вынул из мрака и поставил на свои места пространства. Туманы спешили исчезнуть. Лица братьев были бледны, обманутые ночью, которая ничего не оставляла.

Яков Карпович Скудрин жил в собственном колонном доме в Запрудье, у Скудрина моста. Братья остановились около омута, и братья встретили старика в рассвете, в тумане, у плотины. Старик пас коров в ночном белье, босой, с правой рукою в прорехе, с хворостиною в левой руке. Солнце выкинуло свои лучи из-за лугов, уперлось в церковные кресты и в Маринкину башню. Сразу захолодала роса. Пролетели над головами обалделые стаи галок. Город заныл колоколами, стаскиваемыми с колоколен. Вдалеке на строительстве, на подрывных работах, бабахнул кислород. Яков Карпович не примечал Бездетовых, пребывая в раздумье, — узнав, обрадовался, — закряхтел, засопел, заулыбался, пошел навстречу, — произнес:

— А-а-а, покупатели... А я для вас теорию пролетариата придумал!.. Приехали!..

— Пасешь? — спросил Павел Бездетов и хихикнул.

— Пасу, — ответил старик и захихикал за Павлом Федоровичем.

— То-то!

— То-то и есть!

— Смотришь? караулишь? — ты, вояка!..

— Караулю. А что?.. и воюю, да!.. Я вам идею придумал, для Евгенья Евгеньича.

— Евгений Евгеньевич наказали сказать, что придут к тебе вечером. Он с нами приехал... А Грибоедов водку пьет со Христом.

— Пьет!

Трое они пошли в целебную ромашку улицы, гоня перед собою скотину. Летали над ними обалделые стаи галок, высоко в небе, уже в солнце, и летали низко над землею ласточки, провожая ночь в беззвучной тишине. Улица пребывала в безмолвии ласточек, заросшая целебной ромашкой, пустая и дряхлая, времен императорских уделов. Пролетела последняя летучая мышь. Сивые коровы медленно срывали головки ромашкам и барвинкам. Тишина рассвета заканчивалась. Наступал день.

— Слышите, ноет, — сказал Скудрин. — Все равно, как при императоре Петре Алексеевиче, колокола воруют. У многих в городе нервное расстройство произошло из-за ожидания падения колоколов. Знаете, стрелки неопытные на полигоне, у них глаза жмурятся, когда сосед по роте стрелять собрался. Колокол упадет, точно из пушки бабахнет. Ну, многие в городе так и ходят, зажмуривши глаза, ждут падения и ничего не видят в нервном расстройстве. И — заметьте — что-что, а колокола тащут с самого рассвета, без всякого наркомтруда.

Дом Скудрина упирался во время старым хрычом, подставив солнцу обитые клыки своих колонн, смотрел помутневшими радугами стекол, оброс сиренью, как бакенбардами. Калитка повисла набок, уставшая история лишаев и мха. Вошли в калитку, пошли через террасу под колоннами, в осьмнадцатый век иссохших, как сушеные грибы, потемневших комнат, ко красному дереву пыльной гостиной, в запахи сельдерея и лука. В гостиной застряла еще ночь. Глазами знатока и руками мастера погладил Павел Бездетов ручку дивана, молвил:

— Так и будешь крепиться? — не продашь?

Старик заерзал и захихикал, ответил плаксиво:

— Да, да, мол. Не могу нет, не могу. Мое при мне, — и добавил злобно: — я вас еще переживу!.. А где покупать, я вам список составил.

Вышла из спальни жена, Мария Климовна, поклонилась гостям в пояс, руки убрав под передник, пропела:

— Гости дорогие, добро пожаловать, гости многожданные...

Высунулась из-за двери дочь Катерина в ночной рубашке, с голыми икрами, грудь заслонив рукой, — сделала гостям из-за двери книксен, и лицо ее, деревянный обрубок, исказилось болью. Старик надел валенки. Глаза гостей пустели, как у мертвецов. Старушка засправлялась о здоровье, угощала молоком. Наступил день. Гости запросили сна и улеглись на полу в гостиной, на перине, вместе, сняв сюртуки, но оставшись в брюках. Над домом, над улицей проревел падающий колокол, зазвенели стекла, и дрогнул дом.

1. На Посадской улице в Гончарах стоял дом, покосившийся набок. В этом доме жила вдова Мышкина, семидесятилетняя старуха. Дом стоял углом к улице, потому что строился дом до возникновения улицы, — и дом этот строился не из пиленого леса, а из тесаного, то есть строился во времена, когда плотниками еще не употреблялись пилы, когда плотники работали одними топорами, — стало быть, до времен и во времена Петра. По тогдашним временам дом был боярским. В доме от тех дней хранились — кафельная печь и кафельная лежанка с изразцами, разрисованными семнадцатым веком барашков и бояр, залитыми охрою и глазурью.

Бездетовы вошли в калитку.

Древняя старушка сидела на завалинке перед свиным корытом. Свинья ела из корыта ошпаренную кипятком крапиву. Бездетовы поклонились и молча сели около старушки. Старушка ответила на поклон и растерянно, и радостно, и испуганно. Была она в рваных валенках, в ситцевой юбке, в персидской пестрой шали.

— Ну, как, продаете? — спросил Павел Бездетов.

Старушка спрятала руки под шаль, опустила глаза в землю, к свинье. Степан и Павел Федоровичи глянули сумрачно друг на друга, и Степан мигнул глазом — продаст. Костяною рукою с лиловыми ногтями старушка утерла уголки пергаментных губ, и рука ее дрожала.

— Уж и не знаю, как быть, — сказала старушка и виновато глянула на братьев. — Ведь деды наши жили, и прадеды, и даже времена теряются... А как помер мой жилец, царствие небесное, так прямо невмоготу стало. Ведь он мне три рубли в месяц за комнату платил, керосин покупал, мне вполне хватало. А вот и ба-

тюшка мой и матушка на этой лежанке померли, и супруг, — как же быть?.. Царствие небесное, жилец был тихий, платил три рубли и помер на моих руках... Уж я думала, думала, сколько ночей не спала...

Сказал Павел Федорович:

— Изразцов в печке и лежанке — сто двадцать. Как уговаривались, по двадцать пять копеек за штуку. Итого сразу вам тридцать рублей. Вам на всю жизнь хватит. Мы пришлем печника, он их снимет и поставит на их место кирпичи и даже побелит. И все за наш счет.

— О цене я не говорю, — сказала старушка, — цену вы богатую даете. Такой цены у нас никто не даст... Да и кому они, кроме меня, нужны?.. Вот, если бы не родители... Одинокая я...

Старушка задумалась. Думала она долго, — или ничего не думала? — Глаза ее стали невидящими, провалились в глазницы. Свинья съела крапиву и тыкала пятаком в валенок старухи. Братья Бездетовы смотрели деловито и строго. Вновь старуха утерла уголки губ трясущейся рукою. Тогда она улыбнулась виновато, виновато глянув по сторонам, по косым заборчикам двора и огорода, — виновато опустила глаза перед Бездетовыми.

— Ну, так и быть, дай вам Бог, — сказала старушка и протянула руку Павлу Федоровичу неумело и смущенно, но так, как требует того заправская торговая традиция, — отдала товар из полы в полу.

2. На соборной площади в полуподвале бывшего собственного дома жила — семья помещиков Тучковых. Прежняя их усадьба превратилась в молочный завод. Здесь в подвале жили — двое взрослых и шестеро детей, — две женщины — старуха Тучкова и ее сноха, муж которой, бывший офицер, застрелился в двадцать пятом году накануне смерти от туберкулеза. Старик полковник был убит в пятнадцатом в Карпатах. Четверо детей принадлежали Ольге Павловне, как звали сноху, — двое остальных принадлежали расстрелянному за контрреволюцию младшему Тучкову. Ольга Павловна была кормилицей, играла по вечерам в кинематографе на рояле. Она, тридцатилетняя женщина, походила на старуху.

Подвал был отперт, как во всех нищих домах, когда туда пришли братья Бездетовы. Их встретила Ольга

Павловна. Она закивала головой, приглашая войти, — она побежала вперед, в так называемую столовую, прикрыть кровать, чтобы посторонние не видели, что под одеялом нет постельного белья. Ольга Павловна глянулась в триптих зеркала на туалете александровского ампирного — красного дерева.

Братья были деловиты и действенны.

Степан ставил стулья вверх ногами, отодвигал диван, поднимал матрац на кровати, выдвигал ящики в комоде — рассматривал красное дерево. Павел перебирал миниатюры, бисер и фарфор. У молодой старухи Ольги Павловны остались девичья легкость движений и умение стыдиться. Реставраторы чинили в комнатах молчаливый разгром, вытаскивая на свет божий грязь и нищету. Шестеро детей лезли к юбке матери в любопытстве к необыкновенному, двое старших готовы были помогать в погроме. Мать стыдилась за детей, младшие хныкали у юбки, мешая матери стыдиться.

Степан отставил в сторону три стула и кресло, и он сказал:

— Ассортимента нет, гарнитура.

— Что вы сказали? — переспросила Ольга Павловна! — и крикнула беспомощно на детей: — Дети, пожалуйста, уйдите отсюда! вам здесь не место, прошу вас...

— Ассортимента нет, гарнитура, — сказал Степан Федорович. — Стульев три, а кресло одно. Вещи хорошие, не спорю, но требуют большого ремонта. Сами видите, — в сырости живете. А гарнитур надо собрать.

Дети притихли, когда заговорил реставратор.

— Да, — сказала Ольга Павловна и покраснела, — все это было, но едва ли можно собрать. Часть осталась в имении, когда мы уехали, часть разошлась по крестьянам, часть поломали дети, и — вот — сырость, я снесла в сарай...

— Поди, велели в двадцать четыре часа уйти? — спросил Степан Федорович.

— Да, мы ушли ночью, не ожидая приказа. Мы предвидели...

В разговор вступил Павел Федорович, спросил Ольгу Павловну:

— Вы по-французски и по-английски понимаете?

— О, да! — ответила Ольга Павловна, — я говорю...

— Эти миниатюрки будут — Буше и Косвэй?

— О, да, — эти миниатюры...

Павел Федорович сказал, глянув на брата:

— По четвертному за каждую можно дать?

Степан Федорович брата перебил строго:

— Если гарнитур мебели, хотя бы поломанный, соберете, куплю у вас всю мебель. Если, говорите, имеется у мужиков, можно к ним съездить.

— О, да! — ответила Ольга Павловна. — Если половину гарнитура... До нашей деревни тринадцать верст, это почти прогулка. Половину гарнитура можно собрать. Я схожу сегодня в деревню и завтра дам ответ. Но — если некоторые вещи будут поломаны...

— Это не влияет, скинем цену. И не то, чтобы ответ, а прямо везите на станцию сегодня же ночью, там наш упаковщик примет на счет и запакует. Диваны пятнадцать рублей, кресло — семь с полтиной, стулья по пяти. Упаковка наша.

— О, да, — я пойду сейчас же, до нашей деревни только тринадцать верст, это почти прогулка, я привыкла ходить... Я сейчас же пойду.

Сказал старший мальчик:

— Maman, и тогда вы купите мне башмаки?

За окнами подвала проходил золотой июльский день.

3. Барин Вячеслав Иванович Каразин лежал в столовой на диване, прикрывшись беличьей курткой, вытертой до невозможности. Столовая, как и кабинет-спальня его и его супруги, являли кунсткамеру, разместившуюся в квартире почтового извозчика.

Братья Бездетовы стали у порога и поклонились.

Помещик долго рассматривал их и гаркнул:

— Вон, ж-жулики!.. Вон отсюда!

Братья не двинулись.

Барин Каразин налился кровью и вновь гаркнул:

— Вон от меня, негодяи!

На крик вышла жена. Братья Бездетовы поклонились Каразиной и вышли за дверь.

— Надин, я не могу видеть этих мерзавцев, которые надули нас прошлым месяцем, — сказал Каразин жене.

— Хорошо, Вячеслав, вы уйдите в кабинет, я переговорю с ними. Ах, вы же все знаете, Вячеслав! — ответила Каразина.

— Они перебили мой отдых. Хорошо, я уйду в кабинет. Только, пожалуйста, без фамильярностей с этими рабами.

Каразин ушел из комнаты, волоча за собой куртку. Вслед ему в комнату вошли братья Бездетовы, еще раз почтительно поклонились.

— Покажите нам ваши русские гобелены, а также скажите последнюю цену бюрца, — сказал Павел Федорович.

— Присядьте, господа, — сказала Каразина.

Распахнулась дверь из кабинета, высунулась из двери голова Каразина. Каразин закричал, глядя в сторону к окнам, чтобы случайно не увидеть братьев Бездетовых:

— Надин, не разрешайте им садиться! Разве они могут понимать прелесть искусства? Не разрешайте им выбирать! — продайте им то, что находим нужным продать мы. Продайте им фарфор, часы и бронзу!

— Мы можем и уйти, — сказал Павел Федорович.

— Ах, подождите, господа, дайте успокоиться Вячеславу Ивановичу, он совсем болен, — сказала Каразина и села беспомощно к столу. — Нам же необходимо продать несколько вещей. Ах, господа... Вячеслав Иванович, прошу вас, прикройте дверь, не слушайте нас, пойдите в сад...

Яков Карпович Скудрин жил в Запрудах, у Скудрина моста, в собственном доме остановив время. Революция не тронула его восьмидесяти пяти лет. У него, должно быть, не было молодости. Он жил, чтобы старостью перехитрить себя. Он все помнил, — он не боялся жизни, и он сводил счеты с жизнью, как с сыном Александром. Старик прятался в очень паршивую улыбочку, раболепную и ехидную одновременно, — белесые глаза его слезились, когда он улыбался. Он создавал свою линию жизни, осклизлую и узловатую, как осиновая коряга, вымоченная в болоте. Старик прожил круто и был крут, как круты в него шли его сыновья. Старший сын Александр, задолго до двадцатого века, когда отец был уже стариком, будучи посланным со срочным письмом к пароходу, идущему на Рязань, опоздав к пароходу, получил от отца пощечину под слова: — «спеши, негодяй!» — Эта пощечина была последнею каплей семейного меда, — мальчику

наступало четырнадцать лет, — мальчик повернулся, вышел из дома — и: пришел обратно домой только через шесть лет студентом политехнического петербургского института. Тогда наступал порог двадцатого века. Отец за эти годы посылал сыну письмо, где приказывал вернуться и обещал лишить родительского благословения, прокляв навсегда.

Сын рос в отца: на этом же самом письме, чуть ниже отцовской подписи, сын приписал: — «А черт с ним, с вашим благословением!» — и вернул отцу отцовское письмо. Когда Александр — через шесть лет после ухода, солнечным весенним днем — вошел в гостиную, отец засеменил к нему навстречу с радостной улыбочкой и с поднятой рукой, чтобы побить сына. Сын с веселой усмешкой взял своими руками отца за запястья, еще раз улыбнулся, в улыбке весело светилась сила, руки отца оказались в клещах. Сын посадил отца, чуть надавив на запястья, усадил к столу в кресло, сказал весело:

— Здравствуйте, папаша, — зачем же, папаша, беспокоиться? — присядьте, папаша.

Отец засопел, захрюкал, захихикал, по лицу прошла злая доброта, — отец крикнул жене:

— Марьюшка, да, хи-хи, водочки, водочки нам притаскай, голубушка, холодненькой с погреба, с холодненькой закусочкой! Вырос сынок, вырос, — приехал сынок на наше счастье, с-сукин сын!..

Сын был первым, кто осилил отца, — второй была революция. Сын к тому времени шел по отцовским дорогам, — но сын Александр, инженер, упершись в революцию, разбил об нее лоб, не подчинившись ей, став под ее обуха и погибнув в уездном подвале у стенки от пули нагана, встретив пулю глазами покойными и злыми, — и отец — перехитрил сына, захитрив с революцией, никому не веря, ни сыну, ни революции.

Сыновья у Якова Карповича пошли так: инженер, священник, балетный актер, врач, опять инженер, — и ни один из них от дома отца своего не отказался, все они сломали головы о революцию, оставив хитрую жизнь старику. К тысяча девятьсот двадцать девятому году старшие внуки Якова Карповича уже женились, но младшей и единственной дочери шел девятнадцатый

год. У старика ничего не осталось от прошлого, которое он пас. Сын Александр был воспоминанием чести.

Лет сорок последних страдал Яков Карпович грыжей и, когда ходил, поддерживал через прореху штанов правой рукою эту свою грыжу, — зеленые его руки пухли водянкой, — хлеб солил он из общей солонки густо, похрустывая солью, бережливо ссыпая остатки соли обратно в солонку. Последние тридцать лет Яков Карпович разучился по-человечески спать, просыпался в полночи и бодрствовал за библией или с коровами на лугах до рассветов, засыпая затем до полдней. В полдни ж он уходил в читальню, читать газеты, — денег на подписку не тратил. Последние десять лет он хитрил. Был Яков Карпович водяночно толст, совершенно сед и лыс, он долго хрипел и сопел, пока приготавливался говорить. Дом Скудриных некогда принадлежал помещику Верейскому, разорившемуся вслед отмене крепостного права в выборной должности мирового посредника. Яков Карпович, отслужив дореформенную солдатчину, служил у Верейского писарем, обучался судейскому крюкодельству и перекупил у него дом вместе с должностью частного поверенного, ходока по крестьянским делам, когда тот разорился. Дом стоял в неприкосновенности от екатерининских времен, потемнел за полтора столетия существования, как его красное дерево, позеленев стеклами. Старик все помнил — от барина своей крепостной деревни, от наборов в Севастополь. Он помнил крепостное право, как сына Александра. За последние пятьдесят лет он помнил все имена, отчества и фамилии всех русских министров и наркомов, всех послов при императорском русском дворе и советском ЦИКе, всех министров иностранных дел великих держав, всех императоров, королей, пап и премьеров, — старик потерял счет годам и говаривал:

— Я пережил Николая Павловича, Александра Николаевича, Александра Александровича, Николая Александровича, — переживу и Алексея Ивановича.

В доме существовали — старик, жена, Мария Климовна и дочь Катерина. Дом в революции и в стариковской хитрости проживал так, как люди жили задолго до Екатерины, даже до Петра, пусть дом безмолвствовал екатерининским красным деревом. Старики суще-

ствовали огородами. От индустрии в доме имелись — спички, керосин и соль, только. Спичками, керосином и солью распоряжался старик. Мария Климовна, Катерина и старик с весны до осени трудились над капустами, свеклами, репами, огурцами, морковями и над солодским корнем, который шел вместо сахара. Ночами до рассвета старик пас коров, уходил в луга к строительству, бродил по туманам, босой, в ночном белье. Зимами старик зажигал лампу только в те часы, когда бодрствовал над библией, — в иные часы мать и дочь сидели во мраке. В полдни старик уходил в читальню, впитывать в себя имена и новости коммунистической революции. Дочь садилась тогда за клавесины и разучивала духовные песнопения Кастальского для церковного хора. Старик приходил домой к сумеркам, ел и ложился спать. Дом проваливался в шепот женщин. Сумерками Катерина выкрадывалась из дома — на соборные спевки, к подружкам. Отец просыпался к полночи. Старик потерял время, перестав бояться смерти, разучившись бояться жизни. Как скотину, он пас старину. Мать и дочь молчали при старике. Мать никуда не выходила из дома, кроме церкви, мать варила каши и щи, пекла пироги, топила и квасила молоко, студила холодцы и прятала бабки для правнуков, убиралась в горницах, — то есть существовала так, как было у россиян и в пятнадцатом, и в семнадцатом веках, в пище также семнадцатого и пятнадцатого веков. Мария Климовна, сухая и древняя старушка, как подобает, была тем типом русских женщин, которые хранятся в России по весям вместе со старинными иконами Богоматерей. Жестокая воля мужа, который на другой день после венчания, пятьдесят лет тому назад, послюнявив палец, больно показал жене, как надо зачесывать виски, — жестокая воля мужа, убравшая до смерти в кованые сундуки все радости Марии Климовны, закалила ее подчинением, сделав навсегда беспрекословной и безмолвной, ограничив мир калиткой.

Мать пела с дочерью псалмы Кастальского. В доме пребывала допетровская Русь. Старик по ночам читал библию, перестав бояться жизни. Очень редко, через месяцы, в безмолвные часы ночей старик шел к постели жены, сопел и шептал:

— Марьюшка, да, кхэ, гм!.. Это жизнь, Марьюшка, да!..

В его руках тряслась свеча, его глаза слезились и смеялись. Мария Климовна крестила в испуге себя и мужа. Яков Карпович тушил свет.

За домом шла революция и лежал город революционных тылов. Дочь Катерина спала за стеной. Катерина жила за желтыми, маленькими глазками, которые казались неподвижными от бесконечного сна. Около разбухших ее век круглый год плодились веснушки. Руки и ноги ее походили на бревна, грудь была велика, как вымя у швейцарских коров. Старик хранил Катерину целомудрием семнадцатого века, приданым, закопанным под половицами в бане.

День разносили вороны. Весь закат очень полошились вороны, разворовывая день. И сумерки развозились водовозными клячами серых облаков, собиравшихся в дождь. Братья Бездетовы вернулись к Скудрину в час, когда перестали выть колокола, в усталости после дел глаза братьев пустели, как у мертвецов. Сидя рядом, за обедом они пили коньяк, чтобы отдохнуть. И после обеда легли спать — опять не раздеваясь, на полу на перине, поставив на пол к изголовью бутылку с коньяком. Яков Карпович сейчас же после обеда снаряжался в поход, его карманы полнели бездетовскими рублевками и реестриками, он шел к плотнику, к возчику, за веревками и за рогожами — распорядиться упаковать купленное и отослать на станцию — екатерин, павлов, александров. Старик уходил в широкополой фетровой шляпе, но босым. Полон дел, он говорил, уходя:

— Надо бы охламонам поручить перенос и упаковку, — самые честные люди, хоть и юроды. Да нельзя. Братец мой, Иван Карпыч, им не позволит, их самый главный революционер, — не даст работать на контрреволюцию, хи-хи!..

Земля следовала к ночи. С вечера заморосил дождь. Весь вечер стучались украдкою люди в окошко Марии Климовны, — к ним выходила Катерина, — и люди, нищенски заискивая, предлагали, — «дескать, гости у вас живут, всякие старинные вещи покупают», — старые рубли и копейки, поломанные самовары, книги, подсвечники, бинокли. Эти люди тылов не понимали искусства старины, они были всячески нищи. Катерина не допускала их в дом с их медными лампами, позе-

леневшими от времени, — предлагала вещи оставить до завтра, когда гости, отдохнув, глянут.

В закат задул ветер, июль пошел в август, нанес тучи, дождь заморосил осенью. Искусство красного дерева есть искусство вещей, которые оставались жить много дальше, чем мастера и люди: к ночи в тот день, лесом над Окою, шла Ольга Павловна Тучкова, женщина с лицом старухи и с движениями девически-молодыми. Закат умер, замазанный серыми облаками, лес шумел августовским ветром, окские просторы древнели, первобытны. Здесь веяло широким воздухом, который сожительствовал с лесом, с холмами, с травою. Ока в этом месте ломала свое русло. Эта женщина, в девическом страхе леса, шла в деревню, бывшую некогда крепостной, чтобы купить у крестьян ненужные крестьянам кресла и стулья красного дерева.

И первый раз за полстолетие супружества видела Мария Климовна в этот вечер Якова Карповича — танцующим. Яков Карпович вернулся с похода по краснодеревым делам в неурочное время. Фетровая шляпа его съехала набекрень и на затылок. Зашед за калитку на столетний свой двор, заделал Яков Карпович босыми пятками несуразные и молодые не по возрасту антраша. То походило, что катается Яков Карпович на коньках, то брыкался он гусаром, то прыгал мазуркой, щелкая пяткой о пятку и фетровую шляпу имея за даму. Ни дождя и ни ночи Яков Карпович не видел, — Мария ж Климовна видела, что лицо старика морщилось счастьем — в этот один из последних часов его жизни.

День унесли вороны. Башня Марины Мнишек безмолвствовала в Коломенском кремле, уходя во мрак. Черные водовозы разливали ночь и дождь.

Яков Карпович, вернувшись из города и поплясав на дворе, поспешно прошел к реставраторам в гостиную. Он поднял реставраторов с пола и повел их в кабинет. Он плотно прикрыл за собой двери. По полу за его пятками следовали лужи. Вместе со стариком в вольтеровский кабинет вползла азиатская Коломна, заваленки, калитки, скамеечки у ворот, подсолнечная шелуха. Яков Карпович поспешно вздул свет в торшере.

И старик зашептался с краснодеревщиками.

— На строительстве сегодня был бунт, бабья забастовка. Ровно в половине одиннадцатого, по гудку, как прогудел неурочно гудок, все работницы на строительстве бросили работы и валом поперли в город в порядке, песен не пели. На углу Репинской улицы они встретили гроб Садычихи и пошли за гробом и запели похоронный марш, и многие бабы заплакали, завыли как белуги. Забастовка, — дожили!

— Динамит у тебя на лугах? — спросил Павел Бездетов.

— Нынче ночью, под шумок, — из-под бабьих юбок!..

Реставраторы слушали стоя, озабочены и молчаливы. Лица реставраторов пришли в строгость. Старик ликовал в обреченной веселости. Провинция, азиатская Коломна, которая проследовала по следам мокрых пяток Якова Карповича, недоумевала, не понимала этой забастовки, когда женщины, тачечницы со строительства, в молчании более страшном, чем брань и крики, проводили в землю Марию Садыкову, — сотни женщин, измазанных в земле, закаменевших каменным трудом, безмолвными шеренгами пестрых плахт и панев, оставшихся от русской старины, заполнили коломенскую старину улиц и прошли за гробом до могилы. Скудрин видел за этими колоннами сына Александра, его подвал и пулю в его лоб, себя, свои попранные время и достоинство, сережки и кольца приданого Катерины, закопанные в бане под половицами, свой осьмнадцатый век, свои старость и часы в читальной, где газеты издевались над ним, — за этими колоннами женщин старик слышал дым и грохот динамита, сломанных людей, воду, которая ломает все, — и видел себя за дымом динамита, за потоками воды, за развороченными гранитами, — себя, паршивого старичишку, Бездетовых, Полторака — так же примерно, как на картине Серова, где Петр шагает по Санкт-Питер-бурху. Паршивый старичишка был Петром. Паршивый старичишка вложил свои язвы в революцию, чтобы отплатить за себя, за Александра, за Россию, за вольтеровское свое красное дерево. Провинция, стекая пятками Якова Карповича, уселась на диван. Яков Карпович — жил, наслаждаясь бытием.

— Тарарахнет, бабахнет, хи-хи, за дымом и громом нас никто не заметит.

Торшер закоптил.

Инженер Евгений Евгеньевич Полторак приехал ровно в девять, подъехал к дому на извозчике, поспешно прошел по двору, стряхнул воду с плеч в прихожей, пошел в кабинет. Катерина в тот час пела в гостиной песнопенья Костальского, аккомпанируя себе на клавесинах, и пела очень тоскливо. Кабинет Якова Карповича пребывал в красном дереве. По столу для книг плыл у Якова Карповича хрустальный корабль, оправленный в бронзу. В этот фрегат наливался коньяк, чтобы путем алкоголя, разлитого через краник из фрегата и через рюмки по человеческим горлам, путешествовать путем алкоголя на этом фрегате по норд-остам вольтеровских фантазий. Краснодеревщики налили коньяку во фрегат — в честь Полторака, и краснодеревщики безмолвствовали около фрегата в глухо застегнутых сюртуках, мертво и немигающе наблюдая за всем. Дождь за окнами утверждал осеннюю ночь.

И Евгений Евгеньевич, как Скудрин, был необычен в этот вечер. Человек организованной европейской внимательности, Полторак очень спешил в этот вечер и слушал в коротких своих разговорах только себя, к себе прислушиваясь и себя подкарауливая. Он спешил, и он же замедлял свое время, путая его.

Яков Карпович топтался босиком и голубком вокруг Полторака, примащиваясь к нему, то хихикая и хмыкая, явно хитруя, то проваливаясь в злую и очень покойную серьезность, — Яков Карпович — жительствовал.

— Вы слышали, Евгений Евгеньевич, — забастовка?! — сказал Скудрин.

— Да, слыхал, — протест.

— Как вы это понимаете, Евгений Евгеньевич?

— Как понимаю? — я сегодня на производственном совещании был у рабочих. Они теперь решают — не то, сколько им жалованья себе положить, но — решили, что работу мне не сдадут, решают, как им работать за инженеров.

— И бабья забастовочка — одно к одному выходит? — не то что рабочие, а и бабы в силу входят? — спросил тихо Скудрин и добавил строго: — Сегодня ночью начнем, откладывать нечего.

— Надо начинать, — подтвердил за Скудриным старший Бездетов.

— Да, надо, — подтвердил Полторак, — воды сейчас нет, изгадим самые пустяки... — И спросил удивленно и беспомощно: — Как дела? как вы поживаете, Яков Карпович? — Вы — могли бы убить? — На совещании сегодня я почувствовал, что у рабочих перестроилась психика так, что они — хозяева, вершители, судьи!..

— То есть как, — как дела? — сегодня ночью подорвем.

Да, надо. Я говорю, что сейчас мало воды, а вода сильнее динамита, — и опять Полторак впал в бессилие. — Яков Карпович, вы можете убить?

— Как убить?

— Безразлично как, но — убить?

Яков Карпович жительствовал.

— Убить? — переспросил он и заговорил поспешно хихикая: — Я вам мысль приготовил, кхэ, мысль! — о теории Маркса. Теория Маркса о пролетариате — просто глупость, и скоро будет забыта, неминуемо забудется, потому что сам пролетариат должен исчезнуть. А сколько народу было расстреляно, — три мои сына погибли у стенки, сегодня люди поплывут по Оке. Вот, какая моя мысль, да... А стало быть, и вся революция ни к чему, ошибка истории, кхэ, ошибочка-с на наших горбах. Пройдут еще два-три поколения, и пролетариат исчезнет в первую очередь в Соединенных Штатах, в Англии, в Германии. Маркс написал свою теорию при мышечном труде, решив, что мышечный труд останется эдак навсегда. А оказывается, теперь машинный труд заменяет мышцы, скоро около машин останутся одни инженеры, а пролетариат превратится в инженеров. У машины — пять человек, а в конторе, — сорок, конторщики станут пролетариями. Вот, кхэ, какая моя мысль! А инженер — не пролетарий, потому что, чем человек культурней, тем меньше у него фанаберских потребностей и ему удобнее жить со всеми материально одинаково, уравнять материальные блага, чтобы освободить мысль, да, кхэ!.. Вы скажете, эксплуатация останется? — останется, да, потому что это в крови, — но не Марксова эксплуатация, нет. Мужика, которого можно эксплуатировать, потому что он зверь, — его к машине не пустишь, он ее сломает, а она стоит миллионы. Ма-

шина дороже стоит, чтобы при ней пятак с человека экономить, — человек должен машину знать, к машине знающий человек нужен — и, вместо прежней сотни, всего один. Человека такого надо холить! — Старик говорил, юродствуя, жмурясь в удовольствии, поматывая головой, руку запустив в грыжу. — У нас, бывало, — сравните купца с мужиком, — купец, как поп, вырядится шутом и живет в хоромах, чего моя левая нога желает. А я могу босиком ходить и от этого хуже не стану, кхэ, да — не стану. Человека надо любить, уважать человека. Тогда убивать нельзя.

Полторак плохо слушал Якова Карповича, прислушиваясь к себе. Он пил коньяк, должно быть, для того, чтобы погасить мысли. Он перебил старика:

— Подождите, Яков Карпович, не хитрите. Вы человека можете убить? — убить своими руками?

— Как сказать, — ответил Скудрин и хихикнул уклончиво, хрюкнул, харкнул.

— Нет, вы неправильно поняли, а может, и правильно. — Зубы Полторака блеснули злым золотом. — Я никого не предлагаю убить. Я говорю принципиально, — можно убить или нет?

— Да, вот нынче ночью взрывчик произойдет на строительстве... Как сказать... Я скотину пасу на лугах, коровок-кормилиц... Помните, вы сказывали, все, мол, на крови. От взрывчика, глядишь, в одну сторону головы полетят, как бомбы, а в другую ноги, руки, а вода все смоет к черту. Это, ведь, тоже убийство!

Яков Карпович вдруг заговорил серьезно, глаза его стали покойны и почти молоды. Бездетовы деловито пили и слушали немигающими глазами. Евгений Евгеньевич Полторак заходил, забегал по кабинету.

Приступил, затарабанил за окном дождь, качнуло занавески и свет торшера ветром. Вольтеровский кабинет пребывал в вольтерианстве. Баба-провинция, стекшая со скудринских пяток на диван, почесывалась на диване.

— Нет, я не об этом, — крикнул Полторак, и опять блеснули его зубы. — Убить своими руками, даже не задушить, даже не застрелить и не отравить, — убить, даже без крови.

— Одним можно, а другим — нельзя.

— Кому — можно? кому — нельзя?

— А вот нам четверым.

— Что — четверым?

— Можно убить.

Яков Карпович вынул руку от грыжи, стал прямо. Навсегда тусклые его глаза смотрели прямо и злобно. Говорил он без хрюканья и хихиканья, сиплый бас его окреп, — старик жил.

— Почему? — крикнул Полторак.

— Потому что мы совесть потеряли, очень просто, Евгений Евгеньевич. Мы все знаем и все можем. — Яков Карпович хихикнул и опять стал серьезным. — Я вот даже не стыжусь про совесть говорить. Ничего не стыжусь. Что! — голым на голове хаживал, заставляли, несмотря на мои лета. Совесть и стыд у нас с вами уничтожены, мы все можем, украсть, предать, убить. Я иной раз думаю, и не могу придумать, — что для меня запрещено? Разве вот дочь я хочу сберечь, да и то глупость. Все можно, и хочу я только зла, от зла я радуюсь. Мои сыновья — яблочко от яблони не далеко упало, — они лбы подставили под революцию, как быки на новые ворота, и погибли, — а я на свой ум положился, на хитрость, все хотел перехитрить, может, перехитрю, — Яков Карпович хихикнул и опять стал серьезен, — а может... Я старым дураком прикинулся, выжившим из ума, — я собрался и себя, и Россию перехитрить, да, кхэ. Извините, что я много разговорился. У меня сегодня именины, — я динамитик подпалю, который мы вместе с моими коровками в лугах прятали, — это дело уже без хитрости, начистоту, — порадуюсь... Евгений Евгеньевич! — Москву-реку задом наперед пускают не только большевики, но — и Россия, русские рублики, русские руки, — а я по вашему указанию и по моему согласию скотинку пасу. Надо быть честным, Евгений Евгеньевич, — но мы сейчас, Евгений Евгеньевич, — говорим не от чести, а от бесстыдства! — Яков Карпович хрюкнул. — Надо быть честным, Евгений Евгеньевич, от отчаянья, — отчаянная честность! Убить можно, человеческая жизнь — дешевая вещь, прожиток дорог, — у нас людей нет, а есть организации, — мы не честью живем, а за жизнишку держимся. — Яков Карпович захихикал, захмыкал, захрюкал. — В болоте, наверное, коряги, — тина их засасывает, пиявки на них сидят, раки впиваются, рыбы плавают,

коровы туда мочатся, вонища, грязь, — а я живу, юродствую, гажу, — и все понимаю и вижу. Убить мы можем. Прикажите, — кого. Надо о делах поговорить, Евгений Евгеньевич. Сегодня ночью — нельзя как лучше, дождик идет, парни девок в луга не таскают, и все пройдет под забастовочку. Я пойду скотинку пасти, а вы с Бездетовыми — прогуляться.

— А я не хочу убивать, — тихо сказал Полторак. — Убийцею может быть человек, у которого нет фантазии...

— То есть, как это вы не хотите убивать? — строго спросил старший Бездетов.

— Это верно, — сказал, усмехнувшись, Скудрин, — это верно, да не совсем, — убийца должен быть без фантазии, его виденья замучат, аналогии. Только это в том случае, если у него честь сохранилась. А мы с вами именно ради фантазии и полюбуемся, как забабахает.

Полторак выпил коньяк из фрегата, сказал сам себе:

— Я не хотел убивать... Мне надо идти, меня ждут. Прощайте. Рабочих мы не вернем...

— Это как же вас ждут? — строго спросил старший Бездетов.

— О деле надо поговорить, Евгений Евгеньевич, — ласково сказал Скудрин. — Идти вам некуда. Вам надо подождать.

— Я приехал с женщиной. Меня ждут. Мальчишкой я... голова у меня болит, мне надо спешить... мальчишкой я, лет тринадцати, читал Толстого «Войну и мир», — как я тогда плакал, как плакал я в том месте, где Анатоль Курагин поцеловал Наташу Ростову, — за попранную чистоту плакал, грязью Анатоля был возмущен, посмевшей коснуться чистоты... Нет, у меня есть фантазия. За попранную чистоту — не Наташи Ростовой, а русских женщин — сегодня на кладбище сами женщины заступились, и на совещании одна женщина спорила со мною.

Братья Бездетовы поднялись от коньяка, стали сзади Полторака. Яков Карпович захихикал. Полторак сел в нерешительности, опустил голову в алкоголе.

— Я вам расскажу, подождите спешить, — заговорил, хмыкая, Яков Карпович. — Наташа Ростова, — это, — да, само собою, фантазия. В России надо назад

оглядываться и страшно назад смотреть... Я о себе расскажу, к каким я пришел выводам. Послушайте, сосчитайте, книжечки у меня об этом имеются в шкафу, могу достать. Сосчитайте, — нищие, провидоши, побироши, волочебники, лазари, странники, странницы, убогие, пустосвяты, калики, пророки, дуры, дураки, ханжи, юродивые, — экие, изволите ли видеть, кренделя святой матушки Руси, нищие на святой, калики перехожие, убогие Христа ради, юродивые ради Христа Руси святой, — ишь, какие расписные крендели!.. И заметьте, существуют на Руси тысячу лет, от Киево-Печерской лавры. Сколько писателей макало о них научные перья, историки, этнографы научные труды писали. Были эти блаженные вместе с писателями, — или сумасшедшими, или жуликами, а считались красою церковною, Христовою братией, мольцами за мир. О коломенском нашем Данилушке, обо мне или о братце моем Иванушке поговорим впоследствии времени. А сейчас позвольте доложить о всероссийском Иване Яковлевиче. Помер он в годах семидесятых, я все это помню, был он недоучкой Духовной академии. Помер он в Москве, в Преображенской больнице. О похоронах его писали репортеры, поэты и историки. В «Московских ведомостях» стихи были напечатаны, извольте прослушать:

«Какое торжество готовит желтый дом?
Зачем туда текут народа волны
В телегах и в ландо, на дрожках и пешком,
И все сердца тревогой мрачной полны?
И слышится меж них порою смутный глас,
Исполненный сердечной, тяжкой боли:
— Иван Иаковлич безвременно угас,
Угас пророк, достойный лучшей доли!» —

Яков Карпович продолжал:

— Бытописатель Скавронский в «Очерках Москвы» рассказывает, что, изволите ли видеть, в продолжение пяти дней, пока труп не был похоронен, около трупа было отслужено больше трехсот панихид, многие ночевали около церкви. Предположено было хоронить Ивана Яковлевича в воскресенье, как и объявлено было в «Полицейских ведомостях». В этот день, чем свет, стали стекаться почитатели. Но погребение не состоялось из-за споров, где именно хоронить. Чуть не дошло до

драки, а брань уже была, и превеликая. Одни хотели его везти в Смоленск, на его родину, другие хотели, чтобы он был похоронен в мужском Покровском монастыре, где даже вырыта была для него могила под церковью, третьи умиленно просили отдать его прах в женский Алексеевский монастырь, а четвертые, уцепившись за гроб, тащили его в село Черкизово. Опасались, чтобы не украли тела Ивана Яковлевича. Во все это время шли дожди, и была страшная грязь, но, несмотря на то, во время перенесения тела женщины, девушки, барышни в кринолинах падали ниц, ползали под гробом. Иван Яковлевич при жизни, извините за выражение, мочился и испражнялся под себя, — из-под него текло, и сторожам велено было посыпать пол под ним песочком. Этот песок, подмоченный из-под Ивана Яковлевича, поклонники его собирали и уносили домой, и песочек стал оказывать врачебную силу. Разболелся у ребеночка животик, мать дала ему в кашке пол-ложечки песку, и ребеночек выздоровел!.. Вату, которой были заткнуты у покойника нос и уши, после отпевания делили на маленькие кусочки для раздачи верующим. Многие приходили с пузырьками и собирали в них ту влагу, которая текла из гроба — ввиду того, что покойник умер от водянки. Срачицу, в которой умер Иван Яковлевич, также разорвали в мелочь для верующих. Ко времени выноса из церкви собрались уроды, юроды, ханжи, странники, калеки. В церковь они не входили, за теснотой оставаясь на улице, — и тут-то, среди бела дня, делались народу поучения, совершались видения и явления, изрекались пророчества и хулы, собирались деньги и издавались зловещие рыкания... Вот-с, извольте ли видеть, как славно помер человек.

— Это вы к чему рассказываете? — бессильно спросил Полторак.

— К чему рассказываю? — переспросил Скудрин. Скудрин жил и наслаждался. Баба-провинция внимательно уселась на диване. — Извольте слушать! — строго крикнул Скудрин. — И знаете, чем знаменит был Иван Яковлевич? — прорицаниями. Он не только устные делал прорицания, но и письменные, так что для исторических исследований сохранились материалы. Ему писали, — спрашивали: — женится ли такой-то? — он отвечал: — «Без працы не бенды кололацы!» —

— Это вы к чему говорите?! — крикнул Полторак.

— А я жизнью наслаждаюсь, Евгений Евгеньевич, перед смертью. Быть может, это лучшее мое воспоминание! Извольте слушать! — злобно крикнул старик. — Сыр совершенно зря считается иностранным кушаньем, — я считаю его национально русским, как и лук. Лук я очень люблю. Заглавным сыром в России был Китай-город, а червями его были юроды, они там пачками ходили. Одни писали стихи, другие пели петухами, павлинами и кукушками, третьи крыли всех матом во имя господне, четвертые знали только по одной фразе, которая считалась пророческой и давала пророкам славу, например, — «жизнь человека сказка, гроб — коляска, ехать — не тряско!» — Имелись аматеры собачьего лая, лаем прорицавшие Божии веления. Были в этом сословии нищих, побирош, проведош, волочебников, лазарей, пустосвятов — убогих всея святой Руси — и крестьяне, и мещане, и дворяне, и купцы, — дети, старики, здоровенные мужичищи, плодородящие бабищи. Все они были, изволите видеть, пьяны и воняли луком.

— К чему вы это говорите? Мне надо идти, — опять бессильно сказал Полторак.

— Сейчас кончаю, — ответил Скудрин. — Над всеми этими юродами стояло, — как бы сказать, — луковицеобразное голубое величие российского царства, покрывало нас горьких, как сыр и лук, потому что луковицы на церквах, как лук, есть символ луковой русской жизни, — символ-с, Евгений Евгеньевич! Говорю это к вашей мысли, чтобы вы сами решили об убийстве. Деваться нам некуда, а в социализм — я не хочу. Если речку запрудят, как предполагаем, если мы запрудочку не взорвем, — запруды наши затопит, эту вот комнату водой зальет, вместо нас здесь рыбы плавать будут, в этот вот кораблик за коньячком заплывут. А я в этом домике на ноги стал и дети мои здесь родились. Я — за Россию, я не хочу к рыбам, мне с моими клопами лучше, чем с социализмом, изволите ли видеть!.. А про Ивана Яковлевича я потому вспомнил, что и мне помирать придется и смерти его, почестям его я завидую. И брату моему Ивану тоже завидую. Я — завистливый человек, Евгений Евгеньевич!

Полторак сказал злобно:

— Вы, Яков Карпович, изволили опустить одно обстоятельство, очень важное, а именно то, что юроды, бу-

дучи жуликами или сумасшедшими, были убивающими и убиваемыми. Убивали — только жулики. Сумасшедших — самих убивали.

— Совершенно верно, Евгений Евгеньевич, — жулики процветали, а сумасшедшие мерли, очень помню. Иван Яковлевич по всем данным был жуликом. Россия жуликов любит! — Позвольте еще одно соображение изложить. Мне редко приходится так разговаривать, Евгений Евгеньевич, — позвольте и мне почувствовать себя гражданином. Что, по-вашему, движет миром, — цивилизацией, наукой, пароходами? — труд? знание? любовь? — нет, ничего подобного, кхэ! — Память! — память движет миром. Представьте себе картину. Завтра утром я проснулся, — чувства, разум остались, — а памяти нет. Я проснулся на кровати, и я упал с нее, потому что я забыл о пространстве. На стуле лежат штаны, мне холодно, — а я не знаю, что с ними делать. Я не знаю, как мне ходить, на руках или на четвереньках. Я не помню вчерашнего дня, значит, я не боюсь смерти, ибо не знаю о ней. Инженеры забыли все свои чертежи, и все трамваи, паровозы и каналы пошли к черту. Попы не найдут дорогу в церковь, а также ничего не помнят о Христе. У меня остались инстинкты, хотя они тоже вроде памяти, но пусть, — и я не знаю, что мне есть, стул или хлеб, оставшийся на стуле от ночи, а, увидев женщину, я свою дочь приму за жену... Память! Фантазия! — фантазия памяти, Евгений Евгеньевич!.. Память позволит вам убить, Евгений Евгеньевич, а беспамятство спутает вашу мать с дочерью. Мы с вами мерзавцы, Евгений Евгеньевич. У вас расстройство чувств. Действительно, вам надо пойти отдохнуть, вы расстроены, — а я пойду схожу в постель к жене. Такому вам идти на луга опасно. Там ведь сторожа ходят, они привыкли, как я пасу скотину, а вас пастухом не видели. Идите к своей девочке на часик, а потом я проведу вас к монолиту. Отдохните перед смертью. У меня память есть, ее у меня не отняли, подобно сыновьям. Я помню Ивана Яковлевича, — а, чтобы рыбы вместо меня плавали по моему кабинету, — этого я не желаю. Пусть, что хотят делают, а дом свой я сберегу.

Баба-провинция слушала очень внимательно, распустив свои жижи. Кабинет вольтерьянствовал.

Братья Бездетовы строго поманили к себе Полторака. Полторак бессильно присел к братьям. Яков Карпович наслаждался, жил, — стал серьезен, склонился над заговорщиками и над фрегатом, оперся о плечо бабы-Коломны, браво схватившись за грыжу.

— У меня дома несчастье, я получил телеграмму, — сказал Полторак, — телеграфирует жена. Хорошо, давайте говорить о делах.

— Давайте о делах, — повторил старший Бездетов.

— О делах я скажу коротко, — молвил Скудрин. — Все готово, все я отнес куда надо. К часу, примерно, ночи я пойду пасти скотину. Вы идите к своей девочке, Евгений Евгеньевич, или ложитесь у меня. Разговор короткий. Я проведу лугами, никто не увидит.

— Встретимся у голутвинского плашкотного моста, — молвил старший Бездетов.

— Вы идите, Евгений Евгеньевич, вам сидеть у меня неудобно. У нас времени еще три часа. О смерти и чести говорить нам не стоит. Хотя я не спорю, — честь остается у каждого, у меня, например, — дочка моя Катя... а я тоже схожу к моей старухе в постель. Я живу для Кати. А помирать нынче ночью я не намерен.

Алкогольный фрегат управлялся Бездетовыми, вместе с фрегатом в осьмнадцатом веке застрял в красном дереве кабинета — товарищ Вольтер. В окна к торшеру летели ночные бабочки, и во мраке за окнами шелестел дождь. Яков Карпович копошился вокруг Полторака, топтался голубком, через прореху поддерживая грыжу. Глаза его слезились восемьюдесятью пятью его годами, старик пухнул, отекший, зеленый и счастливый, как сукровица. Громоздкий старик шепелявил, харкал и хрюкал, юродствуя, страшный и отвратительный. Бездетовы безмолвствовали у коньяка. Полторак подпер сизый свой подбородок ладонями, мыслями своими он не присутствовал в вольтеровском этом кабинете.

— Евгений Евгеньевич, — солидно заговорил старший Бездетов, — вы говорили, что рассчитаетесь с нами в Коломне. Самое время было бы теперь произвести расчет.

— Да, да, денежки получить не плохо! — поддакнул Скудрин.

— Да, кажется, правда, что потеряли мы не очень многое, но существенное, — совесть, — молвил Полторак.

— А я не потерял. Я ее не терял! — раздался голос из-за окна.

Все обернулись к окну.

За окном стукнуло железо водосточной трубы, посыпалась облицовка фундамента, шире распахнулось окно, и в свете торшера появились руки, голова и грудь охламона Ивана Ожогова, младшего единокровного, от одного отца и разных матерей брата Якова Карповича, переименовавшего себя из Скудрина в Ожогова. Иван Ожогов оперся локтями о подоконник. Непокрытую голову его смочил дождь, волосы слиплись в дожде, и лицо его, став иконописным, пребывало в сумасшествии. Ворот пиджака Ожогов поднял, галстук, истертый до дыр, съехал набок. Ожогов внимательно осмотрел бывших в комнате.

— А я не потерял, — сказал Ожогов, — и профессор Пимен Сергеевич Полетика тоже ее не терял. Надо с реками идти, а не против их. Мы с ним объяснились сегодня... Здравствуйте! — добавил Ожогов, помолчав, и поклонился. — Слыхали, — справедливость поднялась, — что женщины сегодня наделали! Опять наши времена приходят. Люди чести хотят!..

Поклону Ожогова ответил один Полторак. Яков Карпович заерзал и заволновался, засучив на месте босыми своими ногами. Баба-провинция уселась на диване гостьей. Вольтер мигал торшером.

— И зачем вы только пришли, братец? Вы думаете, я профессора Полетику не увижу? — спросил Яков Карпович.

— Посмотреть на виды контрреволюции, братец, — ответил Ожогов.

— Какая ж тут контрреволюция?

— Что касается вас, то вы контрреволюция бытовая, — тихо сказал Ожогов и сумасшедше прищурил глаз, — и очень я жалею, что не приставил я вас в мое время к стенке, не расстрелял, когда был председателем исполкома. Что касается краснодеревщиков, то они контрреволюция историческая, организованная вместе с господином вредителем Полтораком. Я все про вас знаю, сукины дети, только мне не верят.

Бездетовы молчали оловянными глазами, насторожившись. Яков Карпович наливался лиловою злобой и торжеством одновременно, вместо репы походил на пареную свеклу, — пошел к окну, захихикал в вежливости и торжестве, засучил руками, усердно тер их друг о друга, точно в морозе.

Сказал Полторак, усмехнувшись:

— Не ошибаетесь ли вы, Яков Карпович, что у юродов убивают мерзавцы и убивают сумасшедших?

Скудрин не ответил Полтораку.

— Знаете, братец, — заговорил, засипел Яков Карпович, очень вежливо и очень торжественно, — убирайтесь отсюда ко всем чертям. Я вас чистосердечно прошу!

— Извиняюсь, братец Яков, я не к вам пришел, ноги моей не будет в вашем доме, я на нейтральной почве — на подоконнике. Я пришел на историческую контрреволюцию посмотреть и с ней побеседовать, — ответил Иван.

— А я прошу, — убирайтесь к чертовой матери. Нынче на нашей улице масленица! Полетику я сам повидаю.

— А я не пойду к ней!

Павел Федорович медленно глянул оловом глаз на брата Степана и сказал строго:

— Разговаривать с юродами мы не можем, — не уйдешь, велю Степану выгнать тебя в шею.

Степан глянул так же, как брат, и поправился на стуле. Охламон молчал, щурил ехидно глаза и не двигался. Степан Федорович нехотя встал от фрегата, пошел к окну. Охламон трусливо слез с подоконника, оставив на свету одну лишь голову. Яков Карпович торжествующе хихикал. Степан подошел к окну, — Иван Ожогов исчез во мраке, гримасничая. Шумел за домом дождь. Из мрака сказал охламон:

— От меня не уйдете, — и свистнул.

За домом шумел дождь, и было тихо, как тихо бывает в лесу. Леса наступали на Коломну, надвинутые ночью. В Маринкиной башне кричали совы, карауля башенные века. Коломна запахла конским потом. Ольга Павловна Тучкова в тот час добралась уже до своей деревни и, счастливая, благодарная деду Назару Сысоеву, что он продал ей стулья и кресло, засыпала на полчаса в Назаровой избе на соломе, чтобы ехать через полчаса со стульями к поезду в город. Барин Каразин в

тот час бился в припадке старческой истерии. У Маринкиной башни кричали совы. Охламон ушел. Яков Карпович, торжествующий, никак не знал в тот час, что это был один из последних его часов в страшной и длинной его жизни. Лил во мраке дождь, уже по-осеннему, на многие часы.

— Я пойду, — бессильно сказал Евгений Евгеньевич.

— До часу ночи, — сказал старший Бездетов.

— До часу ночи, — сказал Скудрин.

— Да, до часу.

Ночь над городом в дожде следовала неподвижна и черна, как история этих мест. Дом Скудрина провалился во мрак и немотствовал перед путиной в луге. Старик Скудрин пребывал в счастии и в бодрости, — и в кислой тишине спальни зашлепали туфли старика — к постели Марии Климовны. Мария Климовна, пергаметная старушка, спала. Свеча в руке Якова Карповича дрожала. Яков Карпович хихикал. Яков Карпович коснулся пергаментного плеча Марии Климовны. Глаза его слезились в наслаждении. Баба-провинция спала в кабинете.

Он зашептал:

— Марьюшка, Марьюшка, да, кхэ, это жизнь, — это жизнь, Марьюшка, да!.. — и старик слышал гром взрыва, видел его взлетающие огни, дым, запахи, летящие в стороны камни, сипенье воды. Старик пляснул около постели.

Осьмнадцатый век провалился в российско-вольтеровский мрак.

В тот час на лестнице в мезонин младший Бездетов, Степан Федорович, встретил Катерину, потрогал ее плечи, крепкие, как у лошади, и покорные, как у коровы, пощупал их пьяною рукою, зашептал. Катерина стояла покорная и беспомощная.

— Ты там скажи своим, — сказал Степан, — опять устроим. Найдите, мол, место, в бане у вас, или где.

Евгений Евгеньевич опять будет. А сама иди сейчас в баню.

Катерина ничего не ответила. Коровообразная, она стояла рядом с Бездетовым в покорности и бессилии, опустив руки. И она обняла Бездетова, прижавшись к нему и смяв его.

За прежние приезды Бездетовых у них возникла традиция, столь обычная в обывательских тылах, — Катерина созывала подружек, братья доставали вина, — в бане, где хранилось у старика Скудрина приданое Катерины, в дальнем углу сада занавешивались окна, банный полок превращался в стол, девушки раскладывали на полке вареную колбасу, шпроты, конфеты, моченые яблоки, Бездетовы раскупоривали алкоголи. В бане зажигался ночник на первый час пьянства, затем тушился, и все банные часы собеседники и собутыльники говорили шепотом. Баня пребывала в осьмнадцатом веке так же, как дом, вольтеровски-колдовское наваждение. Девушки пили и напивались. Братья любознательствовали тем, как у пьяных людей, и у женщин в частности, когда они очень пьяны, надолго на лицах застревают одни и те же выражения, созданные алкоголем. В тот час, когда одна из девушек, дошкольница Клавдия Ивановна, дочь Риммы Карловны, начинала по-мужски опирать голову рукою, когда зубы ее скалились, а губы каменели в презрении, когда курила она одну папиросу за другой и пила коньяк, как воду, и говорила одно и то же: — «я пьяна? — да, пьяна, — и пусть! Завтра я опять пойду в школу учить, — а что я знаю? чему я учу? — вы красное дерево покупаете? старину? — вы и нас хотите купить вином? вы думаете, я не знаю, что такое жизнь? — нет, знаю! и пусть, и пусть! — а завтра в шесть часов я пойду в домпрос на совещание, — вот мой блокнот, тут все написано!.. и пусть!..» — в этот час, когда зубы Клавдии Ивановны скалились и была она безобразно-красива, — начинал Степан Федорович убеждать Катерину ласковыми словами, полными иронии: — «а вот ты кофточку не снимешь, Катюша, не посмеешь!» — и Клавдия Ивановна кричала тогда придушенным шепотом, ероша стриженые волосы, по-мужски опирая голову и не поднимая от стола остановившихся своих глаз: — «покажет! Катька, покажи им грудь! Пусть посмотрят! — Я тоже разденусь, хотите? — Вы думаете, я пьяница? — я сегодня пришла, чтобы напиться в дым, в дым, — понимаете? — в дым!.. была не была!.. Катька, разденься, пусть глядят, мы не стыдимся предрассудков!» — Клавдия Ивановна начинала тогда рвать вороты своих блузок, Катерина помогала ей расстегиваться, убеждая всегда

одним и тем же: — «Клава, не рви одежду, а то дома узнают, — не сердись, лучше я разденусь...» — и Павел Федорович, старший, тушил тогда ночник.

На лестнице в мезонин было темно. Катерина обняла Бездетова, прижалась к нему богатырским своим телом, смяв его, и она заплакала, злобно и покорно.

— Что ты? — спросил Степан Федорович.

Катерина не ответила в плаче, — она прижала Степана Федоровича к барьеру лестницы так, что ему стало трудно дышать и больно, он потерял равновесие.

— Что ты, Катерина? — спросил Степан Федорович.

И Катерина взвыла, заплакав навзрыд, отпустив Степана и рухнув головой и плечами на барьер. Барьер пискнул под нею и закачался.

— Беременна я! — провыла Катерина.

Маринкина башня безмолвствовала в ночи.

В селе Акатьеве в тот час, — в селе, которое должно было быть залитым водою, когда закончится строительство монолита, — старик Назар Сысоев разбудил Ольгу Павловну, присел на корточках над нею, потрогал ее за рукав, помотал головой, дремучий и седой старик.

— Павловна, — сказал он, — а, Павловна! Я пойду лошадь запрягать, ехать время, вставай, молоко на погребице. — Он помолчал. — Что деится, Ольга Павловна? что деится, а? а ты послухай, землю послухай, — тишина. — к чему бы? — и человек человека перестал уважать, злобятся все, прямо как на войне. Сыновья мои — Василий прямо с войны в охломоны пошел, а Степан да Федор — в коммунисты на строительство.

— А? да? — надо вставать? — спросила спросонья Ольга Павловна.

— Нет, ты поспи, поспи еще чуток, пока запрягу. Стар я, да и один я зато, сыновья те — вон, что... Мысли разные приходят. Молоко, говорю, на погребице, касатка. Я пойду запрягу. Подожди зато меня... Ты послухай!.. Деды жили, прадеды жили, и было у нашего села Акатьева ремесло, — водили мы плоты на Волгу, тыщу лет водили, а может и больше, сызмальства приучивались, каждый пригорок, каждый перекат знаем, что под Рязанью, что под Касимовом, что под Муромом. Испокон века рекою жили, плотами. И, сказывают, кончится наша жизнь, не будет теперь Оки ни под Рязанью, ни под Елатьмой, кончится река, в Москву потечет, на но-

вые места переселится... Ты послухай! — я думаю, врут, не будет такой реки, немыслимое это дело, — тыщи лет жили и вдруг кончается наша жизнь. Я думаю, врут про реку, хотя, действительно, строют. Нельзя поверить, что не то, чтобы мы плоты перестали гонять, а даже самое Акатьево под воду уберется, как Китеж-град... Ты только подумай!..

У Маринкиной башни в Коломне кричали совы.

Пимен Сергеевич Полетика был прав, утверждая, что Москва в те годы походила на военный лагерь армий, идущих в новую Россию, в знание, в равенство, в социализм. Москва походила на строительство, где перекованы и перекопаны были и века, отошедшие, настоящие и будущие, и улицы, умиравшие и строившиеся наново, и люди. Но профессор Полетика не доглядел, размышляя об униформах: униформы вводились в тот год массовыми стандартами толстовок, пыльников, кепок, носков и галстуков в одинаковый на миллионах шей и ног рисунок, одинаковым количеством зарабатываемых рублей и возможностей. Молодежь новой России поголовно ходила в армейском хаки, в командирских ремешках крест-накрест. Душным июлем, как вообще летом, Тверские и Садовые в Москве перекапывались траншеями канализаций и мостовыми в пригородах, скапывая в историю Красные ворота и церкви. Хаки молодежи напирали в будущее.

Евгений Евгеньевич Полторак жил за рвами истории. И он был болен.

Он жил жизнью тех спецов, которые, на чужой глаз, существуют стихиям вопреки. Наряду с десятком промышленных комиссий он был завсегдатаем тех немногих московских кабаков, куда собирались стихийствующие за окопами москвичи, Большой Московской для обедов, актерского кружка в Пименовском (как раз сзади аукциона) для ужинов, фокстротов и рассветных встреч, бегов для воскресных отдыхов, казино для субботних карточных метафизик. Но у Полторака был и дом, как это слово понималось в старину, — жена, дети, горничная в белом фартуке и в прическе, какие носили в начале века, узкий и достойный дома круг друзей, ковры, бронза, картины, красное дерево, гарднеровский сервиз, строгий телефон, который больше отнимал времени на расспросы о том, кто говорит и по какому делу,

чем на разговоры. Полторак расточительствовал вне дома и в доме был скуп. Дети учились английскому языку. Гости бывали в доме только по приглашению. Тогда покупались вина, фрукты, икры и осетрины, расставлялись фарфоры, и хозяйка предупреждала о вновь входящем: — «инженер-гидравлик такой-то, беспартийный, но, тсс, близок к ним!..» — Коммунисты в доме Полторака бывали редко, но все же бывали, потому что Полторак считался своим у революции спецом, — Полторак надевал в таких случаях блузу. Жена Полторака старела, уставшая и достойная женщина, спрятанная домом от улиц в расчетах тех трудных рублей, на которые надо было сохранять приличие дома.

Полторак был болен. Он не знал, когда началась его болезнь, и он не знал, как эту болезнь назвать. Он заспешил, его время теснило его. Он не мог оставаться один, он должен был быть всюду. Он хворал женщинами, распоясав свои инстинкты. Он не знал своей болезни. Глаза англичанина Шервуда не стали судьбою в его болезни. И гибель в лугах оказалась логикой вещей. За полторы недели до поездки на строительство из Крыма пришла телеграмма от врача, лечившего сестру жены. Врач телеграфировал по поводу свояченицы: — «положение безнадежно, находим возможным взять больную обратно». — Врачи не любят, когда больные умирают на их руках, по правилам врачебной этики телеграмма значила, что больная умрет со дня на день и ее надо взять от врача, чтобы она умерла на руках близких. Евгений Евгеньевич эту телеграмму спрятал, не показав жене, не находя нужным расстраивать жену и тратить деньги на перевоз умиравшей. Но пришла вторая телеграмма, — «просим поспешить взять больную», — и она попала в руки жены.

Жена больше часа простояла с телеграммой в руках у стола красного дерева, на котором она подписывала обратную расписку, остановив глазами себя и время, — и еще несколько часов она лежала в постели на павловской кровати с грифами, в мокрой от слез подушке, искусанной зубами, утолявшими бессмыслицу и боль смерти: умирала, уходила в бессмыслицу — сестра, единственная, кто осталась в жизни от детства, кто прошел через всю жизнь, что связано любовью семьи, рода, крови.

Евгений Евгеньевич пришел бодрым и усталым, звонил по телефону, не замечая жены.

Жена сказала одеревеневшими губами:

— Умирает.

И жена прижалась к мужу, к родному, чтобы его родным и чужим теплом защитить себя, свое бессилие перед страхом и бессмыслицей.

Жена все же нашла сил пойти и заложить часы и брошку, свое девичье приданое, когда муж сказал, что у него не хватит денег на поездку, — и в этот же вечер Полторак уехал в Крым. Его провожала жена и она купила билет жесткого вагона.

В Подольске Евгений Евгеньевич сменил жесткий вагон на международный. Попутчиком оказался человек, через десяток фраз разговора с которым возникли общие знакомые. Перед сном они ходили в вагон-ресторан, пили белое вино и говорили о русской интеллигенции, превращенной за революцию в спецов, выхолощенной этим обстоятельством, когда общественное служение интеллигенции списано революцией с ее счетов.

От Севастополя до Ялты Полторака нес автомобиль, и Крым был прекрасен. Море, горы, дорога, праздничность людей, июль — оказались чудесными, — и Полторак с трудом собрал брови в скорбь, когда шел к Вере Григорьевне.

Крым преобразил Веру Григорьевну. Полторак нашел ее в кресле на террасе, она заулыбалась, замахала рукою, поцеловала в лоб. Полторак разобрал свои морщины, чтоб стать таким, каким он был всегда.

Она сказала:

— Вот и отлично. Доктор говорит, что я совсем поправилась. Надо ехать в Москву, в санаторий Высокие Горы, мне наложат новый пневмоторакс, новым способом, и потом здесь мне вредит жара. И через месяц я на ногах, — а с осени я вновь на сцене!

Это была первая фраза, которую сказала Вера Григорьевна.

После февраля, когда она уехала в Крым, она очень изменилась — к лучшему. Она загорела, пополнела, у нее появился сизый румянец, ее глаза стали глубже и красивее, и прелестны были синяки под глазами. Кроме перемен физических у нее были перемены психичес-

кие, которые вдруг заволновали Полторака и понравились ему: Вера Григорьевна потеряла стыд и любознательность, — она почти не спрашивала о Москве, она сразу рассказала, в какие часы мерится температура, как она потеет, как варит ее желудок, что она ест. Она очень обрадовалась родному человеку, она шутила, — Евгений Евгеньевич отвечал ей в тон.

Докторски-озабоченный и озабоченно-шутливый доктор позвал за собой Полторака в парк. На скамеечке в парке доктор сказал, что туберкулез перешел на кишечник, смерть неминуема и сроки ее измеряются днями, если не часами. Полторак опустил глаза, собрал морщины. Доктор глянул иронически, помолчал и пошутил:

— Ну, ну, все там будем!

Полторак улыбнулся, и оба закурили из докторского портсигара.

— Расскажите, что новенького в Москве? — спросил доктор.

В закат Полторак ходил к морю, море синело, на камнях вповалку лежали мужчины и женщины в купальных костюмах. Полторак встретил двух голых знакомых жен инженеров, побеседовал о пустяках, пошутил. Вечер он провел с Верой Григорьевной около ее постели, держал в своих руках ее руку. Поздно вечером, когда Вера Григорьевна заснула, Полторак ходил с доктором, под руководством доктора, в греческий ресторанчик, выпить красного вина, — доктор оказался плохим спутником, а знакомых инженерских жен не нашлось дома.

Наутро Вера Григорьевна и Полторак поехали в Севастополь. В гостинице в Севастополе, где они пережидали часы до поезда, Вера Григорьевна просила Евгения Евгеньевича помочь сделать ей клизму, он ходил в буфет за теплой водой. Поезд из Севастополя к Москве ушел в ночь.

Больная заснула, не раздеваясь, еще на станции, обессиленная автомобилем от Ялты. Купе степенствовало сытой тишиной и лиловым светом ночного рожка. Евгений Евгеньевич бодрствовал, день гор и автомобиля его никак не утомил. Он скучал, пока не заснул вагон, он выходил в коридор покурить, заходил в вагон-ресторан выпить рюмку коньяку. У Джанкоя больная

проснулась, попросила воды, сказала, чтобы Евгений Евгеньевич помог ей раздеться. Он стал расшнуровывать ее ботинки, снял чулки. И он почувствовал беспокойные приступы своей болезни, той, которая пришла к нему неизвестно когда.

— Остальное я сниму сама, — сказала она. — Вы придержите меня.

Она сняла кофточку, расстегнула крючки юбки. Евгений Евгеньевич придерживал ее за талию.

— Дайте мне туфли из чемодана и ночную рубашку, — сказала она. — Помогите мне вымыться. Отвернитесь. Дайте полотенце.

Она говорила безразлично, как говорят с врачом, — ей трудно было говорить. Она не могла идти без помощи. Евгений Евгеньевич открыл дверцу умывальной кабины. Она опоясала себя полотенцем и спустила с плеч рубашку, чтобы мыться. Она надела ночное белье. Евгений Евгеньевич отвел ее к постели, уложил, закутал ее ноги простыней. Она попросила пить, поправить подушки, положила руку под голову, улыбнулась, отдыхая. Он сел у ее ног, вымытый, довольный человек, благополучно покойствуя. Около него лежала большая, очень красивая молодая женщина. Он чувствовал, как его руки начинают дрожать. Глаза ее, в отдыхе, следили за купе сквозь полуприкрытые веки, и от нее пахло беспокойными духами. Ночь международного вагона покойно качалась пульманом.

И тогда Евгений Евгеньевич заговорил отличным правозаступником, наклоняясь к Вере Григорьевне, колени которой были у него под руками. Он говорил тем тоном, которым, должно быть, исповедуются, совершеннейшей правдой, совершенной откровенностью. Он был в припадке.

— Что такое любовь, Вера Григорьевна? — и что такое жизнь? — что такое смерть? — кто знает? — и что такое правда? — Я знаю много правд, которые суть неправды! и я знаю очень много неправд, которые становились большими, очень большими справедливостями. Я не говорю о разных там добродетелях, верности, долгах, — все это пустяки перед лицом смерти! — Вы очень больны, Вера Григорьевна, — вы очень больны! — Вы знаете, что вы боретесь — не с болезнью, нет, — но с самой смертью!.. — Смерть — это ничто. Я не верю, что-

бы там что-нибудь было, — и вы знаете об этом, Вера Григорьевна. Все правды, все справедливости и всяческие морали — ничто перед смертью, именно потому, что смерть есть ничто, нуль, — а множитель нуль все превращает в самого себя. — что такое любовь, Вера Григорьевна? — Что такое любовь? — Есть много любовей, одетых всякими правдами. Есть любовь, когда надо тысячи раз повторять имя любимой, и больше ничего. Есть любовь, как молитва. Есть любовь мечтаний. Природа жестока, как смерть. Все эти любови суть интродукция к тому, что единственное дано природой и что замарано нашей моралью, оставшейся от средневекового христианства, — к простой, плотской, физической — я не боюсь слов — к любви, как к физическому наслаждению. Перед нулем смерти — все ерунда, плотская любовь останется до тех пор, пока не пришел нуль, — все остальные правды неправы, кроме этой одной. — Судите меня, но я честен. Я говорю перед лицом смерти, — вы знаете это. Кто знает, что будет с вами через месяц? — я говорю честно, — я хочу целовать ваши руки, ваши глаза, вашу грудь, чтобы ничего не отдавать нулю. Вы женщина, вы прекрасная женщина, несущая счастье. Я хочу, чтобы у вас — у нас — было счастье, физическое счастье, радость, наслаждение, которыми мы борем смерть. Я не боюсь слов и условностей морали. Я хочу целовать вас сейчас же, — для вас. Пусть все это будет вне правд и моралей!..

Евгений Евгеньевич говорил искуснейшим оратором, он опускал глаза и закрывал их ладонью, — и он уже не принадлежал себе. Нежнейше положил он руку на подмышку Веры Григорьевны. Она не оттолкнула его руки. Он положил голову к ней на грудь. Он говорил. Рука ее по-прежнему лежала закинутой за голову. Она закрыла глаза. Он шептал. Она очень тяжело дышала, но сердце ее почти не билось.

— Не целуйте меня, — сказала она, — я заражу вас.

— Чудесная! мы ж сильнее бактерий! — крикнул восторженно он.

Губы ее сжались в боли, она поцеловала его в лоб, ее рука упала к нему на шею.

— Ведь это же мерзость, Евгений, — сказала Вера Григорьевна и вдруг вздрогнула, задрожала, засвистела дыханием, первый раз в жизни, должно быть, потеряв способность владеть собою.

И Евгений Евгеньевич поспешно стал развязывать галстук.

Днем на следующий день с Верой Григорьевной стало плохо. Температура с утра подошла к сорока, и исчез пульс. Вера Григорьевна лежала в лужах пота, бессильная двигаться и говорить. Полторак искал по поезду доктора, нашел в жестком вагоне студента. Студент требовал, чтобы больную вынесли из вагона в Харькове, — Полторак отказался. В Харькове больной впрыснули камфару, к вечеру умирающая затихла во сне. Полторак просил проводника последить и ходил в вагон-ресторан обедать, — угощал студента, в качестве визитной платы, водкой и белым вином. Глубоко ночью, уже в Великороссии, когда Евгений Евгеньевич спал на верхней полке, его разбудила Вера Григорьевна. Она стояла, прислонившись головой к его постели.

— Милый, — прошептала она. — Я разбудила тебя, я так давно тебя зову, ты не слышишь... Пойди ко мне, я еще раз хочу поцеловать тебя — перед смертью... Мне стыдно перед собою и перед сестрой... Мне очень страшно. Я умираю... — она произносила слова, чуть двигая запекшимися губами. Губы ее, синие, вздрагивали.

Евгений Евгеньевич ответил:

— Что ты, что ты, успокойся, приляг!.. я сейчас...

— Что ты сделал, Евгений? — опять заговорила Вера Григорьевна. — Что ты сделал? — ты меня не любишь, — разве ты меня любишь? — мне стыдно перед сестрой. Мне страшно перед всем миром.

В Москве лил дождь. На вокзале встретили жена и дети Евгения Евгеньевича. Сестры поцеловались в плаче. Евгений Евгеньевич вместе с носильщиком тащил чемоданы. Женщины и Евгений Евгеньевич сели в такси, дети поехали трамваем.

— Спасибо Евгению, он... — сказала Вера Григорьевна. Она раньше никогда не называла Полторака без отчества. Она посмотрела на него любяще. Евгений Евгеньевич глянул чужими глазами, подставив их под удар. Вера Григорьевна собрала воздух. — Спасибо Евгению, он... он был очень внимателен, он... все ночи сидел надо мною и охранял мой покой, — сказала Вера Григорьевна.

Глаза Евгения Евгеньевича не переставали быть чужими. Жена посмотрела на мужа благодарно.

Дома, на Владимиро-Долгоруковской, швейцар и дворник внесли Веру Григорьевну на третий этаж, в солидность красного дерева дома Полторака, — с тем, чтобы спуститься отсюда Вере Григорьевне еще, последний раз — в гробу. Жена закачалась в обмороке на пороге кабинета. Веру Григорьевну положили на диван в кабинете. Жена вошла в кабинет, чтобы помочь сестре, и вышла оттуда, чтобы бесшумно плакать в коридоре. Евгений Евгеньевич прошел к больной, она позвала его глазами.

— Милый, — прошептала она, — где сестра? — что ты сделал со мною?

Евгений Евгеньевич — не расслышал, он глянул на дверь, он вышел из кабинета. Он трагически заломил руки, маня за собой жену. Он опустил голову.

— Это ужасно — смерть! — сказал он. — Я совершенно измучен, морально и физически. Я не спал три ночи, и туда ты заставила меня ехать на ящиках. Она всю дорогу бредила, у нее эротические бреды. Она ненормальна. Это заживо разложившийся труп, это ужасно!.. и этот предательский вид, она красавица, как ты в молодости. Но это пустяки. Это ужасно, смерть!..

Жена обняла мужа, как обнимаются люди в страшном горе, чтобы прижаться к чужому, родному человеческому теплу и им защитить себя. Дети плакали на чемоданах. Жена задергалась судорогами истерики.

— Что же делать, что делать, — это жизнь! — сказала шепотом жена.

— Я жесток, я не боюсь слов, — сказал удрученно Евгений Евгеньевич. — Как ужасно ждать, когда умирает человек.

Жена зазнобилась ужасом.

— Да, конечно, да, скорее бы...

— Я не могу быть дома. Мне страшно здесь, и я не спал три ночи. Я пойду к знакомым.

Евгений Евгеньевич стоял, с платком в руках, головою упершись в стену, в бессилии и скорби. Жена обнимала его и прижималась к нему. В коридоре горело электричество, со стены наклонился к Полтораку олений рогатый череп с пустыми глазницами смерти.

Жена отворила дверь в кабинет, постояла минуту на пороге, ушла за дверь.

Евгений Евгеньевич закурил и прошел в ванную.

Это было болезнью: через полчаса Евгений Евгеньевич спускался по лестнице весел и бодр, в просторном летнем костюме, холено выбритый. Дождь над Москвою прошел, смочив и запарив асфальты. Живодерка гремела ломовыми. В бодрости Полторак прошел к реставраторам Бездетовым, в средневековье и сырость антикварного подвала, в запахи старинных духов, клея и политуры, в старину красного дерева, фарфора, бронзы. Павел Федорович ставил на верстак графин с коньяком — императорского алмазного сервиза, — показал секретные ящики павловского дивана.

— Отстаиваете Павла? — спросил Бездетов.

— Да, а как же. Павел — мальтиец, черт его знает, солдатская метафизика. И с женщиной провести вечер тоже неплохо на павловском диване, флюиды идут от веков. И века и современность под тобою одновременно.

— Екатерининские кровати для женщин тоже хороши, — а Александр, верно, — узок, — сказал Павел Федорович.

Отпили по рюмке коньяку.

— Шервуд был?

— Был. Советовал наведаться в Коломну.

Евгений Евгеньевич звонил по телефону, подзывал к трубке — Надежду Антоновну Саранцеву.

— Надя, это вы? — я приехал. Мы увидимся? — У Пушкина?

Красное дерево, его обломки, сваленные по углам, и его обломки, приведенные в строгий и старый порядок, восстанавливавшие старые эпохи, отполированные стариною, — средневековствовали в полумраке подвала, в серых паутинах. Столярный клей, делающийся из костяных отбросов, всегда пахнет смертью. Старинные ж духи — благородны, эти пачули.

В Москве жило два миллиона людей, колоссальный человеческий лес, дебри, где один человек и многие никогда не знали друг о друге, где очень многие созвучащие проходили мимо, никогда не узнав о своем созвучании, — и у этого миллионного леса были свои любови, дела, платья, столы, стулья, постели. Сколько кроватей и полотенец должно быть в миллионолюдном городе!

Полторак очень знал, как опускаются к губам головы женщин и глаза дрогнут под поцелуем, — как гово-

рятся обессиливающие слова, — как кладут головы на колени женщин лицом вниз, головою столкнув юбку, обнажив колени, когда за шумом алкоголя и шепотом распадается сознание.

На перроне в Коломне Полторак познакомил Полетику с Надеждой Антоновной Саранцевой, и Надежда Антоновна поздоровалась с Полетикой и краснодеревщиками, руку подав очень надменной женщиной, наряженная не в мужские носки и не в ситцевое платьице, как приходила она к Пушкину после службы, но по правилам путешественницы в английском синем костюме, в шелковых чулках, в дорожных без каблуков ботинках, с кэзом в руке, — ей можно было дать за тридцать лет. Полторак с Надеждою Антоновной уехали в темноту, лаявшую средневековыми собаками.

Заспанный коридорный в гостинице, придерживая подштанники свободною от свечи рукою, спросил коротко:

— Один номер, либо два?

Полторак ответил строго:

— Один двойной, — и глянул вопросительно на Надежду Антоновну.

Она отвернулась, смотрела в окно за полуоткрытую ставню. Коридорный пошел вперед по коридорам, пахнущим мышами и креолином, дезинфекцией. Номера существовали в этом доме лет полтораста, номер оказался низок и широкостенен, с окнами, задвинутыми ставнями. Рассвет лез в щели ставен так же, должно быть, как в крепостные бастионы. Номерной зажег на столе свечу, высыпал себе в руку из пепельницы окурки и ушел. Свеча горела воровски. Евгений Евгеньевич повесил на крюк кожаное свое пальто и форменную фуражку. Надежда Антоновна стояла у стола с кэзом в руках.

— А ты даже не спросил меня, — сказала она, впервые заговорив на ты, — ты даже не спросил, есть ли у меня муж или нет?

— Милая, разве это важно нам!? — ответил Полторак. — А он у тебя есть?

— Да, есть, их у меня несколько, — сказала безразлично Надежда Антоновна. — Ты меня называешь милой, — ты ни разу не называл раньше. Ты заметил, — слова — любовь, роман — умерли теперь.

— Милая, — сказал Полторак и обнял Надежду Антоновну сзади, за плечи, положив голову к ней на плечо: — моя милая, — ты никогда не бывала на волчьих облавах? — На рассвете, в лесу, по росе, в безмолвии, охотники встают на свои номера, — загонщики расставляют по лесу флажки и расставляются живою цепью. Волки окружены. Но волки не знают, что кругом них стала смерть, главным образом там, где тишина. Над лесом идет рассвет. Мы с тобою, как волки, — за флажками, — жизнь осталась за порогом этой комнаты... Впрочем, я путано говорю. Милая, жизнь осталась за порогом, — мне ничто не важно: ни муж, ни прошлое, ни будни, — чудесны ты и то, что мы выкинуты за быт.

Надежда Антоновна освободила свои плечи, сняла шляпку и перчатки, открыла ставню, потушила свечу. Свеча действительно не надобилась в тот рассветный час. Надежда Антоновна постояла над столом и пошла к окну, села на бастионный подоконник, открыла оконце. За окном просторился рассвет, земля поворачивалась к солнцу, выкутываясь из темноты и туманов. В номере застрял серый, чуть-чуть злобный и усталый полумрак, похожий на стены номера, очень уставшие.

— Давай подождем рассвета, — сказала Надежда Антоновна, — это ведь впервые для меня, как Коломна выползает из ночи. — Это очень туманно, о волках. Да, их у меня несколько, — и ты сегодня будешь моим следующим мужем. — Надежда Антоновна не позволила возразить Евгению Евгеньевичу. — Ты боишься слова муж, — не бойся, я совсем не хочу брать твою свободу и быть твоей рабой. Достань вина.

Евгений Евгеньевич вынул из чемодана бутылку барзака.

— Конечно, ты боишься слова муж, и ты придумываешь волков. Не стоит, все гораздо проще. В старину были слова — отдаться, быть твоей. Умершие слова! — я никому не отдаюсь, я беру, как мужчина. И это глупое слово — любовь. Я никого не люблю и не любила, кроме себя. Мне любопытно слушать себя и служить себе, а не другим. В один прекрасный день мне стало любопытно стать женщиной, и я стала ею, — мне было тогда шестнадцать лет. У меня... — она помолчала. — Впрочем, я не знаю. Ты не знаешь, ни сколько мне лет, ни где я служу, ни чем я живу, мы видимся четвертый раз.

В Москве нас часто застают рассветы, но мы не видим их за домами. Смотрите, через пять минут поднимется солнце, какая торжественность в мире, какое просторное небо, и земля умыта росою. Вы хотите знать, почему я поехала с вами? — мне представилось, что мы пойдем по обрывам реки, пройдем в луга, где строятся крепости против реки.

— Ты говоришь как поэт, — сказал Полторак. — Выпей еще вина.

— Я служу в Гипромезе, ты знаешь, но я хочу быть актрисой. Да, вина налей еще. Что ты думаешь о революции?

Полторак перестал наливать вино, глаза его потвердели.

— О чем? — переспросил он.

— О революции. Мне было четырнадцать лет, когда началась революция. Я была девочкой, когда началась война. Впрочем, мы поговорим еще об этом.

Евгений Евгеньевич долил вино. Он подошел к окну из усталого полумрака комнаты, передал стакан, лицо его серело, зубы его золотели. Он опустился на колени около подоконника, он положил голову на колени Надежды Антоновны, стал целовать ее колени. Она поставила на его голову стакан, придерживая его, откинула свою голову к раме окна и смотрела на восток, следила за небом и за туманами. Из тумана выползали кремлевские башни, башня Марины Мнишек, самая дальняя. Солнце, должно быть, уже поднялось за туманами. Надежда Антоновна выпила залпом вино и встала с окна, не замечая Полторака, оттолкнув его от колена.

— Все же мы ночные люди, — сказала она. — Затворите плотно ставни, пусть вернется ночь. Всего, что есть у нас в жизни, очень немного. Поцелуйте меня, — и не воровски, а бесстыдно... я ведь знаю, — вы больны женщинами. Я смотрела на рассвет и думала о том, что во мне просыпается амазонка, а когда я увидела кремлевские башни, которых не подозревала, я вспомнила древних германок, которые с мужьями ходили в бои. А потом я подумала — вот о чем: я, не замечая того, могу быть и трибуном, и проституткой. Я не знаю, когда я настоящая. С тобой я хочу быть циничной европеенкой, туристом и такой, которой все позволено. И тебе все позволено. Это у меня с детства, я закрываю глаза в

темной комнате, это бывает ночами, — я не знаю, кто должен войти в эту комнату, — но из тысячи знакомых я узнаю каждого, кто вошел, узнаю не мозгом, но чем-то, что есть во мне, чего я не знаю, тем самым, от чего вдруг, как сейчас в этот рассвет, вместе с миром, вместе с солнцем, начинает по-особенному биться сердце. Поцелуй меня.

Полторак закрыл ставни. Подмышки женщин пахнут сургучом. И комната с бастионными стенами, провалившимися во мрак, украденный у рассвета, уездный гостиничный номер, проезженный российскими уездами, утро, поцелуи, — все стало канцелярией страсти, очень страшной, как все канцелярии номерных уездных гостиничных постелей. Европейская мораль наказала тайны этих канцелярий не выносить третьим лицам.

Полторак не спал этой коломенской ночью.

К семи часам он поехал на стройку, оставив Надежду Антоновну одну. Плечи ее голели и руку она положила под голову, рот она детски полуоткрыла, она спала. На улице ослепило солнце, улица лежала пустынна, пыльна, подпертая вывесками. Извозчик, одетый в тысячелетнюю российскую рубаху, на козлах своей калибры въехал в траншеи рвов и дамб строительства именно тысячелетьем разных русских старинностей. Пространства строительства уходили из глаз, вдалеке и вблизи сопели экскаваторы, взвывали сирены, вдалеке рвался жидкий воздух. Пространства дрались за социализм, калибра скрипела на все четыре колеса, и репица у лошади облезла в лишаях. Река Москва текла еще по прежнему руслу, и ее надо было переезжать через плашкотный мост, тысячелетний от роду. Ока сломала свой «режим реки», как говорят инженеры-гидротехники, — текла водоотводным каналом. Прежнее ее русло, охваченное перемычками, громоздилось бетонным бастионом монолита.

В доме для приезжающих Полторак попросил себе нарзана.

Профессор Полетика сидел с инженером Садыковым.

— Она живет в Коломне вместе с дочерью Любовью Пименовной Полетикой и с Алисой Ласло, — сказал Садыков.

— Любовь Пименовна — девушка лет двадцати трех? — спросил Полторак, обогнав вопросом профессора Полетику.

Полторак вспомнил: комсомолка Люба Полетика, три года тому назад, март, обыкновенная, как с Надеждой Антоновной, встреча, необыкновенная развязка. Любовь Полетика училась в Археологическом институте. Есть люди, которые отдают свои жизни странным вещам: в тот март двадцатилетняя Любовь Полетика, выкраивая время от комсомольской своей работы, время свое и помыслы отдавала изучению темной истории каменных степных баб, которые выкапываются в древних курганах. В Москве эти бабы хранились на дворе Исторического музея, сваленные штабелями, громоздкие, сотнепудовые, страшные, изъеденные временем ветров и земли, состоящие из скул, грудей и животов. Любовь Полетика искала эпоху возникновения этих баб, народ, создавший их, его историю. Она ездила за Волгу к археологу Паулю Рау раскапывать баб, чтобы видеть те голые степные пейзажи, которые веками хранили баб, растеряв создавший их народ, время и памяти. За Волгой тогда она была в местах, откуда ушли в Венгрию предки ее отчима, унгры. Из-за Волги тогда Любовь привезла раздумья о пустых ковылевых степях, некогда бывших цветущими и людными, о культурах кочевников, умерших за этими пейзажами и оставивших на тысячелетья и на раздумья — каменных этих страшных баб. Бабы действительно были страшны, скуластые, узкоглазые, коровоживотые, — Любовь Пименовна говорила о их грации. Любовь Пименовна часами говорила о складках одежд этих баб, о сухом рисунке степных пустых их глаз, о низких их лбах, о выпяченных их грудях и животах, символах плодородия. Бабы эти возникли во утверждение матриархата. Изучая законами мастерства эстетику народа, создавшего баб, Любовь раздумывала, как далеко ушло человечество от того неизвестного народа, который оставил свое искусство в этих бабах, остановив им время и оставив на тысячелетия свою эстетику. Любовь — этими бабами — читала века дорог и кочевий человечества от кочевников до теперешних дней. Полторак очень знал, как опускаются к губам головы девушек и глаза дрогнут под поцелуем, как говорятся обессиливающие сло-

ва, — он приходил в девичью комнату Любови Полетики слушать о революции комсомольцев и о веках каменных баб. Любовь водила Полторака под своды Исторического музея, где хранились бабы. Полторак воспринимал эти каменные бревна остатками идолопоклонства, розановской мистикой пола, славянофильским скифством. Полтораку хотелось знать, что девушка отдала свое время этим древностям во имя мистики, он убеждал в этом Любовь и себя, но это было никак не верно для Любови. Любовь копалась в веках, чтобы отдать их будущему. Мир этой девушки, очень загруженный трудом, был чист и ясен. Красные мартовские закаты напоминали Любови степные рассветы человечества и зори революций на земном шаре. Полторак приходил к Любови Мефистофелем и иконописным революционером. И был вечер, когда он положил голову на ее колени, чтобы склонить ее губы к своим губам, — и в тот вечер она сказала ему, что она его любит. Но сказано это было строгими и сухими словами, совсем без объятий, очень тихо, когда глаза опущены и опущены руки. Она не позволила поцеловать ее в тот вечер, даже руки. И через три дня они расстались навсегда, потому что она считала любовь чистотою, неделимым, подвигом. Она сказала ему, что, чтоб он имел право поцеловать ее, даже руку ее, он должен не стыдиться сказать об этом, об их любви, всему миру и первым делом — прежней своей жене. И Любовь мучилась, не имея сил решить, имеет ли она право на свое счастье перед лицом детей и прежней жены, имеет ли право ради своего счастья ломать чужие жизни. Любовь оправдывала Полторака, готовая жертвовать собою, тем, что, если ушла любовь, значит, пришла ложь, — а ложь есть мерзость, которой надо бежать. Через три дня тогда они расстались, потому что она пожертвовала собою, ибо он сказал, что у него нет сил и права чести жертвовать детьми. Она пожертвовала себя его детям. Она готова была растить его детей. Она запретила ему встречать ее. И она сказала, прощаясь, что для нее любовь одна, что она любит его на всю жизнь и примет его, когда он будет знать, что он чист и готов к любви. Для себя она оставляла революцию.

За окнами инженерского дома фыркал паровозик, свистнул и покатился.

Профессор Полетика сидел, тяжело навалившись на стол. Инженер Полторак глянул на профессора с ненавистью.

— Это моя дочь, Любовь Пименовна, — сказал Полетика.

— Я знавал ее несколько лет тому назад, — почтительно сказал Полторак.

— Она работает на строительстве, в археологической комиссии, прощается с памятниками старины, которые уйдут под воду, изучает историю башни Марины Мнишек. Она коммунистка, — сказал Садыков.

На место ушедшего паровозика под окна прибежал новый и зафыркал.

Потому, что безразборная мужская полигамия есть патология, Евгений Евгеньевич Полторак не умел любить и не знал той любви, которая веками определяла слово любовь, и он любил не женщин, а самого себя в женщинах. Надежда Антоновна была права, Полторак хворал женщинами, ему мерещились все время новые и новые связи, его наслаждали бреды ненормальностей, путаница в нескольких женщинах сразу, множество женских колен, губ, спин, животов.

В Москве, за час до отъезда, когда Полторак спешил к Надежде Антоновне, чтобы захватить ее на вокзал, — в номере Большой Московской гостиницы — англичанин Шервуд спросил Полторака последний раз:

— Решено?

— Да, решено! — ответил Полторак.

— Решено, — сказал Шервуд.

Оба они внимательнейше посмотрели в глаза друг другу.

Любовь Полетика была дочерью профессора Пимена Сергеевича Полетики. Этот закон правилен, что убийцу тянет к месту убийства. Тогда, три года тому назад, Любовь Полетика пришла в жизнь Полторака и ушла из нее — оскорбительной чистотою, не подчинившейся Полтораку. Неподчинения люди не забывают, как иные ощущают чистоту пощечиной. Логики вещей не могло быть, как всегда в болезнях. Полторак видел колени Любови, — наплевать же в чистоту — есть иным счастье. У Полторака очень болела голова от бессонной ночи. Такие головные боли, когда мир становится стеклянным и все перестраивается по-но-

вому, Полторак считал заполнением жизни, — на краю бреда, отяжелевший бессонницей, он должен был спешить, делать, всюду поспевать, чувствовать, как перенапряженно бьется сердце, точно оно занемело, как немеют отсиженные руки иль ноги. Светило солнце, но мир пребывал для Полторака серым, как в белые ночи.

В столовую вошел охламон Иван Ожогов.

Полторак приехал на строительство по делам ГЭТа. В конторе у начальника ЭМ — электромеханического отдела — Полторака поджидал председатель рабочих производственных совещаний отдела ЭМ, сонный и молчаливый человек. В клубе при фабрике-кухне собиралось совещание по вопросу о передаче работ ГЭТу. Председатель передал материалы, отрекомендовался:

— Рабочий Сысоев. — Порылся в бумагах и добавил не спеша, — пойдете в культурную чайную.

Пошли поселком № 2. Под мышкой у Полторака покоился портфель с бумагами. Голова наливалась сном. Сысоев шел впереди медленным развальцем, но так, что Полторак за ним должен был поспешать. До революции Полторак работал на производствах, застряв после революции в трестовских комиссиях. Шли улицей, образовавшейся на лугах, — улицей необыкновенного города, где жили только рабочие и служащие строительства, — ни лавочника, ни разночинца. Улица пустела в рабочем дне, стандартные домики в шахматном порядке, с занавесками и геранями на окнах. По заборчикам зеленели только что посаженные тополи. Перекресток, обсаженный клумбами цветов, превращен был в спортивную площадку. На углу грелась вывеска кооперативной лавки и хрипел громкоговоритель.

— В этих домах живут инженеры? — спросил Полторак.

— Нет, постоянные рабочие, — ответил Сысоев, — вон я в том дому.

В знойном утре перекликались петухи, кудахтала курица. На спортивной площадке мальчишки играли в городки, трещали воробьями. Один из мальчишек на асфальте около скамейки внимательно выводил мелом похабное слово. Сысоев крикнул строжайше:

— Васька, сукин кот, а еще пионер! уши обтреплю! — мальчишки бросились наутек, Сысоев растер ногою мел на асфальте, сказал Полтораку:

— Васильев, постреленок, мой племянник, ишь, пятки сверкают, — ну, как не выпороть? — и добавил по неизвестной причине: — Зарплата за этот год увеличилась на круг по сравнению с прежним годом на восемнадцать с половиной процентов, а производительность труда повысилась на двадцать семь с половиною. Социалистическое соревнование, а Василий, мой брат, пошел в охламоны. — Сысоев плюнул злобно на асфальт, с которого не стирался мел, поискал глазами исчезнувшего за забором мальчишку, сказал: — Подожди, сукин кот, опять пожалуюсь вожатому, он тебе пропишет, — и миролюбиво пошел вперед.

Полторак вспомнил прочитанную мысль о машине, о стали, о строительстве, перед которыми нет конца в противоборстве природе и в организации ее, — этому нельзя не кланяться и об этом надо создавать поэмы. Полторак подумал, что самое главное, решающе главное — человек, ради которого живут машины, которым живут машины и текут реки, который живет, чтобы строить, — и Полторак вспомнил Любовь Полетику, спутав ее с Надеждой Антоновной.

Стеклянное здание фабрики-кухни казалось не севшим на землю, но повисшим в воздухе. В прихожей Полторака остановили, попросили раздеться, — Полторак удивился. В чайной были: совершенная чистота, свежий воздух, свежий свет. Полторак прошел в большую комнату с белыми стенами и с белыми столиками в цветочных горшках. За столиками чай пили. В другой комнате играли в шахматы и читали газеты, вправленные в газетодержатели. Сысоев попросил Полторака погасить папиросу или пойти в курительную. В покойствии людей и комнат никакой нарочитости не было, и медленность белых столов и стен напоминала санаторий. Сысоев ушел за талонами, принес молоко, чай и бутерброды. Полторак и Сысоев пришли раньше времени. Напротив их столика сидели трое в воротничках и галстуках, ели и читали газеты. С ними сидела девушка в красном платочке.

— Эти — кто такие в пиджаках? — спросил Полторак.

— Бурильщики. Рабочая молодежь, — тут все одни рабочие, вторая смена, — ответил Сысоев и стал заботливо есть.

— А эта девушка?

— Зайчиха из ЭМ, тоже работница.

Полторак разглядел, что и Сысоев был в пиджаке, со шнурообразным галстуком на украинской вышитой рубашке. Двое рабочих лет за сорок поздоровались с Сысоевым и подсели к молодым, принесли чаю, обменивались редкими фразами. Полторак не прислушивался, погруженный в переутомление, — вынул из портфеля, положил перед собою папку протоколов, переданных Сысоевым для знакомства.

Старший рабочий за соседним столиком сказал:

— Брошюра и газета — не выучат. Надо — научную книгу, сурьезную, а также дешевую для строительства, а особенно для деревни. Надо такую книгу, чтобы понятно и чтобы над чем подумать. Надо все основательно, вдоль и поперек, а не газетно и не брошюрно. Раньше палкой не загонишь, теперь не хватает мест даже в первой ступени.

Полторак читал:

«Протокол № 17 заседания бюро ячейки по содействию рабочему изобретательству от 30/IV — 29. — Разбор заявления тт. Черного и Старостенко о предоставлении им права авторства в применении приспособления к думпкарам на случай самостоятельного опрокидывания кузова. — Слушали: 1) Вопрос т. Черному. Заявляли ли вы кому-нибудь из начальников депо о данном приспособлении? — Ответ: никому, но применяли во время работы, подкладывали шплинт или подтягивали гайку. А также не заявляли потому, что не предвидели этому большого значения. 2) Тов. Коршунов рассказывает, что он работает на думпкарах с мая месяца 1928 г. и предохранителей не было до введения их тов. Омельченковым, а слесари тт. Черный и Старостенко после работали по устройству этих предохранителей. 3) Тов. Прокопов рассказывает историческую справку по этому вопросу. Я, будучи начальником депо, получил отношение отдела Г с просьбой сделать усовершенствование в отношении безопасности опрокидывания думпкаров. Я переговорил с тов. Омельченковым, который в этот же день сказал, что нужно сделать скобу и она будет предохранителем. 4) Тов. Пипкин подмечает, что указанное изобретение есть коллективное творчество как тов. Омельченкова, так и

Черного и Старостенко. 5) Тов. Соболев, я должен пояснить по данному вопросу, что первым в сборке думпкаров был тов. Омельченков. Данную идею считаю не рационализацией, а изобретением, так как слишком просто, а простое изобретение есть самое ценное. — Постановили: считать приспособление по устройству предохранителей на случай самопроизвольного опрокидывания коппелевских и магоровских думпкаров — коллективным творчеством мастера Омельченкова и слесарей Черного и Старостенко». —

От столика напротив донеслась фраза, сказанная молодым:

— «Новый мир» очень подорожал, невозможно выписывать, а ко «Красной нови» и приступа нет. Надо просить подписаться на «Звезду». А что касается пьянства, то молодежь пьет теперь по-новому. Как раньше пили — неизвестно. Теперь мы покупаем коньяку полбутылки на человека и по две бутылки нарзану. Пьем коньяк и нарзаном опохмеляемся.

Сказал старик:

— Я со своим сыном поспорил на гармошку. Без чертежа вам не понять. Одним словом, какой шар может поместиться в усеченном конусе. Думаю, выиграю у сына гармошку, — он сидит третий день, вычисляет.

— Он у тебя в механических? — у них работать там одно удовольствие и квалификация до восьмого разряда. А в земельном, где работа наполовину вручную, там разряд не выше пятого. Непорядок. Ясное дело, ребята в механические тянут.

Пришло еще несколько человек рабочих.

Полторак читал:

«...Работа производственных совещаний и комиссий в основном сводилась к рационализации производства. В составе цеховых производственных комиссий было 559 человек, из которых — рабочих 431, служащих — 52, адм.-техн. персонала — 76. Всего созвано производственных совещаний с января — 95, присутствовало 9.257 человек, из которых активных членов 3.758, рабочих 3.362, — вынесено предложений 730, из коих согласовано с администрацией 600, выполнено 343, в стадии выполнения 257, отклонено 57. По данным Главинжа, от некоторой части выполненных предложений выявлена экономия 307.000 руб., не считая устранения целого

ряда недочетов, которые выразить в цифровых данных представляется невозможным». —

Рабочих подобралось уже много.

— А гармошку я у сына выиграю! — тут у нас один фабзаяц изобрел новый экскаваторный ковш, — инженеры ахнули, посылают во втуз, — ходит парнишка от своих принципов совсем обалделый.

Голова Полторака раскалывалась бессонницей. Сысоев допил последнее блюдечко чая, вытер и расправил усы, сказал степенно:

— Собрались члены. Надо приступать. Ваше будет вступительное слово, какие такие идеи у ГЭТа. Очень волнуются члены.

Прошли в читальню, молча расселись по местам.

— Докладай, товарищ Полторак, — сказал Сысоев. — Открываю заседание. Повестка дня о передаче электрооборудования строительства ГЭТу. Протоколь, Иван Степаныч, перечисли нас, пока он говорить будет.

Полторак собрал мысли, сдвинул с мозгов головную боль. Он не очень понимал, зачем ему надо говорить с рабочими и перед ними отчитываться. Рабочие слушали молча. Полтораку казалось, что и комната, и люди были сонны, как он сам. Говорил он долго и речи своей не помнил.

— Задавайте вопросы, члены, — сказал Сысоев, когда кончил говорить Полторак. — Протоколь вопросы, Иван Степаныч.

Рабочие придвинулись к столу, где сидели Полторак, Сысоев и секретарь.

— Можем ли мы выполнить требование ГЭТа, чтобы вышло по норме? — интересно знать, сколько ГЭТу понадобится людей? — спросил молодой рабочий.

— Запиши вопрос, соответствуют ли квалификации к этой работе наши монтеры и как велика нагрузка? А также — какую гарантию дает ГЭТ?

— Погодите, ребята. Известна ли ГЭТу стоимость нашей единицы рабочей силы и своей также?

Голова Полторака раскалывалась болью. На производственном совещании он был впервые, оно казалось ему ненужным, — в гостинице ждала Надежда Антоновна. Полторак злобно подумал о том, чему никогда не верил, — о том, что за годы революции психика рабочих уже перестроена, — что вошло уже в биологию

психики — то, что строительство — их, рабочих, собственность, — им здесь жить, им строить и хранить. Строительство, условия строительства стали рабочей общественностью, перед которой он, Полторак, оказывается, должен был отчитываться.

— Запиши вопрос, — заказаны ли каркасы для щитов?

— Отвечай на вопросы, товарищ Полторак, — сказал Сысоев.

Полторак заговорил, опять надолго и путанно. Рабочие слушали терпеливо.

— Товарищ Кувшинов, говори в прениях, — сказал Сысоев и добавил тихо Полтораку: — не пройдет твое дело, товарищ Полторак, как я погляжу.

Заговорил рабочий Кувшинов, откашлялся, подтянул брюки.

— У нас уже не в первый раз обсуждается вопрос о ГЭТе, но теперь я вижу, у нас ГЭТ забирает работу без подобных оснований. Я стою теперь за то, чтобы никакой работы не давать ГЭТу. Товарищ докладчик, представитель ГЭТа говорит невразумительно и сам себя опровергает. Если человеко-день стоит нашему строительству восемь рублей, а ГЭТу — шестнадцать, и выходит вдвое дороже, и контора выбросит ГЭТу под хвост триста тысяч рублей. А рук нам жалеть не приходится. Дополни, товарищ Калагаева.

Заговорила девушка в красной косынке, Калагаева, поправив косынку.

— Я считаю, к этому вопросу надо подойти очень осторожно, нужно сказать, администрация ЭМ неправильно подошла к вопросу, почему и создалась с низов такая буча. Вопрос обстоит так, что нужно дать гарантию, что мы сделаем к сроку и не так, конечно, чтобы было голословно. Я считаю, тогда ГЭТу у нас делать нечего. Нам надо интересы отстаивать не цеховые, а строительные, строительскую кассу.

Сысоев склонился к Полтораку и сказал ласково.

— Не выйдет твое дело, товарищ Полторак. Не дадут тебе рабочие нас надуть. Не пройдет твой номер. Послушай, как девка чекрыжит.

Полторак стал слушать внимательно. Он начал злобно понимать, что он зависит от этих людей. Ему злобно было слушать какую-то там девку. Самое глав-

ное человек, самое главное — человеческая жизнь. Человека-рабочего, в его буднях, в его заботах и героизме, Полторак знал только теоретически, либо совсем не знал. Полторак знал старую заводскую Россию, — там не разговаривали с рабочими. Мозги Полторака наливались ненавистью. Рабочие хозяевами сидели в этой культурной столовой, где не полагалось курить и очень хотелось курить, и рабочие рассуждали — хозяевами — общественниками, люди, мироощущение которых перестроено революцией, тем, что все строимое — их, их дело, их работа, их заботы. Перед Полтораком сидели враги, эти люди заняли его место и судили его проекты, выкинув его из его быта, подчинив себе. Голова готова была треснуть от боли. Девушка закончила свою речь. Лицо девушки было миловидно и деловито. Полторак перестал слушать, злоба мешала горлу, и Полторак готов был накричать, лицо девушки стало ненавистным.

И рабочие забыли о Полтораке.

Собрание кончилось. Предложение ГЭТа было отклонено. Рабочие пошли к дверям. Сысоев, складывая бумаги, говорил ласково:

— Надоть всего побольше, чтобы никто не серчал, ведер, там, кастрюль, машин, хлеба, мяса. Богачей ведь у нас нету, никто не отнимет. А для этого надо экономить. И надо друг друга уважать, не бояться. Трудовой человек непременно должен сочувствовать друг другу.

— О чем вы говорите? — спросил Полторак.

— Да именно о социализме, — ответил Сысоев, — дружество и есть настоящий коммунизм. А ты — с ГЭТом! Ты не обижайся, сам знаешь, — для пользы дела.

Они вышли в зной дня. Полтораку показалось, что солнце светит черным. Три года тому назад Любовь Пименовна ушла от Полторака чистотою. Убийцу тянет на место убийства. Каменные бабы, которых изучала Любовь Пименовна, были болезнью Полторака.

Любовь Пименовна Полетика жила в Коломне с матерью в доме старух Скудриных, поселившись с нею после того, как ушел от матери второй ее муж Эдгар Иванович Ласло, — берегла мать и младшую свою единоутробную сестру Алису. Любовь Пименовна работала на археологических раскопках, раскапывала становища и урочища. Дом же ограничивался калитками.

Во дворе у садовой калитки существовал в бане Иван Карпович Ожогов со псом Арапом. Собственно говоря, Иван Карпович только наведывался в баню к собаке, переселившись в свою коммуну у печи кирпичного завода. Пес Арап жил на постели Ивана Карповича, в его и в общей их бане. За сутки до дня этой повести инженер Федор Иванович Садыков привел за калитку второго пса по имени Волк, оставшегося после смерти Марии Федоровны. Волк не хотел есть из рук Садыкова, Садыков отдал его Любови Пименовне. Собаки обнюхивали друг друга, знакомясь. Дом во дворе, покосившийся, заросший зеленым мхом, упирался террасою в сад, двор зарос травою, по траве шли тропки — от калитки ко крыльцу, от крыльца к сараю, от крыльца же в сад, к садовой калитке.

И все зарастало тишиной как терраса виноградом. В скворешнице над забором жил скворец. Калитка на улицу открывалась скрипом и хлопала блоком. В саду зрели яблони. Дом грелся тишиной и солнцем. Летами в таких домах по неделям открыты окна, чтобы по косеньким комнатам бродил воздух, гонимый июльским тихим ветром, зеленоватый и прохладный от одичавшего виноградника и от лип старого сада. Одичавший виноград прячет в такие дни комнаты от золотого зноя.

У Любови Пименовны были трудные дни около матери, потерявшей последнего мужа, и трудная ночь раздумья о смерти Марии — около Волка, оставшегося после Марии. С вечера, когда ушел Садыков, до рассвета, когда деревья в рассвете стали черными и на платье села холодная роса, Любовь Пименовна пробыла с Волком. Волк смотрел на нее пустыми глазами, и в них видела Любовь Пименовна смерть Марии, последние ее судороги, свидетелем которых был Волк, и видела мать, у которой ничего не оставалось в жизни, унесенной Ласло, тем самым, около которого повесилась Мария. В глазах Волка Любовь Пименовна читала о смерти. Рассвет сделал липы и белое платье — костяными.

Но наутро встала Любовь Пименовна в обыденный свой час, когда мать еще спала, ходила с Волком и сестрою Алисой на реку Коломенку купаться, далеко за город к Старым Городищам, где на церкви хранится Мамаево татарское клеймо и которые названы Городи-

щами, потому что действительно лет триста тому назад здесь коломенское городище и было. За Городищами, в Таборском лесу производились раскопки. Вода была прохладна в Коломенке, и волосы свои Любовь Пименовна завязывала крепким жгутом, чтобы не замочить. В Таборском лесу, названном так в память Марины Мнишек, стоявшей здесь табором, рабочие раскапывали курган, бросали в решета землю древностей. Вернулась Любовь Пиненовна к часу, когда встала мать. К Лисе пришел Мишка, друг Лисы, сын одного из братьев-рабочих Сысоевых, и внук акатьевского деда Назара. На террасе вскипал самовар. Любовь Пименовна не спускала внимательных своих глаз с матери. Ольга Александровна заговорила о похоронах в бессилии, — Любовь Пименовна твердо сказала, что на похороны она не пустит матери. Мать была светлою женщиной, набиравшейся мужества в белом в руках нескомканном платке.

— Я была дружна с Марией, — сказала мать, — и она ни в чем не виновата, несчастная. И мертвых не судят.

— Мама, не надо судить Эдгара Ивановича и себя, — сказала Любовь.

И после чая Любовь Пименовна повела Ольгу Александровну в сад, и в саду, в зное дня, в дружбе с землею и в ее запахах — рылись они около грядок — по традициям отдыха. Мать и дочь ходили по саду, заходили на террасу и в дом — в красных косынках, с руками, отставленными от бедер, чтобы не замазаться землей. Так проходило время. В полдни они пили на террасе молоко с погребицы, холодное до ломоты в зубах. Лисе и Мишке надоело играть в безделье, Мишка бегал ненадолго за калитку в уличные пространства, оставив Лису.

В заполдни, когда небо особенно синело и зной под быстро тающими и вновь рождающимися облаками особенно золотел, Любовь Пименовна читала Алисе и Мишке. Мальчик был тих, голубоглаз и веснушчат. Любовь Пименовна приносила из дома ножницы, обрезала Мишке ногти. Мишка задумался, протянув грязную лапу. Ольга Александровна рылась рядом на грядке.

Мишка сказал раздумчиво:

— Я сейчас на ту улицу бегал и на большую. Там Марью Федоровну проносили на кладбище. Народищу!.. и сказывали, что все работницы на строительстве бросили работы и пошли провожать ее на кладбище, и на кладбище будет митинг. Эдгар Иванович идет, голову опустил, в черной шляпе. Конная милиция проехала на кладбище.

Мишка смолк в раздумье над рукою и над обрезаемыми ногтями.

Глаза Ольги Александровны стали умоляющими. Полтора месяца тому назад Эдгар Иванович ушел от Ольги Александровны к Марии, оставив Ольге Александровне ее старость. У Ольги Александровны не оставалось своей жизни, кроме памяти о муже и вообще памятей, — и Мария Садыкова повесилась.

— Хорошо, мама, я пойду разузнаю, в чем дело, — сказала Любовь Пименовна.

— Нет, Люба, ты никуда не пойдешь, — сказала мать в строгости и глаза ее запросили помилования.

— Нет, я пойду, мама, я сейчас же вернусь.

Но в это время пропела и хлопнула калитка с улицы. Римма Карловна знала все новости, — да, забастовка, да, провожают гроб до могилы, да, призывают к бойкоту, как убийцу, Эдгара Ивановича. — Мишкины ногти были острижены.

— Теперь почитай нам, — сказал Мишка.

Ольга Александровна ушла в комнаты, в своей комнате легла на постель. Глаза Любови Пименовны были тверды. Она никуда не пошла. Она посадила рядом с собой на скамейку Лису и Мишку, взяла книгу, заложенную на том месте, где остановились они в чтении вчера. Она читала:

> «Отец и сын работали в шахте. Маленький рыжий Мотька помогал отцу в работе. Отец и сын лежали на спинах и кирками долбили руду. Над их головами висел тусклый фонарь, вделанный в частую проволочную сетку, предохраняющую от загорания подземного газа. И вдруг по шахте прошел страшный гул, потрясающий земные недра. Отец насторожился и сел, бросив кирку и прислушиваясь к гулу. Рыжий Мотька прижался к отцу. Земля дрожала вокруг

> отца и сына. Отец поспешно пополз к выходу, сын пополз за ним. И вдруг глыба земли, сорвавшись сверху, упала на отца, похоронив его под собою. Маленький рыжий Мотька бросился на помощь к отцу. Земля все продолжала сыпаться сверху. Мальчик откапывал отца своими слабыми ручонками. Он плакал и задыхался. Ногти сорвались с его пальцев». —

— Не надо, — сказал Миша, — не надо больше читать.

— Почему?

— Мне очень страшно, как их закопало, — не надо больше! — сказал мальчик, и лицо его отразило растерянность.

В саду созревали яблоки. Мальчик сидел неподвижно, бос и кудласт, веснушчатый и голубоглазый. Любовь Пименовна положила руку на голову Мишки. Мишка опустил глаза в землю. Он положил голову на колени Любови Пименовны. В саду пахло теплою землей. Любовь Пименовна гладила волосы Миши. Глаза ее стали невидящими. Она понимала, как мальчик видит удушье шахты, мрака, ужаса, — и она понимала, что мальчик прижался к ее коленам, чтобы чувствовать человеческое тепло. Марию Садыкову в тот час уже зарыли в землю. Мать была в ту минуту сердцем с Марией Садыковой. Любовь Пименовна увидела могильный мрак. Солнце показалось черным. Исчезли все звуки.

В эту минуту заскрипела и хлопнула калитка с улицы. По целебным ромашкам двора шел Полторак. В земле могил на людей нападают черви. Полторак шел по зеленой траве двора, — исчезли все звуки, солнце показалось черным, — Любовь Полетика вдруг, сразу забыла и мальчика, и мать, и сад, и землю. Она побежала к Полтораку, она положила руки к нему на плечи, она опустила голову к нему на грудь.

— Ты пришел, — прошептала она. — Ты — пришел! Мне так трудно.

— Да, я пришел, — также шепотом сказал он. — Навсегда!.. навсегда, — повторил он, — и с ним случилось неожиданное, возникшее вне его воли, переданное, должно быть, Любовью Пименовной, когда солнце стало

черным и исчезли все звуки, — закружилась голова, западали мысли.

Полторак сполз на землю, на колени, к коленам Любови. Он обнял колени Любви. Воля его оказывалась ни при чем, мысли падали, точно мозг поскользнулся. Любовь держала его за плечи, чтобы он не упал. Он сел на землю. Мишка помогал Любови Пименовне держать Полторака. Мишка был очень серьезен.

Никто не слышал, как еще раз пропела калитка. Охламон Иван Ожогов стал в стороне у заборчика.

Глаза Любови Пименовны исчезли в счастьи и в жертвенности.

Головы собак вылезли из-за крапивы и лопухов бани.

— Навсегда, — прошептал Полторак. — Ерунда какая-то. Я сейчас встану.

Он поднялся, цепляясь за Любовь Пименовну.

— Миша, принеси воды, — сказала Любовь Пименовна.

— Да, воды, — сказал Полторак.

Полторак неуверенно шагнул. Любовь Пименовна повела его в сад, на ту скамейку, где только что она сидела с Мишей.

Всем существом своим она прижалась к Полтораку.

— Ты освободился, ты любишь, ты пришел, — сказала она.

— Помнишь, ты писала о Борисе и Глебе, — начал Полторак и перебил себя. — У меня кружится голова, я не спал ночи... Я пойду, я не владею собой. Я пойду к себе в гостиницу. Мне надо на строительство. Там твой отец. У меня есть знакомый англичанин, его глаза крепки, как подошвы, — подошвенные глаза.

— Что ты говоришь, Евгений? Ты никуда не пойдешь, — сказала Любовь Пименовна. — На строительстве отец, я знаю, — он не бывает у нас, — если он хочет, он придет сам. Ты пришел, ты должен все сказать мне. У нас большое несчастье, у мамы, — сегодня похороны жены Ласло. Говори. Где твои дети?

— Ты коммунистка?

— Да.

— Ты будешь моею?

— Да.
— Ты веришь революции?
— Да. Где твои дети?
— На строительстве забастовка. Ты знаешь Якова Карповича Скудрина и краснодеревщиков Бездето-вых? — ерунда какая-то, я говорю не то, что надо...
— Где твои дети?
— Мои дети? — их нет, они в Москве.
Миша принес воды. Полторак выпил. Любовь Пименовна обнимала Полторака. В саду зрели плоды, солнце падало на деревья. Ни солнца, ни Миши, ни мира — не было. Охламон Иван стоял у заборчика в сад, кривлялся и дергался, руки положив на забор и голову на руки. Миша отошел к Ивану Карповичу. На террасе вслед за Лисой появилась мать. Мир пребывал в беззвучии.
— Я пойду, — сказал Полторак, — я не знал, как ты меня встретишь. Я не знал, что ты здесь.
— Как не знал, что я здесь? — переспросила Любовь Пименовна.
— Нет, не то, не то, я не знал, что ты так меня встретишь, — я не знал, застану ли я тебя... Я пойду, я приду вечером, через час, — я должен быть один, я пойду к себе в гостиницу. Надо быть чистым. — Полторак встал и пошел в глубь сада. — Нет, я не туда иду. Проводи меня. Я приду, Люба, я приду, — навсегда.
Полторак поспешно пошел к калитке. Любовь Пименовна не понимала. Любовь Пименовна проводила его до порога. Залаял пес Арап. Полторак не задержался у калитки, не простился, побежал. Громко хлопнула, пропев, калитка. Мир этим звуком калитки стал возвращаться на прежнее место, — изгородка в сад, деревья, мать на террасе, с руками, запачканными землею, которые она забыла вымыть, — небо, Миша, Иван Карпович.
Иван Карпович кривлялся и дергался. Иван Карпович пересек дорогу Любови Пименовне.
— Барышня моя ясная, товарищ Любовь Пименовна! — завопил тоскливо Иван Карпович. — Не надо, не надо! — Вам говорю, — не надо! Не любите его! Он пришел и даже не посидел, и побег в номера, а в номера он девку из Москвы привез с собой накрашенную, она его там дожидается. Барышня моя милая, товарищ Любовь Пименовна, плачьте! он мракобес, он с братом

моим Яшкой хочет взорвать монолит!.. — Ликуйте, товарищи, люди встали за честь, за коммунизм, за благородство!.. И вы плачьте, Ольга Александровна, — и ты, Мишка!..

— Как вы смеете так говорить?! — крикнула Любовь.

— Иван Карпович, о чем вы говорите!? — возмущенно крикнула Ольга Александровна и пошла к охламону со взором, просящим помилования.

Охламон прикладывал руки к груди, дергаясь.

Город Коломна, ныне пошедший в войну, — николаевский, Николая I город, ибо с лет Николая умирала Коломна. Гостиница на Астраханской улице здравствовала широкопазым николаевским умиранием в ряду других домов, таких же каменных и плотно усевшихся на землю. Номера в гостинице смотрели на Коломну подслеповатыми бастионными оконцами. На площади против номеров умирали развалины кремля, на бывшей Дворянской улице в кремле пил по ночам со Христом водку музеевед Грибоедов, — астраханская ж улица тяжелых домов и темных подворотен строилась шеренгою вывесок, организующих ту войну, которой воевала Россия. Земля закатывалась к вечеру, вороны над городом растаскивали день, души разрушения, и переставали ныть колокола, плач старины. В закат подул ветер, понес тучи, земля посерела, и дождь пошел августом. Так бывает на земле, когда вдруг, сразу, от мелочи, или приходит весна, или приходит осень, незаметные еще десять минут тому назад.

Полторак казался очень маленьким под николаевскими гробами домов. Полторак подпирал коломенскую старину. Полторак шел очень медленно, толкаясь о красные вывески социализм. Улицы пустели перед дождем. Полторак упирался в улицы.

Надежда Антоновна лежала на кровати, когда Полторак вошел в бастионную тишину номера.

— Это свинство, — сказала Надежда Антоновна, — вы позвали меня, чтобы показать строительство, чтобы быть вместе, и вы все время куда-то уходите, оставляя меня одну.

Полторак ничего не ответил, налив себе вина.

— Впрочем, это смешно, — это одиночество. Этот гроб гостиницы, этот древний вой над городом, эта древ-

няя площадь, — это все мое. Я видела какие-то древние похороны. Процессия проходила под окнами. Впереди несли гроб, и сзади, рядами шли женщины, больше тысячи. — Слушай, — эта древняя площадь, этот древний вой колоколов и — это древние женщины, эти пролетарки. Я смотрела, они сделаны из камня, эти бабищи. Их загар на лицах и на руках сиз, как слива, они совсем не белокожие. На них были одеяния, которым тысяча лет от роду, плахты и паневы. Они были босы. Они древни, эти бабищи. Это процессия скифов, которой от роду — древность. Впереди несли гроб, — какую старину они хоронили, если они пошли за гробом, эти бабищи в паневах в безмолвии? — Я весь день дремала и думала.

Надежда Антоновна лежала полуодетой в постели, она поднялась, накинув на плечи ночной халатик, выпила вина, села к окну.

— У Островского и Гоголя провинциальное окно играет роль сюжетной завязки и московской «вечерки», — и на самом деле очень любопытно в этой оконной газете времени. Я не говорила тебе, Евгений. Понятно, что эти женщины хоронят древность. Я еще не знаю, но, кажется, это так, — я плохо знаю, что такое мораль, или у меня она своя. Под эти похороны я думала о том, что кто-то там умер, но у меня будет сын, и я не буду знать, кто его отец, — их было несколько, и я беременна. И это неважно, кто отец. Это моя мораль. Я мать — и это очень древне. Этот умерший, которого хоронили, которого я не знаю, — быть может, он есть то, что дало мне право иметь ребенка так, что я не знаю его отца. Их было несколько, от кого я могла забеременеть.

— Хоронили жену инженера Ласло, повесившуюся вчера утром, — хмуро сказал Полторак.

— Она повесилась? отчего?

— Не знаю. — Ты не знаешь, кто отец твоего ребенка? — ты не знаешь, какую древность хоронили эти бабищи? — они хоронили нас, — тебя, меня, нашу культуру!..

— Это хуже для моего сына.

Полторак сел рядом с Надеждой Антоновной.

— О чем ты говоришь, Надежда? — сказал он. — Ты спала, я бодрствовал. Они хоронили нас. Да, это хуже для твоего сына, потому что они хоронили и его. Но все равно. Я бодрствовал, и это не страшно, в бессон-

нице приходит непонятное, фантастическое, как эти похороны. Ты читаешь газету времени. У нас будет гофмановская ночь пира во время чумы, за теми флажками, о которых я говорил утром. Я совсем, совсем болен. Я брежу. Я говорил сегодня с рабочими, они хлопали меня по плечу, как дурака, — и они есть Гофман, отравивший нашу реальность.

Постучали в дверь. Вошел курьер.

— Телеграмма.

В телеграмме значилось:

«Сейчас умерла Вера мы обе говорим тебе будь проклят мерзавец».

В Москве на Владимиро-Долгоруковской, в квартире Евгения Евгеньевича Полторака, величествовали красное дерево, строгий покой, тишина. Квартира на Живодерке была — «домом». В кабинете на письменном столе давили стол бронзовые подсвечники и наяды чернильного прибора, также бронзового. В этих подсвечниках горели свечи. На павловском диване в кабинете умирала Вера Григорьевна. Гардины охраняли тишину. И еще горела свеча на столике около дивана, среди лекарств. На столике лежал серебряный александровский звонок.

Вера Григорьевна была одна. Глаза ее были закрыты. Покойная тишина стыла в кабинете, в неподвижной ночи. Вера Григорьевна, красавица, лежала неподвижно, очень покойно, руки ее легли над одеялом. И тогда она позвонила, долго дотягиваясь до звонка, не открывая глаз, чуть слышно. Вошла Софья Григорьевна, со свечою в руке, в ночном халате. Старшая сестра казалась много утомленней и непокойней, чем младшая.

— Ты звонила, Вера?

— Да, я умираю, Софья. Я чувствую, как в меня входит смерть. — Вера Григорьевна говорила беззвучно, глубоким шепотом, чуть шевеля губами. — Я уже не человек. Мне покойно думать, что сейчас последний раз в жизни, — она повторила, споткнувшись на слове, — в жизни я бралась за звонок.

Лицо Веры Григорьевны оставалось очень покойным, она не открывала глаз, ее губы чуть-чуть шевелились. Она замолчала. Сестра склонилась над нею, губы

сестры скосились судорогою боли. Сестра поставила свою свечу на столик к дивану и потушила. Свет потухающей свечи скользнул по лицу умирающей, — Вера Григорьевна чуть-чуть улыбнулась.

— Позови Евгения, он здесь, я слышу, — прошептала Вера Григорьевна.

— Его нет, он уехал по делу в Коломну, — ответила Софья Григорьевна и оглянулась на комнату.

На письменном столе горели свечи, догорали, забытые после доктора, который рецептов уже не писал. Софья Григорьевна поднялась, чтобы погасить свечи, но ее остановила Вера Григорьевна, — она опять шептала и улыбалась. Софья Григорьевна склонилась над сестрой.

— Все бывает страшно первый раз, слышишь, Евгений. Это сказал ты, — ты не прав. Что ты сделал, Евгений? — что ты сделал? — ты меня не любишь, разве ты меня любишь? — Мне стыдно перед Софьей, мне стыдно перед всем миром... Я разбудила тебя, ты спал... я так давно зову тебя...

Софья Григорьевна еще ниже склонилась над сестрой. Сестра бредила:

— Ты сказал, Евгений, что добродетели, верности, справедливости — все это ничто перед нулем смерти, — нет, ты не прав перед лицом живущих, перед лицом Софьи и детей. Это мерзость, что я отдалась тебе, умирающая, мертвая, — это мерзость, что ты сделал со мною, Евгений, милый... и это мерзость, что я думаю о тебе, как о самце.

Софья Григорьевна крикнула:

— Вера, ты бредишь, перестань, что ты говоришь!

Вера Григорьевна открыла глаза. Взгляд ее стал осмыслен, внимателен, никак не сонный.

— Нет, я не брежу, Софья, — сказала она громко, твердо, злобно. — Я умираю, Софья. И это не бред, что в поезде Евгений Евгеньевич овладел мною, — ты понимаешь, о чем я говорю. Мне даже не стыдно за себя, я нуль, — мне страшно за твою жизнь, Софья, за твою честь. Он трус и вор. Скажи ему, что он мерзавец. Мне стыдно перед тобою, Софья, — мне страшно за тебя.

Вера Григорьевна закрыла глаза, задохнувшись. Это было в неподвижную полночь. Софья Григорьевна очнулась в час, когда земля проходила полднями. Она

не помнила времени. Свечи на письменном столе и около дивана выгорели, исчезнул даже чад. Вера Григорьевна умерла. Живая сестра опустила голову на грудь мертвой сестры.

И первое, что сделала Софья Григорьевна, очнувшись, — она написала телеграмму и понесла ее на телеграф. На Живодерку лил дождь, асфальт на тротуарах отражал дома, и дома, отраженные в асфальте, были подобны платоновским теням, где подлинные дома на подлинных улицах — идеи. Дождь обложил Москву мокрыми киселями облаков. Радиокричатели неистовствовали российским гопаком.

Смерть!.. — Был человек, была девочка Верочка, была гимназистка-подросток Вера, была ученица московской филармонии Вера Салищева, была средняя провинциальных театров артистка Вера Полевая, — были детство, девичья юность, женские двадцать семь лет, — были экзамены по закону божьему, где спрашивались в разбивку десять заповедей, — была золотая медаль, — была басня Крылова «Журавль и Цапля» на экзамене в филармонии, — было первое выступление — Софья Фамусова — в уездном любительском спектакле, — неизбежные были, — первое рукоплескание, первый поцелуй, первое отданье, — все было!.. Когда же человек умирает, его везут в Новодевичий монастырь, на Ваганьково (оскорбительное слово — Ваганьково!) и закапывают в землю, предав человеческий труп медлительности червей, — или отвозят в Донской монастырь и там сжигают в крематории. И в крематории тогда дано человеку испытать последние человеческие судороги. В камере крематория, в температуре двух тысяч градусов Реомюра, в две минуты истлевают в ничто гроб и человеческая одежда, остается голый труп, — и голый человек начинает двигаться: у мертвеца подгибаются ноги, и руки его ползут к шее, голова его втягивается в плечи. Если у того окошка, через которое видно, как две тысячи градусов Реомюра уничтожают человека, стоит живой человек со сломанными нервами, — у этого живого седеют волосы, и последние человеческие судороги кажутся ему нарушающими смерть. Мертвец принимает бесстыдные позы, — а через четверть часа от человека остается горсть пепла.

В земле же — черви роются в человеке, как человек в катакомбах. Был человек, была девочка, девушка, женщина — актриса Вера Полевая, были радости, горести, успехи, обиды, гордости.

Мальчик Миша убоялся судьбы рыжего Мотьки. Дети мыслят только конкретными образами, как художники. После того часа, как Любовь Полетика читала о рыжем Мотьке, Мишка долго сидел в саду, солнцем ведая холод шахт. И затем с Алисой он ходил на Коломенку к башне Марины Мнишек.

Любовь Пименовна изучала историю и историю преданий, связанных с башней Марины. Преданья рассказывали, что в этой крепостной кремлевской башне, высокой, наугольной, стройной и глухой, погибла Марина Мнишек. Летописи знают, что Марина Мнишек с Иваном Заруцким и с сыном Воренком, отступая от Москвы, брали Коломну и грабили ее, — преданье говорит, что Марина в этой угловой кремлевской башне хранила свои богатства, — Мишка видел эти богатства сказками Шехерезады. Летописи знают, что Иван Заруцкий и Воренок, называвшийся также Вороненком, были преданы казаками и казнены в Москве на Красной площади, — но летописи утеряли смерть Марины. И преданье утверждает, что Марина Мнишек была заключена в эту башню. Преданье говорит, что Марина Мнишек была оборотнем, оборачивалась сорокою-вороною и летала над Россией, неся разрушение. И преданье рассказывает подробную историю — о том, как дьяки, воевода коломенский Данила и попы со епископом, прознав, что Марина оборачивается вороною-сорокою, пришед однажды в башню к Марине, застали ее спящей и освятили окна, бойницы и двери святою водою, дабы не могла Марина вылетать из башни вороною. И учинили тем воеводы ошибку, потому что Марина не спала в тот час крапления святою водою, но лежало в башне лишь тело Марины, душа же летала над Россией вороною. С тех пор по сей день душа Марины вороною летает около башни, не может соединиться со своим телом, давно уже сгнившим. Все вороны — души Марины.

Мишка знал эту легенду и боялся башни.

Мишка не знал, что эта башня была местом несчастных свиданий Риммы Карповны.

Дети имеют понятия, отличные от понятий взрослых. Мишка знал, что эта башня — кирпичная, высокая, строгая, глухая — есть женщина, даже девушка, воительница, — как Мишка ж знал, что огонь растет вроде травы, только очень быстро. Мишка боялся башенной таинственности.

День был солнечен. Подножие башни заросло красной бузиной. От камней башни пахло пылью и зноем. Было прозрачно, пусто и тихо. Тропинка вела на развалины стены, в монастырский двор, ко входу в башню, тропинка заросла лопухами и крапивою. И опять было знойно, просторно и тихо. Мишка взял Лису за руку. Дети смотрели вперед в сосредоточенности. Во мраке башенного входа пахло человеческим пометом. Там лежали дрова. Свет сверху падал дряблый и мутный. Над ходом у солнышка летали большие зеленые мухи и жужжали, подчеркивая тишину. Дрова пахли подогретой гнилью. Дети остановились в молчании, очень внимательные и сосредоточенные. Вверху, на гнилой перекладине уничтоженных полов верхнего яруса сидели молодые совята. Мишка отпустил руку Лисы, полез на дрова, босоногий, курносый.

Здесь, за кремлевской стеною, в безлюдии бузины и бурьяна все было очень просто, знойно, просторно и тихо. Ничего таинственного не было.

Дети пребывали в первозданности.

— Что написано в телеграмме? — спросила Надежда Антоновна.

Евгений Евгеньевич не ответил.

— Ты знаешь, как пахнет кровь, Надежда?! — крикнул он бессильно. — Умеющий умирать должен уметь и убивать, — а убийство — гадость, мерзость!..

— Но ты же сам говорил, что все на крови, — все, вплоть до любовного ложа.

— Да, я говорил именно о крови, — но есть убийство без крови, — слышишь, — без крови, желтое, сукровичное, статистическое, цифровое! Рабочие на совещании мне сказали, что я не нужен, выброшен за борт, убит без крови!.. — и слова Полторака заметались. — Я получил телеграмму, я должен идти. Шумит дождь, — это дождь, на самом деле?.. — Можно убивать без крови, можно убивать поцелуями, и ласкою, и ложью, можно воровать у самого себя. Ты ничего не хочешь знать,

Надежда, — я же русский, я же — националист, ученик Соловьева, я же хотел умереть за мою Россию, — а на строительстве работают русские мужики, эти плотины строятся русскими мужичьими рублями и руками, — а социализм есть сочувствие друг к другу, как сказал Сысоев. Ты когда-нибудь видела, как рвет амонал, когда он взорвался неожиданно и неудачно, как летят человеческие головы вместе с песком, сапогами и камнями? — ты когда-нибудь слыхала о том, что инженеры-гидравлики боятся воды, потому что вода неимоверно сильна?.. ведь же я русский!.. ведь я же мечтал о мессианстве России!.. [1] Я же русский!

Надежда Антоновна встала с подоконника, подошла к столу, налила вина, выпила. Полторак стоял посреди бастиона с телеграммой в руках. Он держал телеграмму, отодвинув от себя, точно об нее можно было обжечься. Глаза Полторака никуда не смотрели. Надежда Антоновна легла на постель, положила руки за голову.

— Кажется, мы оба бредим, Евгений, — сказала Надежда Антоновна. — Слушай же, о чем я думала сегодня. Я говорю тебе о древностях и о веках но ты принимаешь это за образы. Я еще не знаю точно. Ты здесь ни при чем. Я думала о себе, о том, что я не могу, никогда не смогу решить, кто отец моего сына, если этот сын действительно будет. Похороны за окном древностей — есть похороны моего сына, говоришь ты, — не знаю. Ты говорил о волках. Есть волчье правило, я читала у Брема, — волки съедают своих стариков, когда старики дряхлеют, потому что старики отступили от законов равенства дряхлостью и моральным развалом, а природа не терпит неравенства сил. Ты сказал, — мы — как волки.

— Да, как волки. Ты помнишь, я мечтал о святой Софии и о кресте на ней?..

— Хорошо. Никогда, ни в единую минуту человек не может сказать, что он есть поистине то, что он есть в эту единую минуту. Люди не подозревают, как они гипнотизируются. Люди могут гипнотизироваться на мерзость и на благородство — не гипнотизерами, но человеческим обществом. Волки соподчинены равенству сил.

---

[1] Соловьев В. С. (1853—1900) — русский религиозный философ, поэт, публицист.

Я об этом думала, — и в тот день, когда я решила, что пора стать женщиной, мне стало любопытно. Я никогда не любила. В моем внимании лежали мои переживания и сама я. Я выбирала себе мужчин, разных, чтобы все познать. Я отвечаю только за себя и собою. Почему любить так — неморально? мне не надо никаких обязательств от вас, мужей, и мне не нужны ночные туфли. Я забеременела, не думая об этом. И я рожу, как рожают волки. Ты думаешь, что есть какая-то национальная Россия? — нет такой. Я и не подозревала, какое это счастье быть матерью, родить, кормить грудью. И мужем мне будет мир, — совсем не спрятанный за флажки, о которых ты говорил. Мир велик, но он меньше того ребенка, который, кажется, есть во мне. А мир — очень велик, жизнь — очень велика, она кругом, я не разбираюсь в ней, но я не боюсь ее, так меня научила революция, — я верю жизни, и я спокойна. Сегодня я пью в последний раз. Я понимаю только то, что касается меня. Я никогда не сделаю себе аборта. Скажи мне, что я права, решив родить.

— Где же Россия? где же мы?! — крикнул Полторак.

Опять постучали в дверь. Время стекало дождем, когда постучали в дверь. Надежда Антоновна лежала на постели. На стуле около кровати стояла бутылка вина. Надежда Антоновна не оправила своего халатика.

— Войдите! — сказала Надежда Антоновна.

На порог ступила Любовь Пименовна Полетика в резиновом дождевике, в красном платочке. Она глянула на Полторака и поклонилась Надежде Антоновне.

— Здесь остановился Евгений Евгеньевич Полторак? — спросила Любовь Пименовна Надежду Антоновну, точно Полторака не было в комнате.

— Да, здесь, — ответила Надежда Антоновна.

— В этом номере?

— Да.

Любовь Пименовна запнулась.

— И вы тоже остановились здесь? — шепотом спросила она.

— Да, здесь. Я его любовница, — ответила Надежда Антоновна.

Любовь Пименовна не двигалась с порога.

— Что ему передать? — спросила иронически Надежда Антоновна.

— Простите... Передайте ему, что к нему заходила его невеста Любовь Полетика. Только... больше ничего. И скажите, пожалуйста, еще, что я не ожидаю его. Пожалуйста.

— Хорошо, передам, — весело сказала Надежда Антоновна.

Любовь Пименовна поклонилась и вышла. Полторак по-прежнему стоял с телеграммой посреди бастиона. Надежда Антоновна взяла книгу, чтобы читать. Бастион смолк.

— Евгений Евгеньевич, — сказала Надежда Антоновна, — к вам приходила ваша невеста Любовь Полетика и просила передать, что она не хочет вас видеть. Очень жаль, если я помешала вашему счастью. Я не ревнива, но я не люблю мелкой мерзости и глупых положений.

— Я пойду, Надя, — я не вернусь. Я получил телеграмму. — Полторак бредил. — Я пойду, Надя, я не вернусь.

— Нет, зачем же? — ответила Надежда Антоновна, не отрываясь от книги. — Вы же говорили, что этот бастион есть то место, где волки собрались за флажками. Ступайте, куда вам нужно.

Водовозы по улицам вывесок развозили на своих дрогах и своими клячами коломенскую старину и ночь. Коломна здравствовала широкопазым николаевским умиранием, вместе с номерами. Вороны над городом, души Марины Мнишек, стихли. Лил дождь.

И дальше для Полторака все стало бредом в этот вечер его гибели. Извозчик сдвинул на сторону Коломну, пододвинул к Полтораку дом Якова Карповича Скудрина. Яков Карпович, возникнув за алкогольным фрегатом, на плечах братьев Бездетовых, молвил глазами Шервуда, — «нынче ночью!» — и братья Бездетовы стали стеною, готовые к убийству, — в словах: — «нынче в час!» — столь же твердых, как слова, сказанные в Москве Шервудом, в твердости глаз Шервуда: — «Решено?» — «Да, решено!» — На производственном совещании Полторак увидел, как перестраивается геология человеческих отношений, его дела умирали и рождались новые силы, и Полторак спрашивал в бессилии старика: — «можно ли убить челове-

ка?» — юрод говорил о юродстве, о чистоте, о совести и памяти, — бредил юродством, московским Иваном Яковлевичем, — «не бенды працы без кололанцы». — да, мерзавец может убить, но не всякий юрод — мерзавец. Алкогольный фрегат управлялся Бездетовыми, остановившими время оловом глаз в вольтеровском фрегате осьмнадцатого века и красного дерева. Братья вросли в красное дерево. В окна к огню летели ночные бабочки, во мраке за окнами шумел дождь: Полторак стал бабочкой на огне красного бездетовского дерева. Старик копошился вокруг Полторака, топтался голубком, через прореху поддерживая грыжу, глаза его слезились восемьюдесятью пятью его годами, пухлыми, отеклыми, зелеными, как перегнившая сукровица, страшными и отвратительными. Полторак в бреду понимал, что только с Яковом Карповичем мог он быть искренним и естественным, таким, каким он есть на самом деле, вне надеждиных законов больших чисел. Бездетовы твердо сказали, навалившись оловом глаз, — «в час ночи около голутвинского плашкотного моста», — и тогда из-за окна, из дождливого мрака появился охламон Ожогов, юродивый, который не забыл чести и не потерял совести. Охламона прогнали, обещав побить. Охламон трусливо провалился за окно. Думал ли Полторак в тот час о том, что убивающие могут убивать не только третьих, но и самих себя, как убиваемые также могут убивать своими смертями? — но Полторак в ту ночь, в последнюю его ночь, знал, очень знал, что смерти могут приходить без крови, как не только на крови строятся строительства.

Полторак ушел от Скудрина — в бред, в выжженные ночью — час ночи, — плашкотный мост, где бредил оловом глаз Бездетовых, такие же тяжелые, как глаза Шервуда. Глаза смотрели из пустыни лугов, упирались оловом спокойствия в огненный столб в небе, в крики, ужас и шелест воды. Кругом обстали — бессилие, поцелуй Анатоля Куракина, бескровие, бездомность, смерть, пустота, опустошение, страх, — смерть без крови. Полторак собирал себя — к часу. Полтораку некуда было идти. Он шел окраинами, берегом Москвыреки, мимо Маринкиной башни, под кремлем. Кремлевским спуском Полторак вышел в луга. Все ломалось, завтра стало далеко, как детство. Ночь была черна.

Впереди горели огни строительства, угоняя во мрак луга. В лугах, которые через год исчезнут под водою, кричали мирные коростели. Вера, Надежда, Любовь, — жену Полторака звали Софьей, — Полторак бредил породой юродивых, которых убивают. Вера, Надежда, Любовь, Мудрость, — бред, ничего нету. Все на крови, — и вот пришла бескровность. Вера умерла бескровною смертью. Надежда сказала, — она не знает, когда она настоящая, — и с Полтораком она хотела быть такой, которой все позволено, — почему? — Полторак был настоящим со Скудриным. Любовь пришла, чтобы сказать, что она уходит. Похороны Садыковой срослись с производственным совещанием. Волки за флажками облав не знают, что по лесу, в темном рассвете, растянув флажки, за деревьями, в тишине, — стали охотники, чтобы убивать, — и смерть приходит не от вопящих кричан, но от этих безмолвных. Волки покойны, окруженные флажками и кричанами, пока не закричали, не завыли, не заулюлюкали эти кричаны, — но кричаны завыли, и жизнь осталась за кричанами, за флажками — естественная, обыкновенная жизнь. Вера, Надежда, Любовь! Ночь бредила мраком. Полторак бежал по лугам. Впереди засипели, захрипели, завыли, заплакали, застонали экскаваторы в бреде огней строительства. Экскаваторы захлебывались ужасом.

Полторак упал.

Через год эти луга будут залиты водою.

Этой ночью охламон Иван Ожогов встречался в лугах с инженером Полтораком, и повесть вернется к этой встрече. Расставшись с Полтораком, в быту своих будней, Иван долго шел темными лугами за рекой, под Гончарами и под Митяевым, ему одному известными тропинками, за штабелями заводских дров, между бревен, мимо заводских пароходных доков. Иван разговаривал сам с собою, взволнованно бормоча. Он шел к своему кирпичному заводу.

Кирпичный завод разместился в развалинах карьеров, за скучным забором. Иван пролез через заборную щель, мимо ям, заросших крапивою выше человека. Около заводской печи Иван Ожогов полез в подземелье к печному жерлу, в жаркое тепло и в темное удушье.

Из щелей от заслонов полыхал красный свет. В удушьи пахло дымом, дегтем, несвежим человеком и рыбою, как пахнет в морских корабельных кубриках. На глине в подземелье вокруг печного жерла и в темноте валялись оборванцы, заросшие войлоком волос, коммунисты Ивана Ожогова, люди безмолвного договора с начальством кирпичного завода, — топившие без уговору заводскую печь, эту, огнем которой обжигался кирпич, и жившие без уговору около печи, — люди, остановившие свое время эпохою военного коммунизма, избравшие в председатели себе Ивана Ожогова. Обжижная печь пребывала очагом коммунизма Ивана Ожогова, это подземелье, пропахшее дымом, глиной и человечиной. В пещере существовало устройство домашней оседлости эпохи лет военного коммунизма, на веревках обсыхало тряпье, солома по углам служила постелями и диванами, доска около соломы обозначала стол.

На соломе около этой доски, служившей столом, лежали трое, отдыхающие оборванцы, нищие и юродивые Руси советской, — Огнев, Пожаров, Поджогов. Огнев имел «пунктом» переписку с жителями планеты Марс, куда человечество с земли должно кинуть ракеты, построив межпланетные станции; Пожаров (сын Назара Сысоева) предлагал выловить всю взрослую рыбу в Оке и Волге и, расплачиваясь этой рыбой, строить по проселкам для мужиков железные мосты, в каждом участке столько мостов, сколько поймано здесь рыбы; Поджогов составлял и каждый день переделывал проект трамвайной сети по Коломенскому уезду. Лица людей в красном мраке печного огня были зловещи и необыкновенны, как необыкновенна, в сущности, была, жизнь этих оборванцев. Ожогов присел рядом с Огневым, подрожал, как люди дрожат в ознобе, согреваясь от дождя, положил на стол деньги.

— Не плакали? — спросил Огнев. — Караулил?

— Нет, не плакали, — ответил Ожогов. — Караулил.

Помолчали. Вползли в глину подземелья еще двое в войлоке бород и усов, в рваной нищете, повесили свои пиджаки к огню, положили на доску деньги и хлеб, легли на землю, очень усталые. Младший сейчас же захрапел. Поджогов и Пожаров спали, тоже храпели.

— Твоя очередь, товарищ Огнев, — сказал Ожогов. — Тебе идти караулить.

Лежавший лицом вниз в темном тепле, человек, остановивший себя фантасмагорией Марса, Огнев, стал обуваться в опорки, напялил солдатскую шинель, пополз из подземелья наверх, — ушел во мрак дождя и лугов. Остальные спали. Старший пришедший молвил, что завтра с утра надо разгружать баржу с железными балками для строительства. Проснулся Пожаров, оглядел всех, собрал со стола копейки и рублевки и, не одеваясь, босой, без шапки, полез из подземелья. Охламоны проснулись, достали кружки, сели кружком около доски. Пожаров вернулся скоро, мокрый, с бутылками водки, заткнутыми за кушак штанов, как газыри на черкесках. Товарищ Поджогов разлил водку, чокнулись, безмолвно выпили.

— Теперь я буду говорить, — сказал Ожогов. — Опять возвращается девятнадцатый год. Сегодня женщины взмолились о чести и справедливости. Я говорил сегодня с профессором Полетикой, — он, выходит, первый муж старой Ласло, а инженера Полторака бил я сейчас на лугу... Опять приходит девятнадцатый год!.. Были такие братья Райты, они решили полететь в небо, и они упали, разбившись о землю, свалившись с неба. Они погибли, — я тоже летал на парашюте, — но люди не оставили дела братьев Райтов, люди уцепились за небо, и люди — летают, товарищи! — они летают над землей, как птицы, как орлы! и они полетят на Марс, как сказывает товарищ Огнев.

— Обязательно полетят, и будут такие межпланетные станции, — крикнул парень из темноты.

— Подожди, Пламя, кричать за Огнева, он сам придет с караула, скажет, — продолжал Ожогов. — Я был у нас в городе первым председателем исполкома. В двадцать первом году тогда все кончилось, когда нас выгнали из партии. Настоящие коммунисты во всем городе — только мы и были, и вот нам осталось место только в подземелье. Теперь возвращается девятнадцатый год, сегодня женщины устроили демонстрацию. Я был здесь первым коммунистом, и я останусь им, пока я жив. Наши идеи опять приходят наново, какие были идеи... Мы — как братья Райты.

Товарищ Поджогов налил по второму залпу водки. И Поджогов перебил Ожогова:

— Теперь я скажу, председатель! — Какие были дела, как дрались!.. Я командовал партизанским отрядом. Идем мы лесом день, идем ночь, и еще день, и еще ночь. Вот где я решил, что всю страну надо застроить трамваями, чтобы не было таких переходов. И вот на рассвете слышим — пулеметы.

Поджогова перебил Пожаров, крикнув строго:

— А как ты рубишь? — ты покажи, как ты палец держишь!

— Товарищи, — тихо сказал Ожогов, — дайте договорить идею. Слушайте, что будет. Не будет ни рождества, ни пасхи, ни воскресений, ни ночи и ни дня. Люди будут работать круглые сутки и круглые годы, и машины будут работать круглые годы и круглые сутки без останову. Дни и ночи будет одно и то же. Ночи мы зальем электричеством светлее солнца, и ночью будем жить, как днем, заводы, столовые, кино, трамваи, люди...

— Нет, ты как палец держишь при рубке, согнув или прямо?! — ты покажи!

— На лезвии. Прямо, — ответил Поджогов.

— Все на лезвии. Ты покажи. Вот, на ножик, покажи. Ты рыбине голову не отнесешь!

Поджогов взял сапожный нож, которым резался хлеб, и показал, как он кладет большой палец на лезвие.

— Неправильно ты рубаешь! — крикнул Пожаров. — Ты палец себе отшибешь, ты рыбину так не зарубишь! Я саблю при рубке держу не так, — я режу, как бритвой. Дай, покажу! — неправильно ты рубаешь!

— Товарищи, — молвил Ожогов и лицо его исказилось болью сумасшествия. — Мы об идеях должны говорить, о великих идеях, а не о рубке. Сейчас не рубить надо уметь, а на станке работать, — сейчас бескровная началась революция, строительство, когда крови надо бояться и стыдиться. Мы честью должны побеждать, а не ножами и кровью!.. Я о старом думаю, товарищи, и о новом. Сколько я по миру исколесил, не счесть, не об этом надо говорить. Был я матросом, был парашютистом, был наборщиком, был токарем по металлу, — и всю свою жизнь я думал не о том, токарь я или наборщик, а думал о лучшей жизни и заботился, как бы мне стать лучше, умней, грамотней и благородней. Нам необходимо человека уважать, а то теперь человеку вроде

как надобно не верить, про человека думают, что существо в нем поганое, верить человеку и в человека вроде не полагается, человека теперь караулют, не верят и удивляются, когда он честный. Революция встала за честь, — в двадцать первом годе меня из партии прогнали, — теперь опять возвращается девятнадцатый, справедливость. Мы честно должны побеждать, трудом и умом, а не ножами и кровью!..

Ожогова перебил четвертый, он крикнул:

— Товарищ Пожаров! ты был в третьей дивизии, а я во второй, — помнишь, как вы прозевали переправу около деревни Шинки?!

— Мы прозевали?! — нет, это вы прозевали, а не мы.

— Мы прозевали?!

— Товарищи! — крикнул Поджогов. — И вот на рассвете мы слышим пулеметы. И жалко мне стало тогда людей, и повел я их в бой. Победили мы тогда, погнали беляков, но сосчитал я вечером бойцов, и... правду председатель говорит, надо строить дороги, мосты, заводы, социализм и идеи!..

— Слушайте об идеях, товарищи!.. Я был артистом, в балагане, — хуже не бывает, — а мы там о благородстве роли играли, и очень все любили благородных...

Глубоко за полночь люди в подземелье у печки спали, эти оборванцы, нашедшие себе право хранить свою честь в подземелье у печки кирпичного завода. Они спали, свалившись в кучу, голова одного на коленях другого, прикрывшись своими лохмотьями. Последним бодрствовал Иван Ожогов, их председатель. Он долго лежал около жерла печи, на животе, с лоскутком бумаги, положив бумагу на землю. Он мусолил и грыз карандаш, он хотел написать стихи.

«Товарищу Любовь Пименовне Полетике и ее родителю товарищу профессору», — написал он. — «Мы победили мировую», — написал он и зачеркнул. — «Мы зажгли мировой», — написал он и зачеркнул. — «Вы, которые греете кровавые руки», — написал он и зачеркнул. — «Надо быть умным и честным», — написал он.

Слова не шли к нему. Он долго лежал, опустив голову на исчерканный лист бумаги. Вокруг него спали коммунисты призыва военного коммунизма и роспуска тысяча девятьсот двадцать первого года, люди оста-

новившихся идей, сумасшедшие и пьяницы, люди, которые у себя в подземелье и у себя в труде по разгрузке барж, по распилке дров создали строжайшее братство, строжайший коммунизм, не имея ничего своего, ни денег, ни вещей, ни жен, — впрочем, жены сами ушли от них, от их мечтаний, их сумасшествия и алкоголя. Сейчас эти люди пошли служить на строительство, утверждая, что идеи строительства — их идеи. В подземелье было очень душно, очень тепло, очень нище.

Иван Ожогов долго лежал на земле. Затем он поднялся с земли, взволнованный, он разбудил товарищей, — те медленно заскреблись на земле и заворочались.

— Товарищи! — закричал Иван. — Я вот не спал и думал о женщинах. Вы о женщинах подумайте, товарищи. Хожу я по строительству, был в женском бараке. Живет в бараке семьдесят одна женщина. Посмотрел, — и сразу видать, что живет семьдесят одно горе. Бабы там так распределяются: замужних ни одной, — которым больше тридцати лет, те все иль разведенки, иль вдовы, а которым до тридцати, — эх, товарищи, губы у них подведены! — ну, молодежь лет до двадцати двух я не беру, у них будущее. Дети под столом и под нарами ползают. И самое главное, смотришь на семьдесят одно горе, видишь — покорились судьбе, ничего не ждут. Женщин у нас на строительстве много, но менее, чем мужчин. И мужики, вы подумайте, лапаются, издеваются. Рабочие у нас сезонники больше, плотники, землекопы, грабари, каменщики, — живут артелями, и считай, что стряпуха у артели не только стряпуха, но и артельная жена, — так ее и нанимают, а иначе гонят. Техники, а то и прорабы, не говоря уже о десятниках, в кино зовут, в красные уголки, на физплощадки, — а затем бегает девка, плачет, и не потому плачет, что ребенка ей надуло, а потому, что человека в ней утоптали, человека бросили. — Охламон Ожогов помолчал. — Подумать только, — три грабаря девку изнасиловали, — как, небось, в ее бараке-то встрепенулись, плакали, небось, все над нею сообща. Инженеру Ласло женщины не простили. Женская доля — трудная, женщина стареет раньше, силы в ней меньше, дети у нее на руках остаются, а ставки одинаковые. Женщины лучше нас, мужиков. И конторских девок судить не надо, ей тоже жить хочется, она губки накрасит, ее в Голутвин на станцию

ужинать повезут, — а под юбку надувает всем женщинам одинаково. — Да, пришел в барак и увидал сразу семьдесят одно горе, и все горя-горевания одинаковые. Я слово сказал женщинам, плакали. Женщины правильно за себя заступились.

Охламон Иван замолчал в раздумье, опустив голову на колени. Никто из его коммунистов не произнес ни слова. Двое выходили на дождь, навалили сверху дров, завалили печь. Опять подземелье захрапело в удушливом сне.

Тогда охламон Иван полез из подземелья. До рассвета оставался еще долгий час, дождь поредел, холодало, поднимались туманы. Охламон пошел окраинами города мимо развалин не отстроившихся с девятнадцатого года домов, — шел к себе в баню. Двор, заросший травою, пребывал в темноте и безмолвии, светились окна в комнатах Любови Пименовны и Ольги Александровны. Пес Арап побежал навстречу, приласкался у ног, лизнул руку, пошел вперед к бане, отворил дверь, вскочил на кровать, махая в приветствии хвостом, приглашая друга к себе. Охламон постоял у окошка Любови Пименовны, занавеска светилась бела и глуха, — охломон повздыхал, покачал головою и проследовал за псом в баню, лег рядом с собакою, обнял ее и заснул, повздыхав перед сном. Собака положила голову на грудь Ожогова, долго слушала тишину и дыхание друга, карие глаза ее были внимательны. Потом она опустила уши, закрыла глаза и тоже заснула.

Это были друзья — охламон и Арап, испытанные в верности и любящие. Пес, который выглядел на улице обыкновенною дворняжкой, в содружестве с охламоном был умен, как человек, как друг и не раб. Арап уступал охламону, когда охламон был прав. Пес подавал другу спички и махорку, пес закрывал дверь, когда охламон был пьян. Пес помогал пьяному охламону взбираться на постель, тормоша его, когда тот собирался засыпать на полу. Пес был весел, когда веселым был охламон, пес грустил в часы грусти охламона. Пес никогда не съедал всего хлеба на столе, оставляя половину другу. И охламон никогда не пил в одиночестве водки, если пил дома, напаивал и Арапа. В большую водку пьяные охламон и Арап, в жарких разговорах и слезах, целовались. Арап всегда был горд при охламо-

не, — и тосковал и выл на пороге, когда долго не приходил охламон.

Жизнь Арапа ограничивалась калиткой на улицу, много проще и короче жизни Ивана Карповича, революционера, искателя и человека. А жизнь Ивана была велика, возникшая сорок лет тому назад, так же, как детство мальчика Миши. Первым воспоминанием мальчика Ивана был заводской гудок, и дальше шла сложная, очень пестрая и очень интересная жизнь русского пролетария. Если русский мужик и русский дворянин проживали в традициях и быте, до них созданных, где они были только подтверждением быта, — русским пролетариям конца девятнадцатого века всегда приходилось ломать этот быт и, в лучшем большинстве своем, ломать во имя лучшего и чести. Старшему брату Якову перевалило много за тридцать, а отцу было за пятьдесят, когда родился Иван. Впоследствии Иван узнал, что его отец служил хлеборезом и квасоваром на кухне для рабочих Коломенского машиностроительного завода. Первым воспоминанием, отрывочным и фантастическим, стали корпуса завода, рельсы, тощие деревья, он сам — маленький мальчишка без штанов, в одной красной рубашке, подпоясанной под мышками, — и громовый, тугой, всезаглушающий, определивший всю жизнь, — гудок завода: Иван помнил, он побежал, но ноги его спутались, от этого гудка никуда нельзя было уйти. Рождение человека началось с этого заводского гудка, — и судьбу рождения человека, — именно, человека, — решили добрые, — именно, добрые — люди, люди — и ничто иное. Потом, подросшим, Иван узнал, что однажды из квасного чана перестал течь квас, а за несколько дней до того пропал казенный тулуп, — квасной чан был полон, в нем стали шарить жердью и нашли в нем распаренный квасом тулуп. С этих пор мальчик Иван связно вспоминал свою жизнь, с нищенской каморки его матери и отца и с ткацких станов, за которые стала третья по счету жена отца, его мать, — с Коломенского завода отец был согнан из-за погибших тулупа и кваса. Дни в ткацкой мастерской начинались тусклыми лампенками, в свете которых люди сползали с полатей, построенных над станами, — на этих полатях жили многие матери, многие отцы и дети, рождаясь и умирая. Там на полатях мальчик Иван узнал о царях-

колоколе и пушке, о разбойнике Чуркине и о чародее Брюсе, который из лета делал зиму и на Сухаревой башне считал звезды. Там же умер отец Ивана, — тогда кончилось нищенство и возникла настоящая жизнь. Мальчик Иван помнил, как незадолго до смерти отца, мать и отец шептались на полатях, как внизу под полатями, у харчевенного стола, — навсегда запомнилось, чтобы этого никогда больше не было, — мать крикнула грозно отцу: — «что молчишь? — скандалить мастер, а теперь молчишь? — пойдешь!?» — отец молчал, и мать подозвала сына, поправила рубашку на сыне, мать сказала ласково: — Ванюша, родной ты мой, пойдите вы с отцом в кусочки, я вам и сумки справила, — маленьким, говорят, хорошо подают». — И в этом мирничанье впервые Иван усвоил понятие чести. Через дворовых собак приходил Иван под окошко дикого барина, шершавый барин в халате пил водку и кидал Ивану серебряные пятаки, но однажды напал на Ивана, хуже собак, со словами о чести, обозвав его сукиным сыном за то, что не обиделся он, Иван, когда дикий барин негодяем назвал его отца, — Иван бросил медяки в шершавое лицо старика. Тогда же впервые Иван помогал обессилевшим: он пришел в избу, где сидели двое здоровых и бездельных, он попросил, — они ответили, что подавать им нечего, что, может, он им подаст, Христа ради, потому что им нечего есть, ибо их прогнали с фабрики, — и Иван угощал их мурцовкой. Отец умер на полатях, похорон отца Иван не видел, не запомнил, но после смерти отца исчезли полати и станы, а на новом жилье, которое называлось старой почтой, на чердаке лежали тюки с бумагой, с неотосланными, с забытыми письмами, — и впервые узнал тогда Иван о человеческой письменности. Первая книга, которую прочел Иван и на которой он научился читать, была — «Солдат Яшка, медная пряжка». Чердак старой почты и отдых чердака продолжались недолго, — на недолгое время потом дни возникали в вое и громе орал, страшных людей, которые ходили перед рассветами по женским спальням, — так, спальнями, назывались фабричные казармы, — дубасили в двери и орали, чтобы работницы вставали к гудку, — не надолго тогда были теплые воды, сток от фабрики, где стекала грязнейшая, но теплая вода, в которой купались мальчишки и лечились старики. И тогда на-

чалась жизнь. Россия детства Ивана Скудрина походила на современный Китай. Тогда началась жизнь, созидание человека, — Иван перебывал сапожническим и типографским учеником, учеником в токарной мастерской, был статистом в театре Омона, был балаганным актером, летал на парашюте, сочинял стихи, человек, отдававший свои скудные досуги Толстому, Достоевскому, Шекспиру, — парашютистом он прыгал с воздушного шара на землю. Так было до солдатчины. Из солдат на Коломенский завод он пришел социалистом, грамотным рабочим и — честным человеком, конечно, ибо социалист, большевик, — не мог быть не честным. Первый же год завода послал Ивана в социалистический дореволюционный университет — в ссылку, коя и отняла у Ивана шесть лет, когда решал для себя Иван очень многое, и о том, какие должны быть его дела, поведение, труд, как лучше жить и подчинить человеку мир, — смысл существования Ивана был в устроении человечества. Заводской гудок, первое его воспоминание, навсегда определил ему мир — сцепленным машиной. Иван Скудрин горбом своим знал старую Россию, которую проклял, как горбом своим знал историю русского рабочего движения последних тридцати пяти лет, — и Иван твердо знал, что нарождение социализма в старой России, во времена феодального презрения к человеку, к человеческому достоинству, в мракобесном отношении к труду, — нарождение социализма, отталкиваясь от всяческих крепостей, — первым делом, решающе, утверждалось на чести, на уважении к человеку и на решающем уважении к труду. Судьба Ивана была судьбою возникновения социализма, чести, построенной на протесте против феодализма, мракобесия и хамского эксплоататорского неравенства, утвержденной на знании, навсегда враждующем с ложью, с предательством, с провокацией, с мракобесием, с невежеством. Иван знал, что превыше всего человек и человеческое, как в доме, в семье, с женой, так и в труде и в слове, ибо измена труду и слову — есть измена не им, а самому себе, точно так же, как измена женщине есть измена себе, а не ей. Революцию встретил Иван Карпович на Коломенском машиностроительном, в паровозном цехе, — действительно, он был первым председателем Коломенского поок-

тябрьского исполкома и строил коломенский октябрь, — революцию он понимал, и навсегда понял не только переустройством прав на рубль, если рубль есть кусок труда, но и переустройством — чести человека, права на любовь и на жизнь, — переустройством человеческих отношений и человека.

Человеку со стороны стало бы противно в бане охламона, где так любил бывать Мишка и где на пороге часто сиживала Любовь Полетика, — здесь было темно и сыро даже в полдни, ибо зеленая плесень замазала оконца, — здесь пахло псиной больше, чем человеком, как и кровать здесь служила больше собачьим логовом, чем человеческим. На полке здесь был письменный стол охломона, а на столе около кровати, в россыпях махорки, лежал хлеб, не доеденный Арапом, оставленный для Ивана Карповича. Баня утверждала, что охламон Иван — сумасшедший.

В тот час спали охламон и Арап, обнявшись, и Арап положил голову на грудь охламона. Через двор в большом доме светились окна Любови Полетики, и Любовь Пименовна не спала, сидела перед письменным своим столом, многие часы неподвижно, положив ногу на ногу, охватив колено свое переплетенными пальцами, опустив голову и плечи, многие часы подряд не мигая остановившимися глазами, то счастливыми, то скорбными, и свет лампы падал на ее чистый лоб и на прямой ее пробор. В комнате Ольги Александровны в тот час сидели у стола — она, Ольга Александровна, и профессор Пимен Сергеевич Полетика. В тот час инженер Полторак и инженер Ласло умирали в лугах, и над ними свисал старик Яков Карпович Скудрин. В тот час просыпался инженер Садыков, счастливый человек, чтобы идти на работу, пил холодное молоко и обливался холодной водой, боцал сапогами, смотрел в рабочую свою книжку, — и был счастлив инженер Садыков.

Строительство шло к концу.

Проект строительства принадлежал профессору Полетике. Рабочий проект выполняли инженеры Садыков и Ласло. Были рассчитаны профили рек Оки, Москвы и Клязьмы, их тальвеги, ложа, их геологические основания, их живые сечения, расходы воды, режим, их силы, — все то, что дает знание реки. Профили

Москвы-реки, ее бьефы, около городов Москвы и Коломны разнились всего на семь метров, — то есть Москва-река под городом Москвою была выше Москвы-реки под Коломною — по отношению к уровню океана — на семь метров. А, стало быть, если Москва-река будет подперта под Коломною плотиною, хотя б в восемь метров, воды Москвы-реки потекут вспять. Плотина под Коломною — монолит — строилась в двадцать пять метров, ниже слияния Оки и Москвы, с таким расчетом, чтобы окская вода, погнав вспять москворецкие воды, потекла б по тальвегу Москвы-реки. Под Москвою, под деревней Верея, прорывался канал. Канал шел по тальвегам ручьев Пехорки и Малашки, мимо Медвежьих озер, являющихся водоразделом москворецких и клязьминских вод (а, стало быть, и бьефом нового канала). Канал доходил до Клязьмы около фабричного поселка Щелково. Этим каналом сбрасывались в Клязьму окские и москворецкие воды, с тем, чтобы дальше течь тальвегом Клязьмы. Ока меняла свое русло. Москва-река текла вспять. Ока протекала под Москвою, — под городом Москвою протекала большая, судоходная, новая река, созданная последним словом гидротехники. Город Москва оказывался на новой реке, впервые в Европе, первой в Европе, созданной человеком. Москва, столица Союза Социалистических Республик, по которой к самой Москве могли идти пароходы от Баку, а при Волго-Доне с любого угла мира, пароходы не только волжского и каспийско-морского тоннажа и типа, но и все торговые морские пароходы. Товары всего юго-востока Союза могли идти в Москву без перегрузок. Водное расстояние между Нижним Новгородом и Москвою сокращалось на восемьсот семьдесят километров, больше, чем на четыре седьмых прежнего пути, ибо прежний путь, на котором дважды надо было перегружаться, крюкал по российским степям, шел от Коломны на Рязань и на Тамбовскую губернию, мимо Елатьмы, — ныне ж проходил почти по прямой линии через промышленнейшие великорусские районы, — мимо Богородска, Орехово-Зуева, Владимира, Коврова. Под Москвою канал пересекали железные дороги: Казанская, Муромская, Нижегородская, Щелковская, — и десятки квадратных километров за московскими Преображенской, Семеновской, Лефортовской, Рогожской застава-

ми — до канала — отдавались фабрикам и заводам, промышленности, с тем, чтобы Москву жилых домов, музеев и парков сдвинуть за Дорогомиловскую, Пресненскую, Тверскую и Бутырскую заставы. Инженеры шурфовали и скважили недра московских земель до силурийских и девонских эпох, до материковых пород, чтобы рассчитать новое ложе новой реки. Новая река перестраивала географию древних московских, рязанских, владимирских земель, гидрологию рек и климат — и — этим самым — перестраивая человеческие отношения в социализм. Под древним городом Росчиславлем, под Коломною, под Бронницами возникали громадные озера, водохранилища новой реки. Коломна заливалась наполовину и оказывалась на полуострове. Десятки сел и деревень уходили со своих древностей. Эти озера, резервируя воду, создавали такой режим новой реки, когда под Москвою вода не могла колебаться от паводков к меженям[1]. Земли вокруг этих озер отдавались промышленности, огородничеству и техническому сельскому хозяйству, построенным наново. Эти озера питали водою Москву. Под Москвою гудели морские корабли. Морские корабли, мимо Коломны, шли до Каширы, несли сырье и полуфабрикаты, металлы, руды, лес и минеральное топливо — с Донбасса, из Марселя, с Каспия, с Урала, с Ветлуги — мимо Владимира и Щелкова. Над каналом под Москвою, скованным в гранит, свисали подъемные краны и висели мосты железных дорог. Здесь все менялось наново. География меняла экономику, так, как этого требовали человек и человеческий труд в пути к социализму, и труд перестраивал геологию. Инженеры Полетика, Садыков, Ласло и несколько сот их помощников-инженеров, русских и иностранцев, отталкиваясь от силурийских пород и от болотистого озерца, из которого вытекает Ока, — кроме законов тяжестей движения рек, кроме расчетов движения подпочвенных вод, расчетов заболачивания и дренажирования земель, — должны были рассчитать все — вплоть до мелких фабричек и заводов, которые станут на реке, до новых пудо-километров нефти, каменного угля, руд, ме-

---

[1] Межень — средний уровень воды в реке.

талла, леса. Это строительство и эти расчеты были к тому, чтобы освободить сотни миллионов, миллиарды и сотни миллиардов человеко-часов труда, освободить, координировать, осмыслить человеческий труд, человеческое время, то, ради чего творилось тогда социалистическое строительство. Москва-река, — та самая Москва-река, на которой возникло Московское государство, русская история уделов, собирания Руси, царей, смут, императоров, — ныне Москва-река текла вспять, символ новых российских воль, ибо Россия октябрей хотела наново перестроить, наново пересоздать — от человека до географии и геологии. Эта Россия пересоздавала — машиною — ради труда — человеческие отношения друг к другу, к труду, к природе, — и она ломала старую Россию так же, как сломано было течение Москвы-реки, как заново потекла Ока. Инженеры, знавшие законы течения рек, где не может быть случайностей, знали, что их строительство, упирающееся и в девон и в рубль одновременно, — так же закономерно, как законы течения рек. Ока и Москва последний раз разливались этой весною по геологическим своим руслам, как разливались они тысячелетья. Человеческое долголетие может удлиняться не только наукою о человеческом организме, но и освобождением человека от труда, — новая река работала над удлинением человеческой жизни.

Инженеры Садыков и Ласло работали на строительстве монолита под Коломною. Строительство монолита заканчивалось, — того монолита, который должен был подпереть воду, остановить ее, опрокинуть и кинуть на новое русло и на строительство социализма, переподчинив их силы, — эта гранито-бетонная громада, на которую больше всего было вылито инженерных мозгов, равных той силе, которая миллионами тонн водной тяжести упрется в этот монолит. Строительство монолита было штабом боя за социализм. Монолит строился так, как строилась первозданная природа. Реки Ока и Москва были сброшены со своих русел в отводный канал, вырытый грабарями, землесосами и гусеничными одноротыми экскаваторами. Вода шла отводным каналом второй уже год, чтобы освободить место для строительства монолита. Подошва монолита спаивалась, сра-

щивалась с материковыми гранитами, до которого докапывались на сорок метров вниз под русло, под пластами юрских и пермских наслоений, — там гранит материковый и гранит, принесенный волей человека, спаивались в геологию, в первозданность. Эти глыбы гранита и бетона высекались и высчитывались в формулы интегральных исчислений. Внутри монолита, в подземельях шли переходы средневековых крепостей, дренажные каналы, мрак, электрический свет, глухое биение воды, земные недра, смотровые тоннели, контрольные камеры. Ряжи перемычек, охранявших монолит от воды, щетинились чугунными своими шпунтами. На лугах около монолита, около перемычек, около отводного канала, около подсобных заводов, около нового ложа новой реки работало десять тысяч рабочих, целая армия, — чтобы сломать, перестроить историю тысячелетий и, дав им бой, победив, уйти отсюда, оставив здесь трех техников, одного инженера да десятка два рабочих. Монолит рассекал километры от Щуровских гор, перешагивая через Оку, до деревни Константиновской, той, которая вместе с Сергиевской, Парфентьевом, Амеревой, Чанками, Бобреневом и половиною Коломны уходили с древних своих мест, ибо их места будут залиты.

Строительство монолита заканчивалось.

Инженеры проверяли последний раз ложе новой реки, ее трассы и профили, — от Коломны — через Москву — до Нижнего Новгорода. Наступали дни страды. На реках и речках, впадающих в Оку и в Москву, в Орловской, в Тульской, в Калужской, Рязанской, Московской губерниях — на реках Кроме, Нугре, Зуше, Плаве, Упе, Жиздре, Угре — открывались все запруды и мельничные плотины, чтобы сбросить воду, чтобы вся резервная вода стекла за монолит, — чтобы замкнуть потом, остановить, задержать воду, дабы ложе рек Оки и Москвы под монолитом было небывало меженным, дабы в эти дни, когда дорог каждый час, как на страде, — впаять в первозданье последние граниты отводного канала, запаять, замкнуть на века монолит, снять перемычки, бросив наново воду.

Профессор Пимен Сергеевич Полетика приезжал на строительство, чтобы последний раз проверить монолит, — он знал, как могут рваться монолиты, когда вода, как тесто, разворачивает бетон и железо и идет

затем скоростью курьерского, волною в небоскреб, все уничтожая на своем пути. Пимен Сергеевич знал силу воды и, как все инженеры-гидравлики, чуть-чуть боялся этой силы, и он умел видеть те сотни орловских, тульских, калужских, московских ручьев и рек, сказочных русских, русалочьих омутов и мельниц, которые останавливали Оку, которые останавливались монолитом, чтобы их воды упирались в волю и в монолит этого лохматого старика, строившего социализм и понуро осматривавшего монолит и котлованы под монолитом, где копошились тысячи людей и рычали машины. Котлованы обнажали речное дно, как века.

Полки лет — как полки книг. Полки человеческих лет — как книги, ибо каждая книга — не есть разве человеческая судорога, судорога человеческого гения, человеческой мысли, нарушающая законы смерти, перешагивающая через смерть так же, как судороги крематория. И должно, и должно каждому человеку иной раз, в ночи, у себя в кабинете, на полках книг, — хочет он того или нет, — должно ужаснуться перед лицом этих книг, почувствовать, что каждая книга есть подделка человеческой подлинной жизни, каждая книга есть судорога мысли, обманывающая смерть, — ужаснуться и ощутить, что здесь, в ночи, когда книги с полок смотрят громадными челюстями, поблескивая золотом клыков в деснах «История земли» Неймайера, — когда голова переутомлена, переаршинена ночью, — ужаснуться и ощутить, что эта комната и эти книги суть мертвецы в мертвецкой, морг, откуда унесли сегодня на кладбище Марию, где похоронены его жизнь, мертвые его, подделанные под живые, мысли, судороги, как в крематории. С той полки сползают мысли Johann'a Wolfgang'a Goethe, образ никогда не жившего Werter'a. Lessing, Hegel, Büchner, — Uhland, Wihland, Spielhagen — друзья молодости, грехи юности, вместе с Пушкиным, Толстым и Достоевским. Karl Moor не поборит насмешки Heine[1]. Все это осталось в доэпохах, в дооктябре, и

---

[1] Немецкие философы; писатели и их герои: Гете, Лессинг, Гегель, Бюхнер, Улланд, Велланд, Шпильгаген, Карл Моор, Гейне *(нем.)*.

инерцией ползет ящиками книг по весям. Маркс, Лассаль, Ленин, Плеханов, — история развития рабочего движения в Германии, Австрии, Венгрии, в России, в мире — стали эпохами. И книги труда, книги строительства — Алексеев, Акулов, Кандиба, Дубах, Built-in Зброжек, Жерардон, — инженер, а не социолог, Энгельс, — инженерия, строительство, труд. Ленин мертв, но книги его растут и растут, — за домом, за траншеями развороченной строительством земли возникает монолит, перестраивающий природу.

Такими ночами очень одиноко человеку в тишине мертвецов, потому что у людей всегда есть две жизни, — жизнь, данная мозгом, долгом, честью, открытыми шторками сознания, — и вторая жизнь, данная бессознательным в человеке, инстинктом, кровью, солнцем. — За домом в ту ночь и в тот час лил осенний дождь, во мраке, сиротстве и сырости. — Ночи, когда книги превращаются в мертвецов крематория, не проходят человеку даром.

В этот вечер похорон Ласло лежал в своем кабинете на кожаном диване под полками книг. Время стало неподвижным. Занавески на окнах не пускали в комнату — ни ночи, ни света фонарей, ни шумов. Физически видеть книг Ласло не мог, — но он их видел. Он не знал, спит ли он или бодрствует, но он физически ощущал свой мозг и свои мысли. Мозг он видел таким, как видят его в мертвецких, — двумя котлетами сырого мяса. За левым ухом, около подушки, под черепом, родилась мысль и побежала вверх по мозгу мышью, шаря по извилинам мозга, физически его царапая, остановилась подо лбом в сознающих областях, оформилась: — «рабочие от меня отказались, — завтра, все же, надо идти на работу, Мария сейчас в земле, на работу» — Бессознание обволакивало котлеты мозга так же, как в поездах в спальных вагонах непроницаемые зеленые шторки покрывают стекло фонаря. Только маленькая щель оставалась для сознания. Усилием воли эти шторки можно было раздвинуть. Воля была к тому, чтобы эти шторки сдвинулись окончательно, ибо надо было спать, — за шторками все пребывало в покойствии, в тепле, уюте, тишине. Но, вопреки воле, мысли из щели сознания бегали во мрак мозгов, и сознание тогда следило за их побегами. Моментальной ловкостью,

мысль забегала в память, в одну и в другую, памяти соединялись и возвращались к сознанию в тот момент, когда из самых дальних мест, из подзатылка приходило видение, — виденье связывалось памятью, первою и второю: — это были глаза первой жены, одновременно так, как видел он их впервые и как видел их последний раз, прощаясь с женой, — и эти глаза двоились глазами старика Полетики, — и ужасом тогда виделись глаза Марии, мертвые, в зловещем топоте женщин, шедших за гробом. Во мраке бессознания было очень тепло, покойно и тихо, — от сознания надо было бежать, — бежать, скрыться, спрятаться, — чтобы не было ни единой мысли в мозгах, чтобы мозги улеглись спать. Бессознание сдвигало свои шторки, чтобы удержать, положить на место, не пустить ни единую мысль. И тогда скрипнула дверь из комнаты жены, — «жена в могиле!» — подтвердило болью сознание. Глаза Ласло были закрыты, физически видеть он не мог. Бред был понятен. Ласло видел, как жена, вторая его жена, Мария, приоткрыла дверь, постояла на пороге и прошла к письменному столу, и опустила плечи, в белом ночном белье. Глаза ее были закрыты, волосы она заплела по-ночному жгутом. Она села к столу, опустила плечи, — и рядом с ней стал тяжелоплечий Федор Иванович, друг, Федор Садыков, муж Марии. Сознание констатировало: — «жена, это вторая, сегодня ее похоронили, все кончено». — И тогда из бессознания, сотни сразу, побежали, — не мысли, но ощущения, — и все бессознание, весь мозг, все тело ощутило нестерпимую тяжесть, тесноту, боль, — не физические, но такие, от которых люди седеют. Книги, как крематории, — мысли, как мертвецы, — а жена — жива — не в крематории, а в земле коломенского кладбища, где человеческие трупы поедаются червями. Сознание раздвинуло шторки — энергически — на весь мир и мозг: — «кошмар, кошмары!» — ночь, пустая комната, тишина, прогудел паровичок, опущены шторы, никого нет.

— Мария! — Ольга! —

Тишина. Никого нет.

«Книги надо убрать, на самом деле склеп какой-то, даже пахнет книжным червем, — или убить самого себя?» — Тишина, никого, ничего нет. Сознание силится сдвинуть шторки. В бессознании очень тепло, темно, тихо. Последняя мышь мысли пробегает, царапая: —

«жена, это вторая, Мария, лежащая в земле, похожа на книги». — Ни единой мысли. Человек спит в бреду. Лицо человека искажено болью. Боль и бред ушли в подсознание. Человек скоро проснется, чтобы бежать от самого себя. — Черви на кладбищах съедают трупы — не только ночами, но и днем, каждую минуту, во мраке земли, гроба и тела.

Федор Иванович Садыков был инженером, которого в шутку называли инженером от станка. Но это и на самом деле было так, — сын рабочего, рабочий, — инженер Федор Садыков стал учеником и помощником профессора Полетики. Три года тому назад Федор Садыков приехал в места строительства, чтобы пройти от Коломны, прокладывая новые профили и трассы, по тальвегу Москвы-реки до Коломенского затона около деревни Вереи под Москвою, оттуда свернуть по тальвегу речки Пехорки до устья ручья Малашки, по Малашке до Медвежьих озер, а от Медвежьих озер — до Учи, до Клязьмы. По тальвегу Клязьмы, от Оки до Москвы, навстречу Садыкову, шел инженер Ласло со своею партией. Инженеры-гидравлики, как все люди, знающие труд, если они не растеряли моральных традиций, должны уважать, почитать, почти бояться и уметь подчинять себе делаемое ими, — гидротехники должны подчинять себе реки и воду, их стихии, побеждать и подчинять которые суть их дело.

И Садыков, и Ласло знали непререкаемую закономерность сил воды, которую они должны были подчинить.

Реки — путины древностей, реки по июням в туманах, в лихорадках, — каждое новое село, новая лесная сторожка, новый ночлег у лодки — все это новые новости, и в июнях очень много солнца, когда заря с зарею играет в прятки. Люди в брезентовых сапогах, с инструментами, блестящими в тщательном порядке, как у каждого, кто бережет свой труд, в ворохах карт, на дощаниках, оставшихся от древностей, плыли вверх по рекам, изучали режимы рек, расходы вод, подпочвенные воды и водоносные пласты, геологические строения сланцев, — проектировали трассы новой реки.

Книги Зброжека, Дубаха, Кандибы и прочих вырастали тогда до размеров шалашей, шелестя под солнцем

своими страницами. У стариков, у сельских статистиков инженеры спрашивали о меженных и высоких водах, о паводках, о зажорах и шорохах, о старицах и поймах, о перекатах и плесах, о перемолах и бродах, — об этих последних особенно: как они переходят с места на место каждый год после полых вод, куда сползают, быстро ли, медленно ль. Шурфами инженеры дорывались до делювиальных пород, до плиоценов и миоценов. Там, где лежат реки Ока, Москва и Клязьма, — весь этот край, — было некогда морское дно, — и инженеры тщательно изучали наносы юрских, девонских, кембрийских, архейских эпох, известняки, глины, каменные угли, кремнеземы, пески, ил, и торфы, — геологическое строение почв. Это требовалось к тому, чтобы различить тектонические и эризионные строения тальвегов, чтобы знать влагоемкость почв, водонепроницаемость, гидравлические уклоны грунтовых вод, водосборные бассейны. Инженеры, топясь на солнце, брали живые сечения вод, горизонты, профили, примериваясь теодолитами и секстанами в пространствах и в небе, и выуживая трубками Дерси и вертушками Отта водные изотахи, чтобы знать расходы воды, среднюю повторяемость горизонта, продольные профили. Инженеры изучали режимы рек, созданные геологией веков, чтобы построить новую реку, режим которой сделан человеком.

В дощанике, на котором воздвигнута была крыша от дождей, росли ватманы и кальки графиков, на столе в крошках хлеба и в рыбном запахе в закатах дня, когда грелся котелок.

И за ухою, отдыхая, Федор Иванович часто поминал, одно и то же, в поучение рабочим и практикантам, о том, что лет семьдесят тому назад против Саратова на Волге затонула баржа с кирпичом, — маленькое, казалось бы, событие породило целый остров песков, возникший за этой баржей, созданный сломанным режимом течения, несколько десятков квадратных километров, совершенно перестроивших и изгадивших меженное русло под Саратовом, — Садыков знал, что можно на каждой реке найти такое место и так кинуть по полой воде в реку камень, небольшой, в человеческую голову, — так бросить, что река изменит свое русло, ибо на реке все решается только физическими силами и законами — формы течения, объема воды, ложа русла,

его устойчивостью и составом, — и Садыков знал, что никогда нельзя, строительствуя, нарушать этих сил и законов, ибо в борении с природой надо бороться тою же самой природой, организуя природу.

Ночи этого похода были случайны, в деревенских трактирах, в старых усадьбах, на берегу около костра, в теплом удушье каюты на дощанике, где все пропахло рыбой и касторовым маслом, употребляемым для смазывания инструментов. Проект строительства тогда уже намечался, монолит под Щуровом на Оке и канал, соединяющий Москву и Клязьму. Ночи в походах на изысканиях всегда необыденны, июньские ночи безнебны и заря с зарею тогда близки в туманах и в криках медведок.

Зима отослала Ласло в Москву, а Садыкова в Ленинград к Полетике — в упорные дни над тарифами, над ватманами, над кальками, над русскими и европейскими справочниками для рабочего проекта и в упорство Госплана, ВСНХ, СТО, Наркомзема, Наркомпути, — где тысячами страниц листов бумаги разных форматов решалось: быть или не быть новой реке, созданной не геологией уже, но человеком.

И новым июнем, когда строительство монолита уже началось, Садыков и Ласло встретились на несколько дней в лугах под Москвою, у Медвежьего озера, когда они смыкали работы своих изыскательных партий, чтобы обоим затем поехать в Коломну.

И Эдгар Ласло, и Федор Садыков были женаты. У Федора Ивановича была жена того ряда женщин, которые имеют величайшую женскую силу — быть бессильными. В годы гражданской войны, на фронте однажды, ноябрьской ночью, в разграбленном заводском поселке на Донбассе, Федор Иванович сидел в штабном доме у проводов, один в пустой полночи, в ноябрьском ветре и в далекой артиллерийской стрельбе. Он не спал, ожидая шума морзе и приказов. И к нему в кабинет к проводам вошла девушка с ограбленными глазами, на цыпочках, с рукою у губ, чтобы никто не слышал. Она сказала, что она дочь инженера с этого поселка, ее отца и ее мать убили неделю назад в этом доме, этот дом был домом ее отца, здесь же был штаб белых, и эту неделю она просидела в доме, спрятавшись в подвале. Ее глаза были пусты. Она сказала Федору Ивановичу, в беспомощности сев против него:

— Убейте меня тоже, если хотите, — мне ничего не осталось делать.

В ту ночь впервые подумал и остро понял Федор Иванович, что в жизнях, в революциях особенно, люди играют жизнями со смертью ва-банк, что уцелевшие должны будут прошлое вспоминать героикой, — уцелевшие, оставшиеся в живых, — именно потому, что умершие, убитые играли со смертями ва-банк с жизнями. Федор Иванович видел тогда много мертвых и не мог представить себе, что бы рассказали они, умершие, убитые, если б можно было слышать их рассказы.

Девушка пришла из-за смерти, и Федор Садыков приказал девушке жить в комнате рядом со штабной, в его комнате, которая была комнатой матери этой девушки и куда никто не заходил. Девушка покорно тогда встала со стула и пошла спать. На другой день в сумерки Федор Садыков видел, как девушка тихонько подошла к роялю, стоявшему в его комнате, которая была комнатой ее матери, присела потихоньку к роялю и заиграла, не касаясь клавиш: это тоже было из-за смерти. Тогда впервые она улыбнулась, виновато, увидев Федора, тихо опустила крышку рояля. Это была тихая аржановолосая девушка, ничего не знавшая в житейских делах гимназистка, голубыми глазами удивлявшаяся миру. Она стала женой Федора Садыкова. Федор взял ее из-за смерти, из фронтовых луж крови, как за шиворот берут с помойных ям никому не нужных котят. Федор Иванович был, что называется, грубым и неотесанным человеком, у него была жизнь его работы, созданная революцией.

Федор стал первым мужем Марии, и Федор никогда не спросил ее о любви. Пошли годы. Величайшей силой бессилия эта девушка сумела быть для Федора Ивановича тем, чем был он сам. Винтовку Федор сменил на приборы Пито и Амслера, но карты и планы остались попрежнему, и по-прежнему Федор Садыков пребывал в походах, сначала за знанием, затем со знанием. Тот год он шел в походе у ночных костров, в победах и отступлениях рек, в боях за социализм. Федор ходил по лугам и долинам, подсчитывал тяжести и силы течений вод и отмелей, накапывал плотины, срезывал перекаты, — человек атлетической силы в молодости и организованных нервов в зрелости, силу которого выпили астма, гра-

ниты знаний Энгельса-социолога и Энгельса-гидравлика, абсолютные величины секундного расхода вод и их периодичности, штыки революции, — шрапнель, разорвавшаяся на станции Мациевская, на фронте гражданской войны, у него между ног, и плотина на Тереке, сломанная, сорванная ледоходной водой, много часов носившая и ломавшая Федора Ивановича по водным просторам освободившихся водных сил. Жизнь Федора Ивановича проходила жизнью солдата и рабочего, временный его стол всегда оказывался рабочим верстаком и чертежной одновременно, где среди бумаг лежал засунутый подальше лист с записью тринадцати его болезней, постель его всегда была походной. Мария ездила за ним, свои углы скрашивая украинскими плахтами, она всегда искала рояль, чтобы играть классических музыкантов, и с нею жил ее друг, громадный пес, помесь овчарки и волка, Волк. Федор ни разу за всю их жизнь не успел сказать Марии, любит ли он ее.

Дни страны, командуемой Москвою, возникали в те годы тяжелыми жерновами революции, строили страну, командуя ею. Этою командою возникали строительства, двигались сотни тысяч людей, ибо страна в те годы жила военным лагерем. Этою же командою жерновов революции просыпался на рассветах Федор Иванович, харкал, крякал, лил на себя ведро холодной воды, влезал в сапоги — и уходил в поход, в войну с речными долинами, — тяжелоплечий человек, один из мельников около жерновов революции. Иной раз особенно густы были на реке туманы, особенно трудны были переходы, — тогда Федор Иванович ломался, сваливался в походную свою кровать, тринадцать его болезней приступали к сердцу, к легким, к горлу, лоб блестел в испарине, скулы обрастали щетиною и очень острым становился кадык. Федор не умел говорить о любви.

Эдгар Ласло и Федор Садыков, два коммуниста, люди одинаковых воль и дел и разных культур, жили друзьями, делающими одну работу, мельники революции. Гражданская война легла на плечах Ласло так же, как и Садыкова, — быт инженерных войск, игра жизнью ва-банк смерти, — но Ласло не был инженером от станка, и он умел заглядывать в чужие карты банка, — то есть в карты смерти. Ласло шел по жизни человеком крепкой воли, как у Садыкова, крепких глаз и вер-

ных рук инженера, работающего с интегралами, но к интегралам пришедшего длинною дорогою классических гимназий, книг, русского интеллигента иностранного происхождения.

Ласло и Садыков в своем походе на изысканиях встретились на тальвеге ручья Малашки, около Медвежьих озер. Путь был закончен. Две партии изыскателей расположились в старом помещичьем доме, где исчезли в рамах стекла и по пустому дому бродил бередливый ветер. И беспорядочная и необычная тогда возникла ночь. За домом лил мелкий дождичек. Десятники и студенты-практиканты в соседнем селе достали водки — на радостях встречи и перед концом работ. Ласло скучал. Тринадцать болезней Садыкова положили его в постель, он лежал в столовой. Дом глохнул, стар и скрипуч. Десятники предложили Садыкову водки, он отказался. Эдгар Иванович выпил водки во имя дождя и усталости. Студенты-практиканты пили и пели. За окном лил мелкий дождь. Было в природе сиротливо, пусто, печально.

Каждый живущий имеет право на жизнь, и каждый живущий, — должно быть — имеет право на любовь, — или не имеет этого права? — Мария, жена Федора, имела величайшую женскую силу — быть бессильной. Федор никогда не говорил о любви. Мария страшилась жизни Федора, когда музыка Бетховена заменялась безмолвием музыки революции и солдатских маршей ее мужа по болотам, где вместо тепла обрусевших голландских печей горели костры у рек и вместо керосиновых медленностей светила заря.

Шла ночь. В столовой разбитого помещичьего дома застрял стол, но пропали стулья, свечи втыкались в пустые бутылки. На столе стояли бутылки с алкоголем. Федор Иванович лежал в бреду, в испарине, под лестницей в мезонин. В доме умерла жизнь, здесь жили совы и тишина. Десятник, рабочие, практиканты и Ласло, стоя и в скуке, пили у стола, ломаясь страшными тенями на стенах.

Было скучно в дождливом вечере. Медицина знает многие виды опьянения, — страшнейшее из них опьянение психическое, когда человек тверд в движениях и в речи, со стороны не узнаешь, что он окончательно

пьян, — но мозговые корки его повреждены алкоголем, выпали из работы сознания, и воля не принадлежит человеку. Эдгар Иванович ходил по пустым комнатам, скучал в темноте безделья, пил, был трезв, как видели остальные. Федор Иванович лежал, задавленный своим кадыком.

Скрипучая лесенка вела из столовой в мезонин. Эдгар Иванович поднялся по скрипучим ступенькам наверх, — и Ласло не помнил потом, — как, должно быть, и Мария, — с вечера или на рассвете легла за пыльными оконцами мезонина, за парком, за рекою — желтая, дряблая заря, ставшая из-за туманов. Свои бутылку и стакан Эдгар Иванович поставил на подоконник.

У окна в тот час стоял того состояния человек, глаза которых умеют смотреть в пространства, чтобы не видеть пространств, но видеть то, что за пространствами. Такие глаза, возвращаясь из-за пространств, должны быть очень действенными, черные глаза обрусевшего венгра, сохранившие в себе темную историю его народа, пришедшего с доисторической Волги, когда Волга называлась рекой Ра, и поселившегося на старых культурах Дуная. В комнате, где рукою доставался потолок и раскинутыми руками доставались противоположные стены, Эдгар Иванович считал себя одним.

И тогда дренькнула в углу выцветшая пружина дивана.

— Кто тут? — спросил Ласло.

— Это я, — ответила Мария, — знаете, я потихоньку выпила рюмку водки, и я совсем пьяна.

Из-за пространств в алкоголе всегда приходили к Ласло не мысли, но ощущения — или тоски, от которой физически ломит череп, — или радости, физической радости, от которой немеет позвоночник. Ласло знал от фронтов, что это та тоска, когда смерть вселяется в череп, — и это та радость, когда само солнце входит в сердце, — эти тоска и радость возникали у него при мыслях о женщине, о чудесном женском, что разлито в человеческом мире. Эта радость пришла к Эдгару Ивановичу в ту дряблую зарю.

— Мне очень грустно, Эдгар Иванович, мне очень одиноко, — иногда мне очень страшно, потому что я совсем, совсем одна во всем мире, — сказала Мария.

Переалкоголенные мозги могут все переаршинивать, память сшивает куски, отстоящие на десятилетия и на минуты друг от друга, — и очень часто тогда возникает ощущение невероятной чистоты, целомудрия, правды, ставшей над всеми неправдами, чтобы взять от небытия нуль.

— Я пришла сюда, чтобы уйти от всех, и вы тоже пришли сюда, как странно!.. Я думала сейчас о вас. Мне никогда никто в жизни не сказал — люблю, даже Федор. И я никому не говорила этого слова. А сейчас я скажу. Мне иногда кажется, что я люблю вас. Нет, это не только кажется, это — правда. Мой отец был инженером, как вы. У вас волосы, как вороненая сталь, вы, — как ворон, — а виски ваши уже седеют, — и я часто ловлю себя на мысли, что мне хочется погладить ваши седые волосы. Все проходит. Я совсем пьяна. Я очень много думаю о вас.

Эдгар Иванович не запомнил, с вечера или на рассвете лежала за пыльным оконцем мезонина, за парком, за рекою — желтая, дряблая, уже осенняя заря. Пружина на диване дренькнула — именно выцветшим звуком.

— Что вы делаете, Эдгар? — спросила Мария, не добавив отчества — Иванович, — и она впала в бессилие.

— Я люблю тебя сейчас, Мария, — сказал Ласло.

Федор Иванович один бодрствовал на своей походной койке, когда вниз спустился Ласло. Остальные спали на соломе по углам столовой. Свечи догорали. Федор Иванович поднялся со своей койки, босыми ногами подошел к столу и налил себе водки.

— Тебе нельзя пить, Эдгар. Я не люблю пить, Эдгар. В этом доме очень большая тишина, только совы кричали, — сказал Федор Иванович. — Выпьем за дружбу, Эдгар!

Федор Иванович опустил руки и опустил глаза.

— Тебе нельзя пить, Федор, — сказал Эдгар Иванович.

— Нет, почему же? — ответил Садыков.

И Ласло крикнул, подняв пустую руку, чтобы чокнуться:

— Да, выпьем до дна!

— Но ты налей себе, чтобы пить! — сказал Федор Иванович, — твоя рука пуста.

За окном легла дряблая заря. Эта ночь стала началом романа Ласло.

Это были два друга, Федор Садыков и Эдгар Ласло, люди великой эпохи русской революции, которую они считали своею родиной, потому что в ва-банке со смертью они остались живы, командуя миром и волями московского Кремля, мельники его жерновов. Эти два человека, русский рабочий, ставший инженером, и обрусевший венгр, ставший русским интеллигентом и — по существу — родившийся инженером, — они шли достойными людьми, навсегда — один сохранивший, другой обретший — европейскую манеру внимательности, вежливости, чистоплотности и аккуратности. Оба они знали, что жизнь каждого из них лежит, — жизни, отданные революции, — жизнь Федора в кармане его косоворотки, жизнь Эдгара — в его жилетном кармане. Эдгар был физически красив, и у обоих у них были глаза, существовавшие к тому, чтобы действовать. У Федора Ивановича тяжело обвисли плечи, как тяжела была походка израненных его ног, — он был примечателен красотою неправильностей, морщин на лбу, голубых славянских глаз, запавших деловою понуростью, нежных скул в красных венках румянца, русского — сибирского — пробора картофельных волос. Ласло слил в себе кровь волжских и придунайских степей, по которым прошли крови очень многих народов, аланов, гуннов, готов, унгров, — и волосы падали у Ласло назад за широкий лоб, откинутые назад веками ветров прошлого и Российским политехническим институтом.

За окнами светилась дряблая, уже осенняя, желтая заря.

— Да, выпьем до дна. — Ты помнишь, Эдгар, принципы Жирардона?

— Какие именно?

— А вот хотя бы тот, что естественные водные потоки влекут за собою своими водами твердые вещества, стало быть, и всякую грязь. И при этом, количество этих твердых частиц зависит от сопротивления размыву. Движение воды безостановочно, но движение этих взмытых частиц не непрерывно, — вместо того, чтобы быть непрерывным, оно перемежается, и нисхождение застревает на перекатах.

— Да, совершенно верно, — ответил Ласло, — но Жирардон же утверждал, что и глубины распределены в поперечном профиле неравномерно, они больше в частях ложа, представляющих наименьшее сопротивление размыву. Жирардон думает, что не следует уничтожать перекаты.

— Ты пьян, Эдгар?

— Да, это совершенно верно.

— Но мы сейчас говорим не о гидрологии.

— Да, совершенно верно.

Федор Иванович глянул на Ласло. Тот стоял спокойно и прямо, — Федор Иванович опустил глаза и побрел к своей койке.

И опять был труд созидания трасс и профилей, — той бескровной войны за социализм. Где первейшее — человек, где строилось человеческим трудом, чтобы переустроить природу, труд и человека — во имя человека.

Осенью, когда собирались заметать первые метели и дощаники вмерзали в речные льды, Садыков поехал в Коломну, где начиналось строительство, — Ласло же вернулся в Москву. И только через год Ласло приехал в Коломну, когда монолит был уже заложен.

Надо было пролить очень много мозгов, чтобы на кальке и ватмане восстановить природу рек, где все закономерно, все соподчинено и просчет в миллиметр может сломать сотни километров живой природы. На луга под Митяевом и Бачмановом, на щуровские и константиновские холмы — из хорошевских и чернореченских лесов, от станций Голутвин и Щурово, от протопоповских гранитоломен проложили железнодорожные подъездные к строительству пути, по ним и на тысячах мужичьих лошадях обозами потащили на строительство материалы — лес, гранит, щебень, песок, железо, разобранные гусеницы экскаваторов, землесосов, бурильных инструментов, оборудования для заводов сгущенного воздуха, бетонного завода, сборочных мастерских, — материалы и инструменты, — ибо через три весны Москва и Ока должны были последний раз за их тысячелетья разлиться волею природы, чтобы затем скованные гранитом и человеком, их силы подчинились человеку.

На лугах под Коломною готовилось поле боя с природою. На щуровских холмах и на холмах у Константиновской возникали рабочие поселки, контора главинжа, инженерский городок. Щуровский цементный завод работал на строительство, и над самою Окою у позвонков монолита стал бетонный завод, дымил и гремел над Поповкою камнедробильным цехом, — думпкары везли бетонную кашу на монолит. Вдали, на опушке леса, безмолвствовали заборы завода, где вырабатывался сгущенный кислород, которым вместо динамита и амонала рвали гранит, прокладывая ложе плотине. Голутвинский машиностроительный служил инструментальной мастерской.

Садыков приехал в Коломну и поселился с Марией в доме для приезжающих Голутвинского машиностроительного в осенние дни, когда на лугах на Оке лили дожди, обращая луга в древность. На щуровских горах стыли тогда сосновые леса в ожидании зимы. Мужики по селам убирались на зиму. Ничто, кроме мыслей Садыкова, газетных статей, ряда заседаний кремлевских учреждений да кипы кальки и ватмана, не говорило на этих лугах и в этих лесах о том, что здесь возникает строительство, что сюда придут тысячи людей, здесь возникнет, застроится, заживет жизнь. Эти луга строительства, над которыми вскоре после приезда Садыкова заметались метели, стали для Садыкова полем сражения, нанесенные на карты, с которых они должны будут сойти в действительность, к самим себе, к деревням, которые исчезнут, к будущему, — и на картах было сделано уже все то, что должно будет быть, и на картах значилось, как загудят морские пароходы под Москвою и как уйдут в историю, уничтоженные, Сергеевская, Бобренево, прочие.

Любовь Пименовна Полетика, приехавшая на строительство за год раньше Ласло и матери, приехала тогда к тому, чтобы рыть курганы и становища, разрывать архейские эпохи, рыть земли, которые уйдут под воду, когда сломается река.

В зимние рассветы, когда снега сини и небеса колки, если нет метелей, и свинцовы небеса, если идет поземка, в те получасы отдыха и раздумья, когда розвальни тащили Садыкова на луга к зарождению строительства, в получасы одиночества, Садыков мог думать, кроме оче-

редных дел, о том, что глыба гранита, положенная под щуровским кладбищем на дно Оки, скованная бетоном, — есть продление, освобождение, украшение человеческой жизни. Развалежки подъезжали к дому для приезжающих на рассвете, и Садыков, закутанный в тулуп, ехал к работам. Зимние русские рассветы медленны, небо тяжело, проселки испоконны, тулуп пахнет овчиной, ветер сносит в сторону лошадиный хвост, вешки на дорогах монгольствуют. А на местах, где возникали на снегу срубы, вышки лесопильного завода, штабеля дров и леса, каре гранитов и кирпича, уничтожая первобытность, работали новые люди, орали возчики, свистала лесопилка, посвистывали паровозики и: — появились бабы в киноварных полушубках, с ландрином, махоркой и пирожками, фалдами полушубков и обильностью своих задниц, хранившие тепло этих пирожков. Вновь распиленный лес и стружки от теса пахнут на морозе арбузами, — но есть другой запах, необъяснимый, — запах возникновения новой жизни, замороженных рук техника и десятников в холодной из теса конторке, запах махорки от людей и дыма от железной печки в конторе, запах слов и острот, — да, да, — запах звуков и человеческих слов, и человеческих следов по снегу, смявших первобытный снег, где запах арбуза, натесанных топорами стружек, также есть запах возникновения новой жизни, вместе с махоркой. Там, где раньше ничего не было и паслись по летам, в оводах, стада, киноварные полушубки уверяли: — «пирожки горячие, во рту паруют, внизу жируют!» — Возчики определяли запахи — и пирожков и полушубков, — и это тоже было возникновением жизни. А эти места, занесенные снегом, среди сосенок, в полях и на лугах — были позициями к бою за прекрасное будущее человечества, когда остроты пильщиков над запахами пирожков обязательно звучали бодростью — бодростью строительства. Садыков знал ту бодрость работы, когда бодро спорится дело, когда бодро возникает делаемое, когда даже сон является помехою.

К весне ж бабы в киноварных тулупах исчезли, потому что плотники и печники, маляры, стекольщики, каменщики — построили на строительстве рабочую столовую, которая называлась фабрикой-кухней. И бараки весной наполнились рабочими так, что бараков не

хватило и пришлось ставить брезентовые палатки, взятые у военного ведомства, — и эти военные палатки были не случайны, потому что на лугах работали армии.

Маршал Садыков был главинжем. Маршальские развалежки ездили от одного места возникновения жизни к другому в те часы, когда начинались дни, чтобы к полдням быть в штабе, — в просторном и теплом свете проектной, — над чертежами и планами, где на планы стекали, кроме вод, история и человеческая мысль, строящая историю, время, людей и силы. Здесь мысль учитывала глыбы гранитов, влагоемкости суглинков, миллиметры карт, вырастающие в кубы воды и живой силы, — рассчитывала человеко-часы, машино-часы, последовательности и уроки работ. Белый свет дня сменялся в чертежной восковым покойствием закатов, загоралось электричество и над домом мерзла Полярная. Чертежная безмолвствовала решениями дел. Косоворотка Федора Ивановича расстегивалась усталостью, папиросы утомляли губы, — и косоворотка Садыкова, самая обыкновенная, казалась сшитой не из полотна, но из кожи, такой же крепкой, как кожа на юношеских скулах Садыкова, загрубевшая временем — и рек, и революции. Рабочий день Садыкова заканчивался в час Полярной, чтобы в час же Полярной наутро возникать вновь.

Бой был начат, тысячи людей строительствовали, когда приехал Ласло, и Ласло взял маршальство отделами экономики труда и материальным, людьми и вещами, когда Садыков маршальствовал природою и планами работ.

Эдгар Иванович приехал с семьей и поселился в Коломне у сестер Капитолины и Риммы Скудриных, в их тишине за калиткою. Ласло привез с собою книги и вещи, чтобы создать покойный и рабочий инженерский быт. Дом за калиткою пребывал тих, очень близко под звездами, в скрипучих половицах, с теплой лежанкою. Дом заглох тишиною Капитолины Карповны Скудриной. Дома Эдгара Ивановича после работ ждала жена, Ольга Александровна. Наступала новая осень. Падчерица Любовь Пименовна выходила к позднему обеду с тетрадью после работ над сводками раскопанного, слу-

шала новости со строительства, приносила свои новости. Кабинет Эдгара Ивановича зарос книгами, книги выползали в столовую, и звуки в кабинете прятались в книги и в ковер на полу. Эдгар Иванович оставлял дому часы звезд и луны, хотя солнца в комнатах этого дома было очень много, того солнца, о котором очень знала Ольга Александровна. Ласло работал плечо в плечо с Садыковым и так же упорно. В послеобеденный час — в беспорядке вопросов и ласки — из-за книг в кабинете возникала Алиса. Отец читал газету около стакана чая, дочь забиралась на колени и притихала на коленях котенком, не мешая отцу священнодействовать газетой. Солнце физическое оставалось для Эдгара Ивановича в просторном кабинете конторы главинжа и на лугах строительства, — и почти физическим солнцем в доме была Алиса, единственная дочка, Лиса, как называл ее отец.

Однажды Алиса спросила отца:

— Эдгар, мы живем или играем? — она называла отца по имени, как мать.

Отец не понял, срастив абзац газеты с вопросом дочери, спросил:

— Что ты хочешь сказать, Лиса?

— Мы живем или играем? — вот, ты и мама, — вы живете, а я и Мишка, хотя он уже большой и ходит к Любе, ее товарищ, — мы с ним играем в куклы. Куклы не живые, они из тряпок, и голова для куклы — мама купила мне ее в Москве у ГУМа, когда мы еще жили там. А ты играешь с нами, потому что мы маленькие. Мы с Мишей живем или играем?

Все газетные абзацы заслонились тогда вопросом дочери, первою дочернею внеурочною мыслью, — и отец растерялся в ответе, всем — позвонком и сердцем поняв, как дорога ему дочь, его плоть, его продолжение жизни, потому что в том беспорядке живой жизни, который надо привести в порядок наукою Мечникова, Воронова, Лазарева и машинами, все же имеется пока одно решение трагедии смерти, трагедии и человека, и человечества, — продолжение рода и крови. И отец прижал к себе дочь, прижимаясь к жизни, так сильно, что на глазах у дочери появились слезы физической боли и недоумения.

И из-за книг в час отдыха после обеда, вместе с Лисой, вслед за Лисой, за ее смехом и ручонками, верткими, как масленичные качели, приходила жена, друг, мать — Ольга Александровна, — женщина, которая возникла в его жизни впервые вместе с его молодостью, отдав ему все свое последнее. Он был репетитором Любови и сына, умершего от тифа на гражданской войне в его отряде. Она принесла и отдала ему все, всю жизнь. Тогда, в прямопроспектном Петербурге, в гулкой квартире профессора Полетики, где встречала она всегда Ласло на пороге, пустой гостиной, на этом самом пороге в солнечный день, в гулком и просторном биении сердца, впервые поцеловал Ласло, по-мужски, любовником, руки и шею Ольги Александровны, — и она поцеловала его, все отдавая в этом поцелуе, эти гулкие комнаты, свое время, мужа, детей. Ему было двадцать три, ей тридцать два. В этой гулкой гостиной, также в солнечный день, в закат, она сказала Пимену Сергеевичу Полетике, что она уходит от него навсегда, — и глаза ее светились в тот час счастьем. У порога ждал Эдгар. Сроки ухода длились тогда сроками великой войны, и для Ольги Александровны были те годы стремительной героикой. Тысяча девятьсот семнадцатый год стал ее бабьим летом, оказавшимся не в сентябре, но в июле. Для Эдгара она научилась думать по-немецки, как думал Эдгар, — и вместе с ним она пошла на штыки гражданских войн и голода революции, вместе с ним пробираясь через те отвесы, которыми переползала Россия в своем перестройстве хлеба, вер, быта, обычаев.

В отряде Эдгара она потеряла старшего своего сына, убитого белыми. Впервые по-настоящему в страсти закрылись ее глаза на мир от поцелуев Эдгара, и Эдгар увидел первые ее у глаз морщинки немолодости. Она молча шла за Эдгаром по фронтам, эта гордая женщина, друг, — эта покойная, чистая женщина, принявшая штыки революции своим брачным ложем, знавшая, что страсти человеческие — обязательно честны, обязательно правдивы, обязательно проверены на июньские русские росные рассветы, светлые, ясные, чистые и никак не похожие, как для некоторых, на палительные головни русских пожарищ. Она научилась все подавлять в себе, что было вне ее чести. На фронте, на станции Мациевская около ног Федора Ивановича Садыко-

ва разорвалась однажды граната, — их было тогда трое в дежурной комнате, она, Эдгар и Федор, — осколок ударил в ее плечо, — она руками вынула осколок из мяса раны, сморщив от боли губы, сдвинув брови, но улыбаясь. Когда же отгрохотали пушки революции и Эдгар пошел к рекам, Ольга Александровна родила дочь Алису, — свою последнюю дочь, ибо годы ее шли уже к закату. Она собрала тогда время в инженерный порядок и стала хранить книги Эдгара и его дела.

В часы, когда засыпала Алиса, Ольга Александровна приходила к Эдгару, со свечою в руке. Она всегда была в черном платье. Последний чай перед полночью был горяч, он выпивался в кабинете, где книги пахнули книжным червем, напоминающим запах мертвецкой. Жена садилась на диван, рядом с мужем. Они говорили между собою по-немецки, на языке, которым встретил жизнь Эдгар Иванович и которым он провожал Лису в постель.

— Weist du, ich denke, das Lew Trotzki nicht Recht hat, — [1]

Она говорила о делах, вычитанных из книг и газет, которыми она помогала мужу. Свеча на столе горела свечою Фауста, покойствовала полночь отдыхом последнего чая, — и муж и жена говорили о том, что стократ величавее Гете, — о революции в мире, той, которая приходила и переливала историю на жернова Эдгара, — как здесь, так и за стенами этого уездного дома, за этими часами жены и мужа, когда муж растворял время женою и книгами, потому что плоские четырехугольники книг имеют свойство камерой-обскурой кидать человека и человеческую мысль во времена и пространства куда угодно и как уго́дно, — а голос, волосы, голова, плечи жены, ее слова, ее теплота, ее ласка, ее строгость — могут заставить человеческое существо взять на ладонь свое собственное сердце и в сердце спрятать свое существо, когда космичествует покой и то чудесное, что дало жизнь рыжей Лисе. В полночах, когда засыпала жена, эта гордая, покойная, разумная женщина, сестра в революции, когда свеча гасилась и

---

[1] — Ты знаешь, я думаю, что Лев Троцкий не прав, — (*Нем.*)

книги проваливались во мрак, — Эдгар Иванович поднимал голову локтем и рядом с ним во мраке чуть белело плечо жены, уже покрытое холодком дряблости, родное и доверчивое, раненное на Мациевской. Ее дыхание было ровно, счастливо, — этой женщины, которая днями всегда одевалась в черное, лишь по июням в белое, и которая стала первой в жизни. Это было таинством любви, тот кувшин, который нельзя расплескать так же, как кувшин революции.

За домом, на лугах шло строительство. Раз в неделю, когда выпадали свободный час или свободная ночь, иль мозги начинали дрябнуть, к Эдгару приходил с завода, из дома для приезжающих Федор Иванович, — или Эдгар Иванович ехал к нему — выполнить законы дружбы и чокнуться — не водкой о водку, но сердцем о сердце, мыслью о мысль. Тяжелоплечий Федор шел тогда по комнатам, смотрел солдатским глазом вокруг, приветствуя и шутки пересыпая нравоучениями:

— воздух слишком сух, надо поставить аквариум, не дорожите здоровьем, —

— покажи печку, как закрываете, я научу, как надо, —

— Лиса, открой веко, ты малокровна! —

Федор Иванович садился на диван в кабинете, чтобы отдыхать и не двигаться часами. Из-за книжной полки извлекалась заветная бутылка. Федор знал каждый жест Эдгара, Эдгар знал каждый жест Федора. Федор наливал себе рюмку коньяку и острил. Любовь Пименовна забиралась в угол дивана, Ольга Александровна уходила по хозяйству. И начинались часы разговоров, чтобы этими часами проверять себя, свои дела, свои мысли. Книги с письменного стола снимались, свечи ставились в большом количестве, к Федору подвигался табурет с тарелкой. Женщины безмолвствовали. Федор опирался рукою о колено Эдгара, чтобы облегчить свои плечи и во имя дружбы. И Федор отдавал свои помыслы, возникавшие у него за цифрами и планшетами.

— Ты говоришь о Льве Троцком, — говорил Федор Иванович, — давай подумаем о речном ложе, стало быть, особенно, если река потечет задом наперед. Давай примем во внимание администрацию, то есть самих себя, партийную ячейку, то есть самих себя, рабочий комитет, то есть опять же самих себя. Мы отвечаем за все. Коса на речном перекате лежит, как известно, по-

добно рыбе, головою против течения, и имеет также, как известно, форму рыбы, рыбью голову и рыбий раздвоенный хвост. Отмели похожи на рыб не случайно, но это не главное. Главным же образом нужно рассчитать, что будет с рыбиной косой, когда вода потечет ей в хвост. Мы строим плотину, заново, переделываем климат и географию. Так, стало быть. На пустые луга съехалось десяток тысяч рабочих, а связаны этим строительством и зависят от него — миллионы, — понятно. Место боя, — тоже понятно. А кто это чувствует у нас? — мало, кто. Инженеры машинисток в Голутвин по субботам возят, фокстротят. Грабари имеют артельных жен, называемых стряпухами, — мы построили фабрику-кухню, но из-за этих артельных жен, то есть стряпух, рабочие предпочитают питаться в бараках, и в каждом бараке обязательно есть шинкарка. А мы с тобой есть все.

— Я тебе отвечу, Федор, — говорил Эдгар Иванович. — Обрати внимание на товарища Моисея из Библии, который выводил евреев из Египта. Он был неглупый мужик. Он путешествовал по морскому дну, производил манну небесную из ничего, путался в пустынях, как мы в троцкизме, устраивал съезды Советов и приемы на Синае. Сорок лет отыскивал свою жилплощадь и воевал за нее. И до обетованной земли он не дошел, предоставив Иисусу Навину останавливать солнце. Вместо него дошли его дети. Старик Моисей не мог дойти до обетованной земли — на основании логики. Люди, знавшие Содом, не могут быть в Израиле, — они не годны для обетованной земли, потому что они помнят, что такое есть городовой, откуда у него растут усы и кто такая фрау — просвирня в городе Липецке. Старик должен был лечь костьми для нового поколения, ибо только новое поколение, новые поколения, которые не будут знать городового, годня для обетованной земли. Я думаю, что мы сейчас работаем в Моисеев, по морскому дну мы отпутешествовали и манною небесной питаться перестали, — но к новой жизни мы не готовы с тобой, в ней будет жить моя Лиса. Я помню, как майоры давали в морды унтерам. Что же касается администрации, месткома и партячейки, то также в Библии чудак объяснял о действии правой руки в момент неведения левой. Женщины ж — ну, пусть наслаждается каждый, как хочет.

— В медицине такая раздерганность называется лихорадкой, — отвечал Федор Иванович. Он говорил медленно и трудно, тяжелоплечий человек. Свечи горели гетевски. Книжные полки покойствовали моргами мыслей, камеры-обскуры в человеческое время и знание. — Да. Но Моисей написал скрижали. Я слыхал следующую разновидность рассуждений. Мне говорили, что каждая историческая эпоха имеет свою мораль, рожденную эпохой. Палки доказательств, дескать, могут ломаться, но их не надо перегибать до тех пределов, когда они сломаются вместе с доказательствами. Говорят, что общественной моралью наших лет является мораль политическая. Можно быть безграмотным человеком, спрашивающим, что такое за наука химия, и пишущим корову через отмененное ять, невеждой и пьяницей. Можно быть неверным слову. Можно быть, так скажем, неразборчивым к вещи. Можно быть нечестным к женщине, к мужу, к семье, потеряв всякое понятие о семейной чистоплотности, — во всяком случае, у людей, придерживающихся таких взглядов, с точки зрения старой морали, семья и проституция спутали свои понятия. Надо быть, дескать, моральным политически, — и даже не очень моральным и не очень грамотным, но — ортодоксальным. Быть политически неграмотным — не морально. Эти же люди говорят о том, что политические таланты родятся так же, как актерские, писательские, художнические. Они утверждают, что можно быть прекрасным музыкантом, бездарным политически, — можно быть честнейшим астрономом, человеком, верным слову, грамотности и чести к женщине, — женщины, к слову говорят они, на бесчестность мужчин очень радостно отвечают своим бесчестием, — астроном может быть мирового имени, и такой астроном, утверждают они, не будет в фокусе нашей общественности. Философы такого рода утверждают, что у этих астрономов имеется право не интересоваться вопросом, «како политически веруеши?» — за недосугом от звезд. Эти философы не могут решить, кто прав, — эти ли астрономы, просящие помиловать, — «помилуйте, ведь он же пьяница и бабник, ведь у него же государственная мебель на квартире и даже не содраны музейные ярлыки, ведь он малограмотен!» — правы ли эти астрономы, которым противопоставляются эти, живущие на государственной

мебели, потому что они умеют делать — делать революцию, как астрономы умеют караулить звезды, и умели, и умеют умирать за революцию. Эти люди, дескать, должны жить колоссальной волей, рассудком, рационализмом, мозгом, все подчинив разуму, уничтожив все, что лежит за разумом. — Я думаю, что таких противопоставлений делать не стоит, и они напоминают твои рассуждения о недошедшем Моисее. Да, не дошел, — но он же написал скрижали. Нам — жить! Нам писать скрижали будущего, которые должны быть омыты нашей кровью. Ты немножко нигилист, потому что ты знаешь тот соус, на котором поджаривают эти скрижали, — я и ты, мы убивали людей в затылок, — все это окольные пути, совершенно верно. Этот соус не должны знать в новой жизни, как в обетованной, стало быть, полагалось, что забыты ваалы и проделки жены Патифара [1]. Но я думаю, что ничего не надо откладывать, и для себя я решаю все сразу, и коммунистическую мораль, в частности.

— Вы говорите о рыбах, Федор Иванович. Я хочу рассказать странную вещь, — Любовь Пименовна говорила тихо. — Сейчас великий пост по-старинному, продают мороженую навагу. Я шла с базара и вдруг почувствовала, что пахнет фиалками, очень хорошо. Я стала искать, откуда идет запах. Улицы были пусты и морозны, у меня нет никаких духов. Я наклонилась к кошелке, — пахло навагой, — я подняла голову, — пахло фиалками. Наконец я поняла, откуда этот запах. Разреженный запах наваги похож на запах фиалки. Фиалками пахла навага. Так часто бывает в жизни, когда наважьи рыбьи запахи превращаются в запахи весны. А дома оказалось, что рыба несвежая.

— Совершенно верно, очень признателен. Любовь Пименовна, бойтесь наважьих фиалок!

Друзья чокались сердцами о сердце, — эти кувшины нельзя было расплескать. Мысли Федора и Эдгара бродили по российским весям и чувашам, по заводам и строительствам, около английских шахт и по долинам Ян-цзы, около концернов Стиннеса и вокруг карьер Макдональда. У этих людей были и будни, начальства,

---

[1] Патифар — бог неба, солнца, плодородия *(семит.)*.

подчиненные, соработники, друзья, безразличные люди, враги, удачи и неудачи, — и в эти часы свечей Гете и покойствия книжных камер Эдгар и Федор Иванович говорили о всяческих своих буднях, о вчерашнем и третьегодняшнем, что было их средой, их делами и делало их общественное мненье. Так горели свечи, рожденные Гете, до часа, когда Федор Иванович поднимался и уходил. Любовь Пименовна провожала Садыкова по мертвым уличным снегам в эти часы здравствующих звезд.

Дочь Лиса продолжала настаивать на своих вопросах. Лиса сидела на столе между книг.

— Эдгар, ты сказал, что ты, и мама, и я, и Мишка, — мы все живем одинаково. Мы живем жизнью. А кукла Мила — она из тряпок — она тоже живет?

Лиса не дождалась ответа.

— Расскажи мне сказку.

Эдгар Иванович не сумел как следует объяснить, почему не живет кукла. Лисе стало скучно. Эдгар Иванович рассказал, как медведь рубил тот самый сук, на котором сидел.

— Хорошо, только мама лучше тебя рассказывает сказки, — сказала Лиса.

— Почему?

— Потому что мамины сказки в книжках с картинками, а у тебя я ничего не вижу, как медведь рубит сук и падает. У мамы все нарисовано в книжках.

Лиса сидела на столе против Эдгара Ивановича, врастала в книжки и вырастала из них, маленькая, рыжая и веселая. Эдгар Иванович играл с ней в джанкэн-понг, она таращила пальцы страшными ножницами и болтала ногами, как языком.

Эдгар Иванович много раз наблюдал за Лисой, как она играла на ковре. Ковер застилал кабинет Эдгара Ивановича. На родинах ковров — в Кашгарии, в Ширазе — ковроделы знают, что ковры могут читаться, над коврами можно сидеть, как над шахматами, читая их образы письмен и времени, — европейцы не знают этой грамоты, не знал ее и Эдгар Иванович, — но для Лисы на ковре был нарисован целый мир, реки, моря, поля, города. Этот ковер остался у Эдгара Ивановича от его отцов, от детства, и в детстве своем Эдгар Иванович так

же, как Лиса, видел эти ковровые миры, забытые теперь. Лиса показывала отцу, где на ковре находится Коломна и где Москва, где строительство и как ехать по ковру из Москвы в Коломну, — рекой и железной дорогой.

Верхом на отце выезжала Лиса через столовую в спальню, чтобы отец посидел минуточку над ее кроваткой. За приземистыми оконцами дома старух Скудриных рос сад, занесенный снегом, светилось иной раз оконце в бане охламона Ожогова да мерцали в небесах звезды.

Мир дома Ласло был тверд и налажен.

Законы речей инженера Евгения Евгеньевича Полторака о том: — «что такое любовь, Вера Григорьевна? — что такое жизнь? — что такое смерть? — и что такое правда? — все это пустяки перед нулем смерти, именно потому, что множитель нуль все превращает в самого себя», — эти законы, оправдывавшие Евгения Евгеньевича Полторака, будут существовать до тех пор, пока человек, каждый сам для себя, не определит, не решит — что такое любовь, честь, жизнь, смерть. В эпохи, когда человеческая индивидуальность стирается, когда нули смертей, казалось бы, превращаются в цепи, — эти цепи никак не являются оковами ва-банков, — ибо каждый человек должен, обязательно должен решить для себя свою честь. Разговоры о Моисее примыкают сюда.

В человеческом мире однолюбость не есть закон биологический. Эдгар Иванович навсегда был связан с Ольгою Александровной, прошедшей с ним его путины становленья человеком и родившей для него дочь, его любовь и будущее. Но Эдгар Иванович не был физически верен своей жене, как очень многие мужчины той эпохи и как многие женщины не были верны своим мужьям. В теплушках, на шпалах, в случайных городах, случайными ночами, ибо тогда ломался быт и у каждого за плечами стоял нуль ва-банка, были разбросаны женщины, ничем не обязывавшие, дававшие радость своим женским, казавшимся вечностью, повергающей нуль, стоявший за плечами. Пожары революции не оставляли мозгов для большего, и женщины терялись в рассветах и в новых дорогах.

Годы гражданской войны исчезли вместе с теплушками, убранными из-под откосов. Остальное оправдывалось моралью буден. Было две жизни: жизнь первая и жизнь вторая, похожая на волчьи лесные тропы, неприметные логова, приметы, заметы, вехи. Жизнь первая была делами строительства революции, камерами-обскурами книг, обычаями дома, законами дружеств. И из жизни первой можно было и надо было выключать себя в жизнь вторую. В сотне дневных рабочих разговоров и звонков по полевому телефону со строительства — был один, иль звонок, иль разговор наедине, о часе, о месте, о поезде в Москву. И там, в этом часе и месте, начиналась вторая жизнь, таинственность, о чем никто не знал и где радость была единственным, оправдывающим все. В любовничестве нет будней усталости, рублей, задворок характеров, — и очень многое оправдывается у людей тем, что это — в тайне, этого — никто не знает, этих тайных троп, неприметных примет, скрытых от всех, мест свиданий. Здесь, в эти часы, выключенные из дел и времени во вторую жизнь, была только радость наслаждения женщиной. Ладонь женщины, положенная на мужские глаза, может закрыть иной раз весь мир — не только на основании законов физики для зрения, — но так может закрыть мир, что ладонь становится больше мира, — и обнаженное колено женщины может сжимать сердце так же, как раздумье о смерти под пулями в бою, ибо смерть и любовь суть не только нули, но и равенство.

Ночь белесой зари на изысканиях стала началом романа. Мария Федоровна Садыкова любила Эдгара Ивановича и она осталась его любовницей, когда он приехал на строительство. Она шла навстречу, Мария, всем своим прекрасным, чтобы отдать его. Она любила, опустив свою любовь в тропы музыкантов-классиков, ничем не оправдываясь и не думая об оправдании. Она прятала голову на грудь Эдгара Ивановича, как страусы прячут свои головы под свое же крыло иль в палительные пески тех пустынь, где живут они в диком состоянии.

Каждый мужчина знает счастье обладания женщиной, — и каждый человек знает еще большее счастье владения человеческой душою, всеми помыслами и всеми мыслями, которые — вот тут, на ладони. Часы встреч, выключенные из времени, были — то десять утра, то де-

сять вечера, то четыре дня, — и тайные тропы были также то в доме для приезжающих на машиностроительном, то в лугах и Щуровском лесу, то в московском поезде. Эти часы таинственных троп всегда приходили необыкновенно, сворованные у самих себя. Когда они кончались, за последним поцелуем, за ступеньками парадного и за крестопутьем переулка, — вторая жизнь Эдгара Ивановича включалась в жизнь первую, дел, деяний, забот, нарядов в земельно-скальный подотдел, гранитов, «рук». За крестопутье переулка можно было вернуться к Федору Ивановичу и поздороваться с Марией Федоровной, чужою женщиной, женою друга, спросить об ее здоровье и передать привет от жены, потому что в человеческих делах очень часто тайные дела не кладутся на весы морали. За переулками, в настоящей, первой жизни плечи впрягались в дела, дни растворялись свинцовыми просторами лугов, приказов, заседаний, подсчетов, дел и воли, где нельзя расплескивать мыслей и надо ими командовать в походе истории.

Охотники в лесах ловят волков облавами. Обкладчики выслеживают волчьи тропы. Охотники встают по волчьим лазам, затягивают флажками перелески. Лес тих, медленен, безмолвен. В безмолвии леса начинают улюлюкать и арярякать кричаны, чтобы поднять волка и погнать его по тропам, которые обложены охотниками и флажками. Волчья жизнь становится смертью.

В доме старух Скудриных, где жизнь Риммы Карловны походила на судьбу запаха наваги, ставшего фиалковым запахом, из-за книг возникала рыжая Лиса. Глаза Федора Ивановича были к тому, чтобы рожать действие. Глаза Эдгара Ивановича, когда они возвращались из-за пространств, были также к тому, чтобы действовать. Эти люди жили, чтобы действовать, чтобы умирать за делаемое.

И наступил последний год строительства.

Весна шла очень большим солнцем. Метели спятились в зиму. Солнце пришло из-под снегов, как снега ушли в ночь. Этою весною последний раз разливались реки Ока и Москва по прежним, тысячелетним, созданным природою, тальвегам, — позвоночник монолита перекопал уже Оку.

И был майский день.

В полдень, в обеденный перерыв, когда гудели предупредительные сирены и вывешивались сигнальные

знаки, указывающие, что всем надо уходить с лугов, ибо туда пошли подрывники рвать сжатым кислородом граниты, — из рабочего кабинета, заваленного планами, картами и таблицами, где по углам на полу валялись образцы пород и куда шло очень много майского солнца, — Федор Иванович стал разыскивать телефоном Эдгара Ивановича и Марию Федоровну.

Марии сказал Федор Иванович:

— Мария, ты будешь у меня через четверть часа, по важному делу. Очень прошу.

Эдгару:

— Эдгар, ты придешь ко мне сейчас, по очень важному делу. Очень прошу. В кабинет.

По существу говоря, с этих телефонных звонков начался настоящий и нужный повести роман между Марией Федоровной и Эдгаром Ивановичем.

Утром в этот день, встав в четыре часа, Федор Иванович ходил на работы. Ротозейством прораба и десятников вода размыла песок и фашины [1] у перемычки, и Федор Иванович в скафандре, в водолазном костюме лазил под воду, на дно реки, чтобы осмотреть подгоризонтные части работ, хотя это и не было делом его. Два водолаза всовывали Федора Ивановича в резиновое туловище, закручивали сигнальным концом, обували в свинцовые туфли. Скафандры — эти алюминиевые шлемы, похожие на черепа марсиан по Уэллсу, — привинчиваются, как герметическая пробка, за пробкой скафандра начинает шуметь нагнетаемый воздух, земля оторвана, измерения меняются, вода смыкается над головой и над головою бегут белесые пузырьки отработанного воздуха. Законы физики меняют под водою свет, видимость, давление, — человеку под водою необычно. Федор Иванович осматривал фашины. Фашины проросли, заплелись, задохнулись самими собою. Под водою стало темно и холодно, шалые рыбешки хотели глянуть за стекла скафандра, сжатый свистящий воздух шумел в ушах, мешал слушать подводную тишину, подчеркивая ее. Солнце в ту минуту, когда Федор Иванович вылез на баркас, показалось громадным. И это солнце и фашины, разбухшие под водою, родили

---

[1] Фашина — связка прутьев хвороста для укрепления насыпи *(спец.)*.

тревожную мысль, которую Федор Иванович не мог осознать и привести в порядок. От перемычки по Константиновской старице, служившей отводным каналом, перебравшись через канал на баркасе, Федор Иванович пошел в управление главинжа, к себе в кабинет, прошел Константиновской, по дороге проверял деловые уклоны фашинных одежд нового ложа берега. День наступал просторен и солнечен, облака возникали, чтобы растворяться в сини. На фашинной укладке работали женщины, пестропаневые степнушки. На земле валялись только что срезанные лозы чернотала и козьей ивы. Женщины вязали ивовые косы, затягивая лозины вицами, — были бодры и весело смотрели вслед инженеру. Фашины рядами укладывались на речное ложе и приколачивались к земле ивовыми ж рогулями. Чернотал и козья ива берутся для фашин потому, к тому, чтобы они прорастали в воде, закреплялись корнями и закрепляли бы ими землю дна. И Федор Иванович осознал свое ощущение. «Все это будет залито водою», — Федор Иванович, поглядывая на здоровенных девок и баб, смеявшихся ему навстречу и вслед, увидел вдруг себя на месте одной из козьих ив. Это совсем не то, что быть под водою в скафандре. В каждой лозине осталась жизнь этих лозин, связанных, зажатых вицами, тысячей, — их заливает водою, они хранят жизнь, — и корни одной лозы впиваются в тело другой, лозы ищут соков, чтобы кормиться, ищут земли, убивают друг друга, — лоза добралась до земли, она сыта, — но она задыхается, — и она, задыхаясь и убивая соседей, разбухая водянкой, тянется к солнцу, — это совсем не то, что быть в скафандре на дне под водою, и совсем так, как умирают рыбы в воздухе. Пестрые женщины вдоль этих траншей фашинных кладок и синеширокопорточные гологрудые землекопы представительствовали жизнь и русские древности, — то и другое очень кровомясое.

Тогда загудел гудок к обеденному перерыву и завыли сирены, люди пошли вон от строительства, ибо на строительство отправились подрывники рвать граниты жидким кислородом, — тем самым, которого не хватает ивам под водою. Федор Иванович, в толпе рабочих, ехавших на фабрику-кухню обедать, на думпкаре, поехал к себе, в кабинет, — и он ждал жену и друга.

Эдгар Иванович очень внимательно глянул на Федора, отошел к окну, сел на подоконник. Мария Федоровна, в покойствии и ясности, села у стола, против Федора Ивановича. Федор Иванович рассасывал папиросу. Вновь взвыла сирена, и сейчас же за нею громыхнул первый взрыв, тряхнул дом, прозвенел стеклами. Федор Иванович опустил и поднял глаза.

— Что же ты мне скажешь, Эдгар? — спросил Федор Иванович.

— О чем? — переспросил Эдгар Иванович.

— Я хотел бы знать о тех отношениях, о которых ты и Мария молчите, но которые есть между вами, — сказал Садыков.

Глаза Ласло стали, чтобы действовать. Кривою линией он прошел по комнате, обогнув стол карт, и стал у стола. Мария Федоровна встала со стула, ее лица никто не заметил. За окном светило солнце, так сильно, что острые его лучи делали тени в кабинете черными. За домом выл, сипел, захлебывался экскаватор, и кто-то кричал: — «Мита-а-яй! а Митааяяай, я пообееедал!» — В трагические минуты у людей всегда мало жестов.

— Хорошо, буду говорить я, вам трудно, — сказал Федор Иванович, опустив голову и вновь подняв ее. — Сегодня в четыре часа совещание, Эдгар, ты знаешь, но я не об этом. Тамбовский батюшка сказал однажды за преферансом, ремизя партнера: — «человек человеку за преферансом — брат!» — хорошо сказал. Я мог бы добавить еще рассуждения о состоянии фашин под водою, которые натолкнули меня на решение не откладывать разговора, ибо в фашинах мы сознательно топим живые прутья. Но мне сейчас не до аллегорий. Я позвал по следующему поводу. Три года тому назад, восьмого августа, в усадьбе Спасское, вы — ты, Мария, моя жена, и ты, Эдгар, мой друг, — сошлись, скрыв это от меня. Мне было больно, я понимал, что наши отношения станут очень сложными. Я считал это случайностью. Я никак не являюсь властителем душ, у меня были такие же приключения, и я допускаю их возможность за каждым. Но год тому назад ты, Эдгар, вернулся к Марии. Я читаю дневники ровно девять месяцев. Я делал вид, что я ничего не знаю, полагая это увлечением, которое пройдет со временем или о котором вы расскажете мне, если это серьезно. Тогда в Спас-

ском ты, Эдгар, хотел чокнуться со мною пустою рукой, — но ты мне друг, Эдгар. Мы строим новую жизнь и новую общественность, стало быть, и новую мораль. Нам надо напрягать все силы, чтобы работать и освободить себя от всего для работы. Прошли осень, зима и весна, и я говорю с вами. Я не хочу скрывать, что мне очень трудно, потому что я любил Марию, как умел. Время мне указывает, что это не временное увлечение. Полигамию я не считаю коммунистической моралью, но честность в отношениях коммунистов я считаю долгом коммуниста. Однако, я предлагаю сейчас не рассуждать, но действовать. Ты понимаешь, Эдгар, что моему сердцу сейчас трудно с тобою. Мы строим новую общественность и новую мораль. И мне кажется, Эдгар, что у нас нет поводов ссориться. Но ты понимаешь, что я не могу допустить поругания моей жены. Я предлагаю вам жениться, раз вы любите, без ненужной лжи. Я буду на этом настаивать, как на естественном ходе вещей. Ключи от нашего дома у тебя, Мария. Я останусь жить в этом кабинете. Ты, Эдгар, имеешь право получить квартиру на строительстве в Скальном поселке. Я останусь в этом кабинете, пока ты не разберешься в наших вещах, Мария, и пока вы не устроитесь. О вещах говорить нам не стоит. Прощайте. Идите. Всего хорошего. В четыре начнется совещание, Эдгар, но было бы хорошо, если бы ты зашел в три, надо подторговаться.

Мария Федоровна бессильно села на стул, выслушав приговор. Эдгар Иванович ни единым мускулом не проливал кувшина слов Садыкова. Глаза его стали остры, как остры бывали глаза его предков-кочевников, следивших в степи за врагом. Федор Иванович принял этот взгляд.

— Нет, Эдгар, мы не враги, нет. Виноваты мы все. Я припомнил, что я ни разу не сказал Марии о том, что я ее люблю, не успел, не удосужился. Всего не обдумаешь сразу. Мы поговорим потом, Эдгар. Мария, дай твою руку, я поцелую. Идите.

Зазвонил телефон.

— Да, — сказал Федор Иванович, — это я, Садыков. У гусеничного номер пять, хорошо. Да. Нет. Хорошо, буду, у меня новость, сейчас я разошелся с женой. Да. Нет, я просто не нахожу нужным ложных положений. Она выходит замуж. За Эдгара Ивановича. Да. Совещание в три с половиною.

Федор Иванович повесил трубку. Служебный кабинет пребывал деловит и рабоч. Стены смотрели чертежами. Окно смотрело в луга. За окнами светило солнце, ветер нес запахи сырой земли, трав и цветов. В такие дни человек должен быть дружен с землею. Мария Федоровна заплакала, уронив голову на стол, на чертеж.

— Это служебный кабинет, Мария, — сказал Федор Иванович, — перестань. Ступайте. Я зову следующих, меня ожидают на очереди.

Садыков позвонил.

Федор Иванович выбежал из-за стола, когда вышли Мария и Эдгар. Федор Иванович — своими больными ногами — очень быстро ходил по кабинету, геометрическими прямыми. Его плечи обвисли еще тяжелее, чем обыкновенно. Морщины сползли со лба к глазам. Лицо стало таким, какие бывают у людей, прошедших тридцать верст пешком, не спавших сутки и пришедших из слякотей в чужое жилье, в сумерки, к вечернему русскому чаю — не для того, чтобы чайничать, но чтобы сказать деловую, короткую истину, страшную новость и идти дальше, не отдыхая, в ночные версты, по следующим страшным новостям.

Опять зазвонил телефон. В кабинетах строительств люди могут себя чувствовать иной раз так же, как волки за флажками волчьей облавы. Звонила Любовь Пименовна.

— Да. Да? Найдены хорошие древности? Да, да. Я приду сегодня к вам вечером, можно? — Я очень устал. У меня сегодня все время почему-то аллегории. Вы помните, мы спорили, — да, это так всегда, — я строю будущее, новую реку, — вы раскапываете для будущего древности.

Опять зазвонил телефон.

Федор Иванович сказал в трубку:

— Да, иду.

Федор Иванович вышел из кабинета. Земля под ногами теплела в зеленой мураве. Солнце слепило. Облака растворялись в синем небе. На траве лежали рабочие, отдыхая после обеда. На пороге фабрики-кухни девка у девки искала в голове вшей. Садыков шел обедать, в очереди к кассе стал рядом прораб Сарычев, в

соломенной шляпе, похожей на китайский зонт. Садыков и Сарычев поздоровались.

— Я сейчас разошелся с женой, — сказал Федор Иванович, — я всегда желаю людям всего хорошего и предпочитаю жизнь опрощать елико возможно. Эдгар Иванович — мой друг, они любят друг друга. Все это я считаю естественным ходом вещей и долгом коммуниста. Ласло честный коммунист, Мария Федоровна — честная женщина. Я помог друзьям, им было тяжело. Как дела на вашем участке?

Садыков был совершенно покоен. На совершенно неподвижном его лице скулы собрались в рабочие будни.

Волк, обложенный флажками, — в лесу, в рассветный час, в изморозном дожде, — слышит, как улюлюкают и арярякают кричаны, — изморозный дождь намочил флажки, — волку нет дорог, — волк похож на лозы козьих ив в фашинных кладках.

Солнце, так же, как Федору Ивановичу, обрезало глаза Марии Федоровне и Ласло, когда они вышли на солнце, — и также сине было небо, — но земля провалилась для них, ибо ни он, ни она не заметили нескольких километров от строительства до Коломенского кремля, до Маринкиной башни, которые прошли они рядом в безмолвии остановившихся у каждого — свое, ощущений. Если на кремль взглянуть от Маринкиной башни, азиатский Коломенский кремль чудесно вдруг превращается в средневековую европейскую готику — именно Маринкиной башней. Здесь пролегала тропа жизни второй, тем, от чего само солнце входит в сердце. В перемешанности жизни второй и жизни первой заарярякал вдруг Азией азиатский кремль — и улыбнулась насмешливо европейская готическая девичья Маринкина башня. Глаза Марии Федоровны и Эдгара Ивановича вернулись из-за пространства.

— Какая ерунда! — сказал Эдгар Иванович, и Мария не слыхала этих слов.

— Что же мы будем делать, Эдгар? — спросила Мария.

— Что делать? — переспросил Эдгар Иванович, не слыша. — Ты иди сейчас домой.

— Куда — домой?

Ласло не ответил. Готика Маринки безмолвствовала. Эдгар Иванович вспомнил, как вчера он носил на

руках любовницу Марию, всю забрав ее в руки, и как говорил ей нежные слова. Мария Федоровна принадлежала ему сейчас — навсегда. Он взглянул из-за пространств на эту женщину, которая стояла против него — и глаза не понимали, — женщина была чужая, незнакомая. Федор Иванович, рассуждая о законах течения рек, где не может быть отступлений от законов, — о том, как сильна человеческая жизнь, как цепка жизнь, — несколько раз рассказывал Эдгару Ивановичу о поразившей его минуте, когда Мария, в лужах крови на фронте, в доме, где убили ее отца и мать, вдруг заиграла на рояле, одна, для самой себя, и улыбнулась тогда Федору Ивановичу застенчивой, беспомощной улыбкой, когда увидела его. Мария Федоровна пришла к Садыкову из-за ва-банков смерти. Мария Федоровна сейчас стояла против Ласло, беспомощно опустив плечи, — она беспомощно улыбалась, ее улыбка, должно быть, была такою же, как тогда на фронте. Небо над землей покойствовало очень сине, глаза Марии в синем свете светились, очень голубы.

Из кремлевских развалин вышел музеевед Грибоедов, баки его величествовали нечесанностью, цилиндр съехал на затылок. Черную крылатку музеевед закинул за плечи.

— Ласло, привет! — крикнул Грибоедов. — Откуда и куда? — Идемте ко мне, я покажу вам каменную бабу, только что найденную на дне котлована, никак не хуже московского Исторического музея, — какие фуфудьи! — Товарищ Полетика, Любовь Пименовна, ее расчищать будет. — Идем! — И также пришло время выпить.

От музееведа пахло луком и водкой. Охотники в лесах на волчьих облавах перетаскивают флажки с места на место, чтобы все больше и больше суживать волчьи пути. У музееведа валялись кучами стихари, орари, ризы, рясы, штабели икон, — в углу сидел голый деревянный Христос. И около Христа, в углу, подпирая потолок, стояла каменная баба, страшная, обросшая водорослями, — смотрела на комнату слепыми, ухмыляющимися глазами. Азиатский Коломенский кремль из окон музееведа Азией и был. Музеевед предложил водки с зеленым луком. Эдгар Иванович не отказался от водки и выпил.

— Мария, посиди здесь. Федор просил прийти в три, к совещанию. Через два часа я вернусь.

Музеевед налил вторые рюмки и чокнулся с голым Христом, потому что Ласло пил машинально. Мария села в угол каразинского дивана, забралась в угол с ногами. Автобус потащил Ласло из города на строительство.

Когда Эдгар входил в комнату совещания, он слышал фразу Федора Ивановича:

— Старая мораль умерла, когда люди дрались кулаками и на дуэлях за женщин и страдали от ревностей.

Федор Иванович прервал себя, увидев Эдгара Ивановича:

— Ты пришел, Эдгар, — давайте заседать! — сказал он и сел рядом с Ласло.

В средневековье у рыцарей был обычай бросать противнику перчатку вызова, — такие вызовы по-азиатски-русски превращаются иной раз в каменных баб, как Маринкина башня превращается в готику средневековья. Федор Иванович превратился в кричана. Брови его собрались в дело. На совещании инженеры отчитывались в работе. Когда расходились с совещания, прораб Сарычев, пошедший рядом с Ласло, сказал:

— Федор Иванович — настоящий коммунист, честно реагирующий. Когда свадьба?

Эдгар Иванович ответил, не улыбаясь:

— Да, Федор — отличный товарищ.

Весь тот день Федор Иванович пробыл на делах и к сумеркам пошел в город. Он встретил Любовь Пименовну; вместе они, в синий час сумерек, ходили к Маринкиной башне, — в тот час, когда начинают летать летучие мыши и кричать совы, а закат холодеет ночью, чтобы побагроветь востоком. Садыков ни словом не обмолвился о дневном своем разговоре с Ласло, отчимом Любови Пименовны. Готика Маринкиной башни упиралась в сумрак неба, к звездам. Под развалинами стены шумела мельница, темнел омут.

— Это любимое мое место в Коломне, — сказала Любовь.

Садыков был молчалив и покоен, он сидел подле на камнях, оперев голову ладонями. Вокруг башни бесшумно шмыгали летучие мыши, и в башне кричала сова, в синем мраке, в синей тишине.

— О чем вы задумались, Федор Иванович? — спросила Любовь Пименовна.

— Я слушаю тишину. У меня сегодня очень трудный день и я очень устал.

— Да, около этой башни всегда тихо. Я записала преданья об этой башне, о ее судьбе. Вы знаете легенду о том, что душа Марины Мнишек летает вороною над Россией. Эта ворона души размножилась в тех ворон, которых мы знаем, — именно поэтому вороны — всегда живут в местах разрушения, вестники умирания. Мою работу о Маринкиной башне я заканчиваю тем, что башня залита новой рекой. Но — вот, что меня всегда поражает. Я часто хожу в башню днем, там растет бузина, припекает солнце, пахнет лопухами и — ничего нет, пусто, кирпич, осколки цемента, бузина, — ничего нет, и тем не менее около этих камней протекала очень длинная — и история, и поэзия, я не знаю, как выразиться. И здесь всегда тихо.

— Я пойду, — сказал Садыков и поднялся, — я очень устал за этот день. Любовь Пименовна, придя домой сегодня, должно быть, вы узнаете новость, трудную и вам, и Ольге Александровне, главным образом, скажите ей, что я всем сердцем с нею, — а для вас, а вам — позвольте поцеловать вашу руку. Да, это всегда так, была история, была поэзия, — остались камни. И никакая история не запишет о том, что вот сейчас, здесь, у этой башни, здесь, около вас — мне очень хорошо. Берегите вашу чистоту, Любовь Пименовна, — и встретьтесь с вашим отцом, и помирите с ним маму.

— О чем вы говорите, Садыков? — спросила Любовь Пименовна, поднимаясь за Федором Ивановичем.

— Всего хорошего, Любовь Пименовна, — ответил Садыков. — Я буду приходить к вам, — можно? — хорошо? — Садыков тихо и очень осторожно поцеловал пальцы Любови Пименовны.

Башня и кремлевские развалины безмолвствовали.

В лугах кричали перепела, путая свои — «спать пора! спать пора!» — с плачем и скрипом землечерпалок. Федор Иванович шел пешком. Строительство горело армиями электрических огней. Федор Иванович прошел в чертежную, в рабочий свой кабинет. За открытым окном пели песню мужские и женские голоса. Федор Иванович прикрыл ставни, — человеческая

песнь затихла, перепелиный крик исчезнул, и слышнее и зловещее стал слышен плач, скрип, вой захлебывающихся в воде и в земле экскаваторов: крик этих машин, роющих землю, был поистине страшен из тишины кабинета, — крики, кряки, сипы, сапы, храпы, стоны, вой, визги.

Чертежная спряталась во мрак, как в сентябрьские ночи, когда эти ночи проходят русскими нищими, оборванцами, в медленности, мокроте и проваливают тогда землю в черный мрак, в такой, когда не видно своей же руки и самого себя, — в сентябрьских полях тогда ночами, когда ничего не видно, грязь налипает по шею и по полям бродят волки. По лугам в тот вечер проходил май. В чертежной Садыкова застрял сентябрь. Такие ночи существуют к тому, чтобы человек каялся перед землей. В сентябрьскую чертежную шли вои экскаваторов. Федор Иванович сидел у стола, папиросы красным светом освещали скулы, свет папиросной золы на скулах был очень злобен, скулы были жестки, как жестока была эта сентябрьская ночь в мае. В свете папирос возникала трубка телефона, та, которая не оказалась справедливостью, но очень большою жестокостью перчатки средневекового рыцарства. Когда папиросы погасали, тогда вспыхивали спички.

— Земельно-скальный? — говорит главинж Садыков. — Все в порядке? — Хорошо.

— Тепловая станция? — говорит главинж Садыков. — Все в порядке? — Хорошо.

Человек в ночном белье сидел, опустив голову на ладонь, морщины на лбу собрав по-стариковски, — телефонные провода рыскали по строительству, — лицо стало очень добро, всепрощающе. В природе нет движений геометрически прямых, ничто в природе не движется геометрическими прямыми, построив свое движение эллипсами, параболами, гиперболами, — реки вод, как и лет, всегда строят себе кривые ложа, не могут иначе. Федор Иванович воспринимал Марию геометрически прямой. Ему было больно. За окном цвел май.

Федор Иванович встал от стола, подошел к окну, распахнул окно, долго смотрел в заснувшие луга. Человеческой песни уже не было, но перепела кричали, не подозревавшие своей гибели в тот час, когда эти луга будут залиты. Восток багровел холодом. Федор Ивано-

вич покашлял, отхаркался, плюнул за окно, выпил молоко из крынки и бодро лег на жесткий диван, чтобы спать. Через четверть часа он храпел.

Мария Федоровна в этот час лежала, сжавшись комочком, на павловском красного дерева из усадьбы Каразиных диване у музееведа Грибоедова, в той самой комнате, где валялись стихари, орари и где стоял голый Христос. Около Христа горела свечка. И за Христом стояла страшная, зеленая, протащившая свое тысячелетье на дне реки Оки, каменная баба, щурила слепые свои глаза. За стеной бредил музеевед. За домом пели третьи петухи. И Мария Федоровна, сжавшись комочком, плакала, уткнув голову в подушку, — около ее ног лежал огромный ее пес, по имени Волк, сторожил ночь, ее и Христа.

Эдгар Иванович в тот час ходил под кремлем по берегу Москвы-реки. Был он в широкополой черной шляпе, в черном пальто, в рыжих крагах. Кремль и Москва-река провалились в запространства, и так же, как для Садыкова, для Ласло эта ночь оказалась сентябрьской. Надо было возвращаться из запространств, решать и действовать. Перчатки чести нельзя не принять, честь осталась за Садыковым. И человек решил. Эдгар Иванович стряхнул в ночь со шляпы беспорядок мыслей и пошел — мимо Маринкиной башни, куда Лиса и Мишка бегали подкарауливать таинственности, — к дому, к жене, к Ольге Александровне. Эдгар Иванович помнил слова Садыкова о чарке, которую надо выпить до дна, — он умел собирать в порядок свои мысли, — и он понимал, что в себе самом он посеял войну, где подрались его инстинкты. Коммунист, он должен был принять перчатку чести брата Федора, — но он видел в своих запространствах — не Марию, а — дочь Лису. Мария и для него, как для Федора Ивановича, становилась формулою.

В доме Скудриных никто не спал, но в доме не горел огонь. И над домом в майской ночи сиротливый поднимался месяц, выбираясь из-за старых лип и серебря крышу дома.

Эдгар Иванович Ласло собирал материалы для любопытной теоретической статьи, — а именно, он наблю-

дал перерождение психологии рабочих и — психологию перерождения. Основными кадрами рабочих на строительстве — каменщики, плотники, землекопы, грабари, тачечники, грузчики, пильщики — были рабочие-сезонники. Психология рабочего-сезонника, крепко связанного с деревней, посылающего свои рубли в свои деревни, полумужика, — общеизвестна, как общеизвестны и условия работы сезонников, когда этот год они работают на Турксибе, тот на Кавказе, третий в Ленинграде или на Сяси. Сезонники живут и работают артелями, связанные родством, соседством по деревням и председателем — артели, выбранным еще у себя на родине. Каждое место работ сезонников временно, и сезонники, эти полумужичьи пролетарии, всегда чуть-чуть пиратствуют на работах и всегда чуть-чуть своя хата с краю. Около монолита сезонники застряли на несколько лет, и Эдгар Иванович Ласло наблюдал, как быт и психика сезонников перестраивались в быт и психику постоянных рабочих, настоящих пролетариев, — артели рассыпались и перестраивались, сезонники шли в союзы и в общественную работу, учились грамоте и образовывали семьи, не связанные со своими деревнями, инстинкты рвачества стирались. Сезонники не только работали, как волы, ели артельную кашу и спали на голых нарах, но они стали появляться в красных уголках, в библиотеках, на собраниях, в кино, и российские рубахи и паневы сменялись после работ на европейское платье, а на постелях появлялись простыни. Сезонники работали на одном и том же месте уже четвертый год.

Эдгар Иванович понимал всю закономерность этих явлений, как понимал, что всегда на строительствах и спешат больше, чем следует, и суматошатся, и живут без быта иль — точнее — бытом лагерей и походов, временных бараков, временных, взятых у военного ведомства, палаток, так называемых, гессеновских. Шинкари, артельные жены и просто проститутки, кинутые мужья и жены, поножовщина — обстоятельства на строительствах почти неминуемые, как неминуемы и библиотеки, стенгазеты, рабочее изобретательство, профессиональная активность, ночные смены, несчастные случаи. За всем за этим Ласло видел законы созидания психики рабочего класса, новой русской культуры, где тысячи рек, ручьев и ключей рабочей психологии так же зако-

номерны, как течение рек подлинных, и где налицо законы и класса, и рубля, и быта, и пола, и российских суглинковых путей и перепутий.

Рабочие поселки расположились вокруг строительства. Рабочие, не вселенные в постоянные дома, жили во временных бараках и в гессеновских резиновых палатках за слюдяными оконцами и за брезентовыми дверями. На перекрестках бараков шумели передвижки, спортивные площадки, кино под открытым небом, лавки КСПО и Моссельпрома, витрины стенгазет и приказов. — В женских палатках пахло так же, как и в мужских, подогретой в солнце резиной и землей, и еще пахло туалетным мылом и испорченным коровьим маслом, — туалетным мылом женщины мыли после работ лица, коровьим маслом мазали волосы. На порогах женских бараков пелись песни. Мужики изгонялись из женских бараков всегда очень шумно. На старшей по бараку лежало следить за порядком, тушить электричество, прекращать по ночам смешки и хахи.

Вечером в тот день во всех бараках, как на всем строительстве, все знали о разговоре между Садыковым, Ласло и Марией Федоровной. Вечером под небом показывали кинокартину, и рабочие пили в ларьке нарзан и ситро. Вечером в женском бараке номер пять, как и в других, должно быть, бараках, в час, когда потушено было электричество и женщины лежали по нарам, собравшись спать, в тишине засыпающих тел, сказаны были такие слова:

— Теперь он ее убьет, — сказал во мраке бодрый бабий голос.

— Кто кого?

— Едгар — Марью Федоровну, — ответил второй голос, печальный. — Она ему поперек стала.

Охламон Иван Ожогов был прав, утверждая, что в каждом женском бараке, — если на барак семьдесят одна женщина, — семьдесят одно горе в каждом бараке, — или, по крайней мере, так казалось. Женщины, уравненные с мужчинами в гражданских правах, не уравнивались бытом и не уравнены, конечно, биологией, когда дети остаются на руках матерей. В бараках были собраны холостые женщины, от сорока лет — старухи, от тридцати до сорока — вдовы с детьми, от двадцати двух до тридцати — вековушки, до двадцати двух — девушки, у которых будущее оставалось в этих же бараках, все

женские судьбы, созданные отсутствием мужчины, — и естественно, что в женских бараках очень напряжена была судьба пола, горькая судьба и обреченная.

— Думал он все время и думал: не дело коммунисту драться из-за бабы и страдать от этого, —раз любишь — живи полюбовно и откровенно, а не блуди потихоньку, как воры. — Женщина говорила речитативом, не громко, как рассказываются сказки, рассказывала всем уже известное, начинавшее превращаться в предание. — Смотрел он все время, смотрел, — может, опомнются, — и пришел конец его терпению. Позвал он их к себе в кабинет перед ясны очи и сказал тихо да ласково...

— Тоже — ясны очи!.. сволочи они, все кобели! Не отвяжешься от них, кобелей, — сама, как дура, и знаешь, и лезешь, а потом не удумаешь, куда глаза да брюхо от людей убрать!.. Все они кобели одинаковые!

— Теперь он ее убьет, — повторил во мраке бодрый голос.

— Это что же такое!? — крикнул злобный голос. — Нам проходу нет, волосы с мясом рвут, ишь, сколько их сюда на луга навалило.

— Теперь она ему поперек стала.

— Брось, девки, пустое говорить! — возник звонкий и бодрый голос. — А комсомол на что? а женотдел? — мы что, не люди, что ли? — революция для всех была!.. Это верно — пристают. Только знай свой край, да не падай. Чай не зря нас политграмоте учат, на совещания зовут, — это теперь не деревня! — Революция для всех была, а с ответственных товарищей ответственный и спрос!..

— Позвал он их к себе в кабинет перед ясны очи...

— Ясны очи! тоже!

— Это что же кругом делается? Своих баб мужики в деревнях оставили, сами жрут, а мы отвечай. Мне вчера все кости вывернули, черти.

В бараке, в темноте, пахло резиной, потом, душистым мылом и коровьим маслом. Заплакал грудной ребенок, ему ответил второй. Зажгли угловую лампочку, электрический свет осветил портрет Ленина, венок из бумажных цветов вокруг Ленина и голову женщины, склонившуюся над ребенком.

И в тот же час шли разговоры в подземелье у охламонов, у печи кирпичного завода. У столовой доски си-

дел акатьевский дед Назар Сысоев, тот самый, который в девятьсот восемнадцатом году прикупил себе турчаниновской мебели красного дерева, — приходил дед Назар повидать сыновей, младших, работавших на строительстве, да старшего, ставшего охламоном. Подземельная печь погромыхивала заслонками.

Седой дед говорил сыну:

— Так и живете в пещере? —

— Так и живем, — ответил сын.

— Ты слухай, сынок! — Действительно, что ли, река задом наперед потечет?

— Потечет обязательно.

— Ты послухай!.. Деды жили, прадеды жили, и водили мы плоты с Оки на Волгу, тыщу лет водили, а может и больше, сызмальства приучались, каждый пригорок, каждый перекат знаем, что под Коломной, что под Касимовом, — испокон веку рекою жили. И теперь, выходит, кончится наша жизнь, не будет теперь Оки ни под Рязанью, ни под Муромом, ни под Елатьмой. Ты подумай!.. мы-то как же будем, когда, сказывают, не то что Оки не будет, а даже самое Акатьево под воду уберется. Ведь это конец свету! — прямо, как в Китежеграде, — тонуть нам, что ли, вместе с Акатьевом?

— Тонуть, папаша, не придется. Река возникает объективно. Вот почему революция и происходит, что река пойдет наново, а Акатьево, действительно, отойдет — подвинется от новой реки на новые места. Было тыщу лет — и нету, — надо наново. Это и есть объективная революция, папаша. Тонуть революционному народу, папаша, не приходится.

Вскоре за дедом Назаром в подземелье влез его младший сын Степан, ничего не разглядел сразу в подземельном мраке. Василий, старший брат, в подземелье именующийся Пожаровым, сказал иронически:

— Газетчик пришел, сочинитель и изобретатель. Я не спорю, реку гнать назад необходимо, — спору нет. А вот во власть лезешь... Я вот тебя звал рыбу ловить, — на это тебя не уловишь, с собаками не сыщешь. А мы бы к Акатьеву шоше провели и мост бы на рыбии деньги построили под Гололобовом.

Степан сказал миролюбиво:

— Ты, папаша, здесь обрелся? пойдем в культурную чайную отсюда. А с тобой и не спорюсь, Вася, за нас

дела скажут. В Бронницах завод строют? — В Песках и Воскресенске химические заводы строют? На Коломенском машиностроительном новые дизельные цеха в половину Коломны построили? — я с тобою, Вася, не спорюсь. Я не спорюсь, Вася, ты за коммунизм стоишь, только все вы с винтов соскочили, не осилили, сумасшедшие вы. Вы жизни боитесь. А мы ее строим — на труд, а не на рыбы. Мы без страху живем. Ты, Вася, бросай свое сумасшествие.

— Ты зачем пришел-то? в газету опять про нас сочинишь, в «Новую реку» каплешь? — сказал иронически старший.

— Новая река старую жизнь зальет, а люди останутся и жить им придется по-новому. Вылезай ты отсюда, ведь, как кроты живете. А пришел я за папашей, пойдем с нами в культурную чайную.

— Там водки не подают.

— То-то.

— Степ, а Степ, — заговорил старик, — а Акатьево наше тоже зальют? — ведь, с испокон века...

— Опять двадцать пять. Зальют непременно!

В то время, когда говорили старик и сыновья, в подземелье вполз Иван Карпович Ожогов, — товарищ Огнев разлил водки, — спавшие пододвинулись из потемок к столу, расселись на корточках и разлеглись вокруг.

— Не об этом вы говорите, товарищи, — сказал Ожогов. — На строительстве сегодня, в двенадцать часов дня, Федор Иванович Садыков сказал Эдгару Ивановичу Ласло о новой морали, и все мы должны знать об этом и иметь свое мнение... Мы все, конечно, под колесо истории угодили и как бы нам кости не сломало, как Марье Федоровне.

Кирпичные заводы всегда похожи на места заброшенности и разрушения.

Здесь у печки было очень душно, нище и грязно, — наверху на земле цвел май, — и не понималось, почему люди не выползут из-под земли на свежий воздух, на траву, под небесный простор, — должно быть, май и звездное небо оказывались тем же, что солдатские письма из деревни в казармах. Сумерки же того майского дня прошли просторны и чудесны.

В сумерки охламон Иван приходил к себе в баню и долго тогда стоял на дворе, опершись локтями на калитку в садик, расставив ноги, опустив голову на руки, — сумасшедшие глаза его пребывали печальны и счастливы одновременно. В комнатах Ласло не зажигали света, там безмолвствовало, — вернулась в дом Любовь Пименовна.

Перчатки вызовов средневекового рыцарства превращаются иной раз в волчьи облавы, и моральные события коломенских весей так же законны, так же значимы, как вредительские взрывы на заводах, на шахтах, на реках. Просторные сумерки погасали очень тихо, и сумерки стали ночью. Волк на волчьих облавах, щетиня шерсть и скаля зубы, должен или прорваться через флажки, чтобы сохранить жизнь, или пасть под пулей, чтобы потерять жизнь: не дай бог, если волка поймают живьем, — тогда его посадят в клетку, чтобы крошились о решетку клетки его клыки и чтобы лысела шкура.

Когда ночь заслонила сумерки, в дом прошел Эдгар Иванович. Черная его широкополая шляпа опустилась на глаза.

В квартире Ласло никто не спал, но в комнатах не горел огонь.

Все двери в доме были открыты. В доме никто не спал, но в доме было безмолвно, — так показалось Ласло, не случайно безмолвно. Эдгар Иванович прошел в кабинет. Стены кабинета заросли книгами. Эдгар Иванович зажег свечу, свет свечи уполз под потолок, в книги. — И прежде, чем вошла из-за книг в кабинет Ольга Александровна, Эдгар Иванович видел ее, жену, мать, друга, женщину, которая отдала ему все свое последнее, которая возникла в его жизни вместе с молодостью, которая прошла вместе с ним его пути и перепутья революции, через российские моря по колено и ва-банк, — эта женщина, прошедшая с ним последнюю свою жизненную дорогу — от первых морщинок у глаз до пятилетних ласк Лисы, — он увидел всю эту дорогу, которая осталась за дверями, когда в комнату вошла Ольга Александровна. Она приходила в этот час к нему — со свечою в руке, в ночном халатике, — сейчас она вошла в черном дорожном платье, с белым, несмятым платком у губ.

— Я слушаю тебя, Эдгар, — сказала Ольга Александровна, став у порога и не закрыв за собою дверь, где за плечами матери во мраке соседней комнаты осталась Любовь Пименовна, от матери узнавшая ту новость, о которой ни слова не сказал ей Садыков.

Там, в запространствах, в юности, когда только что сошел снег детства, росли голубые цветочки, которые учебниками ботаники называются Galanthus, — их собирал в детстве Эдгар Иванович. Эти же цветы росли в поле, сейчас же за окопом, — рискуя жизнью тогда, Эдгар Иванович лазил за окоп, чтобы послать такой цветочек Ольге Александровне. Эти же самые цветы стояли у него на столе, подаренные ему вчера Лисой, нарванные в саду, первые цветы лета, — Лиса подарила их отцу в тот час, когда отец рассказывал сказку о медведе, рубившем свой собственный сук, и когда Лиса сказала, что мамины сказки лучше, потому что мамины сказки с картинками, а у отца ничего не видно. Цветы, называемые в учебниках ботаники Galanthus'ами, стояли в глиняной баночке около свечи.

— Как видно, ты все уже знаешь, Ольга? — спросил Эдгар Иванович.

— Я знаю это от Ожогова, — ответила Ольга Александровна, — но я хочу знать от тебя.

Ольга Александровна сморщила в боли губы — совсем не так, как некогда на фронте русской революции, когда своими пальцами она вытащила из мяса своей раны осколок гранаты. Ее руки потянулись к губам, несмятый платок смял ее губы.

— Мама! — крикнула Любовь Пименовна и стала сзади матери у порога.

Там, в запространствах, Лиса нашлась, как защитить мать. — «Хорошо, — сказала Лиса, — но мамины сказки с картинками, а у тебя я ничего не вижу, как медведь рубит сук!» — эти Galanthus'ы цвели — и будут цвести, пока есть земля, еще тысячелетья, как тысячелетья будут жить люди, ибо жива Алиса, — но он, Эдгар, она, Ольга, — они уйдут с земли или к червям кладбищ, или в последние судороги крематория, старясь по пути ко крематорию, когда у него окончательно поседеют волосы, когда у него выпадут зубы, одрябнут кожа и мысли, — а в это время будут цвести и цвести Galanthus'ы!

— Слушай, Алиса, — сказал Эдгар Иванович и замолчал.

— Да, мы слушаем, — сказала Любовь Пименовна. — Вы говорите не с Лисой, а с Ольгой Александровной.

— Слушай, Ольга, — поправился, повторил Эдгар Иванович и заговорил, возвращаясь из-за пространств. — Ты все уже знаешь. Я должен сказать, что все кончено. Федор поступил жестоко и честно, как требует коммунистическая мораль. Суди как хочешь. Я не могу не принять его вызова. Я не могу бросить женщину, которая честно отдана мне и которую я не совсем честно в свое время взял. Поверь, что тяжелее всего — мне. Суди как хочешь.

— Хорошо, — тихо сказала Ольга Александровна и села на стул к столу. — Завтра я и мои дочери, мы уйдем от тебя.

— Идем, мама, — громко сказала Любовь Пименовна и стала сзади матери.

Под глазами Ольги Александровны легла частая сетка морщин, и была она светла в своем горе, женщина, карие глаза которой яснели голубым русским небом. — Годы идут свинцовой поступью. Челюсти и плечи у людей могут гнить. Ольга, жена, мать, друг, женщина, возникшая вместе с молодостью, отдавшая все их общим делам, — майские ночи могут превращаться в сентябрь, в сентябрьских нищих оборванцев. Эдгар Иванович знал, что Ольга Александровна не может быть любовницей. Мария мирилась быть второю женщиной, — таких жен не бывает, если они жены. Ольга Александровна собрала все свои силы, чтобы подняться со стула.

— Хорошо, — повторила Ольга Александровна, — завтра я и мои дочери, мы уйдем от тебя, — чтобы спасти твою честь, если эта честь требует бросить дочь и старую жену.

Ольга Александровна положила руку на подсвечник, чтобы взять свечу, как делала всегда, уходя от мужа. Свеча гофманствовала, как некогда, когда Эдгар Иванович не запомнил, на рассвете или с вечера лежала за приземистым оконцем мезонина дряблая, желтая, сукровичная заря. Эта заря вспомнилась сейчас через свечу. Свеча осталась в руке Ольги Александровны, и неизвестно, сколько времени прошло сейчас в безмол-

вии, ибо Эдгар Иванович видел, как коснулась Ольга Александровна подсвечника и видел руку, всю закапанную стеарином. Ольга Александровна нашла, наконец, силы, собрала силы, чтобы поднять голову и свечу.

— Да, я должен, Ольга. Я коммунист прежде всего. Я должен уничтожить свои чувства!

— Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович! — крикнула Любовь Пименовна. — Вы должны подделать ваши чувства!

— Прощай, Эдгар, — сказала Ольга Александровна.

— Прощай, Ольга, — сказал Эдгар Иванович.

— Мы прожили четырнадцать лет вместе, Эдгар, — что такое долг?

— Я не могу иначе, Ольга. Да, долг.

— Хорошо. Ты бросаешь меня и дочь. Прости, Алису. Тебе не жалко? — Ты справишься с собою? — Долг революции?

— Мама! — крикнула Любовь Пименовна. — Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович, так же, как и вы! — Любовь Пименовна обыкновенно говорила на ты с Эдгаром Ивановичем. — Мама, ступай отсюда, я поговорю с Эдгаром Ивановичем. Я тоже коммунистка, Эдгар Иванович. Все это началось не сегодня, мама. Я не понимаю, о каком долге вы говорите, когда Мария была украдена несколько лет тому назад. Ваша честь, Эдгар Иванович, — честь труса и вора, который канонизирует воровство.

И тогда крикнула мать:

— Люба, как смеешь ты так говорить с отцом?

— Он не отец мне и не товарищ! — ответила Любовь Пименовна, — но мы были под одной крышей.

— Люба, ты не должна так говорить, — уйди отсюда, Люба. Всего хорошего тебе, Эдгар. Прости меня.

Эдгар Иванович стоял, опустив плечи.

— Нет, зачем же, пусть Люба останется. Она говорит правду, которую я знаю лучше ее. Но я и революцию знаю больше ее.

Ольга Александровна нашла силы поднять свечу. Она вышла из кабинета — со свечою в руке, которую зажег Эдгар Иванович, — оставив кабинет во мраке. Дочь обнимала плечи матери, мать шла прямо, впереди себя неся свет. Мать села на табурет в комнате Любови Пименовны, посреди комнаты, и дочь опустилась на колени

перед матерью, на колени матери положив руки и голову. За открытым окном в саду пел соловей, последние свои песни, и за деревьями поднималась луна, непокойный лжесвидетель чувств. Мать сидела очень прямо, с рукою у губ, со свечою в правой руке. Дом зарос тишиной.

Эдгар Иванович долго стоял у окна, у стола, кабинет чернел тишиною и мраком. Эдгар Иванович чувствовал, как скулы его крепко срослись с глазами и глаза были к тому, чтобы действовать, — он знал, что он принадлежит к той породе людей, которые умели делать, как астрономы умели караулить звезды, и умели — умирать за делаемое.

Эдгар Иванович крикнул в темноту комнат:

— Любовь Пименовна, вы не правы, потому что я должен подчинить свою биологию, да, свои инстинкты! — слышите, Любовь Пименовна, я не оправдываю моего вчерашнего дня, но сегодня я прав! именно — прежде всего я коммунист!

Эдгару Ивановичу никто не ответил. Дом заглохнул тишиной. Женщины слышали в немотствующей этой тишине, как на ощупь, во мраке переодевался Эдгар Иванович, рылся в ящиках стола, присаживался на диван, — и слышали, как прошумели его шаги через столовую и через террасу в сад.

Хлипнула, пискнула, хлопнула калитка. В саду захлебывался соловей своим собственным пением. Тогда, в прямопроспектном Петербурге, в гулкой квартире профессора Полетики, в тот день, когда мать собралась уходить в счастье к Ласло, так же клала Любовь Пименовна, маленькая девочка Люба, голову свою на колени матери. Тогда было счастье. Сейчас пел соловей, которого не требовалось в петербургских прямолинейностях, — но прямолинейности Петербурга никак не стали сегодняшней геометрией Эдгара Ивановича.

Мария Федоровна лежала беспомощным котенком в углу павловского музейного дивана, когда пришел Эдгар Иванович. Деревянный Христос скрещивал руки, мастер семнадцатого века спутал елейность лица Христова с идиотизмом. Волк поднял уши и опустил в недружелюбии глаза, когда вошел Эдгар Иванович. Мария

протянула руки навстречу Эдгару. Эдгар Иванович пребывал бодр, деловит и покоен.

— Ну, вот эта ночь и есть наша свадьба, — сказал Эдгар Иванович, — даже Христос присутствует. Надо разбудить музееведа, пусть приготовит чаю. Очень странная свадьба, большевистская любовь! — Эдгар Иванович весело улыбнулся.

— Ты хотел прийти в пять, — я ждала тебя весь вечер и всю ночь. Музеевед спит, только один Волк около меня. Здесь страшно, в этом странном и чужом доме. У этого Христа и у этой бабы глаза сделаны так, что они все время следят за тобою, куда бы ты ни отвернулся.

— Прости, милая, что я не пришел в пять. Я был занят на работе. Завтра ты переедешь ко мне жить, мы получим квартиру на Земельно-скальном поселке. Завтра мы будем веселиться, завтра приезжает в Коломенский театр московская труппа, Малый театр, я купил билеты. Надо разбудить Грибоедова, — как его настоящее имя?

— Не надо его будить, не уходи от меня, мне страшно одной с людьми. Нам надо так много сказать друг другу.

— Нет, почему же? он даст чаю, — как его зовут? — через час мне надо идти на работу, скоро рассветет. А поговорить — у нас очень много времени теперь для всяких разговоров.

Вторая жизнь стала первою. Христос случайного дома безмолвствовал, Христос сидел у ног каменной бабы, — у ног Марии лежал Волк. Земля становилась серой в рассветном часе, и город готовился завыть колоколами, стаскиваемыми с колоколен. Эдгар Иванович пребывал очень бодр. Музеевед предложил водки.

Реки, которые движутся своими тяжестями, именно в этих тяжестях имеют колоссальную силу. Инженеры знают десятки гибелей, когда стихии воды уничтожают города и тысячи людей, ломая все на своих дорогах. Инженеры-гидравлики записывают эти гибели, их даты, и каждый инженер-гидравлик, учась на этих гибелях, расскажет, как рвутся плотины, сделанные из гранита и бетона, те, которые сдерживали десятки миллионов кубов воды, рвутся в клочья и, разорванные, уничтожаются

в какой-нибудь десяток минут. Плотины могут быть сломаны и в четыре часа дня, и в полночь, и в полдень, освобождая водные разрушительные стихии. Вал волны тогда поднимается до пятнадцати метров вверх, и этот вал мчится со скоростью ста километров в час, свинцовый вал воды в три этажа хорошего дома, расплескиваясь на десятки километров в стороны, мчит быстрее курьерского поезда, уничтожая все на своем пути — деревни, города, людей, человеческий труд, — срывая, разрывая, ломая, унося себе вслед. Вслед за этим валом, который идет тупым рокотом свинцовых сил, созданных тяжестью, идут пожары опрокинутых цистерн, коротких замыканий, загоревшихся лесных складов, — люди тогда безумеют в гибели. Но — если так сильна вода, — так же, и еще больше, должны быть сильны монолиты плотин, чтобы сдерживать водные силы. Эти ж монолиты строятся инженерами, инженеры должны уметь подчинить плотинам силы вод, — инженеры должны уметь, рассчитав математические формулы, эти формулы сил, рожденных тяжестью, — превратить в гранит, бетон и железо, — инженеры должны защищать граниты от воли волн — строгим расчетом гранита и должны помнить, что только законы физики, соподчинение этих законов, есть их, инженеров, работа.

Эдгар Иванович Ласло командовал людьми около этих гранитов. Каждый инженер-гидравлик чуть-чуть боится воды, ибо он знает ее силу, и каждый гидравлик видел страшные сны, когда во сне он стоял перед плотиной в спутанном времени, руки инженера распростирались бессильно перед ломающимся, гнущимся гранитом, из-за которого рвалась — вода.

Каждый день Эдгар Иванович был на работе, человек революции, рожденный ею. Кроме вод Москвы и Оки на монолит стекали еще воды истории, ибо монолит подпирал не только воды, но и будущее. Эдгар Иванович знал, что плотина не может быть смыта, ибо тогда срывался смысл его жизни. Время свое Эдгар Иванович нес, как монолит, где нельзя не рассчитать ни капли воды. Дни на строительстве заканчивались ночным мраком. Так прошли полтора месяца до смерти Марии. Свадьба, как долг, была сыграна под монолитом. Эдгар Иванович взял в новый дом на строительстве из дома Ольги Александровны — чемоданы и книги. Он сам их увез, сложив на ломовиков.

Отбывал закатный час, когда возчики выезжали с ящиками книг со двора старух Скудриных. Двор зарастал зеленой муравой. Эдгар Иванович вышел на улицу сзади возов, последний раз распростившись с домом и с зеленой муравой двора. У калитки на улице стоял Федор Иванович. Федор Иванович поклонился Ласло и протянул руку.

— Уезжаешь? — спросил Федор Иванович. — На Скальный?

— Да, уезжаю, на Земельно-скальный, — ответил Ласло.

Инженеры помолчали.

— А я хочу зайти к Ольге Александровне, — сказал Садыков. — Очень одиноко мне одному, да и ей не лучше. Любовь Пименовна дома?

— Они обе дома. Я их не видел, они в саду. Зачем ты бьешь человечностью?

Закат медленно желтел. Возчики проехали уже много шагов вперед. Ворота остались открытыми. Садыков ничего не ответил. Лица инженеров в желтом закате желтели. Сказал Садыков:

— Ну, что же, до свидания, Эдгар. Догоняй возы. Я притворю ворота.

— Это опять — человечность?

— Не знаю, что ты хочешь сказать.

— Прощай.

Эдгар Иванович пошел за возами не оглядываясь.

Ворота проскрипели у него за спиной. Федор Иванович скрылся за воротами, пошел в сад, шел тяжелый, опустив тяжелые плечи. Навстречу Федору Ивановичу вышла из-за садовой калитки Любовь Пименовна, в весеннем белом платье. Сад уже темнел майскими просторными и зелеными сумерками.

— Идемте в сад, — сказала Любовь Пименовна, — пусть мама побудет одна.

— А, быть может, мы опять пойдем к башне? — спросил Садыков.

Лицо Любови Пименовны было покойно, чистое лицо девушки. Она не ответила. Она прошла в сад, села на скамейку. Федор Иванович сел рядом, снял фуражку. В деревьях, засыпая на ночь, прокричала пустельга, запела малиновка.

— Почему вы ничего не сказали мне, вчера, у башни? Вы любили Марию?

— Да, любил. И не успел ни разу сказать ей об этом, — ответил Федор Иванович.

— Мама любила, очень любила Эдгара Ивановича. — Любовь Пименовна помолчала. — Я думаю, что я неплохая коммунистка, — и тем не менее, когда я была в комсомоле, надо мною всегда шутили товарищи. Любовь для меня — и подвиг, и святость, и строгость. В моей жизни будет только один муж.

Федор Иванович взял руку Любови Пименовны, посмотрел на нее со вниманием — хотел, должно быть, поцеловать руку — и опустил ее.

— Вы знаете, что такое фашинные кладки? — спросил он. — Берут прутья молодого ивняка, тесно их сплетают наподобие женских кос или венков и прикрепляют к речному дну. Расчет в том, что эти прутья разбухнут и прорастут, закрепив этим нужные участки. Я все время, вот уже второй день, занимаюсь глупостью, — хочу представить себя на месте одного из этих прутьев... Вы не хотите пойти со мною к башне?

— К башне? — Любовь Пименовна задумалась и сказала тихо: — Нет, не стоит. Я не могу.

На террасу вышла Ольга Александровна, с платком в руке, спустилась к Любови Пименовне и к Федору Ивановичу, поздоровалась с Федором Ивановичем, — сказала тверже и покойнее, чем следует:

— Идемте на террасу пить чай. Я поставила самовар.

Ольга Александровна улыбнулась Садыкову — очень беспомощно. Этот вечер стал ее прощанием с молодостью, с бабьим летом, за которым, как полагается, сразу наступает зима. Ольга Александровна одета была в черное платье. Самовар на террасу принесла Любовь Пименовна.

В саду запел, запоздав своими песнями, соловей.

Реки, которые движутся своими тяжестями, именно в этих тяжестях имеют колоссальную свою силу.

В доме Ласло на строительстве, на рабочем поселке, за окнами вдалеке храпели экскаваторы и около бараков по вечерам пели песни рабочие, а в комнатах безмолвствовали сосновые стены, в запахах скипидара, в пустоте которого сваленными лежали чемоданы. У Марии Федоровны здесь не было рояля. Книги Эдга-

ра Ивановича расставились по полкам в кабинете в том же порядке, как стояли они в доме Скудриных, — и под книгами поместился диван, так же, как у Скудриных. Дни Эдгара Ивановича заканчивались поздними часами ночи. Алиса не возникала из-за книг. На пороге встречала Мария, эта женщина, покорность которой не стала ее силой. В доме пахло сосною, и комнаты, сложенные в чемоданы, хранили пустоту. В этот дом никто не приходил. Мария Федоровна клала руки на плечи Эдгара Ивановича, — он целовал ее в лоб и шел мыться. Комсомолка-прислужница тащила самовар на пустой сосновый стол в столовой.

И тогда начиналось страшное. В такие часы муж Эдгар и жена Ольга говорили о том, что стократ величавее Гете, — в те часы муж Эдгар имел свое сердце у себя на ладони, рядом с сердцем жены Ольги. Каждый мужчина знает счастье обладания женщиной, — и каждый человек знает еще большее счастье владения человеческою душою, — жена, ее голова, волосы, голос, слова, — ладонь женщины может закрыть весь мир не только на основании законов физики для зрения, — но так может закрыть мир, что ладонь становится больше мира. И сильнее всего этими часами знал Эдгар Иванович, что Мария ему: не нужна, — не нужна. Эдгар Иванович хотел и не мог согнать с себя мысли о строительстве. Мария была рядом и отдавала все. Эдгар Иванович искал в себе те слова нежности, которых было так много у него раньше для Марии, — и они не находились. Мария всю себя отдавала Эдгару Ивановичу, и Эдгар Иванович не видел ее, она не приходила к нему вся на ладони, как прежде. Он хотел говорить нежные, только для нее возникающие слова, и он говорил:

— Ты мне мешаешь, смотреть, милая, и у тебя грязные пальцы. Твои пальцы в чернилах. Что ты писала?

— Я писала... так, ничего, — дневник. Хочешь, я тебе его покажу?

— Нет, зачем же? Я не хочу посягать на твои секреты.

Мария молчала, убирая руки, и говорила тихо:

— Нет, Эдгар, ты не хочешь прочитать, потому что тебе все равно.

— Нет, почему же?

Эдгар Иванович напрягал свою волю, целовал глаза Марии, поцелуи ничего не рождали. Прислужница-комсомолка уносила нетронутый самовар: Эдгар Иванович видел ее румянец, этой девки, не менее красный, чем платок на голове, — белая ее блузка была замазана на груди, подчеркивая груди, — босоногая, она пребывала в добродушии. Эдгар Иванович спрашивал ее, усмехаясь:

— Ну, как делишки, Даша?

Даша отвечала всегда с некою строгостью:

— Делишки ничего себе.

Полночь приходила неподвижной. В этом доме не было свечей, смененных электричеством. Эдгар Иванович уходил в кабинет. Мария шла за ним. Эдгар Иванович выключал электричество. Корки книг уходили к потолку, зарастали стены, кидали камерами-обскурами человеческую мысль как угодно и куда угодно. Мария садилась рядом на диван.

— Мария, ты читала Гете?

— Очень мало.

— А Шиллера, Гейне?

— Очень мало.

— Я тебя совсем не чувствую, Мария, и совсем не вижу. Почему ты потушила свет?

— В темноте ты ближе, Эдгар. Но свет ты потушил сам, ты не помнишь. Ты меня не хочешь видеть.

Человек был здесь, человек отдавал все — и у человека нечего было взять. Начиналось самое страшное: человек, который был в руках, который отдан в руки, был — не только не нужен, но был — тяжестью. Жена Ольга, ее стареющая голова, ее седеющие волосы, ее теплота, ее ласка могли заставить человеческое существо взять на ладонь свое собственное сердце, когда космичествуют покой и то чудесное, что дало жизнь рыжей Лисе. Колено женщины может быть величественней Монблана. Колени Марии были обнажены, — это были колени слабой, городской женщины, почти — девушки, только, — и тогда говорила Мария, отдавая все, что она могла отдать:

— Ты меня не любишь, Эдгар?

— Нет, я тебя очень люблю, милая. Я для тебя сломал жизнь.

— Ты меня не любишь, Эдгар. Я все знаю, Эдгар. Ты мне не веришь. Я тебе чужая. Я нужна была тебе любовницей, но я не гожусь тебе в жены. Я не читала ни

Маркса, ни Гете. Я не советчица тебе. Я тебе не нужна. И я тебе — хочу верить, и не могу верить, и не верю, — так же, как и ты мне, — я была твоею любовницей, стало быть, у тебя могут быть еще любовницы, а у меня любовники, — мы оба тому свидетели. Ты один у меня, я люблю тебя, но ты и этому не веришь. Я для тебя — твой крест и подвиг, — ни для меня, ни для тебя, а для других. Ты молчишь, Эдгар.

— Ты говоришь наивные вещи, Мария. Пора спать, милая. Все это пустяки.

С полок щерились золотыми клыками книги, в деснах шкафов. Проходили минуты молчания. И тогда Эдгар Иванович начинал говорить, энергически, шаманствуя, — глаза его начинали блестеть так же, должно быть, как у его степных предков, когда предок клялся преданности христианскому богу перед тем, как католики вели его на костер, — Эдгар Иванович хватал плечи Марии, мял ее в нежности так, что у Марии появлялись слезы боли, — и он кричал в чемоданную тишину комнат:

— Я люблю, я люблю тебя, Мария, я очень люблю тебя! — прижмись ко мне, положи голову ко мне на колени. Я буду целовать тебя! Я буду читать тебе вслух нашу историю любви, — и я буду читать тебе вслух, чтобы ты знала, кто такой Гете! — Мы самые близкие, мы кандалами связаны друг с другом, навсегда, никто не может разъединить нас. Мы должны любить друг друга, — слышишь!? — должны! Мы любим друг друга! мы скованы друг с другом!

И Мария ежилась в страхе. Эдгар Иванович тянул ее к себе, прижимая к себе всей своей силой. Полки немотствовали книгами, теми, великое множество которых прочитал Эдгар Иванович, человек памяти, ума и эрудиции, организованнейшей воли и воспитания. Эдгар Иванович говорил о революции, революция должна победить, — Эдгар Иванович умел так сжимать свою волю, что глаза его начинали смотреть в пространства тем взором, который не видит пространств.

Эдгар Иванович один засыпал на своем диване.

По утрам он просыпался в час, когда Мария еще спала. Солнце в те, уже июньские, дни поднималось бодростью. Рассветный чай подавала девка Дашка, хо-

дила по рассвету полуодетой в рубашке из мешка. Солнце выволакивало землю из рос и туманов. Эдгар Иванович шутил, усмехаясь.

— Ну, как делишки, Даша?

— Делишки, как надо, — строго отвечала Даша.

Эта коренастая девка приехала на строительство из черноземной вместе с землекопами и была ярким примером перерождения сезонника в пролетария, иллюстрация для теоретической работы Эдгара Ивановича. По природе своей пребывала Дашка российским черноземом. Эдгар Иванович задерживался в кабинете над бумагами. На кухне в эти росные рассветы, над кастрюлями, Дарья пела бестолковые частушки вроде этакой:

Пойду выйду из ворот,
Черемухой пахнет.
Скоро миленький придет,
Из нагана трахнет!

В закаты, в час, когда садилось солнце, вместе с девками и бабами со строительства, со своего поселка, она ходила на Оку купаться, чтобы свирепо визжать в воде, а после купанья идти в свою ячейку, в клуб, в кино, заседать и учиться, — или в женские бараки, где по сумеркам пелись песни. Эдгар Иванович ловил себя на том, что его глаза открыты для этой босоногой, курносой, веселой девки, очень спутавшейся с черноземом, с комсомольской ячейкой, комсомольскими делами и ночными июньскими песнями. И Эдгар Иванович ревниво прислушивался ночами к хрусту замка, когда возвращалась Дарья. Эдгар Иванович спрашивал Дарью о комсомольских ее делах, — она отвечала гордо.

Смерть!

Актриса Вера Григорьевна умерла потому, что наука не научилась еще бороться с болезнями, умерла силою законов биологии, — и еще умерла потому, что ее убил — Евгений Евгеньевич Полторак. Был человек, была девочка Вера, была гимназистка, была ученица московской филармонии Вера Салищева, была артистка провинциальных театров Вера Полевая, — были эк-

замены по закону божьему и по ритмике. Когда ж человек умирает, его везут на кладбище.

И была девочка Маня, была гимназистка Мария Позднышева, она играла музыкантов-классиков, ее отец и ее мать погибли в их доме, где она родилась, первый ее муж, взявший ее в чужую жизнь, ни разу за работой и за делами не успел сказать ей ласкового слова, все кругом возникало чуждым для нее, и величайшая женская сила — быть бессильной — никому не оказалась нужной. Мария — маленькая женщина — имела маленькую жизнь, детства и гимназии на заводе, маминых ласк. Та жизнь, в которую уходил Эдгар Иванович, где убили ее отца и маму, где убивали единственную — к Эдгару Ивановичу — любовь, — эта жизнь была страшна ей. Каждый человек имеет право на жизнь: Мария Федоровна, эта маленькая женщина со слабыми руками, не знала этого своего права.

Днями дом пустовал, когда уходил Эдгар Иванович и приходило солнце. За домом творилось строительство. Мария оставалась с собакой, с понурым, лохматым псом, помесью волка и овчарки. Собаку звали Волком, он был дружен с Марией от щенячьих своих дней. Волк, знавший только Марию, рычал на всех, даже на Эдгара Ивановича. За сутки до смерти, вешая занавеску на окно, прихорашивая свою комнату, Мария Федоровна сорвалась с подоконника, упала, поранила руку. Волк не был приучен лизать, — Волк увидел кровь на руке Марии Федоровны, — и Волк усердно стал зализывать рану Марии, поднял в соболезновании хвост, был серьезен, глаза его смотрели ласково. Волк лечил Марию Федоровну своим волчьим лекарством. Мария обняла тогда Волка, села с ним, около него на полу, — и она зарыдала страшными, отчаянными слезами. Эти слезы никак не стали слезами боли от раны. Дом пустовал, в этом служебном доме никого не было, кроме Марии и Волка. Волк зализывал, залечивал рану до тех пор, пока не перестала течь кровь. В окна светило громадное солнце. Волк и Мария сидели на полу, на ковре. Мария заснула тогда в слезах около Волка, — и она видела странный сон, она видела зиму: она видела во сне Федора и Эдгара. Федор Иванович стоял в стороне, в снегу, неподвижный, — Эдгар Иванович уходил по дороге — от Марии. Он был по пояс в снегу, он уходил,

все проваливалось в метели. Мария побежала за Эдгаром Ивановичем, она задыхалась в снегу и ветре. Он уходил. Она догнала его, — она схватила его за руку. Он уходил, — его рука осталась в ее руке. Рука оказалась комом снега, она была из снега, холодная, как снег. Мария обняла Эдгара Ивановича, — ее рука провалилась в снег, на нее глянуло снеговое лицо Эдгара Ивановича. Она схватила его голову, — голова осталась в ее руках, голова оказалась мертвым холодным комом снега. Снежный Эдгар уходил от Марии. Мария бросилась к Федору, Федор стоял неподвижно. Федор также был снеговым, вместе глаз ему воткнули уголь. Мария Федоровна проснулась. В окна шло косое солнце. На кухне пела Даша:

Я в своей-то красоте
Оченно уверена.
Если Троцкий не возьмет,
Выйду за Чичерина!.. — э!..

Мария Федоровна поднялась с пола, глаза ее стали сухи. Кровь на ее руке засохла. Движения Марии Федоровны были сухи, как глаза, подсохшие, как кровь.

Вечером пришел Эдгар Иванович, все придавив собою, этот человек из жизни, которой она не знала. Глаза Эдгара Ивановича — для нее — остались в запространствах. Она видела самое страшное, что может знать любящий, — что она не нужна Эдгару Ивановичу, не нужна всячески, ибо этот человек — она видела — делал громадные усилия, чтобы быть ласковым, чтобы быть страстным, — и вместо подлинной крови, которую зализывал Волк, Эдгар Иванович неистовствовал снегом. Ей страшно было быть около него, его кровь холодила, — и она боялась уйти от него, потому что у нее, кроме него, ничего не было. В полночь Эдгар Иванович отослал ее от себя, он судорожно сел за отчеты и книги. В темной пещере ее комнаты встретил Волк, понурый пес приласкался грудью к ее коленам. На окне, за которым светились звезды, висела недовешенная занавеска. Эдгар Иванович не заметил раны на ее руке. Пес лег около ее башмаков, караулил тишину незакрытым правым глазом. Мария Федоровна стояла посреди комнаты. Из-за спины, из-за книг приходила тяжелая, сжатая воля Эдгара Ивановича, которая не видит пространств. Мария Фе-

доровна подошла к окну, Волк пошел ей вслед. Мария Федоровна дернула занавеску, — гвоздь был вбит крепко, занавеска порвалась, скрипнула рвущейся материей. Шорохи ползли по комнатам в тишине дома. Эдгар Иванович бросил книгу.

— Что такое там рвется? — спросил он.

Волк зарычал.

— Ничего, — ответила Мария и, помолчав, добавила тихо и ласково: — Это моя судьба. Убей меня, Эдгар. Убей меня, милый. Мне казалось, что я имею право на жизнь, потому что я никому никогда не сделала зла, — но ты уже убил меня. Прикажи, и я все сделаю, что ты хочешь.

Эдгар Иванович не вышел к ней из кабинета.

— Не говори глупостей, Мария, — сказал он строго и добавил ласково, — ложись спать, милая, будь покойна, я еще поработаю.

Волк зарычал в ответ Эдгару Ивановичу. Мария Федоровна ничего не сказала. За окнами скрипели экскаваторы, и работницы пели песни. Мария Федоровна, пришедшая некогда к Садыкову из-за смерти, в местах, где люди играли ва-банк жизнями, — она уходила теперь в смерть Эдгара Ласло.

Была девочка Мария, мама заплетала ей косички, — была гимназистка Маруся Позднышева, учительница музыки пророчила ей будущее! — Был полдень, гудок отгудел обеденным перерывом и выли сирены, указывающие, что на луга пошли подрывники. В голубом солнце стихали на некоторое время шумы строительства, пока уходили рабочие, — и загремели затем взрывы. Эдгар Иванович с утра работал в конторе, те часы, когда солнце убирало росу, пересматривал списки рабочих вместе с председателем рабочкома левого берега. За пять минут до смены протелефонировал Садыков, звал к себе, сейчас же, и Ласло, и председателя рабочкома. Гудел гудок, выли сирены, выворачивая свои нутра в пророчестве взрывов, которые будут выворачивать недра. В кабинете Садыкова верхние половины окон занавешивались белою бумагою от солнца, через открытые окна тихий ветер шелестел кальками и нес прохладу. С тех пор, как ушла от Федора Ивановича Мария, он жил в этом рабочем своем кабинете, — в

углу стояла походная кровать, на которой Садыков коротал свои отдыхи, очень недлинные по русскому июлю и за работой. Ласло пришел вместе с председателем рабочкома. Ворот рубахи Садыкова был расстегнут, он стоял перед чертежным столом, деловой и бодрый, как всегда. В стороне от Садыкова, у окна стоял незнакомый человек в форме войск ГПУ. Садыков пошел навстречу пришедшим, выглянул за дверь и прикрыл ее плотно. Синеблузый глянул в окно.

— Товарищи, — заговорил Садыков, — наш сумасшедший охламон, Иван Ожогов, говорил нам несколько раз, что его брат Яков Карпович Скудрин имеет темные отношения к инженеру Полтораку. Мы считали это бредом. Вот этот товарищ, приехавший из Москвы, познакомьтесь, — синеблузый поклонился по-военному, — он привез мне сообщение, что Полторак действительно вредитель и имеет связь с организацией...

Садыков не договорил. В чертежную опрометью вбежала Дарья, прислужница Ласло, стала с разбегу среди комнаты, задохнувшись. Лица ее никто не заметил за ее словами. Сначала увидели ее босые ноги, пальцы ног тупели, и ноги она широко расставила, точно ожидала толчка, — красную косынку она держала в руке, откинутой назад для удара.

— Федор Иванович, ваша жена померла, — сказала она, задыхаясь, и крикнула в неистовой злобе Ласло, обращаясь к нему на ты:

— Эй ты! домой иди! померла твоя горлинка! повесилась, недолго пожила!

Теперь стало видно ее лицо, испуганное, решительное, деловое, злое, презирающее, — решительное и деловое в первую очередь, — Дарья дышала со свистом, маленькие ее глаза стали еще меньше, рот зиял огромно и редкие зубы торчали за красною кровью губ сплошными клыками. Вздернутый рязански-бабий живот Дарьи неестественно дергался и дергал юбку, ноги из-под которой торчали очень крепко, расставленные к драке.

Никто ничего не сказал.

За много шагов до дома стало слышно, как выл Волк, отчаянно выл. У дома и в комнатах толпились чужие люди, рабочие и работницы со смены. Мария Федоровна лежала на полу на простыне в белой ночной рубашке, волосы закрывали ее лицо, Волк лизал ее шею,

выл человеческим горем. Мария Федоровна повесилась на том самом гвозде, о который вчера она поранила руку. Эдгар Иванович упал на пол к Марии и Волку, — Волк не зарычал на него, впервые. Над мертвой Марией бились в истерике Ласло и Волк. Волк зализывал шею и грудь Марии. И, должно быть, в первый раз за эти месяцы супружества у Эдгара Ивановича нашлись для Марии настоящие, верные, нелгущие слова, очень простые и наивные. Эдгар Иванович вместе с Волком, мешая Волку, но не отталкивая его, обнимая волчью шею, целовал Марию, ее шею, ее глаза, ее плечи. И он шептал:

— Милая, милая, хорошая моя, желанная моя, Galanthus мой!..

На кладбищах и в крематориях заканчиваются полки лет человеческих существований. В крематории дано человеку испытать последние человеческие судороги. В камерах крематориев, в температуре двух тысяч градусов Реомюра, в две минуты истлевают в ничто гроб и человеческая одежда, остается голый труп, и голый человек начинает двигаться. Эти последние человеческие судороги могут показаться метафизическими, нарушающими смерть, — и странному закону подвержены эти последние человеческие судороги: у мертвеца подгибаются ноги, руки его ползут к шее, складываются крестом на груди, голова втягивается в плечи, — человек, прежде, чем перейти в ничто, принимает то положение, которое он имел во чреве матери, когда он возникал из того же ничто.

— Galanthus мой!

Была девочка Маня, мама заплетала ей косички, Федор Иванович не успел ей сказать, что он ее любил. Каменные кладки монолитов никак не обладают безусловной водонепроницаемостью, — поэтому, дабы избежать вреда скважностей, необходимо требуется строить монолиты из однородного материала и замыкать их на несжимаемом и водонепроницаемом материковом грунте предпочтительно юрских эпох, — иначе монолиты будут растрескиваться от осадки и размываться на стыках и на температурных швах, обладающих различною скважностью.

Федор Иванович поцеловал руку Марии, покойно и деловито, ворот рубахи его по-прежнему был расстегнут. Федор Иванович крикнул строго Волку:

— Волк! ко мне! иси! куш!

Волк глянул на прежнего своего хозяина, глаза их встретились, — глаза Федора Ивановича приказывали, глаза Волка подчинились печалью. Волк подчинился, опустил глаза, опустил хвост, поднялся, подошел к Федору Ивановичу, лег в стороне. Федор Иванович вернулся к трупу, взял за плечо Ласло, сказал тихо:

— Встань, Эдгар, встань!

Приказал собравшимся:

— Примите умершую.

Ласло ничего не видел, глаза его пустовали. Федор Иванович стоял в стороне, около Волка. Чужие склонились над трупом Марии. Мертвую положили на стол. Федор Иванович наблюдал. Эдгар Иванович сел к столу, к ногам Марии. Заскулил, завыл Волк. Чужие безмолвно стали к двери. Федор Иванович приказал Волку:

— Волк! за мной!

Федор Иванович вместе с Волком и синеблузым вышел из комнаты. Люди посторонились им, в тишине костяных — от когтей — шагов Волка. У дома на крыльце стояла Дарья, под крыльцом собралась толпа. Губы и щеки Дарьи краснели кроваво, залитые кровью ненависти. Она была страшна, Дарья, частушечная девка. Сейчас частушечность в ней исчезла, глаза ее смотрели страшно, собравшие в кулак Дарьины ярость, честь, человеческое достоинство и страх. Рот ее разверзался так же широко, как глаза и босые ее ноги, расставленные для драки. И она выталкивала изо рта слова, полные чести и ярости. Казалось понятным, что Дарье очень страшно — страхом смерти и страхом непонятного, нарушавших ее мир. Дарья подгоняла свои слова красным платочком, зажатым в богатырской руке.

— Товарищи! — кричала она. — Это он сам убил ее! он! он ее замудровал! она от страху повесилась! за что погиб человек? для чего революция происходила?! Товарищи! братцы! бабы! так мы ему это и простим? — он вышел чистым, ножки ее теперь целует! он честный, выходит! а она, его голубушка, виновата! — Бабы? — она ему письмо оставила, — «прости меня, Едгар, я ни в чем перед тобой не виновата», — а он меня еще нынче утром спрашивал, как делишки насчет задвижки! — бабы, — а?! бабочки! это что же такое, ответственный

он товарищ или нет?! — это мы сколько же терпеть будем!? — а женотдел на что?! — яростные от испуга и попранной чести глаза Дарьи блестели слезами. — Бабочки, — а?! — ведь он чистым из воды выходит и сухеньким!.. Что же, нам бояться, что ли, и революция зря была?!.

За порогом дома пребывала смерть, омерзитель-нейшее для каждого живого существа. Федор Иванович сошел с порога вместе с синеблузым и с Волком, — пошли к конторе главинжа. Лицо Федора Ивановича, землистое, собиралось в кулак мышц. Волк шел рядом с Садыковым очень понуро. День заливал землю солнцем. На строительстве рвался жидкий воздух.

Вечером, спустив электрическую лампочку на самые глаза, усердно и злобно обгрызая карандаш, Дарья писала для стенгазеты: — «Товарищи женщины!.. Ответственный товарищ Е. Ласло так поставил себя со своей женой», — написала Дарья и зачеркнула. — «Товарищи женщины!.. Скоро тринадцать лет, как совершилась наша великая пролетарская революция, которая освободила трудящийся класс и дала всем трудящимся новую жизнь», — написала Дарья, поставила фразу в крестики, чтобы не забыть мысль, и начала с красной строки: — «Товарищи и гражданки женщины. Кому много дано, с того много и спросится. Посмотрите кругом, что происходит вокруг нас. Революционный закон уравнял всех трудящихся, как мужчин, так и женщин, но на практике выходит не так, и женщины должны наконец сами за себя постоять. Недавно три грабаря изнасиловали работницу бетонного завода правого берега, и революционный суд их засудил по всей строгости и предал пролетарскому презрению. Сколько женских слез льется от мужчин (эту последнюю фразу Дарья вычеркнула, пожевав карандаш). А что же делать с ответственными товарищами, которые не в пример темным грабарям являются не только инженерами, но и коммунистами? Надо таких людей судить или нет, хотя бы они и обошли правила закона?» — Глаза Дарьи были полны презрения и действия, растерянность исчезла из них. Карандаш грызла Дарья в деловом возмущении. Красный ее платочек лежал рядом с бумагой. Дом прятался в тишину. Ласло бесшумно сидел в кабинете. В столовой стоял гроб.

В ту ночь не спали ни Садыков, ни Ласло, как не спали ни Ольга Александровна, ни Любовь Пименовна.

Оставив Волка в пустом кабинете, весь день пробыл Федор Иванович на строительстве, в воле, зажатой в кулак. Волк взаперти все эти часы выл и плакал. Федор Иванович хотел знать, что сегодняшний день для него — только рабочий день. Волк не переставал выть, когда пришел Федор Иванович. Федор Иванович принес Волку мяса, Волк не стал есть. Федор Иванович долго возился над Волком. Зеленая ночь спустилась на землю. Скулы Федора Ивановича серели, как волчья шерсть. Волк выл, забившись в угол. Тогда Федор Иванович пошел с Волком в Коломну. Волк подчинялся. Федор Иванович не видел улиц, должно быть, — дважды прошел мимо калитки Скудриных. Калитка пропела приветом и скрипом. Федор Иванович беспомощно улыбнулся Любови Пименовне, он заговорил о собаке. Ольга Александровна лежала в истерике бессилия и ужаса. Любовь Пименовна вышла к Федору Ивановичу с мокрым полотенцем в руках.

— Мама хочет поехать к телу Марии Федоровны. Я ее не пускаю.

Любовь Пименовна ушла в комнаты к матери. Вечер темнел покойствием, пахло из сада табаком. Федор Иванович сел на нижнюю ступеньку террасы, собаку положил у ног. Вышла из дома Любовь Пименовна, села на верхней ступеньке, зябко подобрала плечи.

— Собака, знаете ли, — сказал Федор Иванович, — воет и не ест из моих рук, а я живу один и никого около меня нет, и я не умею обращаться с собаками. Я к вам с просьбой, Любовь Пименовна. Мария умерла, собака — ее память, собака никому не нужна... Я привел собаку вам в подарок, — пожалуйста. И покормите ее, приласкайте. Она все время воет.

— Конечно, конечно, спасибо! Я сейчас же принесу молока. — Любовь Пименовна зябко заспешила.

— Нет, подождите, Любовь Пименовна... Эта собака была вернейшим другом Марии, единственным, должно быть. Вы — любите собаку, она верный друг. Она плакала над Марией, когда я пришел, и лизала ее шею.

Федор Иванович замолчал.

— Зачем вы мне это говорите, Федор? — спросила Любовь Пименовна.

Федор Иванович ответил не сразу.

— Потому что только вам я и могу это сказать, — ответил он.

— Не надо, Федор Иванович.

— Хорошо, Любовь Пименовна. — Федор Иванович помолчал. — Надо идти. Конечно, надо все проще. А этот Волк — умный пес, хороший пес. Надо все проще. Надо идти.

— Повремените, Федор, — тихо сказала Любовь Пименовна. — И не надо переупрощать.

На двор вышел охламонов пес Арап, посмотрел с удивлением на Волка, поджал хвост и глаза сделал хитрыми. Большим полукругом, делая вид, что он гуляет, в безразличии, поглядывая одним лишь скошенным глазом, Арап подошел к террасе, постоял, повилял мохнатым своим хвостом — и заговорил с Волком на собачьем своем языке, знакомясь и очень дружелюбно обнюхав Волка. Волк тоскливо, но дружелюбно — в знак знакомства — переложил свой хвост с места на место. Вечер стемнел по-июльски. Любовь Пименовна наведалась на минуту в комнаты.

— Я пойду, — сказал Федор Иванович, приподнялся, постоял в раздумии, передал Любови Пименовне корду Волка. — Сегодня ночью приедет на строительство ваш отец.

Любовь Пименовна, с Волком, проводила Федора Ивановича до калитки. Калитка пропела и хлопнула. Любовь Пименовна крикнула со двора:

— Завтра придите, Федор Иванович, обязательно.

Вернувшись на строительство, заботливо прибирал Федор Иванович комнату для профессора Пимена Сергеевича Полетики, на ночной столик поставил свечу, под кровать подсунул ночной горшок, на подушку положил полотенце. И тогда Федор Иванович, в ранний еще час, разделся ко сну в рабочем своем кабинете, чтобы заснуть до приезда Полетики, — да так и просидел в ночном белье на кровати с ухом одеяла в руке, прокурил, прокашлял, проплевал ночь до часа, когда пришло время ехать на станцию. У каждого человека своя судьба. Федор Иванович родился в семье рабочего, возрастал мальчишкой на пыльных улицах рабочего пригорода, под чахлыми тополями и в темных коридорах — сначала казарм, затем заводского училища, где

пахло мелом и машинным маслом. Заводской гудок и для него, как для Ожогова, был первым воспоминанием, — но его жизнь оказалась сложнее и ответственней жизни Ожогова, потому что она началась на двадцать лет позднее. Заводские ворота захлопнули пригородное детство, — но чахлые тополи повторились еще раз в судьбе, потому что под этими тополями, в майскую ночь, когда надо было б любить и время пришло для любви, — юноша Федор услыхал о социализме, о коммунизме, о революциях. Федору выпало проводить революцию, как и себя, в жизнь. Юноша Федор уехал от отца на квартиру, где жили молодые рабочие, его единомышленники, до революции строившие разумную жизнь и коммунизм. Таких, как он, оказывалось немного, но они были, — и у них были честь труда и честь жизни. Затем наступили: ссылка, война, революция, гражданская война, втуз, инженерия, революция, коммунизм. Все это очень просто и очень сложно, — все это было вчера и эпохи тому назад, — городки под заводским забором, бои под Перекопом, сходки в лесу и в юности, изыскательные партии, чтение Плеханова и Меринга вслух на кооперативной квартире за час до тюремных подворотен и ссылки, — все это было, все это есть, — и за всем за этим не было своей жизни, — сегодня умерла жена, которой он не успел и не сумел сказать — люблю, но которую любил и за которую боролся целый год ее измены с другом. В тот день, когда он позвал Эдгара и Марию к себе, чтобы покончить с ложью, он поступил по традициям его юности, его содружества кооперативной квартиры и коммуны. Он знал, что в жизни все просто, все должно быть простым и люди должны быть честными в своей простоте, в своих делах и мыслях. Жизнь складывалась эпохами, все прошло только вчера, — но за плечами скопилось уже тридцать семь лет — истории, эпох, труда, зубрежки на рабфаке и во втузе, седины на висках, расшатанного сердца, — а своей жизни не было, своей интимной и домашней — с дней кооперативной квартиры до этого рабочего кабинета. Жизнь отдана революции, другим делам. Под Перекопом Федор Иванович получил последнюю рану, — Любовь Пименовна рассказывала о бородинском монастыре, памятников там, действительно, нет. От Марии остался Волк, ее память, — Федор Иванович

отдал Волка Любови Пименовне. У Любови Пименовны также нет своей личной жизни. Федор Иванович понял, почему не следовало говорить Любови Пименовне о псе и почему он говорил об этом: он любил Любовь Пименовну, и она не хотела этого. Все ночные часы тишины и экскаваторов — каждую минуту хотел лечь Федор Иванович в постель, да так и просидел на кровати с одеялом в руке, чтобы прикрыться одеялом, — прокурил, прокашлял, проплевал ночь до часа, когда следовало ехать на станцию за Полетикой, за отцом Любови Пименовны, отчим которой сидел в этот час над трупом жены Федора Ивановича. Ночная дорога на дрезине знобила сыростью. Поезд вылез из туманов, шаря по рельсам огнями фонарей, наваждением.

Любовь Пименовна долго сидела на ступеньке террасы, когда ушел Федор Иванович, на нижней ступеньке, на месте Федора Ивановича. Из дома вышла к ней Ольга Александровна, села на верхней ступеньке. Мать и дочь сидели в молчании и тишине, пока не смокли их платья от ночной росы. Смерть Марии завершала страданья Ольги Александровны, судьба Марии стала ее судьбою. Любовь сидела внизу на ступеньке, положив еду около ног Волка, простая, ясная и чистая. Есть люди, которые живут, чтобы делать добро, не зная об этом, — каждый человек стремится к чистоте и к целомудрию, — есть люди, чистота которых есть их биология, — такою была Любовь Пименовна. Ее жизнь и мир ее мыслей всегда оставались ясны и чисты. Надо было беречь горе матери, — умер человек, умерла женщина, оказавшаяся ненужной любимому, — и надо было думать о смерти, о времени, о человеческих пределах. Любовь Пименовна думала о Садыкове, — она знала, почему она не захотела слушать о псе и почему пес так дорог ей: далеко на сердце спрятан был Евгений Евгеньевич Полторак и там же хранилось слово, данное ему на всю жизнь. А смерть, — нехорошо думать о смерти, страшно думать о смерти другого, потому что тогда надо думать о своей жизни, о своем будущем, будущее взял Полторак. В такие раздумья человеку одиноко и жалко самого себя, своей жизни, своего одиночества. И Любовь Пименовна думала, думая о матери, о Марии, о Садыкове, — Садыков начинал любить ее, она

знала, — она гасила в себе мысли о его любви. Думала о себе, о своем одиночестве, о своей молодости, которая проходит, о своих руках, которыми она, как каждый человек, хотела б обнять мир, отданный Полтораку и Полтораком не взятый. И еще Любовь Пименовна думала о том, что она должна быть бодрой, чтобы помогать. В заполночь Любовь Пименовна укладывала Ольгу Александровну в постель и долго затем сидела над Волком, гладила его меха, ласкала, просила, чтобы он поел. В ласке к Волку ей помогал Арап. Подсаживался на террасу охламон Иван, дремал молча. И всю ночь пела в саду малиновка, чтобы соединить человека и землю. Заснула Любовь Пименовна незадолго до рассвета, — и проснулась в ранний час, когда солнце поливало землю утром, чтобы человек дружествовал с землею, — проснулась, чтобы бодрствовать, быть бодрой и помогать, никак не зная тех жестоких трудностей, которые выпадут ей на этот день, труднейший в ее жизни и решающий. В ранний час, пока спала мать, ходила она с Волком на реку, за Городище, к Таборам, на раскопки и побыть одной, собрать свою бодрость, — и никак не знала она, что это утро оказалось ее девичником.

Эдгар же Иванович, не раздеваясь, до полночи просидел у себя в кабинете, потому что до полночи приходили люди поклониться смерти. К полночи дом, всюду отпертый, опустел, Дарья с вечера сидела на кухне над бумагами, но к полночи ушла из дома. К полночи Эдгар Иванович прошел в комнату Марии, где на столе в красном гробу лежал труп Марии, положенный в гроб и убранный в гробу неизвестными руками. В комнате горело электричество, очень ярко и назойливо. На полу вокруг гроба набились ошметки грязи. На гвозде, на котором повесилась Мария, висели куски веревки, перерезанной Дарьей. — При электричестве стало страшно. Эдгар Иванович потушил электричество. В темноте стало еще страшнее. Эдгар Иванович принес свечей, зажег свечи на столе около гроба и на туалете Марии. Эдгар Иванович сел около гроба, положил голову на гробовое ребро — и просидел так до часа, когда пришли люди, чтобы забить гроб и отнести его на кладбище под оркестры похоронных маршей. Всю ночь пели экскаваторы свои песни скрипов и воев, захлебываясь зем-

лей, разрывая земные недра, — ночь же стала темна и туманна, и безмолвна, потому что человеческих песен на поселке не пели в эту ночь. Дарья ушла на ту ночь в женский барак. Рассвет ступал бесхозяйственно, и свечи погасли, выгорев, много позже рассвета. С рассветом стали приходить люди. Эдгар Иванович сидел у гроба, люди его не видели, как Эдгар Иванович не видел этой ночи: впервые открылись глаза Эдгара Ивановича, возникнув из-за пространств, только на кладбище.

Наутро, за четверть часа до того, как загудел неурочный гудок и женщины, бросив работать, пошли ко гробу, около монолита, перемыкавшего Оку, поговорив с прорабом о лишней «руке» рабочих, профессор Полетика заговорил — о следующем:

— Я хочу рассказать вам, Федор Иванович, о моей новой работе, — сказал Полетика раздумчиво, хмуро оглядывая небо и пожмуриваясь на солнце, — Садыков и Полетика стояли на глыбах развороченной земли, — маршалы, совершенно не повторявшие картину Серова, где шагает Петр в Петербурге, — под ними работали машины и люди, организуя землю, гранит, бетон и воду. — Все, что мы сейчас строим, по существу говоря, — пустяки перед тем, что можно и надо сделать нам, гидротехникам. Припомните земной шар. Человечеству ничего не осталось от Атлантиды, она выжжена солнцем и засыпана песками, ныне там Сахара, пустыня, зной, пески. На памяти человечества исчезли цветущие страны — Ассирия, Вавилон, Месопотамия. Тигр и Евфрат были земным раем, сплошным садом, — ныне там пески, зной, пустыня. Аравия создала великую науку, философию, религию Ислама, живущую кое-где и поныне, — но сама Аравия ныне отдана пескам и зною, и там кочуют бедуины, там, где некогда и не так давно цвели сады. И дальше. В монгольских легендах остались воспоминания, что тигр может пройти Монголию из конца в конец, не замарав ног своих о пыль, — так было, — ныне там пески и зной, в этих садах Аллаха и Будды, пустыня легла от Шамо до Аральского моря. Мы помним, это на нашей исторической памяти, как из этой пустыни командовал всей Азией Тамерлан, когда Россия и Китай были одним государством. Из Монголии к нам пришли татары, — из Монголии через Ски-

фию прошло множество народов, которые огнем и мечом перекраивали Европу. Наука не дала достодолжного объяснения причин великого переселения народов, — подождите несколько минут, я объясню их вам. Последним нашествием на Европу было нашествие турок. Самым последним будет нашествие — русских, если мы не будем бороться, мы, гидротехники. Припомните, это совсем на нашей памяти, четыреста, пятьсот лет тому назад в низовьях Волги было могущественное государство — Золотая Орда. Арабский ученый, путешественник Ибн-Суад описывает столицу Орды, громадный город, где были канализация, дворцы, парки, куда стекались товары Китая, Индии, Персии, Италии, Испании, Аравии, там велись ученые споры о философии и религии. Ныне там, где была Золотая Орда, — пески, пустыня, смерть. Я там был, там живет около арыка, оставшегося от канализации, один калмык с двумя верблюдами, — там ходят пески так же, как у нас в метелях снег. Пустыня наступает на человека. Сейчас пустыня наступает на Западную Сибирь и на Европейскую Россию, подступая от Каспийского моря, неся Арало-Каспийские пески. Вы слыхали, что пустыня на пороге Донбасса, в Донбассе нет воды, там не хватает воды. Мы не замечаем, но пустыня пододвигается под самую Москву, — так называемая полоса засушливости, предвестник пустыни, проходит по кривой от Нижнего Новгорода, через Рязань и Орел, к Киеву, к Румынии. Что делали люди, когда на них наступала пустыня? — они бежали от пустыни. Расцвет арабской культуры — исламизм — был уже на конях, кони арабов маврами прорвались в Испанию, сельджуками на Балканы. Монголия умирала медленнее и она пятью столетиями бежала от пустыни — на Китай, на Корею и — на Европу. Это называлось переселением народов. Но эти переселения мы видим и посейчас, почему я и говорю, что, быть может, и Россия побежит на Запад. Мы свидетели того, как возникают великие переселения народов. В восемьсот девяносто первом-втором годах, в голод на Поволжье, в так называемую засуху, когда от Аральского моря дула над Волгою мга, голод поднял с земли и разорил семь с половиною миллионов населения. В двадцать первом году голод разорил и поднял — тридцать миллионов, которые побежали по России, при-

чем заволожские немцы добежали и до заграницы, до Германии. Эти тридцать миллионов, ползая по России, людоедствовали и умирали на дорогах, иной раз с богатым скарбом, ибо Заволжье было богато. Я подсчитал, если мы не примем меры, если будет такой же голод в пятьдесят первом году, он поднимет с земли и погонит уже не тридцать миллионов, а семьдесят пять, — а семидесятимиллионной человеческой массы не было ни у одного Тамерлана. Эти семьдесят миллионов голодных, с их обозами, — вы знаете, что это такое, — эти не хуже Атиллы могут пройти Европу. Голодные, которые поедают друг друга, если у них в руках окажутся штыки, — это страшнее, чем мировые войны. Мы помним двадцать первый год.

Пимен Сергеевич замолчал, хмуро поглядывая на небо, точно солнце на небе было его врагом. Федор Иванович также молчал. Кругом в лугах строительствовали тысячи людей. Караван землечерпалок и землесосов, став в кильватерную линию, разворачивал землю для тачечниц. Тачечницы свозили подсохшую грязь к думпкарам. Экскаваторы заглушали луга.

— Я знаю, как остановить наступление пустыни на нас, — сказал Пимен Сергеевич, — пустыни наступают потому, что...

В неурочный час загудел гудок. Тачечницы бросили тачки по команде гудка. Женщины строились в ряды. В километре около перемычек также строилась пестрая колонна женщин.

— Что это такое? — спросил Полетика.

— Не знаю, — недоуменно ответил Садыков.

Женщины пошли к городу, уходили поспешно, молча, деловито. Над лугами светило солнце, облака кудрявились в небе. Июль выцветил краски лугов и полил зноем. В тот час, когда загудел гудок, из дома Ласло вынесли гроб Марии Федоровны, понесли к городу, — и со всех сторон строительства ко гробу пошли женщины. В ту ночь плохо спали в женских бараках, — и никто не мог бы привести в формулы норм те слова, которые говорились в ночи по женским баракам, и те ощущения, которые рождались этими словами, — о том, что инженер Ласло убил — не жену, но голубушку, — не человека, но человеческую честь, — и убил так, что смерть Марии стала символом женской судьбы. Но-

чью, во мраке бараков, когда потушено было электричество, — в страхе этого сиротливого мрака, где обсуждалась мораль смерти, сиротство смерти, главными словами были слова:

— Что же это, девоньки, а?

— Что же это деится, бабоньки, а?

— Убил ее собственными ее руками, а?

Семьдесят одно бабье горе было растеряно — во имя человека. Но в эту растерянность скоро вплелись понятия тех законов, изучаемых Ласло, которые перерождали сезонников в пролетариев. Женские бараки не спали той ночи за роями слов.

— Что же — была революция или нет?

— Что же, с кого надо спрашивать — с грабарей или с Ласлы?

— Гражданки! взгляните на наше дело!.. Он за ней ухаживает, он ей в работе поблажку делает, она от него забеременела, он ее бросил, она майся с ребенком. Революция нам дала все права и научила нас, что делать. Мы ее, голубушку, так похороним, чтобы он на всю жизнь озорство запамятовал. Мы так ее похороним, что он сам из гроба не выползет.

Семьдесят одно бабье горе вылилось наутро в протест.

Ласло шел позади гроба, он не видел ни солнца, ни гроба, но он видел — женщин. Их собиралось все больше и больше. Рядом с ним шла Дарья, презрительная и отчаянная, все с тем же платочком в руках, который она не успела надеть на голову. Женщины за спиною Ласло — как казалось Ласло — шли в свинцовом безмолвии, свинцовою тяжестью и, когда ветер тянул с лугов на город, от женщин исходил свинцовый запах земли, пота, прогорклого коровьего масла. Лица ж женщин под солнцем казались медными. Одежды ж женщин никак не походили на металлы, киноварные, луковые, глазурные. Одежды этих меднолицых свинцовых женщин напоминали картины русских средневековых крестных ходов и — древневековых гульбищ в русальные недели, кустарные плахты и паневы перерождавшихся в пролетариев сезонниц. Босые ноги баб глухо шлепали о землю. Эдгар Иванович шел за гробом, в черном пиджаке, в черной широкополой шляпе. Женщин за

гробом становилось все больше и больше. Городские улицы сжали процессию, залившись женщинами.

И кладбище, минуты над могилою Ласло восприпял древностью. Глаза Эдгара Ивановича открылись в ужас, когда первый ком земли глухо, в безмолвии кладбищенских деревьев и толпы, ударился о крышку гроба. Мария, — Мария лежала в яме, откуда никто не вернет, — никогда не вернется она, отданная ничему. Эдгар Иванович увидел сотни лиц, — и медных, и каменных, — глядевших мимо него, точно он был пустым местом. Так бывало на древних тризнах, должно быть. Эдгару Ивановичу показалось, что эти медные и каменные лица похотливы, — он отбросил эту мысль, — он подумал, что пол связан не только с рождением, но и со смертью, — и он опять отогнал эту мысль. Он не понимал, почему здесь эти женщины. Он понимал, что так же, как Марию, его закопают в землю, — он чувствовал себя на ее месте.

Ласло толкнули в грудь. Перед ним стояла Дарья. Эдгар Иванович не узнал ее лица. Оно было страшно. Эдгар Иванович понял, что он был не прав, подумав о похоти. Лицо Дарьи, лица остальных выражали ненависть и презрение.

— Затолкнуть и его к черту в яму! — крикнула Дарья и вновь толкнула Ласло в грудь. — Мы тебя без ямы с землей сровняем!.. — Девоньки, бабоньки! — что же это такое, а!? — ведь он ее убил! — как было дело, — ведь он чистым из воды выходит и сухим! — это что же наша судьба такая! — и Дарья заплакала, забыв о Ласло.

Закричали женщины, громко и страшно, сдвинулись к могиле. Лица женщин перестали быть каменными и медными, став человеческими. Деревья обстали могилу безмолвием. Могильщики поспешно закапывали гроб, со страхом поглядывая на толпу. Об умершей забыли. Дарья справилась со своими слезами.

— Товарищи! — крикнула Дарья, прерывая голос, и замахала красным своим платочком. — Товарищи женщины! Мы есть организованные пролетарки. Может, суд его и оправдает, ну а мы, — нам, бабочки, жить, нам и жизнь нашу строить, и мы его засудим! Нам жить — нам судить!..

Ласло почувствовал на минуту себя так же, как чувствовал себя Полторак на производственном совещании.

Дарью перебила старуха, лицо которой не сразу узнал Ласло, вспомнив, что встречал его на пленумах партийной ячейки. Старуха, в синей кофте в лиловый горошек, в фартуке из мешка, в веревочных чуньках на громадных ногах, — старуха по-русски, ибо ее сорок лет съел жестокий труд, наградив лицо морщинами и бронзовым загаром, — старуха пересилила слезы, заговорив степенно:

— Товарищи женщины! Мы трудовой народ и коммунисты, — а он тоже коммунист, и не надо нам таких членов партии. В его лице мы бойкотируем распутство и протестуем против нашей судьбы. Он был ответственным товарищем, и он — от него люди вешаются. Вон суд про грабарей был, — мы теперя полноправные женщины, и мы постоим за себя и за революцию. — Не надо его в яму! — крикнула старуха. — Мы будем его судить организованно, как мы говорили ночью, товарищи женщины, что мы ему покажем нашу сознательность, мы, товарищи...

Могильщик дернул Ласло за рукав, склонился к его уху, дыхнул водкой, прошептал товарищески и иронически:

— Уходи, уходи отсюда, барин, — тебе говорим, — уходи! ты не видишь, они тебя усамосудят, — нешто не видишь? — уходи, там задняя калитка есть, — иди, покули они говорят речи.

Эдгар Иванович не понимал этой минуты. Женщины казались ему более страшными, чем смерть Марии. Быть в яме рядом с Марией не казалось страшным. Солнце светило очень ярко, парило перед дождем. Деревья немотствовали. Мальчиком Эдгар ходил на кладбище — читать книги, всматриваться в будущее. Все прошлое возникало сейчас, как на ладони. Похороны превращались в митинг. Эдгар Иванович воспринимал (если мог он воспринимать) митинг как тризну, митинг чувств, но не идей, митинг инстинктов: в действительности это было не так. Одна, вторая, седьмая, тридцать первая женщина, — плахты, паневы, сарафаны, — ноги, груди, животы, глаза, скулы, — пот пахнет сургучом, — необъяснимая, непобедимая канцелярия, — женщины, женщины, то начало, которое может брать на ладонь мир и сердце, — Мария, Мария, — волосы баб пахнут испор-

ченным коровьим маслом, — а волосы Лисы пахнут теплым воробьем, — очень страшно!..

— ...и, товарищи женщины, резолюция, что мы не будем с ним работать!..

— Уходи, барин!

Деревья плыли по синему небу, потому что облака остановились в небе. Из-за деревьев торчал кладбищенский церковный крест. Древность! — лица ж женщин похотливы потому, что они в ужасе коллективной ненависти, коллективной обиды за себя, за свою судьбу.

— Эдгар Иванович! Эдгар Иванович же! — ухо и нос Ласло забило луком и водкой. — Слушайте, Ласло, не шутите! я послал за конной милицией. Идемте!

Ласло оглянулся. В ухо ему дышал музееевед Грибоедов, испуганный, серьезный и мокрый.

— Эти плоскодонки убить могут, ужели вы не видите!?

— Уходи, барин, — подтвердил могильщик.

И Эдгар Иванович вором пошел от могилы, не попрощавшись с Марией, как следует, — вором попятился за могильщика к музееведу, приятелю деревянного Христа, — украдкой зашел за дроги для гроба, — лошадь дохнула покоем и свежей травой. Толпа женщин походила на громадный чирей, прорвавшийся над могилой. Эдгар Иванович не заметил, как он побежал в глубь кладбища, вместе с музееведом.

Фалды размахайки музееведа летели летучей мышью, музеевед был бледен в испуге. Музеевед упал на землю за кладбищем. Ласло упал рядом.

Так увидел похороны Эдгар Иванович Ласло.

Корреспондент «Комсомольской правды», бывший на похоронах, телеграфировал своей газете так:

> «...причины самовольного ухода женщин с работ в связи с похоронами жены инженера Ласло. Массовый протест женщин надо считать пробуждением классовой сознательности. Поводом к протесту служили не только смерть жены Ласло, но и ряд других эпизодов, как то — насилие тремя пензяками (ныне осужденными), приставание прорабов и десятников к работницам, их

легкие связи с женщинами-служащими, некоторые случаи оказания преимуществ любовницам, имевшим место в среде как рабочих, так и администрации. Излагая этот коллективный протест...»

...Дом был пуст. Дом был отперт. В дом никто не приходил. Дом немотствовал тишиной, которая может плесневеть. Кабинет провалился во мрак. Эдгар Иванович не знал о часе времени. Физически он не мог видеть книги, — но он их видел. Книги с полок щерились громадными челюстями. Каждая книга есть подделка подлинной человеческой жизни, есть судорога мысли, — книги суть морг, мертвецкая, где похоронены подлинная жизнь, мысли, человеческие страсти, как в крематории. Бессознание обволакивало котлеты мозга так же, как в спальных вагонах в поездах непроницаемые шторки закрывают стекло фонаря. Только маленькая щель оставалась для сознания. Во мраке подсознания было очень тепло, спокойно, уютно, тихо. Каждый человек в человеке вызывает ощущение, свойственное только этому человеку: в подсознании, от похорон, осталось ощущение Алисы, запах ее волос. Было две жизни: во мраке шторок и вторая, которая бегала мышами мыслей. Мыши бегали — вопреки воле, — и сознание тогда следило за их побегами. Моментальною ловкостью мысль забегала в память, в одну и в другую, память соединялась воедино и возвращалась к сознанию в тот момент, когда из самых дальних мест приходило видение: это было плечо Ольги, одновременно так, как оно лежало около него, и — там, на фронте гражданской войны, когда пальцами из мяса плеча Ольга вынимала осколок гранаты. Во мраке бессознания было очень тепло, покойно, тихо. Человек хотел спрятаться в бессознание. Закрытыми глазами физически видеть Эдгар Иванович не мог: он видел, как вошла Мария, постояла на пороге и прошла ко книжным полкам. Затворилось невнятное. Мария не открывала глаз, закрытых, как в гробу. Мария стала уменьшаться, сплющиваться, — сплющилась в книгу. Книга Марии поднялась на воздух, стала на полку рядом с Вольтером, с «Кандидом». Рядом стоял Кандиба. Камера-обскура Кандибы спус-

тила на пол законы течения рек, по полу потекли реки, где нет ничего незакономерного. Творилась невнятица. Комната раздвинулась несуществующей рекой и развернулась Андреевским залом Московского Кремля, — «коммуниста Ласло больше нет!» — Мария стояла, стала книгой. Тяжелоплечий Федор Иванович подошел к полке с книгами, взял книгу Марии, развернул, перелистал, поцеловал обложку, неловко поставил книгу на прежнее место, — книга упала. Федор Иванович поднял ее и поставил на прежнее место. Книга упала вновь. Из бессознания — сотни сразу — побежало — не ощущений, но мыслей и видений, — и все подсознание, весь мозг, все тело ощутило невероятные тягости, тесноту, бессилие, боль. Сознание раздвинуло шторы — энергически — на весь мозг. Работы на строительстве заканчивались. Новая река, бой за социализм, возникала в реальность. Десятки рек и речуг в сотнях русских весей и сел спускали воды с тысячей плотин. Достраивалось правое плечо монолита. Думпкары с завода от Щурова довозили по хребту последние тонны бетона. Монолит наступал на мореоны, которые уходили, вгрызаясь в землю, разбитую жидким воздухом. Шпунтовые ряды перемычек уже снимались. Наступала вода. Котлован заливался «тощими бетонами». Земляная дамба нового ложа, превращенного в озеро, обложенная фашинами, уходила за сотню километров — до Бронниц. Звонили телефоны. Весь день на строительстве звонили телефоны. В закатный час в контору главинжа пришел инженер Ласло, покойник, в крепких крагах, в широкополой черной шляпе, с портфелем под мышкой, — он вернулся с похорон. Глаза его были к тому, чтобы действовать. Люди в конторе не расходились, хотя час службы завершился. Во всех конторах заводов и строительств, всегда просторных, светлых и чуть-чуть чопорных, — всегда чуть-чуть вспоминается смерть, потому что шум счетов похож на шум костей и потому, что в конторах творятся не дела, но идеи дел. Ласло — кулаком воли — прошел в свой кабинет. И сейчас же вслед Ласло в контору зашли женщины, несколько сот. Женщины шли покойны и деловиты, они задавили контору, в строгой мужественности, пестрыми платьями и собою нарушив просторность и чопорность конторы.

Передняя женщина передала за барьер — в молчании — женскую резолюцию. Резолюцию принял Садыков. В резолюции говорилось, что женщины бойкотируют инженера Ласло. Ласло вышел из кабинета, стал рядом с Садыковым. Садыков читал вслух.

— Ну, Эдгар, чокнулись, стало быть, до дна? — ты помнишь, я люблю рассказывать о той барже, которая затонула под Саратовом? — Садыков говорил деловито, покойно, негромко. — Любовь Пименовна рассказывала однажды о рыбе, которая была гнилой, но пахла фиалкой. Впрочем, прочти резолюцию, давай говорить о делах.

Женщины, женщины молча выходили из конторы.

...Ночь, пустая комната, тишина, никого нет, ничего нет.

«Книги надо убрать! на самом деле Мария похожа на книгу!»

Тишина, никого, ничего нет. Дом всюду отперт. Книги стали сползать с полок, камеры-обскуры. — Круг закончен: столетья назад предки Ласло ушли с Волги, которую тогда называли Ра, — Ласло пришел перекапывать истоки Волги — Ласло погибал у истоков.

Ласло поднялся с дивана. Он, сторонясь стен, пошел из дома. Он забыл шляпу. Налево к Щурову уходила цепь фонарей монолита, сзади горели огни отводного канала. Огни строительства упирались в черное небо, в низкие тучи. С неба капал мелкий, уже осенний дождь. Над лугами шарил ветер. Ласло оставил открытыми двери дома. Ласло пошел в сторону от огней и от мест, где могли встретиться люди, — во мрак, в дождь, в луга. Он шел сумасшедшим человеком. На землю наступала полночь... Книги не оставляли Ласло. И тогда из темноты раздался голос:

— Это опять ты!?

С земли перед Ласло поднялся инженер Полторак. Ни Ласло, ни Полторак не удивились встрече. Полторак вновь лег на мокрую землю. Ласло присел около него на корточки. Дождь приступил в ту минуту. Оба инженера закурили в безмолвии.

— Евгений Евгеньевич, на строительство поступили сведения, что вы вредитель, — безразлично сказал Ласло.

— Кажеться, это верно, — безразлично ответил Полторак, — и кажется, что сегодня ночью, в час ночи, мы взорвем монолит.

И тот, и другой помолчали, раскуривая папиросы.

— До часа ночи, — сказал старший Бездетов.

— До часу ночи, — сказал Скудрин.

— Да, до часу.

И дальше для Полторака все стало бредом, в этот вечер его гибели. Извозчик сдвинул на сторону Коломну, пододвинув дом Скудрина. Яков Карпович, возникнув за алкогольным фрегатом, на плечах братьев Бездетовых, заюродствовал, не «бенды працы без кололанцы», заюлил, утверждая, что мерзавец может убить и не всякий мерзавец есть юрод, — и Полторак знал, очень знал, в эту его последнюю ночь, что смерти могут приходить без крови, как не только на крови строятся строительства. Полторак ушел от Скудрина — в бред, в выжженные ночью — час ночи, плашкотный мост, где утверждались олова глаз Бездетовых, такие же тяжелые, как глаза Шервуда. Глаза смотрели из пустыни лугов, упирались оловом покойствия в огненный столб в небе, в крики, в ужас и в шелест воды. Полторак нес за собою свои любови. Кругом стали — бессилие, поцелуй Анатоля Куракина, бескровие, бездомность, смерть, пустота, опустошение, страх, — смерть без крови. Полторак собирал себя — к часу. Полтораку некуда было идти. Он шел окраинами, берегом Москвы-реки, мимо башни Марины Мнишек, под кремлем. В башне кричали совы. Полторак вышел в луга. Все ломалось, завтра отодвигалось так же далеко, как детство. Впереди горели огни строительства, угоняя черную темноту луга. Полторак пошел от огней в темноту. В лугах, которые через несколько месяцев будут залиты водой, кричали мирные перепела. Дул ветер, лил дождь.

— Вера, Надежда, Любовь! — жену звали Софией. Вера, Надежда, Любовь, София!..

Полторак бредил породою юродивых, которых убивают. Вера, Надежда, Любовь, Мудрость [1], — ничего нету, бред. Все на крови, — и пришла бескровность. Вера умерла бескровною смертью. Надежда сказала, — она не знает, когда она настоящая, — и с Полтораком она

[1] София — мудрость *(греч.)*.

хотела быть такой, которой все позволено, — почему? Полторак говорил по-настоящему только со Скудриным. Любовь пришла, чтобы сказать, что она уходит. Волки за флажками облав не знают, что по лесу, в темном рассвете, раскинув флажки, за деревьями, в тишине, — стали охотники, чтобы убивать, — и смерть приходит не от вопящих кричан, но от этих безмолвных. Кричаны завыли, заулюлюкали, завизжали, и жизнь — осталась за флажками, за кричанами, естественная, обыкновенная жизнь. Вера! Надежда! Любовь! — Лил дождь. Дул ветер. Мрак спрятал пространства. Полторак бежал по лугам. Впереди засипели, захрипели, завыли, заплакали, застонали экскаваторы в бреде огней строительства. Полторак побежал в сторону. Экскаваторы захлебывались ужасом. Полторак упал, зацепившись за кочку. Над головой завыли, закричали кричаны. Вера, Надежда, Любовь — стали кричанами, не смертью. В вое возник кусок московского трамвая, белый квадрат, слова: — «Граждане! платите деньги за проезд, не ожидая требования кондуктора, во избежание штрафа!» — Это показалось смертью, Полторак нес за собою свои любови. Полторак был русским, националистом, — когда, с каких пор он стал против всего русского, вот он, которому Шервуд дал английские фунты стерлингов, чтобы готовился взорвать плотину, построенную русскими рабочими? В бреду возникало производственное совещание рабочих. — «Граждане, платите во избежание штрафа!» — «Вместо пива все излишки относите на сберкнижки!» — это встало безграмотностью, ибо по смыслу фразы получалось, что раньше на сберегательные книжки, вместо излишков, относилось пиво. Там, в трамвае рассуждал пьяный мастеровой: — «Раньше было так: на одной стороне живет бондарь Петр Иваныч, а на другой бондарь Иван Петрович, — я служу у Ивана Петровича, выпили в воскресенье, поругались в понедельник, — я собрал манатки и служу со вторника у Петра Иваныча, он меня берет к себе с полным удовольствием, как мы ножку подставили Ивану Петровичу, — а теперь я во Владивостоке наскандалил по бондарному делу — меня в Минске не возьмут, не то, чтобы по бондарному, а даже по мануфактурному!» — Как в кинематографе, когда демонстратор спешит, Полторак

увидел сотни, тысячи плакатов, которыми загораживалась от него его Россия. «Не пейте». «Рукопожатия отменяются». «Говорите коротко ваше дело». «Садитесь без приглашения». «Курить и плевать воспрещается». «Стоять не свыше десяти человек». «Остерегайтесь воров». «Граждане! при получении от органов милиции квитанции о штрафе, следите, чтобы сумма штрафа была вписана в корешок штрафной книжки!» — Это были моральные плакаты, которыми, как соль из сгущающегося раствора, выпирала на улицы мораль. Полторак увидел руку, ставшую перед ним, распятую марлей, — руку в контрольной повязке, повязку с пломбой, — с тою пломбой, которые обязаны были ставить контрольные коломенские врачи на повязках рабочих, чтобы рабочие не самовредительствовали, потихоньку по домам растравляя раны. Контрольная повязка прислонилась к глазам. Человек брался за безындивидуальность с поправкой на жулика, человеку не следовало верить, человек не обязывался быть честным, человек виноват был уже тем, что живет. Это вставало смертью. Полторак стал волком. Полторак поднялся с земли и побежал во мрак. Сзади за мраком лугов горели огни строительства. Оттуда шла Россия, страна в бескровной войне. Бредом по лугу от строительства шли люди, города, заводы, обозы городов, заводов и строительств, — Россия шла в социализм, чтобы неминуемо дойти. Люди падали от усталости, вставали и шли. Шли города плакатами своих красных вывесок. Ничто не стояло и не останавливалось. Все шло. Шли даже леса и деревни, — люди, строения, деревья, камни, воды, земля. Россия шла серая и стальная, таборами оборванцев, в командах лозунгов и плакатов, в корпусах профсоюзов, пехотою государственных учреждений, артиллерией и танками коммунистической партии, организованная, как строятся заводы. Поистине двигался громадный завод, рабочая армия России, скованная, соподчиненная, увязанная, руководимая, выправляемая десятками тысяч организаций — партийными, профсоюзными, государственными, — сельскими, волостными, районными, окружными, областными, краевыми — рабочими, крестьянскими, интеллигентскими, — наркомтрудовскими, наркомздравовскими, наркомпросовскими,

наркомторговскими и сотнями прочих организаций, организующими человека и труд, соподчиняющимися, совпадающими, соорганизующими. Полторак бредил, — этот поход был похоронами Марии и производственным совещанием одновременно. Люди, города, земля шли к строительству и от него, через него, потому что строительство было местом боя за социализм. Полторак бежал лугами. Плакаты перли не со строительства, но с сердца Полторака. Он должен был взорвать монолит. Но он увидел, что он идет со всеми в том наваждении людей, городов, земли, которые шли с ним в ногу. Он остановился. Он побежал. Он упал в ров и поспешно вылез из него. Перед ним расползлись рвы, ямы, осклизлая глина. Из темноты на Полторака шел человек. Это был охламон Ожогов. За охламоном торчал глухой забор, обрезывавший мраком и без того темное небо. За забором вспыхнули голубые электрические огни.

— Ты что тут мечешься из стороны в сторону? — спросил охламон.

— Кто это? — спросил Полторак.

— Это я, Иван Ожогов.

— Где мы?

— На карьерах кирпичного завода.

Потому что вокруг кирпичных заводов разворачивают землю, а крыши кирпичных сараев приземисты и длинны, заборы ж глухи, — кирпичные заводы всегда похожи на места разрушения и таинственности. Охламон пьянствовал своим сумасшествием. Охламон с трудом держался на ногах и дрожал собачьей дрожью, прижимая руки к дрожащей груди.

— Ты что здесь делаешь? — спросил Полторак.

— Караулю тебя. Я ведь знаю, что ты с братом Яшкой хочешь взорвать плотину. Я ведь знаю, почему брат Яшка здесь все ночи скотину пасет.

— Ты все врешь, дурак!

— Не вру!

Замолчали.

— Пришел? выгнался? — спросил Иван.

— Чего?

— Сам из своей совести выгнался, — не стерпел? — сказал иронически Иван и добавил серьезно: — Плачь!

И дальше, если бы Полторак остался в живых, он не мог бы решить, кто из них бредил, он или Иван. В бреду

Иван Ожогов, шепотом, дрожа, рассказывал о своей коммуне таких же, как он, — о том, как было, как был он первым председателем Коломенского исполкома, какими были годы девятьсот семнадцатый — двадцать первый, какими чудесными и как они погибли, грозные и справедливые годы, — как прогнали его, Ивана Ожогова, из революции, как ходил он по Коломне, чтобы заставить людей плакать, — он опять рассказывал о своей коммуне, о ее равенстве и братстве, — он утверждал, что коммунизм есть отказ от вещей, — для коммунизма истинного первым делом должны быть — доверие, напряженное внимание, уважение к человеку и — люди. Аккуратненький старичок дрожал под дождем, перебирая худыми руками, тоже дрожащими, ворот пиджака. Карьеры кирпичного завода утверждали разрушение. Иван Карпович поднялся на холмик, свет из-за забора упал на его голову, стало видно его лицо, сумасшедшее. Полторак знал, что Ожогов был действительно первым председателем Коломенского исполкома, что он сошел с ума в двадцать втором году, когда схлынула эпоха военного коммунизма, — что вокруг Ожогова собрались такие же, как он... — Нищие, побироши, провидоши, волочебники, лазари, странники, убогие, калеки, пророки, ханжи, блаженные, юродивые — эти крендели быта святой Руси, как сказал Яков Карпович, канувшие в вечность, нищие на святой Руси, юродивые святой Руси Христа ради: Яков Карпович утверждал, что эти крендели были красою быта, Христовою братией, мольцами за мир. Перед инженером Полтораком стоял — нищий побироша, юродивый лазарь — юродивый советской Руси справедливости ради, мирская коломенская совесть, молец за коммунизм. Иван Ожогов ходил по Коломне, по обывателям, он приходил к знакомым и незнакомым, и он просил их — плакать. Он говорил пламенные речи о коммунизме, сумасшедшие слова, и на базарах многие плакали от его речей. Он ходил по учреждениям, — и по городу сплетничали, будто бы некоторые туземные вожди мазали тогда глаза себе луком, чтобы через Ивана и его охламонов снискать себе в городе необходимую им коломенскую популярность. В обывательской Коломне чтили Ивана, как приучились на Руси столетиями чтить юродивых, тех, устами которых глаголет правда и которые правды ради готовы идти умирать. Иван

пил, разрушаясь алкоголем. Сейчас Иван был пьян подземельем подлинного братства, коммунизма, дружбы, равенства. — Голова Ивана, единственная на свету, была высоко поднята, глаза светились сумасшествием.

— Плачь! — крикнул Иван.

Полторак не сразу понял его, отрываясь от своих мыслей.

— Плачь!

— Что ты говоришь?

— Плачь! Плачь, инженер, — плачь сию же минуту. Я не позволю тебе убивать революцию. Плачь!

— Не стоит, — ответил Полторак. — Опоздал.

— Не стоит!? опоздал?! — тогда иди отсюда, куда хочешь, к черту, вон с моих глаз, пока я не убил тебя! — Иди!

— Что ты кричишь?

— Иди, иди, пока цел, пока я тебя не убил.

Охламон спрыгнул с холмика к Полтораку, толкнул Полторака.

— Иди, иди от моего завода!

Полторак попятился и упал. Охламон ткнул его ногой. Полторак поспешно и молча пошел в сторону. С неба падал дождь в черную землю. За Полтораком двинулись колонны идущей, стальной и серой России. Контрольная повязка опустилась на голову Полторака. Огни строительства зловеществовали, зловеще стонали экскаваторы. Полторак упал на землю. Трава на лугу была скошена. Убивающие могут убивать не только третьих, но и самих себя, и убиваемые могут убивать. Полторак до боли вцепился в землю ногтями, скошенная трава колола лицо. Полторак хотел остановить время.

Полторак услышал человеческие шаги. Он поднял голову.

— Это опять ты?

Прямо на Полторака шел инженер Ласло.

Лил дождь. Шарил ветер, прошаривал черные и серые пространства. Полторак лежал на земле. Ласло сидел против него на корточках. Оба курили.

— Евгений Евгеньевич, — сказал безразлично Ласло, — на строительство поступили сведения, что вы вредитель.

— Кажется, это верно, — безразлично ответил Полторак, — и кажется, что сегодня ночью, в час ночи, мы взорвем монолит, хотя следовало бы подождать недели три, когда прибудет вода, чтобы больше было шику.

Ни Ласло, ни Полторак не удивились словам друг друга. Папиросы под дождем курились плохо. Инженеры помолчали.

— Ведь вас расстреляют, Полторак, — сказал Ласло.

— И вас расстреляют. — Полторак помолчал. — Впрочем, не знаю, как вы, а я уже расстрелян. Веселое дело! — мы уже расстреляны и — без крови! Для нас множитель — нуль, — не правда ли? Впрочем, я говорю о себе.

— Совершенно верно, помножены на нуль. Мои предки ушли с Волги на Дунай, — я вернулся на Волгу. Вы сошли с ума, Полторак?

— Нет. Расстрелян. Мертвец. И — расстрелян без крови. Расстрелян сегодня днем похоронами вашей жены и производственным совещанием. Имею честь представиться — мертвец, инженер-мертвец Евгений Евгеньевич Полторак! — Полторак хмыкнул и лег удобнее на земле. — Нуль. Без крови. Самое главное то, что я уже и не вредитель, у меня нет сил даже включить фугасы. А вы, Эдгар Иванович, насколько я понимаю, перестали быть строителем и революционером? Мы оба никуда не годны. Вам, конечно, известно, что человек, какую бы он подлость ни сделал и в какой бы подлости ни находился, он всегда найдет оправдание. Вы знаете, что такое контрольная повязка? — нет? — я вам расскажу. Вы поранили палец, вы работаете в учреждении или на заводе, вы пришли в амбулаторию, вас послали к контрольному врачу, — контрольный врач вам сделал перевязку и — запломбировал ее, чтобы вы дома не могли развязать повязку и заняться самовредительством. Это сделано потому, что многие хворали, а стало быть, и прогуливали по месяцу с маленьким порезом, который обыкновенно излечивается в три дня, — это сделано для самовредителей, ибо, оказывается, больным быть благо, а быть здоровым — зло. Я не должен верить самому себе, я индивидуум, — но нельзя же, чтобы останавливались из-за индивидуального вредительства заводы, и — мне накладывают контрольную повязку для государственной пользы. Я думаю, что именно

эти контрольные повязки, наложенные уже не на порезанные, а на наши души, которые мы оба не признаем, — именно эти контрольные повязки привели меня сейчас сюда, в это ночное время на эти ночные луга. Прежде мы жили родовою моралью, — теперь коллективною. Вы, конечно, знаете, что вот эти папиросы, которые мы курим, мои и ваши сапоги, квартиры, прочее — суть не только наше достояние, но достояние и государства, в одинаковой мере, как и хлеб, посеянный мужиком, и паровозы, и земные недра. Их может быть больше, их может быть меньше. Сейчас мы изо всех сил хотим скопить елико возможно больше штанов, сапог, заводов, хлеба, машин, — для этого вы строите ваш монолит. За годы войны у революции мы очень много растеряли сапогов и хлеба. Но вот чего не знал я, кроме того, что мое время умерло, и не знали, должно быть, вы до сегодняшнего дня. Оказывается, подобно сапогам и хлебу, достоянием является и мораль каждого из нас, не знание, которое сейчас мало-помалу мы научились уважать, а — именно мораль, моральные качества. И оказывается, что мораль можно растеривать, как сапоги и хлеб. Революция ее и растратила. Мораль придется восстанавливать подобно сапогам и посевным участкам, потому что мораль есть простая и настоящая хозяйственная вещь, не менее необходимая, чем пиджаки и картошка. Когда моральные запасы иссякают до нуля, тогда получаемся мы, я во всяком случае. Это бывает, когда истощилась последняя калория моральных качеств. Но мораль, подобно сукну, может быть доброкачественной, как сукно английское, и второсортной, как сукно наше. У нас рассуждают, — невежественная страна, невежество, невежественный народ, — то-то плохо, то-то испорчено, то-то изгажено благодаря русскому невежеству, русской темноте. И рассуждают неверно, потому что делать плохо или хорошо, портить, гадить можно не только благодаря невежеству, но — и благодаря плохой, испорченной, прокисшей, как гнилой хлеб, морали, — или благодаря отсутствию ее, как у меня, ибо я очень сведущий человек, даже в вопросах морали и философии. Контрольная повязка — вещь морального порядка, но не порядка знания или незнания, как и нечестность с женщиной, с честью и словом, воровство, склока, подсиды, обманы, чинодральство, бю-

рократизм. У нас не уважают человека, а стало быть, не уважают и первую человеческую производную — человеческий труд, потому что, прежде чем уважать труд, надо уважать человека. У нас сам человек, только за то, что он человек, берется с поправкой на жулика, и человек поправку выполняет, ворует, растратчествует, предает, насилует, издевается над всем, над чем угодно. Человек, взятый с поправкой на жулика, превращен в существо, когда человек есть средство, а не цель, с поправкой на вещь, а не на честь. В России человеку надо не верить. У нас удивляются, когда человек честен, когда надо было б удивляться человеческому бесчестию. Вы возразите, что все это от старой России, — мне все равно.

Полторак сел, отбросил окурок, закурил новую папиросу.

— Вы обратили внимание, как наша — ваша, а не моя, и тем не менее наша — государственность захлебывается от жулья, от подхалимства, от предательства, от морального развала. Государственность воюет армиями контрольных учреждений. Наркомат РКИ есть учреждение моральное, так же, как те плакаты на улицах, на лестницах, в трамваях, в трактирах, в учреждениях, — берегись вора, не плюй, не кури, промывай за собою унитаз, не лги, не насилуй! — У меня в доме на лестнице написано под электрической лампочкой: «Вор! Не трудись воровать, лампочка припаяна!» — а в трамваях в Москве приклеивают, уча доносить: — «Гражданин! твой долг следить за налогоплательщиком!» — Вы видите, как вся страна превращена в моральный плакат, плакаты морали вышли на улицы, потому что их не осталось в так называемых душах. В России люди виноваты уже тем, что живут. Все это я говорю, потому что в каждой мерзости надо находить оправдание.

— Вы кого убили? — безразлично, отбросив смокший окурок, спросил Ласло.

— Самого себя, — деловито ответил Полторак и заботливо спросил в свою очередь: — а вы кого убили?

— Я? — не помню. На фронте, во время гражданской войны.

— Это, конечно, тоже свинство, — но это не в счет. Тогда вы убивали с кровью и своею кровью платили. Сейчас вы убили жену?

— Жена у меня повесилась. Убил себя, как и вы.

— Так. Слышал. Жена убила вас.

Инженеры помолчали. Полторак сел против Ласло на корточки.

— Меня преследуют бреды, я совсем болен, — сказал Ласло. — Я вижу свой мозг двумя кровавыми котлетами, и я вижу, как по этим котлетам бегают мысли. Вы, конечно, правы, — но вы знаете, что вот этот луг, на котором сейчас мы сидим, будет залит водою на двадцать метров вверх. Вода зальет все и зальет нас. И эта вода польется на мельницу новой жизни.

— Сейчас мы взорвем плотину, — деловито сказал Полторак и вынул часы, зажег спичку над циферблатом. — Хотя... двадцать минут второго. Где же Скудрин? — Полторак огляделся кругом. — Да, совершенно верно, вода зальет все, зальет нас, — придет прекрасное будущее. Где же Скудрин? — Вы помните «Войну и мир» Толстого? — как плакал, как плакал я юношей за попранную чистоту, читая о том, как Анатоль Куракин поцеловал Наташу!.. — Вы читали плакаты в трамваях? — «вместо пива все излишки относите на сберкнижки!» — раньше на сберегательные книжки клали пиво!.. — да, совершенно верно, вода зальет все. Останутся бабы, которые похоронили вас, и останутся производственные совещания, которые похоронили меня.

Яков Карпович Скудрин — пришел в эту ночь на луга к Полтораку, — чтобы убить. Черный дождь поливал луга. Ветер обворовывал пространства. Облака спустились на землю и ползли по земле. Яков Карпович пришел к инженерам в час, когда чуть-чуть стало брезжить. Инженеры сидели на земле и они издалека на фоне чуть-чуть посветлевшего, отделившегося от земли горизонта — увидели Скудрина. Скудрин шел, как ходят слепые, с поднятою вверх головою, — руки его раскинулись, он шел босым в ночном белье. Ноги его проваливались во мрак земли. За спиною его мутно зеленела щель горизонта. Голова его упиралась в тучу. Он казался гораздо большим, чем он был на самом деле, он подпирал небо. Кругом на земле, в сырости и ветре, свалены были громады мрака.

В эту ночь в доме Скудрина, на лестнице в мезонин, дочь Катерина встретилась со Степаном Федоровичем Бездетовым.

— Ты там скажи своим, — сказал Степан Федорович, — опять устроим.

Катерина обняла Бездетова, прижалась к нему богатырским своим телом, смяв его, и заплакала, злобно и покорно.

— Что ты? — спросил Степан Федорович.

Катерина не ответила в плаче, — она прижала Степана Федоровича к барьеру лестницы так, что ему стало трудно дышать и больно, он потерял равновесие.

— Что ты, Катерина? — спросил Степан Федорович.

И Катерина взвыла, заплакав навзрыд, отпустив Степана и рухнув головой и плечами на барьер тяжестью, что барьер пискнул под нею и закачался.

— Беременна я! — провыла Катерина.

— Тише, что ты? — ну, чего ты!? — шепотом крикнул Степан.

— Беременная я! — провыла Катерина еще громче и села на ступеньки лестницы. — Не могу я! помоги! — еще громче крикнула, провыла Катерина, и последующие ее слова слились в вой. — Папочка меня-я-яяа убье-о-от, ооо!.. — Катерина выла на весь дом, очень страшно, глухо, громко, как воют иногда от физической боли.

Степан Федорович совал ей в рот платок, чтобы заглушить вой. Катерина кусала вместе с платком его пальцы, не замечая их, и все ниже и ниже никла на ступеньки лестницы. Вой ее походил на собачий лай. Степан Федорович тыкал кулаком Катерину в зубы, чтобы отрезвить ее физической болью.

Старик Скудрин хотел перехитрить, переюродствовать мир, свою злобу, защищаясь юродством, человек породы юродивых, которые убивают. В вольтеровской тишине своего дома он был у жены в то время, когда по дому понесся звериный вой дочери. Старик утверждал, что он может все перехитрить и переюродствовать, — старик радовался, когда ему плевали в лицо, ибо за заплеванными глазами он хотел пронести — никому не известную, но свою собственную честь, где ютились — дом, корова, красное дерево, он сам, жена, дочь. Дочь выла в ужасе и физической боли, выла отвратительно, по-собачьи, на весь дом и на весь мир. Облезлый, грязный, зловонный старик Яков Карпович увидел дочь на лестнице в мезонине, она сползала вниз по ступенькам,

не принадлежа себе, и Степан Федорович Бездетов бил ее по лицу. У матери Марии Климовны не было своей жизни, ее жизнь ограничивалась калиткой и тропинкой к церкви Бориса и Глеба. Старик видел, как мать обнимала дочь, мать прижимала свою сухонькую грудь к спине дочери, мать перебирала своими костяными пальцами волосы дочери, прижимала голову к дочерней шее, — мать была очень серьезна, — не веря глазам, мать пальцами отрагивала дочь. Старик услышал, как сказала мать:

— Катенька, Катюшенька, — зачем же тогда я-то прожила свою жизнь?

Старик кутал голые ноги в женскую шаль. Он плакал, старик, слепо подняв голову в темноту лестницы и мезонина, — и он — плясал, выделывая антраша на месте, последний раз в жизни. Дочь хотела вползти в щель между ступенек. В стороне, накинув на ночное белье сюртук, стоял степенный Павел Федорович, один из отцов возникшего ребенка. Дочь выла по-собачьи. И старик, плача и приплясывая, воя, как дочь, бросился ее бить. Он бил ее ногами и подсвечником по лицу и в живот, потому что те плевки, которым он подставлял свое лицо, переплюнуты были через лицо в душу. Когда старик, воющий и задыхающийся, обессиленный болью и любовью, упал на затихшее в судорогах тело Катерины у нижней ступеньки лестницы, — братьев Бездетовых уже не было в доме. Старуха мать — Мария Климовна отливала водою старика, судорожно целовавшего дочь. Дочь лежала с открытыми глазами, с мутными взорами на потолок, — глаза матери яснели страданием женщины, не имевшей своей жизни, всегда подчинявшейся всем.

И тогда старик пошел вон из дома.

Несколько часов тому назад старик пребывал в счастии, наслаждаясь жизнью, убивающий юрод. Баба-провинция сидела барыней у него на диване в гостиной, когда торшер мигал Вольтером. На подоконник к нему залезал брат охломон Иван и говорил, что ни он, Иван, ни профессор Полетика не теряли чести, потерею которой ликовал Скудрин. Яков Карпович, наслаждаясь жизнью, прогнал Ивана и обещал повидаться с Полетикой.

И старик увидел Полетику в этот глухой свой час. Старик бежал из дома. Навстречу Скудрину под Ма-

ринкиной башней шли Полетика и Садыков. Старик загородил дорогу Полетике.

— Спасибо, спасибо, спасибо! — закричал Скудрин. — Вот мы и встретились. Давайте поговорим теперь! — я расскажу вам правду о жизни, да, не хуже вашей! — Я теперь со стыдом поговорю!

— Извините, — сказал Полетика, — я не имею обыкновения разговаривать на улицах с незнакомыми людьми. А кроме того, вы больны, должно быть.

Скудрин закричал безумно:

— Кто болен? — я болен? — да, спасибо, спасибо, спасибо!.. Господин профессор, вы говорили нынче с моим братом Иваном. Я не хуже его, поговорите со мною! Я вам о чести скажу! — Когда же настанет время, когда люди перестанут убивать друг друга!? Господин Полторак испугался убийства, а я смеялся над ним. Мне поговорить хочется, душу отвести!..

Садыков вгляделся в лицо Скудрина.

— Вы — Яков Карпович Скудрин? — спросил он.

— Да, Скудрин! Да, всех хотел перехитрить!.. я... —

Но Садыков не дал ему договорить фразы.

— Идемте, Пимен Сергеевич, — сказал он, — с этим стариком говорить нам не о чем.

Маринкина башня безмолвствовала. Безмолвствовала ночь. Полетика и Садыков ушли.

Полетика в это время говорил Садыкову:

— Еще раз вернемтесь к истории. Россия всегда была форпостом и охранителем Европы. Вспомните времена от третьего до пятнадцатого веков, когда на нас шли кочевники Азии, те самые бесчисленные аланы, готы, гунны, которых раскапывает теперь Любовь и которых мы — живущие на российской равнине — задерживали своим мясом, своим мясом предоставляя Западу возможность не стираться с лица земли, как это несколько раз делали россияне. Я рассказал вам о наступающих пустынях, я рассказал, как эти пустыни остановить. Мы остановим пустыни, опять спасая Европу. Но теперь мы заслоняем Европу не нашим мясом, но знанием.

В руках Скудрина оказался прутик, неизвестно как возникший, тот самый, которым он пас в лугах коров. Старик побежал по улицам, босой, с непокрытой головой, в рубашке до колен, с прутиком в руке. Голова ста-

рика закинулась вверх, старик плакал, старик не видел своей дороги, и старик помахивал прутиком, точно гнал коров, которые в действительности не существовали.

Старик подходил к инженерам, как ходят слепые, ноги его проваливались во мрак земли, этого юрода, который хотел убивать. За спиною старика мутнела зеленая щель горизонта. Старик подпирал небо.

Сказал Ласло:

— Вы знаете музееведа Грибоедова? — он каждую ночь пьет водку с деревянным Христом. — Да, эти луга будут залиты, и будут залиты все наши боли. Все наше — пустяки, ибо все это исчезнет.

Полторак не успел ответить, — подошел Скудрин. Скудрин остановился против Полторака, Скудрин плакал, и Скудрин заорал, завыл, запричитал:

— Спасибо, спасибо, спасибо! — спасибо вам, Евгений Евгеньевич! — Спасибо, спасибо, спасибо!..

Ни Полторак, ни Ласло не удивились Скудрину.

Сказал Полторак:

— Еще подобрался мертвец. Старик, а умирать не хочет.— Полторак помолчал и спросил брезгливо: — Стало быть, подрывать не будем? — вы тоже не годитесь даже во вредители? У вас патриархальная совесть иссякла?

Старик не слышал, старик кричал, воя:

— Спасибо, спасибо, спасибо!

— Да, да! — крикнул, оживляясь, Ласло, — вы знаете, что такое камеры-обскуры книг?! — Да, пройдет еще очень немного времени, и даже места нельзя будет найти, вот этого, где мы сейчас сидим, пройдет еще немного лет, и...

Полторак вынул браунинг, осмотрел его, проверил кассету, ввел пулю в ствол, поиграл, — воткнув палец к гашетке, повертел браунинг на пальце, — сказал:

— Кто первый?

Инженеры сидели на корточках друг перед другом. Старик стоял над ними, с головою в небо, с прутиком в руке, которым он махал в такт воющего своего спасибо. Дождь косил, поспешая, косыми каплями. Зеленая муть на востоке разрасталась.

— Я все время интересовался, — на крови или без крови? Смерть на строительстве была, — и вашей жены, и наши, — сказал Полторак. — Стало быть — с кровью.

Глаза Ласло вдруг стали к тому, чтобы действовать.

— Да, — я расстреляю вас, потому что вы вредитель, — и я на самом деле убью себя.

— Кто первый? — спросил Полторак, усмехнувшись.

Старик выхватил револьвер из рук Полторака, широко в сторону откинув прутик. Скудрин выстрелил, этот старик, потерявший время и боязнь жизни, пуля ударила в лицо Полторака. В тот момент, когда Ласло увидел дуло револьвера около своего лица, глаза его были к тому, чтобы рождать действие. Нарождался рассвет. Старик кричал:

— Спасибо, спасибо, спасибо!

Седая голова старика подпирала небо. Старик выстрелил себе в рот. Солнце над Россией, над Союзом Советских Социалистических Республик, восходит целых восемь часов, ибо в час, когда над Владивостоком полночь, над Москвою четыре часа дня, а когда полдень над Владивостоком, над Москвою — рассвет.

В те минуты, когда воющий старик в бессилии боли и любви упал на затихшее в судорогах тело дочери, братья Бездетовы ушли из дома краснодеревой старины. Братья Бездетовы знали историю старины не только красного дерева, но и многих искусств. В 1744 году директор китайского каравана Герасим Кириллович Лобрадовский, прибыв на кяхтинский форпост, принял там в караван некоего серебряника Андрея Курсина, уроженца города Яранска. Курсин, по наказу Лобрадовского, поехал в Пекин, чтобы выведать там у китайцев секрет фарфорового производства, парцелена, как тогда назывался фарфор. В Пекине, через учеников прапорщичьего ранга, Курсин подкупил за тысячу лан, то есть две тысячи тогдашних русских рублей, мастера с богдыханского фарфорового завода. Этот китаец показал Курсину опыты производства парцелена в пустых кумирнях в тридцати пяти ли от Пекина. Герасим Кириллович Лобрадовский, вернувшись в Санкт-Петербург, привез туда с собою и Курсина, и послал государыне донесение о вывезенном из Китая секрете парцеленного дела. Последовал высочайший указ, объявленный графом Разумовским барону Черкасову, об отсылке приехавших из Китая людей в Царское Село.

Почести Курсину были велики, но его воровство проку не дало, ибо на деле выяснилось, что китаец обманул Андрея Курсина, «поступил коварно», как тогда сообщалось в секретном циркуляре. Курсин вернулся к себе в Яранск, страшась розог. Одновременно с этим, 1 февраля 1744 года, барон Корф заключил в Христиании секретный договор с Христофором Конрадом Гунгером, мастером по фарфору, обучавшимся, как он говорил, и познавшим мастерство в Саксонии на Мейсенской мануфактуре. Гунгер, сторговавшись с бароном Корфом, секретно на русском фрегате прибыл в Россию, в Санкт-Петербург. Гунгер оказался беспокойным немцем, шарлатаном и вралем. Гунгер приступил к постройке фарфоровой фабрики, впоследствии ставшей императорским фарфоровым заводом, — и приступил к производству опытов, попутно учиняя дебоши и драки на дубинках с русским помощником его бергмейстером Виноградовым, — и бесполезно занимался этим делом до 1748 года, когда был изгнан из России за шарлатанство и незнание дела. Гунгера заменил Виноградов Дмитрий Иванович, ученик Петра Великого, беспутный пропойца и самородок, — и это он поставил дело русского парцеленного производства — таким образом, что русский фарфор ниоткуда не заимствован, будучи изобретением Виноградова. Но родоначальниками русского фарфора, все же, надо считать яранца Курсина, кругом китайцами обманутого, и немца Гунгера, кругом Европою обманывавшего.

Русский фарфор имел свой золотой век. Мастера императорского завода, «vieux»[1] — Попова, Батенина, Миклашевского, Юсупова, Корнилова, Сафронова, Сабанина, старого Гарднера — цвели крепостным правом и золотым веком. И, по традиции Дмитрия Ивановича Виноградова, российского бергмейстера, около фарфорового производства пребывали — любители и чудаки, пропойцы и скряги, — заводствовали светлейшие Юсуповы, столбовые Всеволожские — и богородский купец Никита Храпунов, поротый по указу Александра Первого за статуэтку, где изображен был монах, согбенный под тяжестью снопа, в коем пряталась молодая пейзан-

---

[1] Vieux — старый *(фр.)*.

ка. Все мастера крали друг у друга «секреты», Юсупов — у императорского завода, Киселев — у Попова, Сафронов подсматривал «секрет» ночами, воровски, в дыру с чердака. Эти мастера и чудаки — руками крепостных — создавали прекрасные вещи. Братья Бездетовы в совершенстве знали все марки старых фарфоровых фабрик, их глазури, их золото, их «кисти».

Вышед от скудринского краснодеревого осьмнадцатого века, в безмолвии и деловитом покойствии, чуть хоронясь под заборами, степенно пошли братья Бездетовы к городу, в степенности, чуть-чуть напоминавшей котов, съевших чужую сметану.

Младший сказал старшему:

— Надо было бы донести в милицию как на Скудрина, так и на Полторака, указать, что нами раскрыто вредительство.

— Повременим, — коротко ответил старший брат.

По дороге к вокзалу младший Бездетов, Степан Федорович, заходил в гостиницу, стучал в номер Полторака. Ему отперла Надежда Антоновна.

— Евгения Евгеньевича нету дома? — спросил Степан Федорович.

— Нет, — ответила Надежда Антоновна.

И Степан Федорович сказал Надежде Антоновне по-домашнему просто, по-товарищески и деловито:

— Полагаю так, лучше вам будет уехать с нами, безобразие одно получается, что с Полтораком, что со Скудриным, а поезд будет через сорок минут.

Надежда Антоновна, в ночном белье, со свечою и с книгой, посмотрела на Бездетова удивленно, на его сюртук и нарочитую степенность.

— Кто вы такой и откуда вы меня знаете? — спросила она.

— Я есть реставратор-антиквар, — ответил Бездетов, — вас мы видели с Евгением Евгеньевичем и слышали о вас от него. Говорю чистосердечно, как товарищ, — уходить надо подобру-поздорову, поверьте на слово.

Надежда Антоновна не очень удивилась, сказала:

— Ну, что же, поедем. Подождите, я сложусь. Там осталось вино. Отвернитесь и пейте. — Спросила: — Какой-нибудь скандал произошел?

— Вроде, — ответил Бездетов.

В просторном номере горела свеча, унося свет под своды. Степан Федорович степенно допил барзак, закурил. Надежда Антоновна прикурила у него. В крепости номера пахло духами и свечным нагаром.

— Мы, не имею чести знать, как вас зовут, — мы товарищи с вами по искусству, — сказал Бездетов.

Коломна пребывала во мраке и пустоте, на окраинах выли псы, поэты русской провинции. Дождливая ночь военного города Коломны чернела и мокла. Люди штабов и армий спали перед сражениями дней, оставив бодрость собакам да ночным сторожам, пугавшим ночь сторожевыми посвистами и колотушками. Черные мостовые под дождем расползались в лужи. Около станции, у этого узла, где перебрасывались армии и материалы армий, в темноте по-солдатски фыркали лошади. Около станции почему-то горою валялись русские сапоги — не философия, но конкретное утверждение российских дорог. Кустарничество пахло дегтем. В темноте, густой, как деготь, которым она пахнула, бегали сапожники и по-извозчичьи ругались с извозчиками. На перроне от просторного мрака реки валило сыростью. Строительство упиралось в небо электрическими огнями. Коломна развалилась в безмолвии, отступающий в историю город. На перроне под дождем российский интеллигент в шляпе и в криво сидящем пенсне миролюбиво рассказывал дождливые и тыловые истории, о кино. Кино помещалось в профсаду, в утепленном сарае, — и звонков в кино не полагалось, а сигнализировали с электростанции — всему городу сразу. Первый сигнал, — надо кончать чай пить, второй — надо одеваться и выходить на улицу. Электростанция работала до часу, — но в дни именин, октябрин и прочих неожиданных торжеств у председателя исполкома, у председателя промкомбината, у главного техника — электричество запаздывало потухать иной раз на всю ночь, — и остальное население приноравливало тогда свои торжества к этим ночам, справляясь о них предварительно. В кино же однажды уполномоченный внуторга, не то Сац, не то Кац, в совершенно трезвом виде, толкнул случайно по неловкости жену председателя исполкома, — та молвила ему, полна презрения: — «Я — Куварзина!» — уполномоченный, будучи не осведомлен о силе сей фамилии, извинился удивленно, — и был впоследствии за свое удивле-

ние похерен из уезда. Интеллигент говорил о начальстве, так и называл — начальство, о том, что жило оно скученно, остерегаясь в природной подозрительности прочего населения, занималось склочками, которыми заменяло общественность, и переизбирало каждый год самого себя с одного уездного руководящего поста на другой в зависимости от склочащих группировок. Интеллигент закурил папиросу, заговорил торжественно, принимая на свою совесть ответственность за слова, со знанием дела: — хозяйствовал промкомбинат, членами правления комбината были — председатель исполкома (муж жены) Куварзин и уполномоченный рабкрина Преснухин, председательствовал — Недосугов. Хозяйничали, по утверждению интеллигента, медленным разорением революционных богатств и по принципу тришкина кафтана, головотяпством и любовно. Лесопильный завод работал — в убыток, маслобойный — в убыток, вальцовка — в убыток, кожевенный — без убытка, но и без прибылей, и без амортизационного счета. Зимою по снегу, сорока пятью лошадьми, тащили из конца в конец уезда, верст сорок расстояния, котел на этот кожевенный завод, — притащили и бросили — за неподхо-дящестью, списав стоимость его в счет прибылей и убытков, — покупали тогда на предмет дробления корья соломорезку — и бросили, ибо корье не солома, — списали. Улучшали рабочий быт, жилстроительствовали, — купили двухэтажный деревянный дом, привезли его на завод и — распилили на дрова, напилив пять кубов, ибо дом оказался гнилым, — годных бревен осталось тринадцать штук; к этим тринадцати бревнам прибавили девять тысяч рублей — и дом построили: как раз к тому времени, когда завод закрылся, ввиду его, хотя и неубыточности, как прочие предприятия, но и бездоходности, — новый дом стоит порожним. Интеллигент волновался. Убытки свои комбинат покрывал распродажею оборудования бездействующих дореволюционных предприятий, — а также такими комбинациями: Куварзин-председатель продал лес Куварзину-члену по твердым ценам со скидкою в пятьдесят процентов, за двадцать пять тысяч рублей, — Куварзин-член продал этот же самый лес населению и Куварзину-председателю, в частности, по твердым ценам без скидки — за пятьдесят с лишком тысяч рублей. Дарили однажды

Куварзину портфель с монограммой, деньги на портфель взяли из подотчетных сумм, а затем бегали с подписным листом по туземцам, чтобы собрать деньги. Интеллигент волновался и гладил свою бородку, мокрую в дожде.

Поезд подошел медленно, шарил темноту своими огнями. Люди загалдели и засуматошились.

С полночи в эту ночь акатьевский дед Назар Сысоев повез на станцию тучковские диван и кресла. С вечера полил дождь, и грязи развезло в полчаса — по втулки колес и по колено лошадям. Дорога пролегала приокскими холмами, по глине. Дождь поливал упорно, и дед Назар торчал на передке, стар и молчалив. Ольга Павловна сидела на возу сзади Назара. Поля расстилались пасмурны, мокры, безмолвны. Спешили к поезду. Лошадь раздувала бока усталым дыханием. Грязь разливалась в озера. Ехали полями такими же, как они были пятьсот лет тому назад. Объехали деревню Зиновьевы Горы, протащились окраинами грязей ее семнадцатого века мимо усадьбы потомков декабриста Лунина. Под селом Протопоповом дорога пролегла в овраг. Спустились по глинам до моста, переехали мост. За мостом темнела лужа, колдобина. Въехали в лужу. Лошадь рванула и села. Дед Назар ударил лошадь кнутом, — лошадь дернулась и не двинулась с места. Грязь оказалась непролазной. Телега увязла посреди лужи, левое переднее колесо увязло выше чеки. Дед Назар изловчился на передке и ударил лошадь сапогом в зад, — лошадь дернулась и упала, подмяв под себя оглоблю, ушла в тину по хомут. Дед Назар подергал вожжи, почмокал, — лошадь не двигалась. Тогда Назар полез в грязь, чтобы выпрячь лошадь. Он ступил, нога ушла в грязь по колено, — он ступил второю ногой, — и он завяз, он не мог вытащить ноги из глины, ноги вылезали из сапог, сапоги засасывались глиной. Старик потерял равновесие и сел в лужу, увязая в глину до локтей. И старик заплакал — горькими, истошными слезами отчаяния. К поезду тучковские кресла и диван не поспели.

Поезд же оказался пустым, вагоны пребывали во мраке, на верхних полках спали и тяжело пахнули зарайские мужики, покойствовали сон и тихие шепоты, как всегда в прифронтовых поездах. Братья сели рядом, посадив напротив Надежду Антоновну, дремали в

усталости и слушали храпы с полок. В чемодане Бездетовых оставалась последняя бутылка коньяку. В дремоте тылового поезда, с большими перерывами для раздумий, братья пили коньяк из серебряного поставца, крякали, угощали спутницу, убирали коньяк. Поезд проходил просторами российских древностей. Младший Бездетов спрашивал шепотом старшего, склоняясь рассудительно к его уху:

— До убийства не дошло?

— Надо полагать, убил, — отвечал, шепча в ухо младшему, старший.

— Ребенок — либо твой, либо мой, надо полагать.

— Надо полагать, так и есть.

Поезд вез сон и тяжелый дух тылов из Коломны в Москву. Через полчаса, после коньяка, Степан спрашивал:

— А нам — не донести ли? — как бы до суда об изнасиловании не дошло.

— Повременим. Надо полагать, об изнасиловании дела не будет, — отвечал старший, — подождем денька три-четыре, тогда напишем донос, либо скроемся.

Москва, в которую уперся поезд, пребывала в шуме, рыке и гаме, столица. На площади вокзалов вереницами ползли грузовики и ломовые, лошади которых казались сильнее грузовиков. Человеческие толпы стекали поездами, трамваями, автобусами. Паровозы, трамваи и автобусы, кроме людей, развозили плакаты и шумы, за которыми люди должны были кричать, чтобы слышать. Плакаты подпирали небо. Фаланги людей мяли улицы. Фаланги автомобилей мяли человеческие толпы. Улицы, забитые в камень, напрягали силы в спокойствии, в хмурости запыленных окон. Москва громыхала грузовиками дел, начинаний, свершений, развороченная строительством и перестраиваемая наново. Автомобили перли на дома, чтобы сдерживать неподвижность улиц, которые мешали автомобилям. Утренняя рабочая Москва была стальной и серой, этот форпост в будущее человечества. Надежда Антоновна, толкаясь в толпе, говорила о старом Гарднере и Сабанине. Павел Федорович поучал, закладывая большой палец за лацкан сюртука. Надежда Антоновна ехала к Безде-товым пить кофе. Такси понес стороною от Москвы, которая командова-

лась Кремлем, от Москвы рабочих и грузовиковых дел, — шел на Живодерку той жизни и тех людей, которые полагали, что глетчерные льды бывшего могут втекать в настоящее, не тая. Живодерка Бездетовых была глетчером в старину. Искусство красного дерева осталось от столетия безымянным искусством, искусством вещей. Мастера спивались и умирали, а вещи оставались жить, и жили, — около них любовничали, старели, в них хранили тайны печалей, любовей, дел, радостей. Елизавета, Екатерина — рококо, барокко, Павел — мальтиец, Павел — строг, строгий покой, красное дерево темно заполировано, зеленая кожа, черные львы, грифы, грифоны, Александр — ампир, классика, эллада. Люди умирали, но вещи живут, — и от вещей старины идут «флюиды» старинности, отошедших лет. В 1929 году — в Москве, в Ленинграде, по областным городам — возникли лавки старинностей, где старина покупалась и продавалась, — ломбардами, госторгом, госфондом, частниками. В 1929 году было много людей, которые собирали «флюиды». Люди, которые покупали вещи старины после громов революции, у себя в домах, облюбовывая старину, вдыхали — живую жизнь мертвых вещей, — оживляли — мертвую жизнь мертвых вещей. И в почете у покупателей был Павел, мальтиец, прямой и строгий, как казарма, когда казарма превращена в гостиную, без бронзы и завитушек. Братья Бездетовы жили на Владимиро-Долгоруковской, на Живодерке, — антиквары, реставраторы. Их подвал останавливал время, заваленный стариною александров, павлов и екатерин. Братья — императорами — умели поговорить о старине и мастерстве. В их подвале вдыхалась старина, которую можно облюбовать и купить. Свои разговоры реставраторы поливали коньяком, перелитым в екатерининский штоф, и из рюмок бывшего императорского алмазного сервиза. И кофе у них был настоящим, в батенинском фарфоре, очень крепким, сваренным мастерски. Надежду Антоновну реставраторы убедили сесть на павловский диван с ногами и пододвинули к дивану екатерининский столик со сладостями и с ликером. Сюртуки антикваров врастали в старину, как и уменье их разговаривать. Надежда Антоновна пила кофе, — ей хотелось спать, — Павел Федорович показывал миниатюры Тропинина, фарфор, русские го-

белены, гладил руки Надежды Антоновны, говорил о старине и подливал ликера. На клавикордах сыграл Павел Федорович Бетховена. Часам к двенадцати Надежда Антоновна заснула на диване, попросив не будить до семи. Братья, помывшись под грязным краном, ходили к Старому Пимену на аукцион. В церкви, то есть в ломбарде были привычные дела и привычные люди, — здесь продавали с аукциона бедность и несчастие вещей, от которых шли «флюиды». В церкви, заваленной рухлядью, в алтаре сидел аукционист. Братья привычно трудились. К пяти братья, закупив вин, сладостей и едов, вернулись домой. Надежда Антоновна проснулась бодрой, веселой и деловитой. Время пошло за рвами революции. Надежда Антоновна звонила по телефону подруге:

— Ксана, я сижу в допотопностях, в допотопном подвале, в красном дереве, мы пьем коньяк из чарок семнадцатого века, здесь пахнет столярным клеем и герленом. Приезжай к нам, мы будем безобразничать и веселиться, как пастушки в осьмнадцатом веке. Патрон сыграет нам на клавикордах пастушечьи пасторали. Здесь сводчатые потолки, паутины, сырость, и патроны ходят в сюртуках. Патроны не умеют связать двух слов, пока они не говорят о древностях.

Бездетовы устраивали обед на гарднеровском сервизе, холодя водку и белые вина, подогревая красные. На первых присланных с юга грушах блестели слезы сока. К круглому столу пододвинулись четыре кресла. Подруга Надежды Антоновны была той породы женщина, которые наперекор стихиям даже летом ходили по Москве в мехах, закарминенные и встречавшиеся в сумерки на Кузнецком мосту, а ночами на танцевальных собраниях. Женщины играли в осьмнадцатый век, останавливали время и пили водку в ряд с мужчинами. Павел Федорович отлучался от стола к клавикордам. Хрусталь бывшего императорского алмазного сервиза тяжелел золотом абрау-дюрсо. Вновь был кофе, крепкий, по-турецки, смешанный с ликером и коньяком. Запах столярного клея стерся запахами духов — теперешних и древних: Степан Федорович показывал гостям старинные пелерины,150 роброны, турнюры, шали, веера, — старые шелк, бархат, тафта, кружево, слоновая кость и китовые усы пахнули увядшими духами

прежнего. Надежда Антоновна клала ногу на ногу, кусала во хмелю губы и говорила:

— В биографии Сергея Есенина, человека, прожившего фантасмагорическую жизнь, — слушайте, я читаю лекцию! — в биографии будет подчеркнуто, что этот человек жил только эмоциями, чем категорически отличен от людей нашей эпохи. Слушайте, слушайте! — Сергей Есенин трагически погиб. Сейчас я хочу остановиться на гибельной встрече с Изадорой Дункан. Сергей Есенин стал любовником мировой актрисы, пятидесятилетней женщины, бессильной погасить свои страсти, не умевшей говорить по-русски. Женщина, актриса, сводившая с ума многие мозги земного шара, стоившая человечеству не один миллион рублей, которую знали от Гонолулу и Нью-Йорка до русского Ирбита, которая знала все косметические фабрики мира, чтобы сохранить свое тело, — эта женщина отдалась рязанскому юноше с реки Оки, которой больше не будет под его селом Константиновом, — и по морали нашей богемы — было честью Сергея Есенина иметь такую любовницу, с которой он должен был говорить через переводчика. Это было веселым озорством и славой, подобно тому, как сегодняшняя наша ночь. Но Есенин женился на Изадоре Дункан, стал ее мужем — и это стало гибелью Есенина, — слышите? — гибелью! — В их отношениях и в пьяной водке ничего не изменилось. Но это стало гибелью, потому что все оказалось всерьез, потому что всерьез стала около двадцатилетнего с немногим юноши пятидесяти-с-лишним-летняя женщина, такая, которая не знала языка Есенина, которая пила страсть и славу очень многих мужчин во всех местах земного шара, облюбленная земным шаром, уставшая на земном шаре, разучившаяся спать ночами и носить человеческое платье, пившая стаканами, как мы, русскую водку, названную русской горькой. Такую женщину нельзя любить, — слышите ли?! — Сергей стал не Есениным, но Сергеем Дункан, как Изадора стала Изадорой Есениной. Аржаной лирик, прекрасный человек, Сергей Есенин бил Изадору Дункан кулаками по лицу, ногами в живот, — это он бил самого себя. Он читал ей свои стихи, где называл ее сукой, которых она не понимала, — и стаканами пил с ней русскую горькую, этими стаканами выпивая свою жизнь, свои кровь и стихи!..

Надежда Антоновна пьянела, как и ее подруга, и старалась быть осьмнадцативековой маркизой в алкоголе. Реставраторы трезвели. Реставраторы раскладывали старину. К десяти приехал автомобиль, четверо они поехали за город, по петербургскому шоссе. В половине двенадцатого они были в актерском кружке около Старого Пимена, за ломбардом. В синем ночном небе над Пименом вместо креста торчало в звезды дрекло. Лакеи в артистическом кружке не гнались за осьмнадцатым веком, храня добрый, по их повадке, девятьсот тринадцатый, подавали замысловатый ужин, угощали клубникой в белом вине. Женщины танцевали под джаз-банд, братья расправляли фалды сюртуков. В половине третьего, в глухих пустоте и мраке улиц, заснувших перед сражением дня, опять на автомобиле, вернулись на Владимиро-Долгоруковскую. Все были пьяны. Братья варили кофе, в оловянности глаз. Степан Федорович убеждал женщин переодеться в старинные платья, — чтобы быть — как на картинах осьмнадцатого века, — расстилал на диване старинные шелка, чтобы на них покоиться. Женщины разделись, но вновь одеваться не собрали сил, голыми легли на диван, рядом, обнявшись. Братья, сняв, как доктора, сюртуки, уселись у женских ног, чтобы целовать. Глухая ночь медлительствовала в красном дереве. В красном дереве отражались свечи. Ликеры и кофе липли своею густотою. Пьяная и голая Надежда Антоновна говорила:

— Я не знаю, кто отец моего ребенка, и мне это совершенно не важно. Я беременна, и я не сделаю себе аборта. Я не боюсь жизни. Мы новые люди. Умирают нации, но у меня будет свой сын, рожденный эпохой. Это хорошо, что я не знаю, кто его отец. Это — новая мораль. Я мать — и это очень древне. Сегодня я пью последний раз. Утром пойду к доктору.

Степан Федорович заботливо стал тушить свечи.

Утром Надежда Антоновна ходила к врачу. С Садовой от врача она шла Воротниковским и Пименовским переулками. Глаза Надежды Антоновны смотрели в запространства. У ломбарда толпились чуйки перекупщиков, — у того самого Пимена, которых было несколько, как установил профессор Полетика, — святых православной церкви, из коих первый был пале-

стинским преподобным и подвизался в пустыне Руве при Маврикии, — второй был египетским аввою и постоянно плакал о грехах своих и других людей, — третий и четвертый были киево-печерскими иноками и о них писали в минеях, — «что тя ныне, Пимене, именуем, монахов образ и исцелений самодеятеля, воздержания ранами страсти уязвища душевные, добродетелей сосед». — Глаза Надежды Антоновны смотрели в запространства. Над Москвою строилось сражение дня — этого военного города Союза Советских Социалистических Республик, когда Союз вел бой за социализм, бескровный, беспушечный бой, но бой по всем правилам сражений. Москва громыхала и фронтом, и тылом одновременно, грузовиками дел, начинаний, свершений. Москва была одним плакатом, единым лозунгом, в команде штабов и армий, стальная, серая, непобедимая Россия. По Тверской два мужичка вели медведя на цепи, медведь понуро глядел на автобусы. Тверскую перерывали траншеи переделываемых мостовых. На углах сидели сапожники, чтобы тут же чинить обувь. Бабы толковали о том, что нельзя достать швейных ниток и электрических штепселей, исчезнувших за спинами боев. Боями были — Днепрострой, Турксиб, Сороко-Котлас-Обская железная дорога, Магнитогорский комбинат, строительство на Оке. Страна переходила на хлебные заборные книжки, потому что перестраивала народное хлебное хозяйство. Страна, как Москва, была в походе. Москва шла к победе. История страны — шла. Люди жили фронтом. Люди были одеты одинаково в стандартные пальто, пиджаки, платья. Москва громыхала делами и свершениями дел, потому что не только ученые Штейнахи, Вороновы и Лазаревы знают путь к продолжению человеческой жизни, каждого человека в отдельности, путь медицины, — но есть и другой путь — освобождения времени человека, освобождения человека и его труда, когда человек может осмыслить жизнь и построить ее своей волей. Этот путь строился войной за социализм, боями Турксиба, Днепростроя, Строительства.

Доктор, моя руки после осмотра, сказал Надежде Антоновне, что она, действительно, беременна, но что она также больна сифилисом.

Солнце над Союзом Советских Социалистических Республик поднимается в восемь часов.

В этом месте читатель благоволит просмотреть газету «Новая река» [1].

НОВАЯ РЕКА

В день проезда из Ленинграда в Коломну, в Москве, в номере Большой Московской гостиницы, Пимен Сергеевич Полетика, оторвавшись от чтения миней святых православной церкви Пименов, думал о повторности явлений. Тогда вспоминались детство, печерские пещеры, церковь Старого Пимена, где некогда он венчался, жена, супружество, просторный холод петербургской квартиры, — все это отошло, никогда не повторимо, в ломбарде. В ломбарде, то есть в церкви старого Пимена, вместо плохого кагора продавали в буфете простоквашу и пирожные. Извозчик у Большой Московской говорил о голомяной жизни и о том, что через очки ни пиля не видно. Двадцать пять лет тому назад молодой инженер — жил человеческой весною, — его сменил ученик Ласло, взял его, профессора Полетики, весну. Раздумья заслонялись видением, глазами художника, новой реки под Москвою и рассыпались телефонным звонком букиниста, антикварною вежливостью. Старые Пимены не стали образом: самое страшное в жизни есть то, когда человек начинает ощущать ненужность, так было с Антониевыми пещерами. Пимены, присланные антикваром, срослись с антикварами Бездетовыми. Академик Лазарев, вкапываясь в физические законы человеческой жизни, строя физические фундаменты человеческому бессмертию, установил, что самая высокая острота восприятий — в двадцать лет, — пусть так: взятое к двадцати годам человек сопоставляет всю жизнь.

Поезд, шаря в ночи, вез профессора в коломенскую старину к месту боя за социализм, причем бой этот да-

---

[1] В первом издании прилагалась газета.

вался профессором Полетикой. Наутро к строительству вышел бодрый старик, строитель, делатель.

И стало так:

— Вчера умерла моя жена, ставшая после меня женою Ласло. Она повесилась. Сегодня ее похороны, — громко и трудно сказал Садыков.

Солнце аккуратно обрезывало место фуражки на бритой голове Садыкова. Солнце светило очень ярко. Пимен Сергеевич спрятал свои глаза под брови, повторности явлений заключались в связь вещей. Жена Ласло, — дорога Садыкова — его, профессора Полетики, дорога: у обоих у них взял жен Эдгар Иванович Ласло, — но путь Садыкова страшнее. Мысли спутались в боль и — за болью — в нежность, уже стариковскую. Старик не любил показывать свои чувства, брови его собрались в строгость. Он был чудаковат, этот старик, достоинством строивший свою жизнь, особливый, как все стареющие люди.

— Да, они — моя жена и моя дочь, — строго сказал Полетика и постучал о стол копытцами своих стариковских ногтей, — и опять пришли на память коридоры в петербургском доме, покой, простор, и порог в коридоре, с которого Пимен Сергеевич видел в последний раз Ольгу Александровну, — за порогом Ольгу Александровну ждал Ласло, — по эту сторону порога Пимену Сергеевичу оставались дела, труд, мысли, время.

На пороге столовой дома для приезжающих появился странный человек в опорках и в засаленном пиджачке, подстриженный без зеркала. Глаза и движения пришедшего были сумасшедши. Он поспешно совал всем по очереди руку, раскланиваясь и рекомендуясь: «— истинный коммунист Иван Ожогов до тысяча девятьсот двадцать первого года!» — Садыков поздоровался с сумасшедшим почтительно. Мысли Пимена Сергеевича путались во времени. Правило человека — быть благородным — есть необходимое правило не только в плане, так скажем, морали высшей, но и просто выгодное для человека, ибо быть благородным — и удобней, и выгодней, — и разумней, — разум же человеческий — превыше всего. Отклонения от норм благородства — есть патология.

— Который из вас старый большевик, профессор Пимен Сергеевич, товарищ Полетика? — Нам надо поговорить! — крикнул Ожогов.

— Я — Полетика, — сказал Пимен Сергеевич.

— Вы!? — глаза сумасшедшего стали нежными и грустными. — Очень хорошо. Меня выгнали из партии в двадцать втором году за пьянство. Я, конечно, охламон. Однако я — коммунист. Пимен Сергеевич, товарищ профессор! — приходите в нашу коммуну, в наше подземелье! — товарищ профессор Пимен Сергеевич! — честными, честными надо быть! Мне от вас ничего не надо, только будьте честным! И я пришел заявить вам, чтобы вы сказали об этом на верхушке. — Я тебе скажу, товарищ, потому что мы оба ничего не меняли. Первая наша революция, большевистская, октябрьская, — революция социальная, — затем была вторая революция — культурная. Надо революцию — чести, совести, чтобы все были честными, — обратно — погибнем! Честными надо быть! Совестливыми!

— Кто вы такой? — спросил Пимен Сергеевич.

— Вас еще не выгнали? — переспросил Ожогов.

— Откуда?

— Из партии.

— Нет.

— Ну, выгонят, если не сделаем третьей революции.

— Кто вы такой?

— Я — погибший человек, пропойца и охламон, но истинный коммунист Иван Ожогов. У инженера Ласлы повесилась жена Федора Ивановича, — посмотрите на товарища Федора Ивановича, на нем лица нет! Посмотрите на товарища Ольгу Александровну, на прежнюю Ласлину жену, все время ходит с платочком у губ, губы придерживает, мается человек! Ласло новую жену в полтора месяца сжег, и сам почернел, как головешки из печи. Кто виноват? — честь! — никто не виноват! — Пимен Сергеевич, товарищ профессор, — мои коммунисты наказали вам, чтобы вы непременно пришли. Мы чести алкаем!..

Глаза сумасшедшего светились грустью и нежностью. Он кричал, прижимая руки к худой груди, его руки дрожали и дрожали в ознобе колени, у этого юродивого породы убиваемых, но не убивающих, у нищего,

побироши, юродивого лазаря советской Руси, юродство которого стояло за ним тысячелетием, от уделов, от царей. Старик дергался в судорогах и дрожал от головы до ног. У старика начинался припадок, слова проваливались в невнятицу и бессмыслие, — «честь, честь, честь!». — Юродивые — на советской — на «святой» — Руси в такие минуты пророчествовали и проклинали. Инженер Садыков совал Ивану Карповичу стакан с водою, вода стекала по бороде, подстриженной плохими ножницами без зеркала, грядками. Глаза сумасшедшего по-прежнему оставались добрыми.

— Да здравствует коммунизм, коммунистическая революция и честь! — крикнул Ожогов.

— Да, совершенно верно, — ворчливо сказал профессор.

Но Пимен Сергеевич не кончил. В погребах до июлей сохраняется снег, хранится зима: мысли Пимена Сергеевича ушли в зиму воспоминаний. Что бы ни было, все же каждый человек по-своему должен любить, решить свое место в труде, по-своему жить и умереть, — и у каждого должны быть и детство, и юность, и мужество, и старость, — и каждый имеет право на свою собственную честь. Студенчество уперлось в подполье, и сейчас забродили мысли по времени, как облака по небу в голомяный день, когда облака тяжелы и поспешны и над землею то солнце, то тучи.

— Да, да, совершенно верно, знаете ли. Когда я был студентом...

Ожогова унесли из столовой, забитого припадком.

Пимен Сергеевич просматривал планы, разметки сделанного, — планы на кальке и ватмане он видел миллионами кубов воды, формулы превращались в силы. Одно на другое ложились впечатления, — память об Ольге, похороны Марии, монолит строительства. Лето оказалось в погребе, — некогда дочь была маленькой девочкой, Пимен Сергеевич лялькал ее в здоровых тогда своих руках и пугал очками, — нынче она взрослый человек, женщина, коммунистка. Километры строительства, монолит, гранито-бетон, котлован, отводной канал, — созданные уже, — возвращались в формулы, и формулы сделаны были уже не тушью на бумаге, но

гранитом в природе. День проходил голомянен, это слово привязалось от извозчика, — на солнце наползали облака, тогда все блекло на недолгие минуты, чтобы быть особенно золотым, когда возвращалось солнце. Пимен Сергеевич говорил в строгости, щетинился старчеством. Пимен Сергеевич был на монолите, когда женщины бросили тачки и пошли к городу. Прораб на велосипеде догонял женщин, — прораб ничего не мог объяснить, из конторы спрашивали: — «забастовка?» — Прораб предполагал: — «демонстрация?» — Полетика сердито посматривал в небо и думал о том, что человек, человечество призвано не только перестраивать природу вещей, гнать обратно течения рек, впаивать в геологию монолиты, — но человек, человечество строит и монолиты понятий, перекапывая историю и подсознательное в человеке, строя новые человеческие отношения. Эти колонны женщин шли в будущее, — ни забастовка, ни демонстрация, — эти слова были ни к чему.

Рабочий день на строительстве сорван был похоронами чести. И в этот час растерянности Пимен Сергеевич ушел к себе, позвав за собою Садыкова, чтобы остаться вдвоем. За окном летали стрижи, предвещая дождь, о котором ничего еще не сказывало небо. Стрижи за окнами утверждали тишину. Пимен Сергеевич тяжело, в усталости сел на кровать. Комната пустела нежилой просторностью. Пимен Сергеевич попросил Садыкова взять стул и сесть поближе. Садыков сел. Пимен Сергеевич долго смотрел на Федора Ивановича, очень смущенно, сердитость его исчезла. Федор Иванович сидел, ссутулив плечи, смотрел понуро, землистый и усталый. Пимен Сергеевич улыбнулся ласково.

Старик заговорил:

— Я не случайно сегодня заговорил с вами, Федор Иванович, о наступающих пустынях. Впрочем, об этом еще успеем поговорить. Я сейчас думал о том, что у нас одинаковая судьба, — и это не верно, но я думаю о повторностях. Двадцать пять лет тому назад я венчался с Ольгой Александровной. Простите, что я не о делах. И у вас, и у меня жен увел Ласло. Ольга ушла от меня, и я знаю, что испытывали вы, когда от вас ушла Мария Федоровна. Да, я знаю, как это больно. Но я еще думаю, что у людей, следящих за собою, не бывает случайности,

пусть прошла вся жизнь. Расскажите о себе. Вы бываете у моих?

— О чем же говорить? Мария Федоровна подчинилась своим инстинктам и погибла потому, что у Эдгара именно эти инстинкты были сломаны. У ваших я был вчера вечером, — я отводил Любови Пименовне собаку, оставшуюся после Марии, — собака выла и не хотела есть из моих рук. Я у ваших бываю часто.

Опять заговорил Пимен Сергеевич, поднял глаза к потолку, заглядывая в свои погреба, во время, в пространство, которые разносились в тот час стрижами.

— Надо разобраться. Уход Ольги Александровны от меня я считаю патологией. Но мне не все видно. Я видел этих женщин, которые пошли на кладбище. Приостановка работ стоит несколько десятков тысяч рублей и гибели Ласло, ибо он, конечно, погиб. Вчера я был в церкви, в которой венчался, церковь моего имени. Но ломбарда в себе иметь я не буду. — Пимен Сергеевич улыбнулся виновато. — Федор Иванович, я думаю, вы не откажете проводить меня к Ольге Александровне. У людей, следящих за собою, не должно быть случайности, или эти случайности — патология. Мы же хорошо жили с Ольгой Александровной. А теперь мы уже старики, не правда ли? — И мне хочется повидать Любу, дочь. Я ведь ее очень любил и люблю.

Сказал Садыков, так же тихо и смущенно, как Полетика:

— Да, пойдемте. Там будут вам рады. — Садыков помолчал. — Ваша дочь, Пимен Сергеевич, — чудесный человек. А жить надо просто.

Пимен Сергеевич поднялся с кровати, очень смущенный.

— Федор Иванович, вы понимаете... — сказал Полетика и засердился, засупился, засмущался.

За окном утверждали тишину и зной голомяного дня стрижи, обрезывающиеся о воздух.

Бывают дни, когда человек должен быть дружен с землею, — бывают дни, когда люди заботливо делают все, что положено чином дня, чтобы не впасть в бесчиние боли. В доме сестер Скудриных был такой день. В такие дни по правилам русской провинции надо с

утра открывать окна, чтобы по комнатам бродил воздух, гонимый июльским тихим ветром. В комнатах тогда прохлада и зеленый свет от старых лип и кленов, и дикий виноград вокруг террасы прячет золото дня, — то самое золото, которое разлито над садом и упирается в головы подсолнухов у изгороди. Ольга Александровна заботливейше рылась в саду над грядками, чтобы зачинить, заштопать время, — руки ее были в земле. Она ходила по саду и дому в красной косынке, с руками, отставленными от бедер, чтобы не замараться землей. Она хотела быть в дружбе с землею, в этой редкой и счастливой дружбе, которая бывает у людей, умеющих любить, верить и быть верными, потому что только благородные по мыслям и помыслам люди могут любить, верить, быть верными, потому что только благородные по мыслям и помыслам люди могут любить, верить, быть верным. Чудеснейшее дело, утомляющее мышцы, — рыться в земле, тащить из грядок сорняки и видеть, как возрастает тобой посаженное, созданное твоими руками.

...У девочки Алисы были куклы. Одной из кукол, большой, тряпичной, чернильным карандашом Алиса пририсовала усы. Алиса никогда не называла отца папой, называя его, как мать, — Эдгаром, — эту куклу Алиса стала называть отцом — папой. В эту куклу Алиса играла тайком от всех, даже от Мишки. О том, что эта кукла называлась папой, Алиса рассказала только одному существу — собаке Волку. В дальнем углу сада, таясь от всех, в зное солнца, Алиса сажала на колени к себе папу, качала, ласкала, шептала: — «папочка, миленький, не горюй, приходи к нам, миленький, папочка!» — Некогда Алиса спрашивала Эдгара Ивановича:

— Эдгар, мы живем или играем? — вот ты и мама, вы — живете, а я и Миша — мы играем в куклы. Мы с Мишей — живем или играем?

Громоздкая тряпичная кукла с ужасными чернильными усами была очень грязна и очень страшна. Ночами Алиса клала эту куклу под подушку своей постели, когда ложилась спать, потихоньку от всех, чтобы не отняли у нее папы и не узнали о нем. И днем в зное она ласкала его.

День ушел к закату, собирался закапать дождь, надо было спешить, первые капли прошумели по листьям. Ольга Александровна пошла на террасу за бечевками, чтобы подвязать горох, — и она не сразу узнала человека, кажется, в широкополой шляпе, кажется, с палкою в руке. В сад с террасы прошел Федор Иванович, чтобы оставить пришедшего в одиночестве. Руки Ольги Александровны были замазаны землей. Навстречу Ольге Александровне шел бородатый старик. Старик любяще, удивленно, ласково смотрел на Ольгу Александровну. Пимен Сергеевич не мог смотреть иначе, потому что на террасе стояла женщина, единственная любимая, и потому что Пимен Сергеевич был добр, — и потому что он видел, что Ольга Александровна так же седеет, как он, преждевременно поседевший.

— Сколько лет я не видел тебя, Ольга, — сказал Пимен Сергеевич и смолк, чтобы собрать свои мысли. — Вот я и пришел к тебе.

— Как ты изменился, Пимен, — сколько лет мы не виделись! — сказала Ольга Александровна.

И вдруг глаза Ольги Александровны наполнились слезами, она беспомощно заломила руки, замазанные землею.

— Я пришел к тебе, Ольга, — навсегда.

— Я пойду вымою руки, — сказала Ольга Александровна и — протянула руки к Пимену Сергеевичу, протянулась к нему всем существом, — руки, измазанные землей, обвились вокруг его шеи.

Пимен Сергеевич поцеловал землю на руке Ольги Александровны. Ольга Александровна не отнимала рук, опустила голову. Жизнь может кончаться и начинаться может — каждый час, каждую минуту.

— А где Люба и вторая твоя дочка? — я решил, что я пойду к тебе в тот час, когда я узнал, что женщины пошли хоронить жену Эдгара Ивановича.

— Я пойду вымою руки, — сказала Ольга Александровна и не отняла рук. — Я ничего не могу сказать в объяснение.

В саду пела малиновка. Осенний дождь капал медленно, сиротливо, серо. Деревья притихли в дожде, смолкли, потяжелели. И малиновка пела очень сиротливо,

очень одиноко. Федор Иванович сидел на скамье в саду, под дождем. Дождь намочил его плечи и землю перед ним, дождь смочил его лицо. Федор Иванович сидел сгорбившись, ссутулясь, неподвижно. По его рубашке потекли ручьи. В саду затемнело. В саду стемнело. Дождь лил и лил. Небо слилось с деревьями, с землей.

И тогда в сад пришла Любовь Пименовна. За нею понуро плелся Волк. Молча, она села рядом с Федором Ивановичем. Волк лег около ее ног. Ни Федор Иванович, ни Любовь Пименовна очень долго не говорили ни слова. Дождь замочил Любовь Пименовну так же, как Федора Ивановича.

— Федор, — сказала Любовь Пименовна, — надо оглядываться назад, чтобы видеть будущее... На дне Оки нашли скифскую каменную бабу, — несколько лет тому назад я изучала историю этих баб... — Любовь Пименовна помолчала. — Эта баба, — сколько лет она лежала под водой? Я сейчас была у человека, которому некогда дала слово быть его женой. Я сейчас была у него, чтобы проститься с ним. Он никогда не поцеловал меня. Сейчас вы поймете, почему я не пошла с вами к Маринкиной башне, — вы помните.

Любовь Пименовна замолчала, опустила голову. Федор Иванович взял ее голову, положил на свои колени и внимательно смотрел, как капли дождя стекали по закрытым глазам Любови, смешиваясь со слезами, — или слез не было?

В дождливые вечера на террасах за диким виноградником всегда особенно хорошо, из сада пахнет цветами, сад темен, в саду шелестит дождь. И на террасе, когда мать и дочь ушли хозяйничать, мать — в дом, Любовь Пименовна — в сад за редиской и салатом, Пимен Сергеевич заговорил о своих работах, прислушиваясь к дождю и шелестам сада.

— Я говорил вам о пустынях, Федор Иванович, наступающих на человечество, уничтоживших Атлантиду, Аравию, Месопотамию, Монголию, наше Заволжье. Пустыня наступает на нас, на Западную Сибирь и на Европейскую Россию, пустыня подбирается под самую Москву, предвестники ее, суховеи и мги, доходят до Нижнего Новгорода, Рязани, Орла, Киева. Пустыни страшнее войн. Пустыни возникают, потому что теря-

ется равновесие между теплом и влагою, — когда тепла больше, чем противопоставленной ему влаги, солнце сжигает землю, уничтожает жизнь. А сколько гумусов каждую весну сносят реки в моря, вымывая из земли те соли и те химические составы, которые питают растительность. Реки веками промывали землю, оставляя песок и камни, бесплодно отдавая морям все то нужное, что питает жизнь. — Пимен Сергеевич помолчал, прислушиваясь к вечеру. Любовь Пименовна прошла мимо из сада, с пучками редиски и салата на тарелке, — лицо ее было счастливо. Ветер шумел в деревьях. Пимен Сергеевич заговорил вновь: — Я проработал проект того, как остановить пустыню, идущую на нас. Я составил уже и проверил карты и планы. Надо перекопать монолитом Волгу под Камышином и бросить ее в Заволжье, на Арало-Каспийские пески, на лессы Арало-Каспийской пустыни... В этой пустыне возникнут новые озера и реки, тысячи квадратных километров уйдут под воду, — но сотни тысяч квадратных километров оживут, отнятые у пустыни. Лессы, орошенные водой, площадь размером в половину Франции, насыщенные волжскими гумусами, будут отданы для посевов хлопка и риса. Пустыня превратится в древнюю Месопотамию, в дождях, в озерах, в субтропической растительности. Только одна десятая волжской воды дотечет до моря, — причем Волга будет впадать в Каспий не там, где она впадает теперь, но в заливе Комсомольцев, — остальная вода, расплывшись по новым рекам, каналам и озерам, в виде пара уйдет в небо, создав паровую завесу от пустыни, вода отдастся земле дождями и грозами, оставив гумусы для хлопка и риса. Этот кусок земли в половину Франции будет богатейшим в мире, — и он будет форпостом культуры в пустыню, его сырым зноем, росами, туманами, ливнями. Волга, брошенная на пустыню, переделает климат пустыни и его географию. Волга, сменив свое русло, будет впадать в Каспий около залива Комсомольцев, — и Каспийское море изменит свои рельефы, — земли, залитые сейчас морем, выйдут со дна морского, в частности, бакинские промыслы, которые сейчас искусственно отнимают у моря. — Старик помолчал. — Я много лет работал над этой проблемой. У меня составлены карты,

я проверил трассы и профили. Надо остановить пустыню. Мы остановим пустыню. Сейчас даже нельзя представить, что получит от этого человечество. То, что мы делаем здесь на Москве-реке, — это мелочь, — но она связана с тем планом, который я обдумываю. — Старик замолчал вновь. — Вот о чем я хочу просить вас, Федор Иванович.

Старик замолчал. Из мрака пахло табаком и левкоями. Прошумел ветер и слышно стало, как за ним посыпались на землю созревающие яблоки. Женщины накрывали на стол, мужчины стояли у барьера, под виноградными лозами. Любовь Пименовна подошла к Федору Ивановичу и облокотилась сзади на его плечо, чтобы послушать мужчин. Пимен Сергеевич улыбнулся дочери и глянул на них на обоих понимающими глазами.

И он сказал раздумчиво:

— Перекопать Волгу под Камышином, там Волга течет по наносам и левый берег ниже ее горизонтов, — бросить Волгу на пустыню, — создать форпост культуры, остановить пустыню — это возможность социализма, Федор Иванович. Я уже стар, Федор Иванович, голубчик. Мне не под силу взяться за выполнение этих планов. У меня к вам просьба. Я отдам вам мои проекты, карты, планы, чертежи, расчеты. Наша власть поможет вам. — Старик помолчал. — И вы уж позаботьтесь, чтобы они прошли в жизнь... А Люба поедет с вами, чтобы и там выкапывать века.

На террасе было очень покойно, к лампе летели мохнатые бабочки. Мужчины сели ужинать, и Ольга Александровна перед Пименом Сергеевичем поставила поджаренные сухари. У ног Любови Пименовны лежал Волк.

Запахи рыбы превращаются иной раз в запахи фиалки.

У сестер Скудриных, у старух Капитолины и Риммы, разно сложились жизни, у этих провинциальных, столбовых потомственных коломенских мещанок. В Коломне донывали колокола. Тридцать лет тому назад на Римму Карповну пал всеколоменский позор любви, чтобы позор остался счастием на всю жизнь. Все стало

позорным в любви Риммы Карповны. Она отдалась казначейскому любителю на бульваре и в Маринкиной башне она зачинала своих дочерей. Законная жена казначейского актера ходила бить Римму Карповну, — и коломенские законы были на стороне законной жены. У Риммы родились две дочери, наглядное пособие коломенского позора, вписавшие собою в паспорт Риммы Карповны — «девица» — «имеет двух дочерей». — Капитолина Карповна была всеколоменским примером, всем удовлетворявшая коломенскую честь. — И прошло тридцать лет. Время зазастило, время просеяло: Римма Карповна знает, что у нее в жизни — счастье. А у Капитолины Карповны осталась только одна жизнь, одно счастье: жизнь и счастье сестры. Честь Риммы, подобная речным перекатам и плесам, оказалась сильнее всеколоменской чести Капитолины, позор превратился в счастье, ибо тысячелетье деда Назара Сысоева, водившего по Оке плоты, уперлось в монолит, сломавший тысячелетье. — Природа не знает прямого движения, прямое движение абстрактно, как нуль. Законы течения рек — никогда не прямые — знают законы размыва своих русел. Профессор Полетика, исследуя условия залегания глин юрской системы на тальвеге Оки, установил, что долины Оки возникли, получили теперешние очертания и склоны еще до начала отложения меловой системы, в страшной древности: позднейшие осадки песка и мергеля мелового периода, показывая глины юрской системы, не имели столь мощной толщины, чтобы изменить черты юрского рельефа, и долины и водостоки мелового периода направлялись по прежним основным течениям.

Человек — профессор Полетика — сломал рельефы реки Оки, создав новую реку.

Охламон Иван Карпович Ожогов погиб в день, в часы возникновения этой новой реки.

Были дни, когда в Орловской, в Тульской, Калужской, Московской губерниях, на реках Москве, Угре, Жиздре, Плаве, Зуше, Нугре, Кроме сбрасывались воды с плотин, потому что строительство монолита было закончено, монолит подпирал природу, готовый кинуть наново воды и создать новую реку, сделанную человеческой волей. И воды стали наступать на монолит, воды ползли вширь

и вверх, чтобы пробить себе новое русло, приготовленное под Москвою, подмосковным каналом. Вода заливала луга, где лежали села Бобренево, Чанки, Парфентьево, Хорошево, Акатьево, отодвинувшиеся от новой реки. Вода залила дом Скудрина в Запрудах. Вода залила избу деда Назара в Акатьеве. Сотни тысяч людей, приехавших и пришедших смотреть рождение новой реки, праздновали победу строительства. Башню Марины Мнишек, башню легенд, — ее подножие омывала вода.

И в эти дни погиб охламон Иван Ожогов, окончательно сломав свой мозг. В часы, когда наступала вода, Иван Карпович, взяв своего пса Арапа, пошел с ним в подземелье кирпичного завода. Вода наступала на завод. Все охломоны ушли из подземелья. С каждой минутой все ближе и ближе наступала вода. Вода окружила завод. Иван Карпович сидел наверху у лестницы в подземелье. Пес жался к его ногам. Была ночь. Когда вода стала в нескольких саженях, Иван Карпович спустился к печи. Охламон лег на солому, приказав собаке лечь рядом, обнял собаку, повздыхал, закрыл глаза. Пес сиротливо положил голову на грудь Ивана, слушал шелест наступавшей воды. Во входную щель стал заползать рассвет, медленный, упорный, выволок из мрака обеденную доску, лист газеты на столе, кричащий завершением строительства. Иван лежал бородою и кадыком вверх, положив руку на спину собаке. Кадык остро торчал. Серый рассвет делал лицо человека очень бледным и бессильным. Рассвет выволакивал из мрака рассыпанную махорку на обеденной доске, опорки, глиняный рукомойник, жерло печи. Наверху шелестела вода, пахло водой, сырым простором. Ни человек, ни собака не спали. Подземелье наполнилось зеленой прозрачностью, тугой, как болотные воды. И человек, и собака подкарауливали друг друга. Вдруг наверху, на перекладину входа и на кусок печи, прорезав подземелье, упал золотой луч солнца. И собака не выдержала, — она бросилась наверх, она увидала громадное поле воды, обступившее вокруг, — она бросилась вниз, прильнула головою к груди охламона, прислушалась, схватила его за плечо, затрясла. Охламон не двинулся, не открыл глаз. Собака завыла. Охламон улыбнулся. Пес опять бросился наверх, опять затрепал хозяина.

И в это время с грохотом и шипом, зеленая, бросилась в подземелье вода. Вода залила подземелье в две секунды, не больше, задавив и человека, и собаку.

Так умер Иван Карпович Ожогов, прекрасный человек прекрасной эпохи девятьсот семнадцатого — двадцать первого годов.

Мальчик Мишка не спал, теми ночами и днями, когда возникала река, карауля воду. Возникновенье новой реки было для Мишки естественным первозданием, как для Ожогова и Садыкова первозданьем были заводские гудки. Мишка бегал смотреть, как вода заливает старую водокачку, подступает, подступила к Маринкиной башне, залила ее подножье, опустила башню в себя, этот древнейший коломенский памятник, около которого веками летало вороною души Марины разорение, в которой умерла Марина и зачинала Римма. И мальчик Мишка в час смерти Ожогова был у Маринкиной башни.

Ямское поле,
февраль — август 1929 г.

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ

Иван Москва. Впервые появилась в журнале «Красная новь» (1927. № 6). Вошла в восьмитомное Собрание сочинений (М. —Л.: Госиздат, 1929—1930), сборники «Очередные повести» (М.: Круг, 1927) и др. «Жизнь Ивана Москвы, героя повести, он изображает, однако, как личную его судьбу, определяемую главным образом обстоятельствами, «которые лежат вне человека и его воли, бывают иной раз значимей воли и человека» <...> В повести описываются яркими красками местность, в которой расположен завод, быт уральских рабочих, работы на заводе. Но все это лишь детали. Всю силу своего таланта Пильняк направляет на раскрытые тех обстоятельств, которые в конце концов приводят к гибели героя. Тут и тысячелетняя египетская мумия, и наследственная болезнь, и ряд случайных встреч и знакомств. Намеченный так реально образ рабочего, красного директора, постепенно окутывается пеленой чего-то таинственного, непознаваемого. Случайное затемняет у Пильняка основное — творческую силу рабочего класса, хотя в заключение Пильняк выражает свою уверенность в том, что вместо погибшего Ивана «за счет распада энергии Ивана едут полтораста студентов, “оттесняемых” в знание лесами, болотами и озерами Коми-земли» (Гитель О. Русская художественная литература в 1927 г. 1928. № 1—2).

В повести использована история ограбления Пильняка в Москве в 1918 году.

Штосс в жизнь. Впервые появилась в журнале «Красная новь» (1928. № 10). Вошла в восьмитомное Собрание сочинений (М. —Л.: Госиздат, 1929—1930) и в сборники «Избранные рассказы» (М: Гослитиздат, 1935), «Повесть непогашенной луны» (М., 1990) и др. «В повести Пильняка, — писал У. Фогт, — за-

хватывающей несколько моментов последних полутора лет жизни Лермонтова, мы как будто находим то, чего так недоставало в только что просмотренных произведениях. Образ Лермонтова показан здесь в соответствии с исторической действительностью — величественным, гордым и мрачным».

События, описанные в повести, также пересекаются с реальными событиями из жизни Пильняка, посетившего, будучи в Кисловодске, домик Лермонтова в Пятигорске (Галина Воронская. Воспоминания // Время и мы. № 116. 1992. С. 235—266). Сохранились также письма Пильняка А. И. Рыкову и Багданову с ходатайством о создании в этом доме музея (см.: Пильняк Борис. Письма. 2002. С. 327—328).

Красное дерево. Впервые появилась в Берлине, в издательстве «Петрополис» в 1929 году и вызвала нападки, переросшие в травлю, длившуюся до 1931 года. У нас в стране она не издавалась до 1989 года, когда появилась в первом номере журнала «Дружба народов». Кампания, открытая «Литературной газетой» (Волин Б. Недопустимые явления // Литературная газета. 1929. 26 августа), была первой организованной политической акцией, направленной против писателей, в данном случае, Пильняка и Замятина, поводом к которой послужила публикация в эмигрантских изданиях романа Замятина «Мы» и повести Б. Пильняка «Красное дерево». В основе своей она была нацелена на Всероссийский союз писателей, возглавляемый Пильняком (Замятин руководил Ленинградским отделением), и мешавший централизации руководства литературой и общему идеологическому повороту в стране (См.: Андроникашвили-Пильняк Б. Б. Два изгоя, два мученика: Б. Пильняк и Е. Замятин // Знамя. 1994. № 9. С. 123—154; Андроникашвили-Пильняк Б. Б. О моем отце // Пильняк Б. Повесть непогашенной луны. 1989. С. 3—25; Галушкин А. Дело Пильняка и Замятина. Предварительные итоги расследования // Новое о Замятине. 1997. С. 89—148).

РАССКАЗЫ

Поокский рассказ. Впервые рассказ был опубликован в журнале «Новый мир» (1927. № 3). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М. —Л.: Госиздат, 1929—1930), а также

в сборник «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935) и др. В основу рассказа положена история жизни брата отца Пильняка — Владимира Ивановича Вогау, закончившего, также как и отец писателя, Дерптский ветеринарный институт, где он и познакомился со своей будущей женой Луизой, одной из основных героинь рассказа. Пильняк хорошо знал семейный уклад и отношения дяди и тети, так как жил у них некоторое время в 1912—1913 годах, когда заканчивал последний год обучения в гимназии в Нижнем Новгороде.

«В Нижнем я жил в доме Костакова, у Пушкинского садика, неподалеку от Марьиной рощи и монастырей. Домом правила тетка Луиза, в доме блестели полы, потолки, листья филодендронов, кончики башмаков, в доме недоумевала тишина, в доме пахло сосною. Нижний — не Германия, не бьют кирки к кофе, обеду, и ужину, — и все же только в эти часы дом оживал тремя людьми в столовой. Луиза шла первой, высокая, стройная, в белом, в сорок лет, как в восемнадцать, — и скатерти от нее были целомудренней. И дядя Владимир — был в желтых, американских ботинках<...>», — вспоминает Пильняк (Пильняк Б. О Нижнем Новгороде. Воспоминания. // Н., —Новгород. Зори. 1923. № 1. С. 6—7).

Орудия производства. Впервые появился в журнале «Красная нива» (1927. № 23) под названием «Орудие производства». Вошел в восьмитомное собрание сочинений (1929—1930), в сборник «Рассказы с Востока» (М: Огонек, 1927) и др.

Дело смерти. Впервые появился в журнале «Новый мир» (1928. № 2). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.—Л.: Госиздат, 1929—1930), в прижизненный сборник «Рассказы» (Париж, 1933), неоднократно переиздавался впоследствии.

Верность. Вышел одновременно в «Ленинградской правде» (25 декабря 1927 г.) и в альманахе «Писатели — Крыму» (М., 1928). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М. —Л.: Госиздат, 1929—1930), а также в сборник «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935).

Нижегородский откос. Впервые появился в 1928 году во втором номере журнала «Звезда» и был подобен взрыву. Больше этот рассказ не переиздавался, но тем не менее был

полностью использован в романе «Соляной амбар». В рассказе, в описании гимназических будней главных героев, используются впечатления Пильняка о последнем гимназическом годе пребывания в Нижнем Новгороде, где он жил в семье немецкого дяди. Этот год более подробно описан в «Поокском рассказе» (1926).

«Неладную эволюцию совершает Б. Пильняк. О днях арцыбашевских и о гимназистах, гибнущих под бременем «половой проблемы», повествует «Нижегородский откос». Ницше и гимназист, выходящий ради «сверхчеловечества» на разбой, Ницше и — невыразимые пильняковские размышления о том, что «огромнейшее человеческое счастье бывает иной раз мерзостью, мерзость бывает счастьем, и каждый человек, подобно эпохам, пьет по-своему свою чашу жизни» — бесталанная «космическая» пошлость во всей своей бульварной наготе тоже иногда попадает на страницы нашего толстого журнала», — писал В. Блюменфельд (Отражения литературы в журналах. Жизнь искусства. 1928. № 14. С. 5).

«"Нижегородский откос" ему (Б. Пильняку — К. А. -П.) тоже, наверное кажется необычайно "острой штучкой": как же, помилуйте, такая достойная интеллигентная мамаша, имеющая еще более достойного, тонкого, нервного, красивого юношу-сына, похожего на самого Блока, — и вдруг, знаете ли... можете себе представить... "Эдипов комплекс"! Мы не касаемся здесь очень уж безвкусной попытки Пильняка сблизить этот "образ" с образом пролетарской революции: от этого пахнет некрофилией, гробокопательством, отвратительным в искусстве еще больше, чем в действительности. Но... какова "острота"? Ведь обывателю от такой остроты прямо нехорошо может сделаться! Пожалейте, Б. А. Пильняк, слишком уж беспощадно эпатируемого вами обывателя!» (Авербах Л. Литературный фельетон // На литературном посту. 1929. № 13. С. 27, 30—31).

Телеграфный смотритель. Был опубликован в восьмитомном собрании сочинений писателя (М. —Л.: Госиздат, 1929—1930) и в сборнике «Рассказы» (Париж: Иллюстрированная Россия, 1933).

Немецкая история. Впервые рассказ был опубликован в журнале «Новый мир» (1928, № 9), ранее отрывками в «Красной панораме» (1928, № 38) и «Учительской газете» (1928, № 9) под названием «Рождение легенды». Вошел в восьмитомное Со-

брание сочинений писателя (М. —Л.: Госиздат, 1929—1930). Больше нигде не издавался.

Земля на руках. Впервые был опубликован в журнале «Красная новь» (1928. № 8). Вошел в восьмитомное Собрание сочинений (М.-Л.: Госиздат, 1929—1930), в прижизненный сборник «Рассказы» (Париж, 1933), неоднократно переиздавался впоследствии.

РОМАН

Волга впадает в Каспийское море. Впервые роман вышел в издательстве «Недра» в 1930 году. Его появление в разгар скандала вокруг повести «Красное дерево», которое в переработанном виде вошло в роман, — вызвало еще более яростные и несправедливые нападки со стороны критиков. После скандала роман в России больше не переиздавался вплоть до 1988 г. (Минск: Мастацкая литература), тогда как успевшая попасть за границу до начала травли рукопись романа неоднократно издавалась и была переведена на другие языки без купюр, искажений и сокращений. В России полная версия восстановленной после купюр (более 50 страниц) рукописи была издана лишь в 1989 году в сборнике «Повесть непогашенной луны».

К. Андроникашвили-Пильняк

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Рассказы

Роман

БОРИС АНДРЕЕВИЧ
ПИЛЬНЯК

*Собрание сочинений
в шести томах*

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Редактор *О. Замшева*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *В. Нефедова*
Корректор *Л. Курносенкова*

Изд. № 0303128.
Подписано в печать 26.06.03 г.
Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 25,55.
Заказ № 0308550.

ТЕРРА—Книжный клуб.
115093, Москва, ул. Щипок, 2.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

